



ГОЛОСЪ МИНУВШАГО

№ 2 Октябрь. 1922 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

	<i>Стр.</i>
1. Вл. Г. Короленко. О Толстом	3
2. Вл. Г. Короленко. Пугачевская легенда на Урале	15
3. Кузьма Прутков. Военные афоризмы	27
4. Из воспоминаний М. И. Венюкова (Предисловие Л. Э. Бухгейма).	40
5. Из переписки московских славянофилов. А. И. Кошелев и И. С. Аксаков (Предисловие А. А. Кизеветтера)	59
6. В. Быстренин. „Уходящее“	91
7. М. А. Цявловский. Пушкин и графиня Д. Ф. Финкельмон	108
8. Вл. Г. Короленко. Земли, земли! (Окончание).	124
9. К 70-летию В. Н. Фигнер:	
От редакции	147
Портрет Веры Николаевны Фигнер.	149
Б. Федоров. Голоса врагов и друзей.	151
М. Новорусский. Женщины в Шлиссельбурге.	157
В. Фигнер. Студенческие годы	165
10. Н. П. Киселев. Письма русских масонов.	182
11. Н. Л. Бродский. Письма М. Е. Салтыкова В. П. Безобразову	188
12. Письма Л. В. Дубельта к Н. И. Гречу.	194
13. Мелочи прошлого:	
И. Н. Розанов. Эпиграммы	198
А. М. Хирьяков. Отклики прошлого.	199
Письмо Бакунина к Боткину	202
14. Н. В. Сивков. Крепостная школа и ее ученики в конце XVIII века	203
15. В. Н. Розанов. Книги о германской революции.	207
16. Памяти ушедших:	
А. Кизеветтер, Н. В. Давыдов.	217
Н. Кареев. В. И. Герье.	220

ГОЛОС МИНУВШЕГО

ЖУРНАЛ ИСТОРИИ и ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ

(Год издания X)

*Светлой памяти
В. И. Семевского*

№ 2

Октябрь

1922

В. Г. Короленко о Толстом.

1. Великий Пилигрим.

(Три встречи с Л. Н. Толстым).

Редакция, печатая незамысловатые произведения В. Г. Короленко, считает нужным сделать следующие пояснения: произведение „Великий Пилигрим“ должно было заключать в себе описание трех встреч с Л. Н. Толстым. Первая относится к осени 1888 г., вторая—1902 г., и третья—1910 г. Вещь эта не закончена и обрывается на середине первой встречи. Глава из незадуманного произведения «Земли, земли»... (см. «Голос Минувшего» № 1, 1922 г.) и письмо к Т. А. Богданович могут несколько восполнить пробел, так как темой их как-раз являются недостающие два свидания с Л. Н. Толстым.

I.

Я видел Льва Николаевича Толстого только три раза в жизни. В первый раз это было в 1888 году. Второй в 1903¹⁾, и в последний—за три месяца до его смерти. Значит, я видел его в начале последнего периода его жизни, когда Толстой—великий художник, автор «Войны и мира» и «Анны Карениной»—превратился в анархиста-проповедника новой веры и непротивления; потом я видел его на распутии, когда, казалось, он был готов еще раз усумниться и отойти от всего, что нашел и что проповедывал: от анархизма и от непротивления. Наконец, в третий раз я говорил с великим искателем у самого конца его жизненного пути—опять слышал от него новое, неожиданное, порой загадочное... Так по этой дороге вечных сомнений и неустанного движения вперед он неожиданно шагнул в неизвестность, которую всю жизнь старался разгадать и связать с земной жизнью неразрывною связью.

Эти три свидания стоят в моей памяти живо и ярко, как-будто они происходили совсем недавно. А между тем их разделяют промежутки в 15 и в 7 лет. И когда я оглядываюсь на них, то впечатление у меня такое, как-будто на длинном пути, загроможденном всякого рода жизненными впечатлениями, яркими и тусклыми, крупными и мелкими, важными и неважными,—три раза весь этот житейский туман раздвигается, и на расчищенном месте является яркий образ крупного, замечательного человека... Человека идущего куда-то бодро и без усталости. Каждый раз впечатление другое: точно это три разных снимка, и только в конце они сливаются в один образ великой человеческой личности.

Это, конечно, потому, что и действительно это были три разных снимка. Менялась жизнь, менялся Толстой, и я тоже менялся: и фон, и предмет, и печатная пластинка каждый раз становились другими.

Теперь я намерен восстановить эти свои впечатления. Но я не хочу сводить их в одно таким образом, чтобы последующие впечатления накладывались на прежние и изменяли их. Я употреблю все усилия, чтобы восстановить каждую

¹⁾ В. Г. Короленко указывает 1903 год, как дату второго свидания с Л. Н. Толстым, ошибочно это второе свидание состоялось в 1902 г.

встречу со всей полнотой тогдашнего моего восприятия. Я был таким-то. Толстой мне представлялся так-то. И если порой для меня лично это будет очень невыгодно, — я все-таки охотно иду на это. Толстой сам не боялся правды. Мы, средние люди, можем и должны подражать Толстому в этом, как и в искренности своего отношения к явлениям жизни... Хотя бы эти явления стояли перед нами в такой стихийно-подавляющей форме и размерах, как то, которое носит имя Льва Толстого.

Итак, — я расскажу, как я три раза видел Толстого, каким он мне каждый раз представлялся, что я при этом чувствовал, что думал, что я в нем в разное время осуждал и чему удивлялся.

II.

В 1880 году я был в административной ссылке в Перми. Там же в то время находился Александр Капитонович Маликов с семьей, которая состояла из жены (Клавдия Степановна Пругавина) и несколько детей. О Маликове существует, хотя и небольшая, литература; его имя мелькало не раз в мемуарах из того времени, порой в судебных отчетах по политическим делам (нечаевский процесс, большой процесс), и, наконец, г. Фаресов посвятил ему систематический очерк. Это была фигура чрезвычайно характерная и яркая, — вечный бродяга и «искатель», кидавшийся по разным областям жизни и веры: начав карьеру судебным следователем на Урале, он пришел в резкое столкновение с властями на почве запутанных заводских отношений и был вынужден выйти в отставку. Потом он попал в ссылку в Архангельскую губернию. Оттуда его кинуло в Америку, в общину коммуниста Фрея, последователя «позитивной религии» Конта. В то время, когда я его узнал, это был человек лет за сорок, с некрасивым, но необыкновенно выразительным лицом, с гримасой вместо улыбки; с огромным запасом юмора и не меньшим запасом энтузиазма. Все мы хохотали, когда он рассказывал о своих похождениях в Америке, о коммунистической общине, о разных типах русских чудаков, бродивших по свету в поисках новой правды. Но порой эти юмористические рассказы сменялись проповедью. В один из периодов своей бродячей жизни, проживая в Орле с товарищами, Маликов сошелся с кружком «чайковцев». Это была группа людей, желавших политического переворота, но в основу своей «революционной» деятельности положившая начала чистой нравственности. Когда кружок был разгромлен и распался, — одни участники рассеялись по разным революционным течениям вплоть до террористического. Другие пошли дальше в прежнем направлении. Развивая идею новой нравственности, они пришли к необходимости религиозной веры. Маликов, Аитов, Чайковский и некоторые другие стали проповедывать «богочеловечество», святость физического труда и... непротивление насилию. Аитов, бывший офицер, оставил службу и с каким-то товарищем отправился пешком по русским дорогам, всюду открыто проповедуя братство людей, отказ от военной службы и довольно туманные основы новой веры. Дело, конечно, кончилось арестом. В журнале «Вперед» была напечатана заметка о новом движении. Редакция предостерегала против этого «беспочвенного» увлечения и звала сектантов вернуться к общему делу на прежних началах.

После этого Маликов и уехал в Америку, чтобы там приобщиться к святости трудовой жизни. Основой ее признавал земледельческий труд.

Община Фрея потерпела неудачу. Маликов вернулся в Россию и поступил на железную дорогу. Семья росла, но неутомимый мечтатель смотрел на свою службу, как на переходную ступень: заработает денег, купит клочок земли и будет жить на ней со всей семьей...

На этом я пока оставлю Маликова и его историю. История эта имела яркое и характерное предложение, но я упомянул о ней лишь в связи с Л. Н. Толстым. В кружке Маликова был некто г-н Б. и Л-ев; оба познакомились с Л. Н. Толстым;

один из них жил довольно долго в Ясной Поляне в качестве учителя. У него часто бывал и Маликов. Едва ли можно сомневаться, что на восприимчивое художественное чуткое воображение Л. Н. Толстого своеобразные интеллигенты должны были произвести сильное впечатление. С. Н. Кривенко, впоследствии, в своих очерках («Культурные скиты») сделал ядовитое замечание, что Л. Н. Толстой принялся пахать и шить сапоги «после того, как другие отшили и отпахались». Правда состоит в том, что Толстой всегда стремился к опрощению жизни, увлекался всякой непосредственностью (и еще в юности старался пахать именно так, как это делал один из работников, Юфан). Теперь эти инстинктивные стремления углубились и окрепли. И, когда другие отпахались, Толстой остался на брошенной ниве!..

О новом толстовском «направлении» я узнал именно от Маликова. Пока это были лишь общие очертания: великий художник, — одна из культурных вершин русского народа, — обращался к тому, о чем мечтали тогда мы все, брался за сапоги и за соху. Значит, в основе и наших стремлений лежат не одни незрелые юные увлечения. Маликов получал от Б-ва письма и рассказывал по ним о продолжающемся «опрощении» Толстого. Как это бывало часто у этого странного человека, в тоне его порой прорывались юмористические нотки. Но я уславывал главное: Толстой тоже тоскует в нынешних формах жизни, стремится к другим и ищет их в направлении «слияния с народом».

В 1881 году во время реакции, наступившей после 1-го марта, мне пришлось расстаться с Пермью. «Новое веяние» умчало меня далеко на северо-восток Сибири. В сентябре этого года я уже был в Иркутске, где судьба свела меня с целой партией политических, пересылавшихся в Карийскую каторгу. Тут были, между прочим, «централисты», пересылавшиеся из страшных центральных тюрем, где они провели долгие годы, точно заживо погребенными. Одни из них представляли старые течения идеалистического народничества. Другие принадлежали к самым последним фракциям народовольчества. На меня накинудись, как на свежего человека, с расспросами, и я помню до сих пор тесную группу людей с бритыми головами, в капдалах, жадно прислушивавшихся к моему рассказу. До них уже доходили слухи о душевном перевороте Толстого. И, забывая на время о своих спорах, все жадно ловили известия о том, что знаменитый русский писатель направляется в сторону, куда, несмотря на взаимные разногласия, — обращались они все. В сторону отрицания существующих форм во имя опрощения и слияния с народом... И всем казалось, что за этим последуют дальнейшие акты исповедания их общей веры... Трудно представить теперь, с какой жадностью в те годы вся ссыльная Сибирь ловила приходившие из России известия об эволюции толстовских воззрений, пока не определилось, что Толстой проповедует новое христианство и «непротивление злу насильем»... Тогда интерес значительно упал. Рассеянная по каторжным тюрьмам, по глухим деревням и улусам Сибири, оппозиционная, борющаяся Русь охладела к Толстому. Великий писатель прошел мимо нее и отправился какой-то своей дорогой. Ему было не по пути с людьми, которые отдавали свободу и жизнь во имя пламенного, страстного «противления».

В 1885 году я вернулся из Якутской области и поселился в Нижнем-Новгороде, начал писать и нередко бывал в Москве. Здесь, между прочим, жила г-жа Дмоховская, мать одного из каторжан, умершего в 1881 году в сибирской тюрьме. Дочь ее была невестой другого каторжанина К-а. Во время своей остановки в Иркутске, я узнал обоих, а с Дмоховским даже сблизился перед его смертью. Узнав об этом, бедная мать, знавшая мою жену, захотела увидеть меня, и мы оба с женой стали от времени до времени заходить к ней. У нас часто бывал и Толстой.

Однажды она сказала мне, что говорила Толстому о знакомстве со мной. В моей ссыльной карьере была, между прочим, одна черта, которая, пожалуй, могла подать повод к сближению с толстовским исповеданием. Толстой очень заинтересовался и сказал Дмоховской:

— Мне кажется, что я знаю г-на К. Если бы он захотел прийти ко мне, чтобы разрешить какие-нибудь свои сомнения и вопросы, я рад был бы его увидеть и поговорить с ним.

Я тогда уже писал, но еще не был писателем в настоящем значении этого слова, то-есть человеком с преобладающим интересом наблюдения. Конечно, я рад был бы повидать Толстого, но узнав, зачем он зовет меня и чего ждет от моего появления,—я как-то оробел, почувствовал обострение присущей мне застенчивости и решил не идти, так как мне казалось, что самым своим приходом я уже солгу. Относиться к Толстому, как к предмету наблюдения, я не смел; и в то же время у меня не было сомнений такого рода, за разрешением которых я мог бы искренно обратиться к нему. Я мог бы пойти только затем, чтобы спорить. Я никогда не был террористом, но необходимость противления казалась мне до такой степени очевидной; ясной, обязательной, что я не мог бы равнодушно слушать противное. И в то же время, преклонение перед художником мешало мне даже представить себе, что я стану с ним спорить.

Толстой в это время был страстным прозелитом собственного учения и, казалось, успокоился на своей догматике. Рассказывали много о противоречиях в его учении и жизни. Только-что он передал свое имущество семье, скинув, таким образом, «бремя владения» вместе с бременем забот, которые тяжелее всего лежат на плечах обыкновенного среднего человека. Маликов, переживший тяжелый удар и обратившийся тогда (на время) к обрядовому православию, с горечью рассказывал мне о сети противоречий, в которых запутался Толстой. Между прочим, в Москве был тогда некто Орфано, большой чудак, но человек искренний и прямолинейный. Он исписал много бумаги в опровержение толстовского учения с православной точки зрения, часто являлся в Хамовники и спорил с Толстым. Жил он аскетом, буквально исполняя заветы Христа: случалось нередко, что, встретив по дороге оборванца нищего, он снимал с себя пальто, а однажды явился домой даже без куртки. Жалованье свое по службе в какой-то железнодорожной канцелярии он часто раздавал еще по дороге домой и затем жил неведомо как и чем. Когда своих денег уже не было, он с детской прямолинейностью являлся к Толстому и говорил:—«Надо помочь такому-то». Разумеется, нередко профессиональные попрошайки пользовались простодушием Орфано, и его помощь уходила без толку в пространство. Сегодня он надевал свое пальто на оборванца, дрожавшего от мороза на перекрестке, а завтра тот же оборванец и на том же месте опять старался разжалобить прохожих видом своего голого тела. Это, однако, не смущало самого Орфано. Маликов восхищался им и противопоставлял его Толстому, который, после какого-то горячего спора о правоте, сказал Орфано: «Нам больше говорить не о чем»... Есть некоторое основание думать, что именно паивная христианская практика Орфано послужила одним из данных, подготовивших вывод Толстого, что «деньги—зло»...

О Толстом в то время говорили уже очень много, и из этих рассказов на меня, по тому моему настроению, особенное впечатление произвели следующие эпизоды. Однажды, кажется через ту же г-жу Дмоховскую, с Л. Н. познакомилась г-жа У-ская, вдова нечаевца, умершего на Кавказской каторге. Бедная женщина, слабая и больная, изнемогала в жизненной борьбе, стараясь вывести в люди единственного сына. Ей приходилось жить в тесной квартирке, без прислуги, самой носить дрова, стряпать и мыть полы. При встрече с нею, Толстой посмотрел на нее, покачал головой и сказал растроганным голосом:—Какая вы счастливая! У вас есть настоящая, псевдумная работа.

Эта фраза повторялась в интеллигентных кружках Москвы с укоризной и насмешкой.

Передавали также один рассказ Толстого, доказывавший универсальность его теории непротивления. Однажды он шел по улице. Рядом ехал мужик в розвальнях. Мальчишка захотел вскочить на розвальни сзади, но нога его провалилась в переплет. Заметив это, мужик погнался; испуганный мальчик прыгал на одной

ноге за санями. Это ли не случай, чтобы кинуться к лошади и силой задержать ее? «У меня,—говорил будто бы Толстой,—проснулись старые инстинкты. Я готов был уже броситься на улицу и схватить лошадь под уздцы, но в это время все разрешилось без моего вмешательства: мальчик упал, нога выскользнула из переплета, а мужик уехал»...

Во всех этих бесчисленных рассказах, которые реяли, точно мухи, вокруг Толстого-проповедника, мне чуялся какой-то самодовольный догматизм человека, ушедшего от мучительных житейских противоречий и теперь тщательно закрывавшего все щели своей паскоро сооруженной часовенки, чтобы до нее не достигали отголоски живой, смятенной, страдающей и противоречивой жизни. Сам я в то время чувствовал себя на распутье: растеряв много догматов, я искал новых формул. Но толстовское решение казалось мне слишком простым, слишком удобным и легким... А довольство своим решением, которое, казалось, я улавливал в настроении проповедника,—мне в то время было органически неприятно.

И я решил, что не пойду к великому художнику, отрицающему искусство, мыслителю, отрицающему науку, искателю истины, успокоившемуся на узкой формуле полу-христианского квиетизма. «Если уж евангелие,—ходила по Москве чья-то фраза,—то я предпочел бы евангелие от Иоанна евангелию от Толстого».

Так прошло несколько месяцев. Однажды, приехав в Москву, я застал литературный кружок, группировавшийся около Гольцева и «Русской Мысли», занятым идеей какого-то сборника, по какому-то особому случаю. Сборник должен был напоминать о чем-то и отчасти носить характер протеста. Составилась редакция, в которую вошел Гольцев, кажется, В. А. Пругавин, Н. Н. Златовратский и я. В одном из собраний было решено пригласить к участию в сборнике Л. Н. Толстого, и задачу эту возложили на меня и на Ник. Ник. Златовратского.

Теперь у меня была, значит, определенная цель, и опасение, солгать самым своим появлением у Толстого, устранялось. Я решил идти.

Под вечер, если не ошибаюсь, ранней осенью оба мы с Н. Н. Златовратским отправились в Хамовники, и я с невольным волнением поднялся по приглашению доложившего о нас камердинера по лестнице, во второй этаж. Мой спутник, кажется, тоже сильно волновался. Н. Н. Златовратский еще недавно напечатал в «Русской Мысли» полу-аллегорический рассказ «Мои видения», в котором рисовал фигуру «великого мудрого старца», разрешающего все сомнения. Весь рассказ, который велся от лица человека, вышедшего из парода, был проникнут горьким раскаянием и жгучим недовольством: сын народа проклинал культуру, к которой приобщился, и как-будто шел на встречу толстовскому отрицанию просвещения. Мне слышалось в этом очерке Толстовское влияние и оно казалось расслабляющим и нездоровым.

Я плохо помню теперь расположение комнат в Хамовниках, где я был только один раз. Может быть, это потому, что сразу же я обратил все внимание на высокого человека с седеющей бородой, который стоял на верхней площадке лестницы, окруженный группой людей. Прямо перед ним стоял невысокий слегка согбенный худощавый человек, лысый, с двумя седыми буглями на висках. У него были круглые глаза, нос с горбинкой. Приятное белое лицо имело выражение ясное, а круглые глаза глядели как-то по голубиному. Когда мы приблизились к ним, большой бородатый человек в блузе поздоровался с Златовратским (они уже были знакомы) и потом, когда я в свою очередь назвал себя, взял мою руку и, удержав ее в своей, продолжал или вернее закончил свою речь, обращенную к человеку с седыми буглями:

— Да, да... Я действительно нашел истину. И она все мне объясняет: большое и малое... и все детали. Вот... (он слегка притянул к себе мою руку),—это вот пришел Короленко... Он был в Сибире... и...

Он сообщил ту подробность моих ссыльных скитаний, которая должна была казаться ему особенно близкой и родственной.

— И теперь вот он пришел ко мне. И я знаю, зачем он пришел и что ему нужно, и что он хочет у меня спросить.

Я почувствовал, что густо краснею. Вышло все-таки, что я не избег того, чего хотел избежать, и мой приход все-таки оказался некоторой ложью. Как теперь сказать этому подавляющему меня одним своим видом огромному человеку, автору «Войны и мира», что он совершенно ошибается, что в моей душе совсем нет того, что он в ней прочитал, и что я пришел лишь по чужому поручению, по делу сборника, которому даже едва ли придется увидеть свет.

— Ну, пойдем ко мне,—сказал Толстой, меняя тон и слегка взяв меня за руку. Все направились в его кабинет.

— Счастливый вы человек, В. Г.,—говорил Толстой на ходу и, заметя мой удивленный и вопросительный взгляд,—пояснил:

— Вот вы были в Сибири, в тюрьмах, в ссылке. Сколько я ни прошу у Бога, чтобы дал и мне пострадать за мои убеждения,—нет, не дает этого счастья.

Кабинет Толстого представлял сравнительно просторную, но невысокую комнату, в которую пришлось, помнится, подняться по двум или трем ступенькам. Мне невольно пришло в голову, не поднят ли пол этой комнаты нарочно, чтобы сделать ее несколько ниже других... Не помню теперь ее мебелировки, помню только, что всюду виднелись книги, бумаги, а в одном месте лежала сапожная колодка. Теперь эта комната была тесно набита людьми.

Кроме нас с Златовратским и старика с круглыми глазами, который оказался знаменитым художником Николаем Николаевичем Ге,—я вспоминаю и теперь еще сына Ге, тоже Николая, затем Владимира Федоровича Орлова и еще г-на О-ва. Остальные рисуются в памяти безлично и смутно.

Орлова я немного знал. Это был старый нечаевец, переживший разные фазы русского интеллигентского брожения, прошедший через нигилизм к какой-то странной религии, отчасти напоминавшей богочеловечество. Незадолго перед этим я видел его на вечере у Златовратского. Разговор шел о растерянности и апатии, охватившей молодежь в эти (80-ые) годы. Двое или трое юношей сидели вокруг какого-то небольшого человека, подвижного, широкоплечего с быстрыми темными глазами и курчавыми волосами. Я не слышал, о чем шла речь, но все общество, беспорядочно заполнявшее приемную Златовратских, повернулось к этой группе, когда курчавый человек внезапно вскочил со стула, с шумом откинул его, выпрямился и, сверкая глазами, громко крикнул своим молодым собеседникам:

— У вас нет Бога? Вы не знаете, перед кем вам преклониться? Преклонитесь передо мною! Я—Бог...

Я с любопытством подошел к этой группе. Молодые люди с любопытством смотрели на повоявленное божество, видимо озадаченные его заявлением, а курчавый человек, сверкая глазами, говорил что-то быстро, пламенно и непонятно. Мне показалось в его речи что-то знакомое и я вспомнил Маликова, когда он проповедывал свое богочеловечество. Только у Маликова все выходило более внушительно. Когда он увлекался, его некрасивое лицо загоралось вдохновением, голос вибрировал, гремел и отзывался глубокими, невольно волнующими потоками. У теперешнего оратора это было как-то мельче. Он как-будто сердился. Было, пожалуй, пламенно, но не глубоко. Мне показалось, что опустошенная душа этого бывшего нигилиста случайно наполнилась маликовским содержанием. Вскоре он погас, так же внезапно, как и вспыхнул, только глаза его долго горели огоньком беспредметного гнева.

На мои вопросы Златовратский сказал, что Орлов человек очень хороший, в своем роде замечательный и еще недавно написал рассказ «Пьяная ночь», который не может быть напечатан по цензурным условиям, но необыкновенный по силе и талантливости. Теперь он как-будто толстовец, Лев Николаевич порой ходит к нему в Бутырки, где Орлов живет полуяничим, полудеянином с большой семьей,

существующей на случайные заработки отца. Маликов, которого я видел незадолго, тоже много говорил об этом человеке. По его словам Орлов то преклоняется перед Толстым, то ругает его. Между прочим, приходя в Бутырки, Толстой, как художник, любуется его обстановкой, оборванными и одичалыми детишками и, сидя среди этой мелюзги, повторяет благодушно:

— Как у вас хорошо! Как я вам завидую.

Еще одна фигура осталась в моей памяти. Это был О-в, занимавшийся перепиской религиозных сочинений Льва Николаевича. Он еще не так давно служил на одной из субсидированных железных дорог и после нескольких лет бросил службу, получив по выходе крупную награду. На эти деньги он открыл под Москвой молочную ферму, быстро прогорел и теперь переписывает и продает новое «Евангелие» и «В чем моя вера».

Орлов был мрачен, О-в держался как-то на стороже, и оба страстно при каждом случае комментировали положения нового толстовского учения.

В кабинете на стенах и на стульях висели и лежали листы из альбома иллюстраций Ге к небольшим рассказам Толстого. Показывая их, Толстой восхищался рисунками, говорил, что они совершенно точно выражают его замыслы, и потом сказал:

— Хочу вот найти издателя для двух альбомов. Сначала один подороже, для богатых людей. Старик вот без штанов ходит. Надо старику на штаны собрать. Потом издадим подешевле, для народа...

В это время в другом конце комнаты закипел спор. Орлов и О-в спорили с Златовратским.

— Да, литература та же проституция!—кричал он так же страстно, как вчера, когда объявлял себя Богом:—все вы не лучше этих несчастных падших женщин. Задушевные мысли, лучшие чувства своей души вы выносите на рынок...

— Да! Я с этим совершенно согласен,—вставил О-в.—Это именно проституция... Святыню душ продавать за деньги... С точки зрения учения Льва Николаевича...

Златовратский возражал, но его возражения вызывали только новые потоки обличений... Глаза Орлова метали молнии...

— Раз став на эту дорогу, конечно...—говорил он язвительно,—дойдешь до того, что станешь описывать, как некий Остап играет на глухой баянуре...

Я понял, что это кинута по моему адресу, и мне стало интересно выяснить на этот вопрос взгляд Толстого.

— Позвольте два слова,—сказал я, подходя к группе.—Вы считаете, значит, постыдным получать плату за литературную работу?

— Да, именно постыдно!—крикнул Орлов резко, а О-в тоном человека, развертывающего хорошо усвоенную формулу,—прибавил:

— Если писатель искренен,—значит он оценивает на вес металла свои чувства и мысли... Если он ремесленник,—тогда, конечно, нечего и говорить. С точки зрения истинного христианина, то-есть с той точки зрения, которую устанавливает Лев Николаевич в своих новейших произведениях...

— Позвольте, однако,—сказал я с недоумением:—ведь вот мы только-что слышали, что Лев Николаевич проектирует издать альбом Николая Николаевича и продавать его за деньги...

— Это совсем другое дело,—сказал О-в.

— Почему же? Разве картина художника, проводящая задушевные идеи, которых он тоже разделяет,—не выражает его лучших чувств и мыслей?

О-в не сдался. Он начал говорить что-то бойко, докторально, закругленно, и все, что он говорил, певыносимо резало ухо. Чувствовалась готовность вести диалектический спор на какую угодно тему, какое-то холодное и неискреннее резонерство. Было заметно, что всем становится неловко. Заметил это, очевидно, и Лев Николаевич. Среди громкой тирады О-ва раздался вдруг его тихий голос:

— Нет... Это не то... Я думаю, что Короленко прав...

Разговор принял другое направление. Н. Н. Златовратский, несколько волнуясь и нервничая, поставил центральные вопросы «учения» о непротывлении. Все слушали с глубоким вниманием. Златовратский обращался к Толстому, но...

II. Разговор с Толстым. Максимум и государственность *).

В 1902 году мне пришлось побывать в Крыму, и я не упустил случая посетить Толстого, который лежал тогда больной в Гаспре. Чехов и Елпатьевский, оба писатели и оба врачи, часто посещали Толстого и рассказывали много любопытного об его настроении.

Чувствую, что мне будет нелегко сделать последующее вполне понятным для моих читателей из народа. Толстой в одной черте своего характера отразил с замечательной отчетливостью основную разницу в душевном строе интеллигентных людей и народа, особенно крестьянства. Сам—великий художник, создавший гениальные произведения мирового значения, переведенные на все языки,—он лично, как человек, легко заражался чужими настроениями, которые могли овладеть его воображением.

Это вообще наша черта, черта интеллигентных людей. Жизнь намеревается сделать из нас по окончании образования—помещиков, или чиновников, или инженеров, вообще людей, служащих известному строю. Но самый этот строй стоит в слишком разительном противоречии с тем, что порождает в душах честная и просвещенная мысль. От этого у нас сын помещика нередко отрицает право частной собственности на землю, а сын чиновника презирает и ненавидит чиновничество. Отсюда же постоянный разлад между мыслью и жизнью. Мысль—это начало действия, и она влечет молодежь в одну сторону, а жизнь и практические требования выгоды—в другую. В большинстве случаев жизнь берет свое и, пройдя бурный период молодых увлечений, — большинство образованных молодых людей вступают на торную дорожку и понежню свыкаются с ней. Но в душе, как лучшие воспоминания, навсегда остается след молодых, наивных, полных неопытности, но светлых и бескорыстных неклассовых «ошибок юности».

Толстой в высокой степени умел отражать в своих произведениях эту черту интеллигентной души, ищущей правды среди сознанный неправды жизни. Пьер Безухов в «Войне и мире», Левин в «Анне Карениной», много других лиц в разных рассказах — все это люди мятущиеся, чувствующие душевный разлад, ищущие правды и, как сам Толстой, тоскующие о душевном строе целом, без разлада между мыслью и делом. Такой душевный строй мы называем «непосредственностью». У Толстого всю жизнь была тоска—о непосредственности.

Такого разлада не знает простой народ. Он жил века в угнетении, долго «все терпел во имя Христа», трудился и надеялся, совсем не задумываясь над причинами общественного неурядиства, все приписывая судьбе. Толстой всегда завидовал этому душевному состоянию простых людей. Еще в молодости он преклонялся перед иными крестьянами до такой степени, что одно время старался подражать работнику Юфану даже в движениях. Потом, уже став великим писателем, угадывал и заражался настроениями простых душ. В «Войне и мире» он изобразил солдата Каратаева, который совсем не умеет выразить своих мыслей, но который казался ему воплощением глубокой мудрости. Толстой успел внушить это свое преклонение перед народной непосредственностью читателям и критикам, и одно время «Каратаевщина» служила выражением глубокой народной мудрости. То же можно сказать и об Акиме Простоте во «Власти тьмы», который не может выгнать своей мысли из корявой оболочки: «тае, тае», но устами которого тоже говорит высшая мудрость народа.

*) Глава из незаданного произведения „Земли, земля“. См. ниже.

Эта способность заражаться народными настроениями определяла крупнейшие повороты во взглядах самого Толстого. В «Войне и мире», изучая историю отечественной войны, он проникся настроением борьбы за отечество до такой степени, что почти оправдывал убийство партизанами пленных. Потом его стала привлекать смиренная народная вера, и от нее он перешел к первобытному христианству. Отсюда его теория о непротивлении. Нельзя противиться злу насилием, хотя бы даже дикари зулусы начали убивать и резать нас, насиловать женщин, избивать детей. Лучше погибать, чем защищаться силой. Теперь, когда в России происходили события, выдвигавшие предчувствие непосредственных массовых настроений, мне было чрезвычайно интересно подметить и новые уклоны в этой великой душе, тоскующей о правде жизни. В нем несомненно зарождалось опять новое. Чехов и Елпатьевский рассказывали мне, между прочим, что Толстой проявляет огромный интерес к эпизодам террора. А тогда отчаянное сопротивление кучки интеллигенции, лишенной массовой поддержки, могущественному еще правительству принимало характер захватывающей и страстной борьбы. Недавно убили министра внутренних дел Сипягина. Произошло покушение на Лауница. Террористы с удивительным самоотвержением шли на убийство и на верную смерть. Русская интеллигенция, по большей части люди, которым уже самое образование давало привилегированное положение, как ослепленный филистимлянами Самсон, сотрясали здание, которое должно было обрушиться и на их головы. В этой борьбе проявилось много настроения, и оно, в свою очередь, начинало заражать Толстого. Чехов и Елпатьевский рассказывали мне, что когда ему передали о последнем покушении на Лауница, то он сделал нетерпеливое движение и сказал с досадой:

— И наверное опять промахнулся.

Я привез ему много свежих новостей. Я был в Петербурге во время убийства Сипягина и рассказал, между прочим, отзыв одного встреченного мною сектанта,— простого человека:

— Оно, конечно,—убивать грех... Но и осуждать этого человека мы не можем.

— Почему же это?—спросил я.

— Да ты, верно, читал в газете, что он подал министру бумагу в запечатанном пакете?

— Ну так что же?

— А мы не можем знать, что в ней написано... Министру, брат, легко так обидеть человека, что и не замолишь этой обиды. Нет уж, видно, не нам судить: Бог их рассудит.

Толстой лежал в постели с закрытыми глазами. Тут его глаза раскрылись, и он сказал:

— Да, это правда... Я вот тоже понимаю, что как-будто и есть за что осудить террористов... Ну, вы мои взгляды знаете. И все-таки...

Он опять закрыл глаза и несколько времени лежал задумавшись. Потом глаза опять раскрылись, взгляд сверкнул острым огоньком из под нависших бровей, и он сказал:

— И все-таки не могу не сказать: это целесообразно.

Я был к этому отчасти подготовлен. В письме, которое Толстой послал Николаю II, уже заметна была перемена настроения: советы, которые он дает Николаю II-му, проникнуты уже не отвлеченным христианским анархизмом, а известной государственностью и необходимостью уступок движению. Но все-таки я удивился этому полудообрению террористических убийств, казалось бы, чуждых Толстому. Когда же я перешел к рассказам о «грабжке», то Толстой сказал уже с видимым одобрением:

— И молодцы!..

Я спросил.

— С какой же точки зрения вы считаете это правильным, Лев Николаевич?

— Мужик берется прямо за то, что для него всего важнее. А вы разве думаете иначе?

И думал иначе и попытался изложить свою точку зрения. Я никогда не был ни террористом, ни непротивленцем. На все явления общественной жизни я привык смотреть не только с точки зрения целей, к которым стремятся те или другие общественные партии, но и с точки зрения тех средств, которые они считают пригодными для их достижения. Очень часто самые благие конечные намерения приводят общество к противоположным результатам, тогда как правильные средства дают порой больше, чем от них первоначально ожидалось. Это точка зрения, прямо противоположная максимализму, который считается только с конечными целями. А Толстой рассуждал именно, как максималист. Справедливо и нравственно, чтобы земля принадлежала трудящимся. Народ выразил этот взгляд, а какими средствами, для Толстого (непротивленца, отрицающего даже физическую защиту!)—все равно. У него была вера старых народников: у народа готова идея нормального общественного уклада. Марксисты держались такого же взгляда, только для них носителями этого лучшего будущего являлся городской пролетариат.

Лично я давно отрешился от этого двустороннего классового идолопоклонства. Может быть, потому, что жизнь кидала меня таким прихотливым образом, что мне пришлось видеть, и главное—почувствовать все слои русского народа, начиная от полудикарей якутов или жителей таких лесных углов европейского севера, где не знают даже телег, и кончая городскими рабочими. И я знал, что этой таинственной готовой мудрости нельзя найти ни в одном классе. Крестьянин умеет пахать землю, но в земельном вопросе, в широком смысле, разбирается не лучше, а хуже, чем многие из тех, которые не умеют провести борозду плугом. Я уже упоминал, как в Свияжском уезде Казанской губернии два огромных крестьянских общества шли друг на друга войной из-за земли. Дело дошло до вмешательства войск, и вожаки враждующих обществ были приговорены к смертной казни. Значит, у этих крестьян не нашлось общего начала, которое помогло бы им прийти к миролюбивому решению вопроса о земле даже друг с другом... Во время «грабязки», в качестве такого общего начала, являлось крепостное прошлое. Более гнушающиеся крестьяне устранились от раздела лишь потому, что они не были крепостными дадного помещика. Можно ли с такими узкими и темными взглядами на земельный вопрос разрешить удовлетворительно эту самую запутанную и сложную задачу нашей жизни? Не ясно ли, что только государство с общегосударственной возвышенной точки зрения, при напряжении всепародного ума и всепародной мысли, может решить задачу широко и справедливо. Конечно, для этого нужно государство преобразованное. Из-за этого преобразования теперь идет борьба и льется кровь... Из-за ограничения самодержавного произвола мы все мятемся, страдаем и ищем выхода.

Все это я постарался по возможности кратко изложить теперь перед большим великим писателем, в душе которого все злобы и противоречия нашей жизни сплелись в самый большой узел. Он слушал внимательно. Когда я кончил, он еще некоторое время лежал с закрытыми глазами. Потом глаза опять раскрылись, он вдумчиво посмотрел на меня и сказал:

— Вы, пожалуй, правы.

На этом мы в тот раз и расстались. Впоследствии, когда революционная волна 1905 года упала, Толстой опять вернулся к христианскому апархизму и непротвлению.

III. Из письма к Т. А. Богданович.

...Письмо это пишу в поезде между Москвой и Тулой. В Туле разузнаю, как пробраться в Ясную Поляну, а завтра в четыре часа дня опять двинусь в дальнейший путь из Тулы на Харьков.

...Доехал до Тулы. Хотел бросить это письмецо в ящик, а потом подумал, — что лучше сделать это завтра, «после Толстого». Поезд, с которым я сюда приехал, сворачивает на Челябинск. Зато готов отойти «дачный». На нем до Козловой Засеки. Оттуда, кажется, придется идти пешком. Говорят, недалеко.

Продолжаю, сидя на гряде камней между Засекой и Ясной Поляной. Сзади на возвышении видны здания станции в лесу. Впереди — широкая просека, в конце ее — на небольшой горочке Ясная Поляна. Тепло, сумрачно, хочет моросить. У меня странное чувство: ощущение тихого сумеречного заката, полного спокойной печали. Должно быть — ассоциация с закатом Толстого. Едет мужик на плохой клячечке. Плестется старик с седой бородой, в стиле Толстого. Я подумал: не он ли? Нет. Какие-то двое юношей, один с аппаратом. Пожалуй, тоже пилигримы, как и я. Трое мужиков, — впрочем, в пиджаках, — с сетями и коробами на плечах. Идут ловить птицу. Спрашиваю дорогу в усадьбу Толстого. — А вот, скоро ворота направо. Там еще написано, чтобы сторонним лицам ни отнюдь не ходить. — Проходят. Я царапаю эти строчки. Моросит. Над лесом трещит сухой короткий гром. Пожалуй, вымочит. Не обещаю вам систематического interview, но набросаю по нескольку отрывочных строчек, вот так, где попало, под дождем, в усадьбе Толстого, в поезде на обратном пути.

Продолжаю уже в постели, в Ясной Поляне, после обеда и вечера, проведенного с Толстым. Встретили меня очень радушно.

— «Господин Короленко — вас ждали», — сказал лакей в серой ливрее, когда я, мокрый и грязный, вошел в переднюю. Застал я, кроме Л. Н. и Софьи Андр., еще дочь Александру Львовну (младшую), очень милую и видно душевную девушку, потом невестку (вторую жену Андрея Львовича) и еще какую-то добродушную молодую женщину (кажется, подругу Ал. Львовны) и, наконец, — Льва Львовича, который меня довольно радушно устроил на ночлег рядом с собой.

Софья Андреевна встретила меня первая из семьи и, усадив в гостиной, сразу высыпала мне, почти незнакомому ей человеку, несколько довольно неожиданных откровенностей. Видно, что семья эта привыкла жить под стеклянным колпаком. Приехал посетитель и скажет: ну, как вы тут живете около великого человека? Не угодно ли рассказать?.. Впрочем чувствуется и еще что-то. Не секрет, что в семье далеко от единомыслия. Сам Толстой... Я его видел больного в Гаспре в 1903 году, и теперь приятно поражен: держится бодро (спина слегка погнулась, плечи сузились), лицо старчески здоровое, речь живая. Не вещает, а говорит хорошо и просто. Меня принял с какой-то для меня даже неожиданной душевной лаской. Раз, играя в шахматы с Булгаковым (юноша секретарь), — вдруг повернулся и стал смотреть на меня. Я подошел, думая, что он хочет что-то сказать. — Нет, ничего, ничего. Это я так... радуюсь, что вас вижу у себя. — Разговор сейчас передавать не стану: это постараюсь восстановить на досуге. Очень хочется спать. Скажу только, что Сергеенко прав: чувствуются сильные литературно-художественные интересы. Говорит, между прочим, что считает создание типов одной из важнейших задач художеств. литературы. У него в голове бродят типы, которые ему кажутся интересными, — «но, все равно, уже не успею сделать». Поэтому относится к ним просто созерцательно.

Ну, пока спокойной ночи.

7-го августа.

Опять в поезде уже из Тулы. Утром встал часов около шести и вышел пройтись по мокрым аллеям. Здесь меня встретил доктор и друг дома, Душан Петрович, словинец из Венгрии, — фигура очень приятная и располагающая. Осторожно и тактично он ввел меня в злобы дня данной семейной ситуации, и мною, что вчера говорила мне С. А., — стало вдруг понятно... Потом из боковой аллеи довольно быстро вышел Толстой и сказал: — Ну, я вас ищу. Пойдем вдвоем. Англичане говорят: настоящую компанию составляют двое. — Мы бродили часа полтора по росе между мокрыми соснами и елями. Говорили о науке и религии.

Вчера С. А., сказала мне, что противоречия и возражения его раздражают. Поэтому сначала я держался очень осторожно, но потом мне стало обидно за Толстого и показалось, что он вовсе не нуждается в таком «бережении». Толстой выслушивал внимательно. Кое-что, видимо, отметил про себя, но затем в конце все-таки свернул, как мне показалось, в сторону неожиданным диалектическим приемом. Затем мы пошли пить чай, а потом с Алекс. Львовной поехали к Чертковым. Она очень искусно правила по грязной и плохой дороге и с необыкновенной душевностью еще дополнила то, что говорил Душан Петрович. Я был очень тронут этой откровенностью (очевидно—с ведома Толстого),—и почувствовал еще большее расположение к этой милой и простой девушке.

После этого с Толстым мы наедине уже не оставались, а после завтрака он пошел пешком вперед по дороге в Тулу. Булгаков поехал ранее верхом с другой лошадыю в поводу; я нагнал Л. Николаевича в коляске, и мы проехали версты 3 вместе, пока не нагнали Булгакова с лошадьми. Пошел густой дождь. Толстой живо сел в седло, надев на себя нечто в роде азяма, и две верховые фигуры скоро скрылись на шоссе среди густого дождя. А я поднял верх и коляска быстро покатила меня в Тулу. Впечатление, которое я увожу на этот раз,—огромное и прекрасное.

Ну вот,—начал я с К. И., а закончил bestолковейшим отчетом о свидании с Толстым. Так как даже голое указание на серьезное разногласие в семье не должно распространяться в публике, то, значит, вы так с этим письмом и поступайте. Разумеется, на дачке Коуко оно не секрет, но затем—отдаю его вашему «редакторскому» такту и усмотрению. Можно опасаться, что как все, относящееся до Толстого,—и эти семейные обстоятельства станут достоянием публики, но, конечно, не от меня. Между прочим,—когда мы с Ал. Львовной возвращались от Черткова,—нас остановил какой-то молодой человек с любезным предупреждением о поездах жел. дороги «для Владимира Галактионовича». Это оказался «специальный корреспондент» «Русского Слова». Живет в крестьянской избе и собирает сведения о семье Толстых. Смотрят на этого беднягу с нескрываемой (и понятной) враждой.

Последние строки дописываю уже на Харьковском вокзале. Еще всем привет.

Ваш Вл. Короленко.

P. S. Пример толстовской диалектики. Речь идет о знании. Я говорю: познание мира изменяет понятие о Боге. Бог—зажигающий фонарики для земли,—одно. Бог—создавший в каждом этом огоньке целый мир и установивший законы этого мироздания—уже другой. Кто изменил это представление—Галилеи, смотревшие в телескопы с целью *познания*, чистого и бескорыстного, т.-е. научного. На это Толстой, сначала как-будто немного приостановившийся,—потом говорит: «Как это мы все забываем старика Канта. Ведь этих миров в сущности нет. Что же изменилось?»—«Наше *представление* и изменилось, Лев Николаевич»... На вопрос,—думает ли он, что нет ничего, *соответствующего* нашим представлениям,—Толстой не ответил.—О личностях и учреждениях говорить не привелось. Времени было досадно мало.

P. S. Часа через три поезд отправляется в Полтаву... Мне хочется прибавить, что из-за впечатлений Ясной Поляны, этого пути, близкого приезда—на меня так живо смотрят Кусккала, финляндские поезда, улицы, переулки, Мерцкие, берег, сестренческие огни и моя маленькая картонная юмнатка... Спасибо вам, милая хозяйюшка этой дачки.

Посылаю это письмецо заказным. Так не хотелось бы, чтобы потерялось. Пусть оно бессвязно и поверхностно, но в его складочках, кроме капель дождя, столько непосредственных ощущений и—живых воспоминаний и чувств, к ним прирмешавшихся.

Вспоминайте иногда вашего недавнего жильца. Расцелуйте детишек.

Пугачовская легенда на Урале.

Одна выписка из следствия оренбургской секретной комиссии об Емельяне Пугачеве начинается так: «Место, где сей изверг на свет произник, есть казачья малороссийская Зимовейская станица; рожден и воспитан, по видимому его злодеянию, так сказать, адским млеком от «общества» наложил свою печать и на последующие взгляды, и на историю... казака той станицы Ивана Михайлова Пугачова жены Анны Михайловой»¹⁾).

Все современные официальные характеристики Пугачова составлялись в том же канцелярски-проклинательном стиле и рисуют перед нами не реального человека, а какое-то невероятное чудовище, воспитанное именно «адским млеком» и чуть не буквально злопыхающее пламенем.

Этот тон установился на долго в официальной переписке.

Известно, как в то время относились ко всякого рода титулам, в которых даже подскоблить описку считалось преступлением. У Пугачова тоже был свой официальный титул: «Известный государственный вор, изверг, злодей и самозванец Емелька Пугачов». Красноречивые люди, обладавшие даром слова и хорошо владевшие пером, ухитрялись разукрасить этот титул разными, еще более выразительными надстройками и прибавлениями. Но уже меньше этого сказать неприлично, а пожалуй, даже неблагонадежно и опасно.

Литература не отставала от официального тона. Тогдашнее «образованное» общество, состоявшее из дворян и чиновников, чувствовало, конечно, что вся сила пародного движения направлялась именно против него, и понятно, в каком виде представлялся ему человек, олицетворявший страшную опасность. «Ты подлый, дерзкий человек,—восклидал в пиитическом рвении Сумароков при известии о поимке Пугачова,—

Незапно коего природа
Низвергла на блаженный век
Кю бедству многого народа:
Забыв и правду, и себя,
И только сатану любя,
О Боге мыслил без боязни...

«Сей варвар,—говорит тот-же поэт в другом стихотворении:

...не щадил ни возраста, ни пола,
Пес тако бешенный, что встретит, то грызет,
Подобно так на луг из благистого*дола
Дракон шипя ползет.

За это, разумеется, и «казни нет ему достойные на свете», «то мало, чтоб его сожечь» и т. д. Чувства современников, конечно, легко объяснимы. К несчастью для последующей истории первоначальное следствие о Пугачеве пошло в руки

¹⁾ Чтения в «Императорском О-ве Истории и древностей» 1859, Июль—сентябрь.

ничтожного и совершенно бездарного человека, Павла Потемкина, который, повидимому, прилагал все старания к тому, чтобы первоначальный облик изверга, воспитанного «адским млеком», как-нибудь не исказился реальными чертами. А так как в его распоряжении находились милостиво предоставленные ему великой Екатериной застенки и пытка, то понятно, что весь материал следствия сложился в этом предвзятом направлении: лубочный, одноцветный образ закреплялся вынужденными показаниями, а действительный облик живого человека утопал под суздальской мазней застеночных протоколов. Бездарность этого «троюродного братца» всемогущего временщика была так велика, что даже чисто фактические подробности важнейших эпизодов предшествовавшей жизни Пугачова (например, его поездки на Терек, где, повидимому, он тоже пытался поднять смуту), стали известны из позднейших случайных находок в провинциальных архивах ¹⁾. Павел Потемкин старался лишь о том, чтобы по возможности сгустить «адское млеко» и сохранить «сатанинский облик».

Нужно сказать, что задача была выполнена с большим успехом. Тотчас по усмирении бунта военный диктатор Панин, облеченный неограниченной властью, приказал расставить по дорогам у населенных мест по одной веселице, по одному колесу и по одному глаголю для вешания «за ребро» (!) не только бунтовщиков, но и всех, «кто будет одного злодея самозванца Емалку Пугачова признавать и произносить настоящим, как он пазывался» (т.-е. Петром III). А кто не «задержит и не представит по начальству таковых произносителей, тех селений все без изъятия (!) возрастные мужики... будут присланными командами переказнены мучительнейшими смертями, а жены и дети их отосланы в тягчайшие работы».

Совершенно понятно, какая гроза нависла после этого над всякими рассказами о Пугачове, когда вдоль дорог стояли виселицы, колеса и глаголи с крючьями, по селам ходили команды, а в народе шныряли доносчики. Все, не отмеченное официально принятым тоном, все даже просто нейтральные рассказы становились опасны. Устное предание о событиях, связанных с именем Пугачова, разделилось: часть ушла вглубь народной памяти, подальше от начальства и господ, облекаясь постепенно мглой суеверия и невежества, другая, признанная, и, так сказать, официально принятым тоном, все, даже просто нейтральные рассказы, становились Настоящий же облик загадочного человека, первоначальные пружины движения и многие чисто фактические его подробности исчезли, может быть, навсегда, в тумане прошлого. «Все еще начало выдумки сей,—писала Панину Екатерина,—остается закрытым». Остается оно пеленым и до настоящего времени. Фактическая история бунта с внешней стороны разработана обстоятельно и подробно, но главный его герой остается загадкой. Первоначальный испуг.

Как истинно-гениальный художник, Пушкин сумел отрешиться от шаблона своего времени настолько, что в его романе Пугачов, хотя и проходящий на втором плане, является совершенно живым человеком. Посылая свою историю Пугачовского бунта Денису Давыдову, поэт писал, между прочим:

Вот мой Пугач. При первом взгляде
Он виден: плут, казак прямой.
В передовом твоём отряде
Урядник был бы он лихой.

Между этим образом и не только сумароковским извергом, возлюбившим сатану, но даже и Пугачовым позднейших изображений (напр., в «Черном годе» Данилевского)—расстояние огромное. Пушкинский плутоватый и ловкий казак, немногочисленный разбойник в песенном стиле (вспомним его разговор с Гриневым об орле

¹⁾ Один из современников в письме к самому Павлу Потемкину указывал, что даже после побега из казанской тюрьмы, до появления Пугачова на Яике, остается непроследенной значительная часть похождения самозванца.

и вороне)—не лишенный движений благодарности и даже великодушия,—настоящее живое лицо, полное жизни и художественной правды. Однако, возникает большое затруднение всякий раз, когда приходится этого «лихого урядника» выдвинуть на первый план огромного исторического движения. Уже Погодин в свое время обращался к Пушкину с целым рядом вопросов, не разрешенных, по его мнению, «Историей Пугачовского бунта». Многие из этих вопросов, несмотря на очень ценные последующие труды историков, ждут еще своего разрешения и в наши дни. И главный из них—это загадочная личность, стоявшая в центре движения и давшая ему свое имя. Историкам мешает громада фальсифицированного, сознательно и бессознательно, следственного материала. Художественная же наша литература после Пушкина сделала даже шаг назад в понимании этой крупной и, во всяком случае, интересной исторической личности. От «лихого урядника» и плутоватого казака мы подвинулись в направлении «адского млека» и лубочного злодея. И можно сказать без преувеличения, что в нашей писанной и печатной истории, в самом центре не очень удаленного от нас и в высшей степени интересного периода, стоит какой-то флимак, человек без лица.

Нельзя сказать того же о Пугачове народных преданий, которые почти угасли уже во всей остальной России, но чрезвычайно живо сохранились еще на Урале, по крайней мере, в старшем казачьем поколении. Здесь ни строгие указы, ни глаголи и крючья Панина не успели вытравить из народной памяти образ «набеглого» царя, оставшийся в ней неприкосновенным, в том самом,—правда, довольно фантастическом,—виде, в каком этот «царь» явился в первые из загадочной степной дали среди разбитого, подавленного, оскорбленного и глубоко уничтоженного старшинской стороной рядового казачества.

Попытаться собрать еще не вполне угасшие старинные предания, свести их в одно целое и, быть может, найти среди этого фантастического нагромождения живые черты всколыхнувшие на Яике первую волну крупного народного движения,—было одною из целей моей поездки на Урал в 1900 году. Меня предупреждали, что при замкнутости казаков и недоверии их ко всякому «иногороднему», в особенности же наезжему из России,—задача эта трудно осуществима. И, действительно, однажды мне пришлось наткнуться на довольно комичную неудачу.

От одного из жителей Кругло-озерной станицы (Свистуна), старого и уважаемого казака, Фил. Сидоровича Ковалева, я узнал, что в Уральске, в куренях, вблизи церкви живет внук Никифора Петровича Кузнецова (родного племянника Устиньи Петровны), Наторий (Енаторий) Фелисатович Кузнецов, человек грамотный и любознательный, сделавший будто бы какие-то записи со слов деда, любителя и хранителя преданий Кузнецовского рода. Рассказами этого деда, Никифора Кузнецова, уже пользовался известный писатель Иоасаф Игн. Железнов, но мне было все-таки любопытно повидать его внука, живого преемника этого предания.

Я розыскал его действительно за собором, в куренях, в старом, недавно обгоревшем домике. Однако, когда я объяснил ему цель своего прихода и даже сослался на указание Ф. С. Ковалева—Наторий Кузнецов только насупился.

— Ничего я не могу вам сказать. Приемный дедушка верно, что рассказывал... Ну, только я не могу.

— Почему же?

— Это есть речи политические...

Я искренно удивился.

— Позвольте, Наторий Фелисатович. Да ведь дедушка ваш рассказывал Железнову, и Железнов это напечатал. Однако, никакой беды из этого для вашего дедушки не вышло.

— Железнов писал. Верно. Ну, только дедушка сказал ему, может быть, десятую часть...

Чтобы сломить это недоверие, я раскрыл нарочно захваченную с собой книгу Железнова и стал читать записанный автором рассказ Никифора Кузнецова. Нат-

рий слушал и одобрительно кивал головой, вставляя свои замечания. Я уже стал надеяться, что лед будет сломан, но в это время с порога избушки (наш разговор происходил на дворе) поднялась жена Кузнецова, смуглая казачка с черными решительными глазами.

— Молчи, Наторий, — сказала она зловеще. — Кабы одна голова была... а то у тебя семейство.

На руках у нее заплакал грудной ребенок, и Наторий сразу осекся.

— Нет, невозможно, — сказал он. — Речи политические... Когда бы меня уже не трясли...

— То есть как же это «трясли»?.. И за что?

— А вот за это самое, — за Пугачова...

— Что вы говорите! Кому теперь нужно.

— Видно, что нужно... Видите, как это дело было.

— Молчи, Наторий, — опять сказала казачка.

— Нет, что-ж, это можно ничего. Видите. Значит, еду я как-то по железной дороге до Переметной. В вагоне были еще разные народы, в роде купцов. Стали вот этак-же промежду себя говорить: один, например, говорит: царь был настоящий, то есть, как выражал о себе, то была настоящая правда... Ну, другой ему напротив: «вот, говорит, у Железнова писано: признается так, что донской казак». И про дедушку мово помянул. Я, как был тут-же, и говорю: «Железнову, значит, мой дедушка рассказывал, ну, не все. Если-бы все, говорю, обсказал, то и Железнов написал-бы другое». Говорим этак-то, а тут кондуктор. Знакомый был. Дернул меня за рукав, отвел в сторонку и говорит: «Ты, говорит, Наторий Фелисатович, не моги эти слова выражать», — А что-мол. — «Да так. не выражай этих речей. Речи, слышь, политические». Ну, я послушался. Только вдруг на одной станции — жандармы. Заперли вагон, никому чтобы не выходить, и говорят: «кто здесь выражал политические речи». Вот оно и дело-то... Договорились...

— Что-ж, наверное ничего никому не сделали.

— То-то: они, значит, купцы говорят: «мы вот по книжке. Господин Железнов писал, офицер. Извольте посмотреть». Ну, а я, значит, спасибо кондуктору, в стороне. Только страхом отделался. А кабы я все-то выразил...

— Вот и теперь молчи, — отрезала жена.

— И то молчу.

Я был у него два раза. Оба раза он очень охотно разговаривал о своем дедушке, о прежнем житьеве Кузнецовых, об их родстве и при этом косвенно сообщал мне очень много любопытного и в бытовом, и в историческом отношении. Но, как только разговор задевал прямее запретную тему, казачка опять пронизывала его своими черными глазами, и он прикусывал язык.

— Не могу, политические речи, — повторял он упорно. — Кабы не трясли...

Впрочем, расстались мы с этим представителем «царицына рода» дружески, и я даже думаю, что едва-ли он мог сообщить мне что-нибудь более характерное, чем этот маленький эпизод из нашей живой современности.

В других местах, особенно во время своей поездки по станциям, я был более счастлив. Престарелые казаки более храбры, чем молодежь, и более охотно делились своими сведениями и своим глубоким убеждением по этому предмету.

Собрав то, что удалось мне записать по личным отзывам и что записано другими, и просматривая этот материал подряд, — я был поражен замечательной цельностью того образа, который вырост из этих обрывков, а также глубокой верой рассказчиков в его реальность. Убеждение в том, что пришел, поднявший роковую бурю в 1773 году, был настоящий Петр Федорович, держится на Урале не только в простом рядовом казачестве. Мне пришлось довольно близко познакомиться с исторической семьей Шелудяковых, предки которых принимали деятельное участие в роковой драме: одного из Шелудяковых Пугачов очень любил и называл почему-то крестным батюшкой. Впоследствии он попал в плен под Оренбургом и был замучен

в застенке. Таким образом в этой семье, как и во многих других на Урале, — к историческому интересу примешивается семейная традиция. Уже родители теперешних Шелудяковых были люди вполне интеллигентные, и однако, когда отец умирал (в начале 70-х годов), то выражал сожаление, что не доживет до 1875 года, когда, по общему убеждению, печать тайны с пугачовского дела должна быть снята и тогда должно было обнаружиться, что Яик, вообще, и семья Шелудяковых, в частности, служили правому делу. Говорят, Пушкин в свой приезд и кратковременное пребывание в Уральске показывал современникам бунта портрет настоящего Петра Федоровича, голштинская физиономия которого, как известно, нисколько не походила на казацкий облик Пугачова. Однако, теперь я слышал из нескольких уст, будто в этом портрете казаки признали как раз того самого человека, который был у них на Яике. Вообще, при указании на решительное отрицание историей всякой возможности этого тождества даже у интеллигентных казаков, вы встретите выраженные колебания и скептицизма.

Нужно, впрочем, признаться, что, как уже сказано выше, писанная история страдает большими недомолвками, неполнотой, а иногда и прямо противоречиями. А главное—она оставляет центральную фигуру человеком «без лица». С этим пародное воображение не может, конечно, примириться. Ему, понятно, чужда историческая критика, но зато полуфантастический образ, рисуемый народным преданием, отличается замечательной полнотой и яркостью. Это живой человек, со всеми достоинствами и недостатками реальной личности и, если к этим реальным чертам примешивается порой элемент мистический и таинственный, то это касается лишь его царского звания. Петр Федорович казачьих легенд—настоящий человек, с плотью и кровью, кипящий желаниями и страстями; Царь Петр III—окружен Nimbus таинственности и роковых, не вполне естественных влияний.

Причины его низвержения с престола рисуются с особым реализмом. Казачье предание представляет Петра III широкой натурой, гулякой и неверным мужем. Поведение его из тех, которые приходится оправдывать известной поговоркой: быть молодцу не укор. Екатерина, наоборот, в это время изображается хотя и довольно строптивой, но все же верной женой, старающейся унять мужа. На этой почве разыгрывается катастрофа. Однажды пришел иностранец корабль, и Петр Федорович отправился на него, да и загулял с дворянскою девицей Воронцовой. Указание этого имени, совпадающее с исторической действительностью, показывает, как широко, в сущности, распространялись в те времена разные придворные «комеражы». «Ведь от нас,—говорил Железнову казак Бакирев,—испокон веку кажинный год ездили казаки в Москву и в Питер с царским кусом... Так как же не знать. Шила в мешке не утаишь»... Шпионы донесли царице, что царь проклажается с Воронцовой. Той, как жене, это показалось обидно, она не стерпела и побежала туда сама. Пришла и говорит: «не пора ли домой?» Но загулявший муж грубо прогнал ее. «Пошла сама домой, покуда цела». Тогда оскорбленная Екатерина пригласила своих приверженцев, подняла образа и объявила себя царицей. Когда загулявший царь, с похмельем в победной головушке, решил, наконец, на третью или четвертую ночь, вернуться домой,—он нашел ворота запертыми, а часовой объявил, что царя нет, а есть царица. Он сунулся было в Кронштадт (опять черта историческая), но и там его не пустили. Тогда, страшась враждебных бояр, Петр Федорович решил скрыться.

Тут уж личность Петра Федоровича исчезает в тумане, а над царем водворяется мистическая власть высшей силы, какого-то таинственного предопределения. Оказывается, что где-то было положено испокон веков, что царственному внуку Петра Великого предстоит познать много горя и страдать, как простому изгнаннику, гонимому и преследуемому в течение 15 (по друг. вариантам 12) лет. Объявиться он должен был не ранее этого срока. Но царственный скиталец, узнавший на себе самом все страдания народа и всю неправду властей, попав вдобавок на Яик, в то время действительно «терпевший великую изневагу», стоивший под

давлением вопиющей неправды и страшных репрессий после дела Траубенберга,— не выдержал и, подчинившись опять, хотя и в другом уже направлении, своей бурной натуре—нарушил веления судьбы и об'явился ранее.

Это нарушение веления высшей воли, вызванное состраданием и нестерпимой жалостью к измученному народу, является в преданиях тем трагическим двигателем, который определил судьбу движения. Все было за Пугачова, но выиграть свое дело он не мог именно потому, что начал не в срок. И он знал это. Чрезвычайно интересно, что семейное предание Кузнецовых связывает самую женитьбу набеглаго царя с этим трагическим сознанием. В записанных Железновым рассказах женитьба эта мотивируется различными соображениями: во-первых, царям закон не писан; во-вторых, и закон дозволяет жениться после семилетней разлуки; в третьих, Екатерина явилась его гонительницей; в четвертых, наконец, в это время на Яике ходили (верные, но запоздалые) слухи о намерении Екатерины выйти за Орлова. Но упомянутый выше Енотарий Кузнецов, среди своей сдержанной беседы, сообщил мне, что и Пугачов, и даже Устинья хорошо знали роковое значение этой свадьбы. Когда Пугачов стал явно выражать свои намерения относительно сватовства, то Устинья, веселая, разбитная и хорошая песенница, сложила будто-бы песню, в которой очень смело говорила о муже, сватающемся от живой жены. Пугачов отвел ее в сторону и сказал:—«Пусть лучше одна моя голова пропадает, не чем пропадать всей России. Вот теперь идут из Питера ко мне войска и генералы; если они ко мне пристанут,—тогда вся Россия загорится, дым станет столбом по всему свету. А когда я женюсь на казачке,—войска ко мне не пристанут, судьба моя кончится и Россия успокоится». Повторение этого же трагического мотива я слышал и в других местах на Урале. Таким образом,—царь-странник, невольно нарушивший веления судьбы, покорно шел ей навстречу, а Устя шла навстречу его воле..

Публичная казнь Пугачова в Москве (10 янв. 1775 г.), в присутствии сотен тысяч народа нисколько не поколебала этой веры. Наоборот, нужно сказать, что некоторые обстоятельства этой казни сопровождалась как-раз теми неясностями мотивов и странностями, о которых я говорил выше, и которые очень на руку стройному народному преданию. По сентенции, утвержденной Екатериной, Пугачов подлежал четвертованию. Сначала ему должны были отрубить руки и ноги и тогда уже голову. Однако, известно, что это не было выполнено. По прочтении приговора и исполнении формальностей, палач схватил Пугачова сзади, его повалили и прежде всего отрубили голову. После этого среди водворившейся тишины послышался голос экзекутора, упрекавшего палача и грозившего ему самому казнью за нарушение приговора ¹⁾. Этот неоспоримый факт, установленный и русскими и иностранцами свидетельствами, служил предметом удивленных толков. Г-жа Визельке, восторженная поклонница и корреспондентка Екатерины, прочитав об этом в иностранных газетах,—высказала в ближайшем письме предположение, что это было сделано согласно гуманной «воле Императрицы, а не по ошибке палача». Екатерина охотно пошла навстречу такому толкованию своей европейской поклонницы.—«Сказать вам правду.—писала она.—вы верно отгадали относительно промаха палача при казни Пугачова: я думаю, что генерал-прокурор и полицмейстер помогли случиться этому промаху, потому что, когда первый уезжал из Петербурга, я сказала ему шутя: «никогда не попадайтесь мне на глаза, если вы допустите малейшее мнение, что заставили кого-бы то ни было претерпеть мучения», и я вижу, что он принял это к сведению» ²⁾.

¹⁾ Un d'entre eux (т.-е. ближайших зрителей) que je crois avoient un des yeux. censura vivaient à haute voix le bourreau de sa mépriss («один из них, я полагаю один из судей, бранил громким голосом палача за его оплошность»). Корреспонденция очевидца в «Утрехтской газете» 3-го марта 1775 года. Чтения в Обществе Истории и древностей). Болотов называет этого чиновника экзекутором.

²⁾ Сборник Исторического Общества XXVII. 22. (Курсив в цитате мой.)

Позволительно, однако, думать, что это объяснение не вполне точно. Что перед отъездом Вяземского, у царицы были с ним разговоры, это, конечно, естественно; едва-ли только они велись шутя. Что факт резкого нарушения приговора не мог объясняться также простой ошибкой палача,—в этом сомневаться едва-ли возможно. Однако, если-бы имелось в виду не допустить излишних страданий кого-бы то ни было,—то, во 1-х, у Екатерины было для этого прямое средство, в смягчении всех казней, и тогда эта гуманность коснулась-бы не одного Пугачова. Между тем, в тот-же день и на том-же месте казнены другие пугачовские сообщники, и никто не упоминает о смягчении также и казни, напр., Перфильева. Едва-ли логично предполагать, что гуманность Екатерины коснулась одного лишь главного виновника и обошла второстепенных. А затем об этом, конечно, не мог-бы не знать экзекутор, своим окриком по адресу палача только подчеркивавший отступление от приговора, которое без этого могло-бы пройти менее замеченным.

Как бы то ни было, этот странный эпизод не только явился загадочным для сотен тысяч зрителей, собравшихся в день казни на Болоте, но остается не вполне разъясненным и для истории. К этому следует только прибавить, что среди многотысячной толпы войск и народа стояла также и зимовая яицкая станция, состоявшая из «верных», т.е. старшинской стороны казаков, которые, даже сражаясь с Пугачовым, но по большей части все-таки считали его настоящим царем, воюющим против царицы... И возвратясь на Яик, казаки рассказали о странном эпизоде казни.

Легенда прекрасно воспользовалась этой загадкой. Она не знает недоговоренностей и противоречий. Она цельна, стройна, часто очень фантастична, порой нелепа, но совершенно последовательна и логична.

В казнь Пугачова уральское войско не поверило. Царя казнить нельзя. Человек, которого Болотов описывает на эшафоте «совершенно несоответствующим таким деяниям, какие производил сей изверг», а скорее походившим «на какого-нибудь маркитантишку или харчевника плюгавого»—по мнению казаков и был совсем не тем, кого войско видело на коне и который одним своим появлением расстривал ряды противников. Это было, по словам легенды,—подставное лицо, какой-то заурядный преступник. И, когда он хотел будто-бы сказать, что умирает вместо настоящего царя,—ему поторопились отрубить голову...

К этому присоединился новый факт, исторически верный и поразивший воображение народа, а именно, скоростигшая смерть Мартемьяна Бородина...

Мартемьян Бородин—самая видная фигура из казачьих противников Пугачова, игравший огромную, почти определяющую роль в допугачовском брожении на Урале, и прямая антитеза Пугачова в глазах «войска». Богач, захвативший неизмеримые пространства «обще» степи, владелец крепостных на вольных казачьих землях, насильник, грабитель, человек с железною волею, бурным темпераментом и в то-же время хитрый дипломат, умевший задаривать и задабривать петербургское начальство,—он был душой ненавистной казакам старшинской партии, которая перед появлением Пугачова даже носила название «бородинской». Против него и его действий были направлены даже личные указы Екатерины, но он умел обратить их в ничто, искусно вызывая волнения, после которых оказывались виновны его противники. Можно предположить с большой долей вероятности, что не будь на Яике Мартемьяна Бородина, не было-бы, может быть, и Пугачова... Но, как это часто бывает, Мартемьян, истинный виновник, вызвавший в войске общее недовольство и справедливый гнев, которые повели к вспыхке,—потом борьбой с вызванным им-же движением не только «заслужил» свои воровства и тяжкие вины, но и явился в глазах правительства в ореоле преданности и самоотвержения. В борьбе с Пугачовым для Мартемьяна шла речь о собственной голове, над которой тяготели обвинения и проклятия всего войска, но Мартемьян очень ловко выставил эту вражду к нему войска, как свои заслуги перед престолом. При самом появлении Пугачова, Мартемьян понял опасность прежде всего для

себя лично,—и кинулся киргизской степью в Оренбург... Впоследствии, когда Пугачов был уже посажен в железную клетку, екатерининские генералы знали, что Мартемьян будет лучшим его сторожем. И, действительно, Мартемьяну было поручено сопровождать пленника в Москву ¹⁾...

Казачьи предания приводят много подробностей этого пути. Прежде всего, за городским валом и башней по казанскому тракту, родня Бородина вышла, по обычаю, провожать его в дорогу. Стали пить водку и паливку. Пугач выглянул из клетки и сказал: «Мартемьян Михайлович. Поднеси-ка мне». Но Мартемьян грубо отказал. Пугачов побледнел от оскорбления и говорит: «Хорошо-же. Ты хочешь видеть мою смерть. Не удастся. Я скорее твою увижу». Немного погодя, один из старшин, Михайлов, подошел к нему и поднес ему из своего стакана. Пугачов выпил и сказал: «Спасибо, дружище. Не забуду я тебя. Запомните, что я скажу,—сказал Пугач всем тут бывшим:—отныне род Михайлов возвысится, а род Бородина гадет»... ²⁾).

Дорогой Пугач тоже предостерегал Бородину и говорил ему с усмешкой: «Мартемьян Михайлович, одумайся, куда едешь, зачем?.. Эй, Мартемьян Михайлович. Поверни-ка оглобли назад, пока время есть»...

Престарелый казак Требухинской станицы, Апаний Иванович Хохлачев, с глубоким убеждением подтверждал мне все, записанное от разных лиц Железновым, прибавил к этому еще несколько эпизодов, слышанных, по его словам, от самих участников или от ближайших родственников. Между прочим, с Мартемьяном Бородиным, в качестве ординарца, ехал его любимец, молодой казак Михайло Тужилкин. Однажды, где-то на привале, во время роздыха, суровый атаман заставил Тужилкина искать у себя в голове. Находя эту минуту подходящей для интимного разговора, Тужилкин спросил:

— Скажите, Мартемьян Михайлович, кого мы это везем: царя или самозванца?

— Царя, Мишенька, — ответил будто-бы Мартемьян.

Тужилкин пришел в ужас.

— Что-же мы это делаем!—воскликнул он.

— Да что-же делать-то было... Все равно ни его, ни наша сила не взяла-бы,—ответил Бородин.

В Сакмарской крепости, куда будто-бы прибыл поезд с Пугачовым в клетке,—навстреч им попался фельд-егерь из Петербурга ³⁾. Подойдя к клетке и увидя там Пугачова, фельд-егерь затрепетал и всплеснул руками (Апаний Иванович очень драматично и картинно изобразил ужас фельд-егеря и его жесты).

— Б-боже ты мой, что такое сделали!—закричал он.—Отомкните, сейчас отомкните!... Что-ж теперь будет?..

Этот ужас объяснялся, разумеется, тем, что офицер узнал в клетке царя.. Потом, выйдя с Бородиным на крепостной вал, тот-же фельд-егерь долго уговаривал его распустить казаков и «просто» ехать с Пугачовым в Петербург, к царице.

¹⁾ «По преданиям казаков,—говорит Железнов (111—203),—Бородин был в числе конвойных Пугачова, но, по некоторым данным, до меня дошедшим, я заключаю, что он не конвоировал Пугачова, а приехал в Петербург уже в ноябре или даже декабре 1774. Это не верно. В числе выписок, сделанных мною из войскового архива, есть выписка из Указа Гл. Крѣгс-Комиссариата из конторы г-ну премьер-манору Бородину, от 22-го декабря 1774 г., в котором приводится расчет денег, следующих «за проезд с Вами от войска Яицкаго с рыбою також и для провождения злодея Пугачева в Москву, находящейся в команде Вашей лехкой станице» (всего жалов., прогон., а также на ковши и сабли 633 р.), Таким образом, очевидно, в этом отношении казачье предание не ошибается, и Пугачова сопровождал в Москву Мартемьян Бородин.

²⁾ Железнов, т. III, стр. 205. Предсказание не вполне оправдалось, сын Марг. Бородина был войсковым атаманом. Впрочем, умер он бездетным, и теперь прямых потомков Мартемьяна нет.

³⁾ Интересно, что по казачьим преданиям, Пугачева везли, повидимому, через Оренбург. Иначе поезд не мог бы попасть на Сакмару.

В этом наивном предложении отражается указанная уже выше черта яицких легенд о «набеглом царе». Судьба его, как царя, уже была решена, дело его проиграно, он нарушил веления рока, и царство оставалось за Екатериной. Но особа его была священна, и притом он оставался мужем царицы и отцом царевича, наследника...

Бородин не послушался, и за это его действительно постигла казнь, как и предсказывал Пугач. Судьба покарала Петра Федоровича, нарушившего ее веления, но та же судьба не могла обойти и человека, посягнувшего на достоинство «царя» и везшего его в клетке, как зверя». О самой смерти Мартемьяна Бородина рассказывают различно, но большая часть преданий приписывает ее Павлу Петровичу ¹⁾. Когда Мартемьян явился во дворец к наследнику, — рассказывал мне Ананий Иванович Хохлачев, — тот и говорит ему.

— Что тебе было, атаман господин, мово пацу не принять. Ежели-бы ты принял, то были-бы теперь в Рассее папа мой, да я, да ты третий. Ну, а теперь, атаман господин, не взыщи.

И ударили в большой колокол. Зимовая яицкая ставница стоит на площади у дворца, ждет своего походного атамана, но его все нет. И вдруг слышат: звонят в большой колокол, как на помин... Вышел на крыльцо адъютант и говорит казакам: — «Нег вашего атамана. Помер атаман в одночасье. Поезжайте, себе, с Богом».

Самый род смерти изображается тоже различно. В рассказах казаков-домоседов, не бывавших в столицах, говорится, будто Павел Петрович, разгневавшись, схватил дверную «запирку» (деревянный засов, которым задвигаются ворота) и ударил ею Бородина по голове. По другим вариантам казнь была еще жесточе. — вплоть до сдирания кожи с живого. Здесь, очевидно, играла уже творческую роль глубокая ненависть тогдашнего войска к Мартемьяну. Наконец, некоторые предания, приписывают гибель Бородина самой Екатерине, которая не могла простить грубого обращения с ее мужем. «Собрался Мартемьян Михайлович ехать из Питера (гласит одно предание, записанное Железновым) и пошел проститься с государыней, а деньщику велел исподволь укладываться. Вдруг прибежал на квартиру испуганный, бледный, словно кто гнался за ним. «Беги скорей за подводами, едем». Дорогой Мартемьян все кричал ямщику: погоняй. Проехали сколько-то станций, Мартемьян говорит деньщику по-киргизски:

— Какое, братец, я чудо видел... Стою я у матушки царицы в опочивальне, рассказываю ей, как мы сражались супротив злодея Амелки. А он, Пугач-то, вдруг из-за ширмы, как выскочит, словно зверь лютой, да как ринется на меня с кулаками, я индо обмер... Теперь, братец, вижу, что дал маху: не ездить-бы мне совсем сюда. Бог-бы с ними. Хоша и публиковали, что Амелка Пугачов, а выходит — вот он какой Пугач...

Не успел он досказать, как сзади нагоняет их фельд-егерь и требует Мартемьяна опять к царице.

Другой вариант рисует этот-же эпизод с еще более реальными подробностями. Пугач лежит в опочивальне за белыми кисейными занавесками, — «похоже только-что вышел из бани: волосы мокры, а лицо красно. У ног его на стуле сидит царевич, а у окна царица. И все плачут, платочками слезы утирают. А у притолки, словно вестовой солдат, стоит Мартемьян Михайлович, — стоит и дрожит, словно на морозе». (Железнов).

Ананий Иванович Хохлачев прибавляет к этому, будто вдова Бородина получила собственноручное письмо Екатерины и два платья бархатные: одно зеленое, другое черное. «А в письме было написано, что во твоём, дескать, горе я повишна,

¹⁾ Вся дорогу Мартемьян перекорялся с Пугачовым и попрекал друг друга, Мартемьян грозил царицей, а Пугачов ему — наследником. «Дай срок, — говорил Мартемьян, — доехать до царицы: задаст она тебе баню, до новых венчиков не забудешь». А Пугачов ему: «Дай доехать до царевича Павла Петровича. Задаст он тебе такого жару, что небо с овчинку покажется». (Железнов).

я грешница».... И сватья Анания Ивановича, жившая там-то, сама видела и письмо и платяя...

Надо заметить, что ни точная дата, ни даже год смерти Мартемьяна Бородина неизвестны, и это событие тоже покрыто какой-то неопределенностью. Железнов сомневается, что Бородин сопровождал Пугачова, как в этом уверяют казачьи предания. Он относит смерть Бородина к апрелю 1775 года на том основании, что в мае был назначен повый войсковой старшина Акутин. Но в данном случае ошибается Железнов, а предание право. Во-первых, Бородин не был войсковым атаманом, а только походным, но Пугачова сопровождал несомненно, и есть большое вероятие, что умер он во время этой поездки. В делах уральского войскового архива я нашел указание, что тысяча рублей, назначенная в награду Бородину, получена в Оренбурге, по доверенности вдовы Бородина, пятидесятским Григорием Телновым (о чем последовал указ оренбургской губернской канцелярии от 28-го ноября 1774 г.). Затем никаких упоминаний о Мартемьяне Бородине мне в делах уже не попадалось до августа 1775 г., когда в одном из прошений совершенно случайно упоминается об умершем маиоре Бородине. Этот глухой и неопределенный промежуток производит странное впечатление после того, как прежде имя деятельного старшины попадалось на всяком шагу... Нет сомнения, что «вины» М. Бородина перед правительством были громадны. Екатерина писала указы, посылала генералов для прекращения злоупотреблений, но старшинская партия, душой которой был Бородин, закаривала генералов и превращала веления царицы в ничто, пока это не вызвало бунта и кровавого усмирения, подготовившего почву для пугачовщины. Эти злоупотребления и бессиле власти войско объясняло тем, что на престоле не настоящий царь, а женщина... И когда появился царь, войско встретило его с восторгом.

Вообще-же пугачовское движение представляется мне по своей психологической основе одним из самых верноподданнических движений русского народа. Конечно, в самом зародыше его таился (и то довольно незаметно) сознательный обман. Когда в таинственном кущи, одетом в плохой рубахе и простых портках, приходилось признать царя и объявить об этом войску,—то казак Мясников, пожав плечами, сказал: «Ладно. Мы из грязи сделаем князя». Но это думали далеко не все даже из первых участников. Когда же Пугачов, одетый в царскую одежду (кафтан подарил киргизский хан), на отличном коне, с двумя казаками и отрядом выехал к форпостам,—тогда ему на встречу устремилось искреннее чувство, которое сопровождало его все время до шлахи.

Замечательно при этом, что образ Екатерины (как известно нечуждый ни до сих пор народу в крестьянской России) уральское предание окружает тоже какой-то почтительностью и мягкостью. Она была женщина, и это был ее недостаток на престоле. «Мы государыни не злословим,—говорили на собрании банкиры.—Она правосудна, но правосудие от нее не отошло и к нам не пришло». То же могли, конечно, сказать и казаки, депутаты которых не раз возвращались из Петербурга напрасно обнадеженными самой Екатериной. Но это относилось к царице и к делам правления. Лично же предание относится к Екатерине довольно мягко. Оскорбленная как женщина и жена, она чувствует понятное негодование и решается на переворот. Но вместе с тем она не может простить грубого обращения с мужем и, когда, после стольких приключений, он возвращается,—она укладывает его в постель и плачет об его страданиях. Отношения ее к Устине Кузнецовой (в действительности несимпатичные и жестокие: бедная Устя была пожизненно заключена в крепость) в предании казаков тоже отмечены великодушием и женственной добротой. Екатерина вызывает Устю в Петербург и обходится с ней очень ласково. Эта тема—встреча двух жен, якобы одного и того же бедного мужа,—разрабатывается подробно и охотно во многих рассказах, записанных Железновым. Я тоже слышал ее и из уст Анания Ивановича и отчасти Натерия Кузнецова. Во всех рассказах упоминается одна черта: когда Устю, вместе

с ее сестрой привезли во дворец, Екатерина велела выводить к ней разных лиц и все спрашивала: не этот-ли твой обрученик. Устя все отвечала отрицательно. Наконец, вывели Пугачева, и она кинулась ему на шею.—Ну,—сказала Екатерина,—попрощайся с ним, более никогда вы не увидите.— Пугача увели, а Усте Екатерина отвела дворец на Васильевском острове, где она жила долго и где у нее бывали нередко уральцы, приезжавшие в столицу.

Мне приходится еще отметить один цикл этих преданий, показывающий, какую страстную любовь питал Яик к образу своего «набеллого царя», стойвшего ему столько слез, горя и крови. Известно, что страстная любовь не мирится с актом смерти любимого человека. И Пугачов, пойманный и даже казненный, все еще мелькал на Яике и являлся своим приверженцам, то в стенах, то в самом городе.

Эти предания о странствующем и вновь преследуемом Пугачове уже совершенно фантастичны, но им нельзя отказать в своеобразной поэзии, полной тоски и грусти. Один из этих рассказов (записанный со слов старого илецкого казака С. В. Крылова, ныне (в 1900 г.) живущего в Уральске, застает Пугачова скитающимся по Общему Стрту (после бегства из Берды). Пугачев, с небольшим отрядом, едет по степи и наезжает на большой камень. Приказав казакам стреножить лошадей и ждать его, Пугачов подходит к камню и падает на него с горькими слезами. Камень подымается, и Пугачов сходит под землю. Через некоторое время он выходит и зовет за собой казаков. В подземельи их встречает величественная женщина, которая приветствует казаков и предлагает им подкрепить свои силы. Для этого у нее есть лишь небольшая краюшка хлеба, но, когда она начинает ее резать, хлеба не убывает. Пугачов зовет ее теткой, и она в разговоре упрекает его, что он не дождался назначенного для испытания срока и, об'явившись ранее,—вдобавок женился. Странная женщина, неведомо какими путями перенесенная в Яицкия степи и вдобавок под землю, была Елизавета Петровна. Попрощавшись с теткой, Пугачов опять поскакал со своими спутниками в степь навстречу таинственной судьбе...

Вечером, в тот самый день, как увезли Пугачова из Яицкого городка,—говорит другое предание, записанное Железновым,—Кузнецовы—его родня—сидели за ужином. Вдруг отворились двери и входит купец (известно, что и в первый раз Пугачов появился на Яике в виде купца).—«Хлеб соль», сказал он, войдя, и все Кузнецовы вздрогнули, и ложки у них выпали из рук («это, значит, он был, по голосу узнали»). «Не бойтесь, это я,—говорит купец.—Пришел вас успокоить... Я по милости Божией не пропаду. Прощайте, живете по добру по здорову». Сказал и был таков. Выбежали Кузнецовы на улицу, а его и след простыл, только колокольчик прозвенел...

В тот-же вечер, часами двумя ранее, тот-же купец был даже у атамана. И опять его сначала не узнали, а когда узнал другой купец, пришедший к атаману, то опять все так оторопели, что таинственный посетитель успел скрыться... Только опять колокольчик прозвенел по дороге к Чувашскому умету...

Эта вера в свое время была так сильна, что в бумагах войскового архива мне попадались дела, возникшие именно на этой почве. Так, старшинская жена Прасковья Ивановна, бывшая кухаркой у «царицы Устиньи» и страпавшая во «дворце» для Пугачова, два раза была бита плетью за то, что не верила в окончательное поражение «царя» и, при всякой ссоре с торжествующей «старшинской партией» (а старуха, повидимому, была права строптивого), «говорила о самозванце для общества непристойное и богопротивное» и даже грозила новым его прибытием, «о чем, яко-бы, в то время славилось». Известно, наконец, что вскоре по усмирении, начальство было встревожено появлением яко-бы вновь Пугачева, под именем Метлы или Заметайла. Но это оказался простой разбойник, жалкая пародия, в которой не было ничего, что-бы могло действительно расшевелить усталое народное чувство.

Таковы были легенды, еще живые, но уже начинающие бледнеть в народной памяти на Урале. Мне они показались интересными. Все они отмечены глубокой верой в истинность царского достоинства Пугачова, и личность, которую они рисуют, очень далека от действительной и несомненной личности ничтожного Петра III. Казачий Петр Федорович ни мало не похож на немца (хотя в некоторых рассказах и упоминается, что он был немец). Бурный, легкомысленный, несдержанный, он оскорбляет Екатерину, законную жену, за что вынужден странствовать и нести наказание. Очищенный этим искупительным периодом, он остается таким-же несдержанным в своей страстной жалости к народу и нарушает веление судьбы (или «старых писаний»), являясь ранее назначенного срока. Затем он опять дает волю страстной натуре и женится на Устинье. От этого дело его гибнет. И, однако, борьба с ним и особенно оскорбление его личности—является оскорблением мистически суеверного народного представления об истинном царе и главный виновник этого преступления несет должное наказание... Для Яика это было только роковое столкновение двух представителей власти, трагически разделившейся, но одинаково имевшей за себя большие основания... Царица победила благодаря тому, что пылкий царь нарушил веление рока...

Да этот образ был только тень гонимого царя. Но тень эта потрясла Россию... Степное марево, привидение—и целый ряд завоеванных крепостей и выигранных сражений... Для этого недостаточно было чьего-нибудь адского коварства и крамолы. Для этого нужно было глубокое страдание и вера... И она была,—правда, вся проникнутая невежеством и политическим суеверием, которые к сожалению, долго еще жили в темных массах, как живут и теперь эти фантастические легенды на Урале...

Вл. Нороленко.

Военные афоризмы Козьмы Пруткова.

С изданием „Военных афоризмов“ литературный лик Козьмы Пруткова приобретает несколько новых штрихов—теперь можно говорить о родовом типе этого прославленного персонажа: „Гисторические материалы Федота Кузьмича Пруткова“, „Досуги“ Козьмы и „афоризмы“ Фаддея Козьмича дают родословную Пруткова от его деда к сыну. Найденные среди бумаг А. М. Жемчужникова, главного вдохновителя и творца „Сочинений Козьмы Пруткова“, „военные афоризмы“ не включались до сих пор в так называемое полное собрание сочинений Пруткова—может быть, потому, что представляли „плоды раздумий“ только одного из участников литературного сложения Козьмы Пруткова; может быть, потому, что сатирические выпады против почетного сословия, не своевременные по цензурным условиям, в свое время стали казаться потерявшими свою остроту в иные, менее нагнетательные времена. Как бы то ни было, „военные афоризмы“ остались под спудом среди других, не увидевших до сих пор света сочинений Козьмы Пруткова¹).

Суженность обхвата бытовых явлений, введение в круг наблюдений только военного сословия и тех лиц, кто по роду службы связан с ним, делает из афоризмов Фаддея Козьмича материал менее ударный; сатирическая едкость их лишена той обобщенности, что отличает творения „гениального отца“. Но, потеряв в широте образности, „военные афоризмы“ получили силу в бытовой характеристике, в сгущенности картины сословной психологии. Колоритность фигуры Фаддея Козьмича, истого сына военной касты середины XIX века, командира той части, где он служил,—не менее значительна, чем многие военные типы, зачерченные в нашей художественной беллетристике. В свете мемуарной и „физиологической“ литературы, на бытовом фундаменте предания, докатившегося до недавнего прошлого, и живых фактов близкого минувшего образ военного слуги „престол — отечества“ выступает в канонической четкости, в метких и хлестких афоризмах, сохранивших применение много лет спустя после своего рождения.

„Военные афоризмы“ были написаны, повидимому, во второй половине 60 годов: № 52, 53, 56 имеют в виду В. Ф. Корша, редактора „С.-Петербургских Ведомостей“ (1862—1874) и ближайших сотрудников этой газеты А. С. Суворина, под псевдонимом „Незнакомца“ выступавшего в эти годы с воскресным фельетоном „Недельные очерки и картинки“ и В. П. Буренина, обозревателя „журналистики“; № 84—90 метят в знаменитого усмирителя польского восстания в 1863—65 годах генерал-губернатора северо-западного края М. Н. Муравьева; № 93 касается Н. А. Милютин, бывшего с 1863 г. статс-секретарем по делам Польши, и В. А. Черкасского, состоявшего при Милютине главным директором Правительской комиссии внутренних дел; о той-же поре говорят указания на нигилистов (№ 31 „церемониала погребения“).

¹) Мы печатаем с экземпляра, находящегося в бумагах Льва М. Жемчужникова (художника) и полученного нами от дочери последнего Е. Л. Лебедевой. Ред.

В 34 № „Церемониала“ упоминается графиня А. Д. Блудова (1812—1863), автор известных „Записок“; она состояла в оживленной переписке с славянофилом И. С. Аксаковым, ревностно защищала на Волыни православие, организовала в Остроге Кирилло-Мефодиевское братство. В № 3 вспоминается Генрих Жомини, перешедший при Александре I из французской службы на русскую, выдающийся военный историк и теоретик, воспетый, между прочим, Денисом Давыдовым.

Возможно, что в № 21 автор намекает на Николая Павловича и его брата Михаила.

Для оценки общественных взглядов кружка братьев Жемчужниковых и Алексея Толстого, слагателей „сочинений Козьмы Пруткова“, „военные афоризмы“ дают интересные штрихи: „двух станов не бойцы“ они бьют направо и налево, подмечая несимпатичное им в крайних лагерях—славянофильства и радикального нигилизма; враги национального шовинизма, они, однако, негодуют на немецкое засилье в русской государственной жизни, и в образах Глазенапа и Бутенопа зло и ярко отметили это бытовое явление.

Обращает внимание, с чисто литературной стороны, построение „церемониала погребения“ по типу картинки „Как мыши кота хоронили“, и удачный прием применения какофонизирующей рифмовки в надгробной речи полкового командира, без аудитора лишено возможности подыскать что-либо похожее на благозвучные речения.

Н. Бродский.

Для Г.г. Штаб-и Обер-офицеров, с применением к понятиям и нижних чинов.

Примечание. Из этих, дошедших до нас случайно, размышлений Фаддея Козьмича мы видим с удивлением, как даровитый сын гениального отца усвоивал себе понятия своего века, постоянно его опережая, хотя иногда и заметна борьба между старым и новым временем, на которую обращаем внимание читателя в особых выносках, сделанных, впрочем, на рукописи не нами, а неизвестною рукою, вероятно, командира того полка, где служил (покойный).

1. Нет ад'ютанта без аксельбанта ¹⁾.
2. Подавая сигналы в рог,
Будь всегда справедлив, но строг.
3. Не для какой-нибудь Анюты
Из пушек делаются салюты.
4. Строя солдатам новые шинели,
Не забывай, чтоб они пили и ели²⁾.
5. Фуражировка и ремонтерство
Требуют сноровки и прозорства.
6. Во всем покорствуя воле монаршей,
Не уклоняйся от контр-маршей.

¹⁾ Разумеется.

²⁾ Здесь видна похвальная заботливость. Я всегда был того же мнения.

7. Не бракуй рекрута за то, что ряб,
Не всякий в армии Глазенап¹⁾.

8. Что в конце шеренги стоит фланговый
Это для многих дико и ново²⁾.

9. Насколько полковник с Акулиной знаком,
Не держи пари с полковым попом³⁾.

10. Что рота на взводы разделяется,
В этом никто не сомневается.

11. Да будет целью солдатской амбиции
Точная пригонка амуниции⁴⁾.

12. Хоть твои ребята полны коросты,
Все-ж годятся на аван-посты.

13. Что нельзя командовать шопотом,
Это доказано опытом.

14. Лучшую жидовскую квартиру
Следует отводить командиру⁵⁾.

15. В летнее время, под тенью акации,
Приятно мечтать о дизлокации.

16. Проходя город Кострому,
Заезжай справа по одному⁶⁾.

17. Чтобы полковнику служба везла,
Он должен держать полкового козла⁷⁾.

18. В гарнизонных стоянках довольно примеров,
Что дети похожи на Г.г. офицеров⁸⁾.

19. Курящий сигару над камуфлетом
Рискует быть отпетым.

20. Во время дела сгоряча,
Не стреляй в полкового врача.

21. Два голубя как два родные брата жили⁹⁾—
А есть ли у тебя с наливкою бутылки?

1) Должно быть, был красавец, но я принял полк уже по его выбытьи.

2) Разве для вновь поступающих.

3) Обыграет наверняка, по случаю исповеди.

4) Солдат имеет и другую амбицию: служить престол-отечеству. Странно ограничивать цель стремлений.

5) Отчего же жидовскую?

6) Это можно отнести и к другим городам. Видна односторонность.

7) В этом нет никакого смысла. К чему тут козел?

8) Я сам это заметил.

9) Довольно остро.

22. Если ни правый, ни левый фланг
У тебя ненадежны—пишися: кранк.
23. За то нас любит отец Герасим,
Что мы ему бороду фаброй красим.
24. Для ремонтёрства и фуражировки
Трудно обойтись без сноровки¹⁾.
25. Будь расторопен — и от году до году²⁾
Полк принесет тебе боле доходу.
26. Оттого наши командиры и лысы³⁾,
Что у них прическу об'ели крысы.
27. В том каптенармусова Варвара
Виною, что щи у нас без привара.
28. Часто завидую я сорокам⁴⁾,
Что у них служба с коротким сроком.
29. На берегах Ижоры и Тосны⁵⁾
Наши гвардейцы победоносны.
30. Что нету телесного наказания,
Это зависит от приказанья⁶⁾.
31. Не говори: меня оить не по чину,
Спряг погоны и выпорют спину⁷⁾.
32. То не может понравиться бабам,
Когда скопец командует штабом⁸⁾.
33. Кто не брезгает солдатской з...ицей,
Тому и фланговый служит племянницей⁹⁾.
34. Клапан, погончик, петличка, репей —
С этим солдат хоть не ешь и не пей¹⁰⁾.
35. Что за беда, что ни хлеба, ни кваса¹⁾,
Пуля найдет солдатское мясо.

1) Повторение. Было уже сказано в п. б.

2) Да, когда справочные цены высоки.

3) Это прямо на меня. Если б он не скончался, я посадил бы его под арест.

4) Опять нет смысла. Сороки не служат.

5) Неприличный намек на маневры.

6) Совершенно справедливо.

7) Отсталое понятие. У меня в полку не бьют с тех пор, как запрещено.

8) Когда же это бывает?

9) Во-первых, плохая рифма. Во вторых страшный разврат, заключающий в себе идею двойного греха. На это употребляются не фланговые, а барабанщики.

10) Ну, это преувеличено.

11) Видна некоторая жестокость.

36. Не говори, в походе: я слаб,
Смотри как шагает Глазенап¹).
37. У бережливого командира в поход
Хоть нет сухарей, а есть доход²).
38. Хоть моя команда и слабосильна,
За то в кармане моем обильно³).
39. Пусть умирают дураки,
Были-б целы тюфяки.
40. Если прострелят тебя в упор,
Пой: Ширин, верин, ристофор.
41. Марш вперед! Ура... Россия!
Лишь амбиция была-б!
Брали форты не такие
Бутеноп и Глазенап!

Продолжай атаку смело,
Хоть тебе и пуля в лоб—
Посмотри, как лезут в дело
Глазенап и Бутеноп.

А отбой когда затрубят,
Не минуй румяных баб —
Посмотри как их голубят
Бутеноп и Глазенап.

Если двигаются тихо,
Не жалеи солдатских ж... —
Посмотри, как порют лихо
Глазенап и Бутеноп.

Пусть тебя навyleт ранят,
Марш вперед на вражий штаб —
Слышишь там как барабанят
Бутеноп и Глазенап.

Но враги уж отступают,
В их сердца проник озноб —
Посмотри, как их пугают
Глазенап и Бутеноп.

Стой! Шабаш! Языци сдались,
Каждый стал России раб —
Посмотри, как запыхались
Бутеноп и Глазенап.

Опять Глазенап. В списках значится: переведен в гвардию. Жаль, что не застал когда принял полк, я бы ставил его в пример в каждом приказе.

²) Если-б он не умер, я нарядил бы его на три лишних дежурства.

³) Дерзость. Счастье, что умер. Не забыть сказать Герасиму, чтобы перестал поминать.

Мир подписан, все пируют,
 Бал дает бригадный поп —
 Посмотри, как вальсируют
 Глазенап и Бутеноп¹⁾.

42. Если ты голоден и наг,
 Будь тебе утехой учебный шаг.
43. По мне, полковник хоть провалился,
 Жила б майорская Василиса²⁾.
44. Худо когда в дивизии
 Недостает провизии³⁾.
45. Не спрашивай: какой там реду
 А иди куда ведут.
46. Держи только свою дирекцию,
 А тебе уж сделают вивисекцию⁴⁾.
47. Матерьялисты и нигилисты,
 Разве годятся только в горнисты⁵⁾.
48. Казначей, уж как ни верти,
 А все не достает сотен пяти⁶⁾.
49. Если ищешь рифмы на: Европа,
 То спроси у Бутенопа⁷⁾.
50. Ешь себе кашу с сальцом,
 А команду считай по пальцам.
51. Ай, фирли-фить, тюрлю-тютю⁸⁾.
 У нашего майора з...ица в дегтю
52. Будь в отступлении проворен,
 Как перед Крестовским Корш и Суворин.
53. Суворин и Буренин, хотя и штатские,
 Но в литературе те же фурштатские⁹⁾.

1) Это совсем не афоризмы, а более сбивается на солдатскую песню. Впрочем написано в хорошем духе. Велю ад'ютанту передать песенникам. Но кто же Бутеноп? В последней строке фамилии перековерканы. Приказать аудиторю, чтоб переправил сохраняя рифму.

2) Покорно благодарю.

3) А в полку еще хуже.

4) Должно быть, посещал университет. У нас гостила дочь инженера из Водяных Сообщений, сама потрошила лягушек. Г.г. офицеры очень хвалили.

5) Ну, нет, сомневаюсь. На это нужны грудь и ухо.

6) Можно пополнить раскладкою на непредвиденные расходы.

7) Кстати подвернулся Бутеноп. Ну, а еслибы его не было? Приказать аудиторю, чтоб подыскал еще рифмы к Европа, кроме....

8) Когда это было: я что-то не припомню.

9) Что это за люди. Никогда про них не слышал. Должно быть из фурлейтов?

54. Не смотри, что в ранце дыра —
Иди вперед и кричи: ура!
55. То-то житье было в штабу,
Когда начальником был Коцебу¹⁾.
56. Не дерись на дуэли, если жизнь дорога,
Откажись, как Буренин, и ругай врага²⁾.
57. Что все твои Одеколоны
Когда идешь позади колонны.
58. Отнесем, Акулина, попу фунт чаю —
Без того, говорит, не обвенчаю.
59. Охота полковому попу
Вплоть до развода ездить на пупу.
60. Сумка, лядунка, манерка, лафет —³⁾
Господин поручик, кеске-ву-фет?
61. При виде исправной амуниции
Как презренны все конституции!⁴⁾
62. Не будь никогда в обращении груб —
Смотри, как себя держит Глазенап⁵⁾.
63. Боже мой, Боже мой, как я рад,
Завтра назначен церковный парад⁶⁾.
64. Всем завтра ехать к Преосвященному,
Человеку умному и почтенному.
65. Господам офицерам, подходя к руке,
Держать палец на темлячке.
66. Чтоб, во время закуски, господа юнкера,
Не прятали осетров в кивера.
67. Наказать юнкеру Шмидту,
Чтоб быть ему чище обриту.
68. Мне, с ад'ютантом и с маиором
Занимать владыку разговором.
69. Прочим, в почтительном расстоянии
Опустить взор и хранить молчание.

¹⁾ С этим я согласен.

²⁾ Вишь, прохвост.

³⁾ Украдено. Это любимая поговорка нашего полкового доктора.

⁴⁾ Мысль хороша, но рифма никуда не годится. Приказать аудитору исправить.

⁵⁾ Отдать аудитору.

⁶⁾ Вот это хорошо.

70. Лишь только кончится обед,
Всем грянуть залпом: Много лет.
71. Перед от'ездом, подходя к руке¹⁾,
Опять держать палец на темлячке.
72. Есть ли на свете что-нибудь горше,
Как быть сотрудником при Корше²⁾.
73. Не нам, господа, подражать Плинию,
Наше дело выравнивать линию.
74. Не нужны нам никакие фермы — модели
Были бы сводни и б. . . дели.
75. Для нас овцеводство и скотоводство —
Это, господа, наше производство³⁾.
76. Наш полковник, хотя и не пьяница,
Но за то фабрится и румянится⁴⁾.
77. Ах, господа! Быть беде!
Г. Полковник сидит на биде⁵⁾.
78. Г.г. офицеры! Шилдышивалды!⁶⁾
Пустимтесь в присядку, поднявши фалды.
79. Что-бы нам, господа, взять по хлысту,
Постегать прохожих на мосту⁷⁾.
80. Тому удивляется вся Европа,
Какая у полковника обширная шляпа⁸⁾.
81. Будем-те, господа, стоять по чину⁹⁾,
Пока ад'ютант выводит: Лучину.
82. Все у меня одеты по форме¹⁰⁾,
Зачем мне заботиться о корме.

1) Да какие-же это афоризмы. Это взято прямо из моего приказа, когда мы всем полком ездили поздравить владыку.

2) В этом афоризме не вижу ничего военного. И кто опять этот Корш?

3) Опять все это украдено. Все из моей речи, которую я говорил в день Водосвятия.

4) Ах, он прохвост. Если я когда и употреблял румяны, то конечно не для лица, а ему почему знать.

5) Неправда. Никогда в жизни не сиживал.

6) Видно похвальное сближение с нижними чинами. Не забыть отнести к прогрессу.

7) Шалость, могущая навлечь неприятности. Справиться, было ли исполнено.

8) Чему удивляться? Обыкновенная с черным султаном. Я от формы не отступаю. На счет неправильной рифмы, отдать аудитору, чтобы приискал другую.

9) Это когда мы ездили в Житомир на пикник.

10) Если встретимся на том свете, посажу в вужник под арест на две недели.

83. Господа, откроемте подписку
Поднесем полковнику глиняную миску¹⁾,
84. Если продуемся, в карты играя,
Поедем на Волынь для обрусения края.
85. Или выпросим комиссию на Подоле
И останемся там, как можно доле²⁾.
86. Начнем с того обрусение,
Что каждый себе выберет имение.
87. Действуя твердо и предвзято,
Можно добраться и до маюрата.
88. Хоть мы русское имя осраим,
Заот послужим себе самим.
89. Те, кто помещиков польских душили,
Делали пробу.
90. Когда совсем уж ограбим их,
Тогда доберемся и до своих.
91. Держаться партии народной
И современно и доходно.
92. Люблю за то меньшую братию,
Что ею колю аристократию.
93. Хорошо ловить рыбу, где ток воды мутен³⁾.
Да здравствует Черкасский и Милютин!
94. Сегодня не поеду на развод,
У меня немного болит живот.
95. Даже с трудом на ногах стою —
Принести мне бобровую струю.
96. Шум в ушах и на языке кисло,
Нижняя губа совсем отвисла.
97. Уж не разбит ли я параличем?
Послать за полковым врачом.
98. Спереди плохо, сзади еще хуже,
Точно сажу я в холодной луже.

¹⁾ Отчего же глиняную. Неуместная шутка.

²⁾ Я и сам не прочь, но, говорят, все места розданы. Следовало бы распространить и на остальные губернии.

³⁾ Совершенно сбился с толку. Тут нет ничего военного. Боле относится к гражданской деятельности.

99. Не надо боле ни лекарства, ни корму.
Оденьте меня в парадную форму.

100. Ширин, вырин, штык молодец —
Не могу боле — приходит конец¹⁾.

Церемоннал

погребения тела в бозе усопшого поручика и кавалера Фаддея Кузьмича П. составлен Аудитором вместе с полковым ад'ютантом 22-го Февраля 1821 года, в Житомирской губернии, близ города Радзивиллова.

Утверждаю. Полковник ²⁾.

1. Впереди идут два горниста,
Играют отчетисто и чисто.
2. Идет прапорщик Густав Бауер,
На шляпе и фалдах несет трауер.
3. По обычаю, искони заведенному,
Идет майор, пеший по-конному.
4. Идет каптен-армус во главе капральсти
Пожирает глазами начальство.
5. Два фурлейта ведут кобылу.
Она ступает тяжело и уныло.
6. Это та самая кляча,
На которой ездил виновник плача.
7. Идет с печальным видом казначей,
Проливает слезный ручей.
8. Идут хлебопеки и квартирьеры,
Хвалят покойника манеры.
9. Идет аудитор, надрывается,
С похвалою о нем отывается.
10. Едет в коляске полковой врач,
Печальным лицом умножает плач.

¹⁾ Нечего сказать, умер, как солдат: Приказать слабосильной команде, чтоб похоронила его с почестями. Отменяю прежнее приказание и позволяю Герасиму поминать. Соорудить над его могилой небольшой памятник, в виде кивера, с надписью: „Был исправен“. Издержки разложить на покупку муки, а также на-верстать уменьшением привара к солдатским пайкам. Остаток от расходов в кассу не класть, а передать мне лично.

²⁾ Для себя я, разумеется, места не назначил. Как начальник, я должен быть в одно время везде, и предоставляю себе раз'езжать по линии и вдоль колонны.

11. На козлах сидит фершал из Севастополя,
Поет плачевно: „Не одна во - поле“
12. Идет с кострюлею квартирмейстер,
Несет для кутьи крахмальный клейстер.
13. Идет маиорская Василиса,
Несет тарелку полную риса.
14. Идет с блюдечком отец Герасим,
Несет изюму гривен на семь.
15. Идет первой роты фельдфебель,
Несет необходимую мебель.
16. Три бабы, с флером вокруг повойника,
Несут любимые блюда покойника.
17. Ножки, печенку и пупок под соусом,
Все три оне вопят жалобным голосом.
18. Идут Буренин и Суворин,
Их плач о покойнике непритворен.
19. Идет, повеся голову, Корш,
Рыдает и фыркает, как морж.
20. Идут гуси, индейки и утки.
Здесь помещенные боле для шутки.
21. Идет мокрая от слез курица,
Не то смеется, не то хмурится.
22. Едет сама траурная колесница,
На балдахине поет райская птица.
23. Идет слабосильная команда с шанцевым инструментом.
За ней телега с кирпичем и цементом.
24. Между двух прохвостов идет уездный зодчий,
Рыдает изо всей мочи.
25. Идут четыре ветеринара,
С клистирами на случай пожара.
26. Г.г. юнкера несут регалии,
Пряжку, темляк, репеек и так далее.
27. Идут г.г. офицеры по два в ряд,
О новой вакансии говорят.
28. Идут славянофилы и нигилисты,
У тех и у других ногти не чисты.

29. Ибо если они не сходятся в теории вероятности,
То сходятся в неопрятности.
30. И поэтому нет ничего слюнявее и плюгавее,
Русского безбожия и православия.
31. На краю разверстой могилы
Имеют спорить нигилисты и славянофилы.
32. Первые утверждают, что, кто умрет,
Тот весь обращается в кислород.
33. Вторые, что он входит в небесные угодия
И делается братчиком Кирилла-Мефодия.
34. И что верные вести оттудова
Получила сама графиня Блудова.
35. Для решения этого
Стороны приглашают аудитора.
36. Аудитор говорит: „Рай-диди-рай“!
Покойник отправился прямо в рай.
37. С этим отец Герасим соглашается
И погребение совершается...

Исполнить как сказано выше
Полковник:

Примечание полкового ад'ютанта:

После тройного залпа из ружей, в виде последнего салюта человеку и товарищу, г. полковник вынул из заднего кармана батистовый платок и, отерев им слезы, произнес следующую речь:

1. Г.г. Штаб- и Обер-Офицеры,
Мы проводили товарища до последней квартиры.
2. Отдадим же долг его добродетели:
Он умом равен Аристотелю.
3. Стратегикой уподоблялся на войне
Самому Кутузову и Жомини.
4. Безкорыстием был равен Аристиду —
Но его сразила простуда.
5. Он был краскою человечества,
Помянем же добром его качества.
6. Г.г. офицеры, после погребения
Прошу вас всех к себе на собрание.

7. Я поручил юнкеру фон-Боккт
Устроить нечто в роде пикника.

8. Это будет и закуска и вместе обед —
Итак левое плечо вперед.

9. Заплатить придется очень мало,
Не более пяти рублей с рыла.

10. Разойдемся не прежде, как к ввечеру —
Да здравствует Россия — Ура!!

Примечание отца Герасима: Видяй сломицу в оке ближнего, не зрит в своем ниже бруса. Строг и свиреп быши к рифмам ближнего твоего, сам же, аки свинья непотребная, рифмы негодные и уху зело вредящие сплел еси. Иди в огонь вечный, анафема.

Примечание рукою полковника. Посадить Герасима под арест за эту отметку. Изготовить от моего имени отношение ко владыке, что Герасим искажает текст, называя „сучец“—сломицею. Это все равно, что еслиб я отворот назвал погонями.

Доклад полкового ад'ютанта. Так как отец Герасим есть некоторым образом духовное лицо, находящееся в прямой зависимости от Консистории и Св. Синода, то не будет ли отчасти неловко подвергнуть его мере административной, посадением его под арест, установленный более для проступков по военной части.

Отметка полковника. А мне что за дело. Все-таки посадить после пикника.

Примечание полкового ад'ютанта. Узнав о намерении полковника, отец Герасим изготовил донос графу Аракчееву, в котором объяснял, что полковник два года не был на исповеди. О том же изготовил он донос и к Архипастырю Фотию и прочел на пикнике полковнику отпуски. Однако, когда подали горячее, не отказался пить за здоровье полковника, при чем полковник выпил и за его здоровье. Это повторялось несколько раз и после блан манже и суфле-вертю, когда г. г. офицеры танцевали в присядку, полковник и отец Герасим обнялись и со слезами на глазах сделали три тура мазурки, а дело предали забвению. При этом был отдан приказ, чтобы г.г. офицеры и юнкера, а равно и нижние чины не смели исповедываться у посторонних иереев, а только у отца Герасима, под опасением для г.г. офицеров трех-недельного ареста, для г.г. юнкеров дежурств при помойной яме, а для нижних чинов телесного наказания,

Из воспоминаний М. И. Венюкова. (1877—1884).

Известный путешественник и географ Михаил Иванович Венюков (1832—1901) автор интереснейших воспоминаний. В книге «Альбом Семевского» СПб. 1888, есть две его автобиографические заметки; при второй из них, на стр. 372—383, он поместил полный список своих печатных и рукописных трудов; в числе последних, на странице 380—381, значится: «1880—1884. Вообще воспоминания с 1832-го по 1884 год». Рукопись в десяти тетрадях. Вот эту рукопись он и напечатал в 1895—96—1901 гг. в трех книгах в Амстердаме, под заглавием: «Из воспоминаний М. И. Венюкова. Книга I-я, 1832—1867; книга 2-я, 1867—1876; книга 3-я, 1877—1884»¹⁾. Книги эти крайне редки, не только в России, но и за границей. В 1915 году нам удалось достать у одного букиниста в Москве первую книгу этих воспоминаний и тогда же по нашему экземпляру в журнале «Голос Минувшего» в № 11 и № 1 1916 г. была напечатана глава о Польше. В 1918 году г. Л. С. Багрову, автору книги «История географической карты» СПб. 1917, удалось разыскать где-то в Сибири архив Венюкова, где между бумагами нашлось несколько экземпляров этих воспоминаний, из числа которых 1 экз. он уступил нам. В Москве ни в Румянцевском музее, ни в Историческом музее—этих книг нет. В Публичной библиотеке в Петербурге, как это видно из книги: «Вольная русская печать в Российской Публичной библиотеке. Петербург. 1920 есть только книга 1-я и 2-я (см. № 226). Мы заимствуем из третьей книги отрывок, посвященный русской эмиграции 70 г.г.

Л. Бухгейм.

Русская эмиграция 70 г. в Женеве²⁾.

(Мечников, Драгоманов, Крапоткин).

Демократизирующее влияние Женевы на европейское общество всего заметнее сказывается на самой аристократической нации в Европе и на англичанах. Наскучив домашними богами, перечисленными в книге перов, королевскими drawing room в Сен-Джемсе, пышными выездами в Ковенгартен и Дрюрилэен, тонными прогулками по Гейд-парку, усыпительными проповедями пасторов по воскресеньям, словом, всем домашним, аристократическим складом жизни, англичане ежегодно толпами приезжают в Женеву и проводят здесь месяцы, иногда годы, отдыхая от требований «кэнта». Нередко бывает даже, что они привозят с собой детей и посылают их в местные училища, эти настоящие демократические нивеллиры, где со спесивых мальчишек и девчонок стирается почти сполна их британская надутость, их важничанье породой, их преклонение перед родными обычаями и предрассудками. О представителях других, менее своеобразных и упругих, народностей: русских, немцах, румынах, итальянцах, скандинавах и пр. и говорить нечего: они если не перемеливаются на жерновах женевской жизни в чистых демократов, то

¹⁾ В 80-х и 90-годах он напечатал несколько глав в «Русской Мысли» и «Русской Старине» и «Русском Архиве», при чем, как он сам говорит, «был введен крупный цензурный коэффициент».

²⁾ Венюков, т. III, стр. 39—51.

лишаются большей части феодальных, барских предрассудков и привычек, а возвратясь домой прямо гордятся „современностью своих взглядов на общество и его жизнь“. Где теперь не найдешь человека с либерально-демократическими идеями, принесенными, непосредственно или через родных, знакомых, через книги и газеты, из отечества Фази и Жан-Жака? Даже коронованные истуканы привыкающие дома, с раннего младенчества, принимать позы и наклонности олимпийцев, смягчаются на женевской почве, нисходят до уровня простых смертных и приобретают кое-какие из обще-человеческих чувств и понятий. Герцог брауншвейгский, королева испанская, князь Барятинский, сыновья хедива египетского и пр., и пр. могли бы об этом кое-что рассказать больше, чем я. При мне, перед самым моим отездом из Женевы, даже черногорский „владыка“, только-что ставший пред тем из главы полуразбойнического племени государем в европейском смысле этого слова, отыскивал для своего сына-наследника воспитателя из женевцев, уж, конечно, не из слепого подражания Екатерине II, которая поручала воспитание Александра I швейцарцу Лагарпу, а из прочного убеждения, что женевские мнения и порядки — самые передовые, самые человечные в современном мире.

Стирание спеси с разных gros-bonnets, особенно, когда под „колпаками“ скрываются довольно пустые головы, я готов поставить в особую заслугу женевцам. Нет более верного средства приводить аристократических нахалов к одному знаменателю с прочими смертными, как давать им, от времени до времени, щелчки по носу, да притом так, чтобы они сами видели, что против этих щелчков нельзя возражать с обще-человеческой точки зрения. Вот два образчика таких щелчков, сохранившиеся у меня в памяти из поры пребывания моего в Женеве. „Благодетель“ ее, герцог брауншвейгский, как-то раз хотел войти в местный английский сад во время концерта, не заплатив обычных 50 сантимов: его не пустили. „Как, меня не пускают даром, меня, который подарил Женеве миллионы? Это позор!“ — Не шумите, господин, не делайте скандала, а то вас попросят в полицейский пост, отвечали ему женевские будочники, хорошо знавшие притом, с кем имеют дело: и герцог заплатил деньги. — Другой „благодетель“, тоже сделавший Женеве подарок в виде большого глазолечебного заведения и постоянно делающий денежные взносы на разные благотворительные учреждения, человек, который на всемирных весах вытягивает, пожалуй, больше герцога брауншвейгского, именно Ротшильд, принужден был заплатить 5 франков штрафа за то, что над замком своим в Преньи вздумал развесить флаг австрийского генерального консула, по званию, которое он действительно носит, но в Париже, а не в Женеве. Мало того, женевцы чуть не в глаза смеялись над его жидовскою скарденостью за то, что он, заходя в café du Nord, чтобы выпить чашку кофе и почитать газеты, никогда не давал прислуге более одного су. И вот polens volens Ротшильд перестал ездить на лето в Преньи, чтобы не терпеть унижений от непокорных республиканцев-демократов, он „цар жидов и жид царей“, с которыми привык обходиться не без надменности!

Наши аристократические тузы, вроде князя Барятинского, вели себя в Женеве тигре воды, ниже травы, вероятно, потому, что замечали, что у женевцев кровь не зеленая, не лягушечья, как говорил тот же Б. про русскую знать . . ., а красная, так что позволъ себе какое-нибудь российское безобразие, так, пожалуй, попадешь в тюрьму или хот заплатишь хороший штраф. Последнее, ведь, и случилось раз при мне, правда не в Женеве, но в близком к ней уголке Швейцарии, именно в Монтре.

Там безумный русский кутила, из сибирских проходимцев, Чернядьев, выдавая себя за русского графа, вздумал пускать пыль, буквально и в переносном смысле, бешеною ездою, и за это заплатил штраф, тем более досадный для него, что перед тем он только - что ублаготворил монтреспцев большим ночным праздником, с иллюминацией, фейерверком, катаньем на его счет по озеру, музыкою и пр. Будь этот случай в России, полиция не дерзнула бы и заикнуться перед богачем из простого подобию страстия перед золотым мешком: а в Швейцарии взяли да и покарали без разговоров и еще обещали засадить в тюрьму, если безобразие повторится. — Да в том же Монтре досталось и голландскому королю. Этот венчаный болван, а вместе и один из самых полных золотых мешков в целом свете, живя в одной гостинице, у самой железной дороги, вздумал появляться нагишом у окна в то время, когда проходили поезда: местные власти это узнали и сообщили его величеству, что если он еще хоть раз позволит себе что-либо подобное, то не только заплатит штраф, а будет выслан из города. Когда же король вздумал харахориться, то они взяли да и распубликовали случай в газетах... Кровь-то у них, ведь, красная, а не зеленая, и подлое поклонение перед земными идолами у них не в обычае.

Барятинский и Чернядьев, из которых первый умер в Женеве, как солдат, стоя, а последний раз'езжал по ней в коляске, как проходимец, лежа, невольно напоминают, что в той международной этнографической выставке, которую представляют берега Лемана, есть и русский отдел. Он, как известно, распадается на две разнородные части, аристократическую и плебейскую, подобно русской колонии в Париже, где есть богачи — елсеевцы и бедняки — латинцы. Но только женевская колония значительно уступает парижской по численному составу, особенно в отделе белой „кости“, т.-е. отставной знати. Мне никогда не случалось видеть в русской церкви, в Женеве, более двухсот человек за-раз, да и тут всегда находилось немало проезжих и несколько иностранцев. Предполагая, что число представителей „черной“ кости, т.-е. демократов-атеистов, достигало той же цифры, получим в сумме 400, т.-е. в 14 раз меньше, чем есть в данную минуту русских в Париже. Но, мал золотник, да дорог, и петербургское правительство расходовало на русскую полицию в Женеве едва ли не столько же, как и в столице Франции, где у него был обер-шпион Лагранж и целая шайка мушаров из французов, русских, немцев и особливо жидов. Я там впервые познакомился с типом странствующего „наблюдателя“ из царских опричников, в лице бывшего дотеле начальником одесских сыщиков, Пелешина или Перелешина, который не раз останавливался в *hôtel Richemont* и которому я рассказал раз там, что в Женеве русские имеют скверную привычку расправляться с шпионами палкою.

Четыре года, кажется, не мало время; а, ведь, в течение его почти совсем не узнал русской Женевы. Правда, приехав в этот город и не найдя уже там ни Герцена, ни Огарева, ни даже бывшего их типографика Чернецкого, моих прежних знакомых, я дал себе слово, по возможности избегать знакомств с россиянами обоих местных кругов, консервативного и революционного; но *polens volens* пришлось же со многими завести хоть шапочное знакомство, с другими даже на время сближаться. Были люди, которым я сочувствовал, были другие, возбуждавшие некоторую антипатию. Теперь, когда эти субъективные ощущения улеглись, отстоялись, и я не нахожу в себе ни малейшей побудки говорить о них

с намерением худо или хорошо, попробую набросать о них несколько страниц, чтобы себе же дать ясный отчет в том, что я видел из этого печального и сложного явления, которое называется русскою эмиграцией. *Sine ira et studio*, как говорил Тацит . . . если только это возможно, так как и сам Тацит отнюдь не бесстрастен, а следовательно, и не беспристрастен.

На первом же заседании женевского географического общества, где я присутствовал по приглашению президента Бомона и познакомился через него с Фором, Де-Трасом, Лагарпом и пр., ко мне подошел человек средних лет, с порядочно лысиною, с хромою ногою, но с довольно живыми глазами, и чистым русским языком сказал мне: „Господин Бомон представил вам своих соотчичей и сотрудников по обществу, а мне, вашему соотечественнику и отчасти ученику, позвольте уж представиться самому: я — Мечников, недавно вернувшийся из Японии, и спешу засвидетельствовать, что ваша книга об этой стране принесла мне не малую пользу.“ — Очень рад, отвечал я: все, что касается Японии, близко моему сердцу, и так как я немного уже отстал от современности по отношению к этой стране, то мы можем теперь поменяться ролями. Я стану вашим учеником и, поверьте, очень прилежным . . . — Завязался небольшой разговор, а через день Мечников сделал мне визит с целью, как он говорил, получить несколько советов относительно книги „*L'empire des micados*“, которую он тогда сочинял. Беседа с ним я увидел, что это человек много выдавший, литературно образованный и с хорошо подвешенным языком, так что разговор с ним может доставлять удовольствие. В отзывах о России он не жалел правительства и особенно бюрократии, но симпатично относился к народу, не скрывая притом и некоторых его недостатков. Многих из моих петербургских знакомых он также знал лично; наконец, известный натуралист и либерал, одесский профессор Илья Мечников, с которым я познакомился в бытность мою секретарем географического общества, оказался его братом. Уклоняться от сношений с таким лицом было бы странно, и я воспользовался его приглашением посетить его. Мало-по-малу образовалось знакомство, которое не было мне бесполезным, а иногда и приносило положительное удовольствие. Он приходил ко мне обедать, я проводил у него иногда целые вечера, за полночь, при чем сожительница его поила нас чаем. Эта сожительница была также предметом, не лишенным интереса, образчиком женской половины русского революционного общества на берегах Лемана; именно, она жила с Мечниковым — и физиологически совершенно напрасно, — имея в России мужа, и никого-нибудь, а бывшего золото-промышленника и редактора „Вести“, Скарятин. Сибирячка родом, она была порядочно энтузиасткою, и в сорок лет не могла без одушевления рассказывать, как в четырнадцать ее исключили из института за то, что она не верила в Бога. Вероятно, это вольнодумство и было причиною, что она разошлась с мужем, издававшим ультра-консервативный журнал, и связала свою судьбу с судьбою человека почти без средств, но зато с либеральным умом и довольно горячим воображением, способным, как и ее собственное, увлекать на то, что обыкновенно называется похождениями или приключениями. Мечников, в самом деле, был немного *aventurier*: он служил под командой Гарибальди в Сицилии и южной Италии, где и получил перелом ноги; был учителем чего-то в Японии; собирался в 1875 году в Корею, а в 1881 — в Сингапур; сотрудничал ультра-радикалу Эл. Реклю и печатал статьи в русском подцензурном журнале „Дело“. Был он и корреспондентом Герцена, при чем смело подписывал свои письма в „Колокол“ полным именем, писал и под псевдонимом, в каком-то

петербургском журнале невиннейшие статьи об Испании. Ни перед чем он не останавливался и считал себя человеком на все руки, до такой степени, что когда я раз предложил ему попытаться стать переводчиком персидского языка при русской экспедиции в долине Атрека, то он немедленно одобрил мысль, говоря, что двух месяцев ему будет достаточно, чтобы выучиться говорить по-персидски. Такие решительные, ни над чем не задумывающиеся люди, как известно, могут иногда совершенно овладевать женщинами, склонными к восторженности и madame Skariatine-Metchnikoff служила тому доказательством. Я не могу винить ее за увлечение, потому что Мечников, конечно, выше Скарятина; но думаю, что под конец она и сама устанет, если уже не устала, от несколько своеобразных фантазий своего quasi мужа.

Что я ценил прежде всего в Мечникове, это добровольно доставленную им мне возможность ознакомиться с русскою эмиграцией, да еще по такому образчику, который до некоторой степени был человеком двух миров: герценовского и . . . и, пожалуй, крапоткинско-го, чтобы ограничиться одним словом, хотя оно и не вполне соответствует идее о молодой, после герценовской эмиграции. Мечников был одним из „старейших“ женево-русского эмиграционного кружка, ходил на „совет нечестивых“, как он сам же называл собрание наиболее влиятельных выходцев, сходящихся, кажется, по субботам, вечером, и, вероятно, там немало ораторствовал. Но я никогда не мог с точностью объяснить себе: какой именно принцип представлял он собою на этих собраниях: был ли индивидуалистом, подчиняющим организацию общества потребностям лица; или ультра-коммунистом, желающим, чтобы неделимые сливались в обществе и государстве, как пчелы в улье, с полным самоотрицанием? или принадлежал он к коллективистам, поборникам добровольных и свободных ассоциаций? или, наконец, был просто либеральный дворянин, якобинец, но не социалист и тем более не коммунист? — Кажется, что последнее предположение вернее всего, и оттого-то Мечников не бы вполне своим в ультра-демократических слоях эмиграции. Он, до некоторой степени, по происхождению и воспитанию, принадлежал к герценистам; ну, а Герцен, как известно, не пожалел новую, „лохматую и нечесанную“ эмиграцию, напечатав о ней далеко не лестные отзывы (правда, после смерти). Некоторою антипатиею к лохматым, напр., к полуобразованному и мужиковатому Эльпидину, объясняю я себе и то, что Мечников (сколько мне известно) не участвовал в издававшихся за мое время в Женеве русских революционных журналах, а предпочитал сотрудничать в петербургском подцензурном „Деле“. Впрочем, последнее я объясняю себе просто денежным расчетом: ведь, редактор „Дела“, Благосветлов, ежемесячно присылал 150—200 рублей, ну, а что же могли платить неимущие издатели „Набата“, „Общины“, „Общего Дела“ и даже „Вольного Слова“, про которое говорили, что оно выдает гонорар . . . из сумм, данных мин. вн. дел, графом Игнатьевым!!! Нужно было кормиться, одеваться, жить в чистой комнате, не в очень глухом квартале, ну, и писались статьи для петербургского толстого журнала. Какие? о чем? — О, на этот счет ответ, злой и грубый, но близкий к истине, дан Сувориним: все „Дело“, сказал он, есть „либеральная труха“, и Евг. Марков, одно время защищавший „Дело“ на страницах „Голоса“, должен был признаться тоже в чем-то подобном, да чуть ли даже не именно по поводу статей Мечникова. . .

Этот либеральный эклектизм, чтоб не сказать безпринципность, Мечникова без труда были замечены мною; и, вероятно, в тоне моих бесед с ним иногда проглядывала некоторая ирония над такой бес-

системностью, потому что уже в 1879 г. я стал замечать, что он уклоняется от частых свиданий. Когда же однажды, встретив его в *café du Nord*, я, по правде, не без ехидства, спросил его: „как! вы еще здесь? А я вас считал переселившимся не то в Корею, не то в „Харьковскую губернию“¹⁾, — тогда, разумеется, между нами пробежала, если не „черная кошка“, то та струйка холодного воздуха, после которой люди могут быть взаимно вежливы, даже изысканно любезны, но не чувствуют потребности друг в друге. Я оставался в сношениях с Мечниковым, главным образом, благодаря Реклю; к которому он поступил в подмастерья для составления общими силами седьмого тома „Всеобщей Географии“ (Китай и Япония), но уехал из Женевы, не простясь с ним. Позднее, в Париже, я как-то мельком видел его: он ехал в Лондон, чтобы пристроиться к какой-то ученой экспедиции в юго-восточную Азию, участие в которой обещал ему обезпечить Реклю: но, разумеется, это был один из тех мыльных пузырей, которые пускать такой мастер радикальный, но деньголюбивый кларанский географ. Мне было искренно жаль бедного соотечественника, юношу в 50 лет! . . .

Мечников, как человек умный, конечно, и сам видел, как много вредит ему его непосидчивость, физическая и умственная, а потому иногда пробовал устроить себе нечто в роде „прочного положения“. Разумеется, будь он механик, химик, инженер и т. п., это бы ему и удалось, ибо показать лицом товар, т. е. свои знания, он сумел бы отлично, а затем оставалось бы только пожинать лавры. Но, во-первых, природа и воспитание создали его несколько белоручкой, т. е. неохотником до профессий, где можно замарать руки, а во-вторых, математические и естественные науки вовсе не входили в круг его образования, и ни строить дороги, ни управлять мыловаренным заводом, ни лечить людей или скотов он не мог, несмотря на свой склад „парня на все руки“. Круг его занятий был в пределах наук политических и словесных; ну, а с таким легковесным запасом, да еще не приведенным в систему, не легко устроиться в обществе людей положительных, как женеvцы. Однако, он пробовал и сначала не без успеха. Картере, женеvский министр просвещения, согласился предоставить ему право сначала прочесть четыре публичные лекции на вечерних университетских курсах, а потом, — убедясь в его искусстве говорить, — право изложить целый курс перед студентами в одной из университетских аудиторий, как приват-доценту. Но фантазия и недостаток систематических знаний и тут испортили дело Мечникова. Для публичных лекций он выбрал странную тему — о чорте и его месте в истории человечества; университетский его курс был — о религиях на Востоке (т. е. в Азии), которых он, разумеется, сам порядком не знал. Чорта публика еще ходила слушать, тем более, что лектор, прозрачными намеками успел из него сделать католического монаха, *bête poire* женеvцев; но буддизм и прочая психотеологическая билиберда проповедывались уже в почти пустой аудитории. Университетская кафедра, о которой мечтал Мечников, не далась ему, и он *polens volens* пошел в подмастерья к Реклю, кажется, за 3.000 франков в год, да и то не более, как на год, и под условием жить не в Женеве, а в скучном Кларане. Тяжело, я думаю, было „семье“ Мечникова переселиться с западного конца Лемана на восточный, из центра деятельности в центр празднопатательства и скуки; но тяжесть значительно облегчалась тем, что весь багаж, его и ее, состояли из двух-трех небольших чемоданов . . . Искренно жаль! и последнюю насмешку я

¹⁾ И о том, и о другом он мечтал, да еще одновременно . . .

сделал вопреки внутреннему голосу, по дурной привычке людей, про которых еще Лермонтов сказал:

И к гробу мы спешим без счастья и без славы,
Глядя насмешливо назад.

Мечников рекомендовал меня Драгоманову или, пожалуй, Драгоманова мне, вовсе однако же не сводя нас лично в своем присутствии.

Случилось это так. Сижу я раз у себя в комнате № 49 *hôtel Richemont* и пишу; приходит лакей и говорит: „Вас ждет внизу какой-то господин“. — Дал он карточку? — „Нет“. — А чтоб их! . . . Однако схожу. В салоне, не снимая поношенного пальто и держа в руках соломенную шляпу, сидит господин, который при входе моем говорит, не останавливаясь: „Я — Драгоманов; мне говорили, что у вас есть такая-то книга (по статистике России), и я пришел попросить ее у вас“. — Это было немного нахально, особенно принимая в виду, что он не пожелал подняться в мою комнату, а вызвал меня в общий салон, точно прикащика книжной лавки; но, обрадовавшись, что на этот раз соотечественник просит не денег, а только книгу, я немедленно согласился; а чтобы дать небольшой урок вежливости доценту, выдавшему себя за профессора, и следовательно за авторитет, который может пренебрегать мелочами общезнания, я тут же, не пригласив его с собою, сходил в свою комнату и принес желанную книгу, вручил ее по принадлежности, назначив срок возвращения, после чего мы раскланялись. Книга была возвращена в срок; но вскоре после того я получил от Драгоманова из Кларана, где он жил, помогая Реклю писать его плоховатую географию Европейской России, — такую записку на почтовой карте: „нужна книга Тройницкого о крепостном состоянии; пришлите поскорее: спешная надобность“. — Это было уже слишком бесцеремонно: не только брать книгу у человека, еще не знакомого порядком, но и заставлять его пересылать их на свой счет и под опасением пропажи на почте. Однако, подумав и имея в виду, что книга, вероятно, в самом деле нужна Реклю, а достать ее в Женеве больше, как у меня, не у кого, я решился сделать новое одолжение привязчивому просителю, но только не рискуя пересылать книги сам. Для этого я отыскал женевскую квартиру Драгоманова и отдал пакет там, прося домашних переслать ее по адресу. Но едва я успел это сделать, как получил новую открытую записку приблизительно такого содержания: „что же книга Тройницкого? Пришлите поскорее: она нам очень нужна“. Я пожалел о своей слабости, но отобрать немедленно книгу назад было уже поздно, и я ограничился только тем, что написал Драгоманову на почтовой же карточке: „Крепостное состояние“ к вам отпращено через вашу семью“. — В следующий приезд в Женеву доцент — профессор-подмастерье привез мне книгу назад и на этот раз уже поднялся до комнаты № 49, не возвестив, впрочем, о своем визите через лакея. Разговорились, при чем он не упустил случая рассказать, как уехал из России с паспортом, выданным князем Дондуковым - Кюрасковым, как князь сначала ссылался на неимение права давать ему паспорт, как человеку поднадзорному, а потом сообщил о согласии шефа жандармов; как поводом к отъезду (целой семьей) было выставлено желание его, Драгоманова, заняться изучением быта западных славян и пр. Потолковали мы и о Чубинском, приятеле Драгоманова и таком же, как он, сохломане, посмеялись над Шуваловым, дозволившем Чубинскому жить везде, кроме Архангельской губернии. Но ни об истинной цели прибытия Драгоманова в Женеву (что могло бы дать ему повод делать и мне подобные вопросы), ни даже об успехе его

„Громады“ (мне было известно ее *fiasco*) я не спросил; мало того, старался намекнуть, что это для меня вещи безразличные, в которые я соваться не желаю, чтобы и свои владения огородить от посторонних вторжений. Мы расстались без сожаления, и хотя Драгоманов на прощанье сказал: „если и вам будет что-нибудь нужно от меня, так обращайтесь, пожалуйста“; однако, я отдачей визита не торопился, тем более, что видел ясно, что целью закомства служит расчет получить от меня книги, журналы и газеты, которых я получал целых десять штук¹⁾. В два-три посещения, которых я сделал Драгоманову (визит за визит) нетрудно мне было рассмотреть, что умственный горизонт этого человека очень невелик, что о точных науках он не имеет понятия, что его *idée fixe* какая-то независимая Малороссия, гетманщина, сечь, словом, что-то давно прошедшее, отжившее и решительно несогласное с современными формами гражданской и политической жизни народов. Я не возражал на эти теории, как на вещь совершенно пустую, а затем учиться у Драгоманова было положительно нечему. Нравственный же его склад мне решительно не нравился: это было что-то такое шаткое, гибкое, непрямодушное, всегда себе на уме и до такой степени иногда нелепое, что, например, в Салтыкове он не видел ничего более, как „скомороха“. — Я несколько не удивился, когда Эльпидин спросил его печатно, в „Общем Деле“, откуда у него взялись деньги на издание „Вольного Слова“? у него, который долго ходил в одном вывороченном пиджаке? Не удивился и ответу, данному, в очень резкой форме, самим же Эльпидиным: „это деньги Игнатьева, которого вы, господин Драгоманов, поэтому и не позволяете себе задевать, лягая его предместника, *Лорис-Меликова“.

Драгоманов, конечно, был десять раз прав, принеся, в виде брошюры, парижскому литературному конгрессу жалобу на русское правительство за крайнее стеснение малороссийской литературы. Указать публично, перед лицом целого света, на такой варварский документ, как известный циркуляр Григорьева (В. В., биографа-ориенталиста и литературного сыщика) цензорам, без сомнения, следовало. Даже и при заведомой нечувствительности носорожьей кожи русской духовной полиции к подобным публичным стеганиям, все же скандал, произведенный „бывшим профессором“ перед ареопагом европейских „служителей мысли и слова“, должен был неприятно отозваться в сердцах будочников, думавших обвеликороссить хохлов полицейскими мерами. Но далее, за этим гражданским подвигом, окончательно затворившим Драгоманову дорогу в Россию, что же можно записать в его интеллектуальный актив? — Присутствие на революционных сходках в зале Шисса, в Женеве? — Но оно было до такой степени невинно, что когда швейцарское правительство, изгоняя обычного оратора этих сходок, Крапоткина, спросил у русского посольства в Берне, не нужно ли ему к стати изгнание Драгоманова? то посольство отвечало: „помилуйте! он такой безопасный человек, ограниченный провинциалист, что нам нет до него никакого дела. Пусть себе издаст „Громаду“ и всякие периодические и непериодические памфлеты: их никто не читает“. . . Читает ли теперь кто-нибудь драгомановское „Вольное Слово“, я не знаю; в конце сентября 1883 г. я видел у Гио на этилаже всего лишь июньский № этого журнала и не думаю, чтобы на него было много покупателей.

¹⁾ Из русских, „Вестник Европы“, „Русскую Старину“, „Голос“, „Известия Географического Общества“, позднее и „Русскую Мысль“. Драгоманов одно время доставлял мне в обмен стасюлевичский „Порядок“, но так неаккуратно, что я прекратил эти будто бы обоюдные услуги.

По поводу каких-то подозрений в несочувственных кому-то или чему-то анонимных корреспонденциях, Драгоманов публично высказался, что он всегда и всякое свое произведение подписывает полным именем; и если бы это было так, то оно делало бы ему большую честь. Но только позволительно в том сомневаться. Ведь, и на „Вольном Слове“ нет подписи редактора Драгоманова, хотя всякий знает, что ему принадлежащая там не одни подписанные им статьи. Террористы „Набата“ недаром же щелкали „бывшего доцента, называющего себя профессором“ за его политическую шаткость и тайственные вдохновения себя чужими мыслями. Я с своей стороны могу сказать, что не зная лично ничего, что бы обличало Драгоманова в бесчестности, никогда однако не мог заставить себя относиться к нему доверчиво; и то же слышал от многих других.

Какая разница в этом смысле между Драгомановым и другим „корифеем“ женево-русской эмиграции, Крапоткиным. Этому можно было доверчиво говорить все о себе и других, не опасаясь, что он продаст; можно было прямо говорить: „Петр Алексеевич, мы с вами в этом не сходимся и несойдемся,“ и он не думал надоедать доводами или мстить за то, что их не слушаешь. Самые споры с ним, всегда горячие, ибо он своею, несколько запальчивой, искренностью вызывал на искренность, были честной борьбою, диалектической дуэлью, а не бросаньем камней из-за угла. Я не раз спорил с Крапоткиным еще в Петербурге, когда он был деятельным членом географического общества; спорил и в Женеве о самом больном для него вопросе: устройстве общества на правах безусловного равенства людей; я доказывал ему, что дарвиновы законы о борьбе за существование и о подборе неделимых пород неизменно приложимы и к людям, что, след., всегда будут сильные и слабые, богатые и бедные, что противиться этому—значит идти против законов природы, на верную неудачу; говорил, что того же мнения Геккель и другие натуралисты: нет! он стоял на своем! „Революция-де пересоздаст основы общества, введет в нравы коллективизм, неисключающий, будто бы, прав неделимого, но охраняющий права всех“. — Слушайте, П. А-ч, вы — географ и геолог; вы знаете, что сумма работы, которую солнце может производить на земле, есть величина постоянная или, пожалуй, уменьшающаяся, но отнюдь не увеличивающаяся. Результатами этой работы, и только ими, мы живем. Там, где к солнечной теплоте присоединяется обилие влаги,—почва производительнее, и мы можем жить лучше, да и то, если не очень размножимся; там, где нет воды, то хоть бы солнце и отлично грело, мы жить не можем. Предположим благоприятнейший исход цивилизации, именно, что мы всю сумму обратили в поле: что ж бы из этого вышло? Вы думаете: все были бы довольны, все жили бы одинаково; нет, ошибаетесь. Чтобы обводнить монгольские степи, нужно бы было отнять большую половину влажности и производящей ее теплоты у Индии, которая, следовательно, не в состоянии бы была кормить 250.000.000 душ. . .“ — Знаю, очень знаю, что вы хотите сказать. Это современное мальтузианство. Нам ваши физикогеографические гипотезы не нужны; нам пужно, чтобы Ротшильды сделались невозможны, чтобы одно-два лица не поглощали всего того, на что имеют право миллионы“. — „Да как же это сделать? в свою очередь перебиваю я? И где доказательство, что раздел всех существующих капиталов между сотнями миллионов людей много улучшит участь каждого из них? Вы бы сначала вычислили органическую работу солнца на земле, определили бы в точных цифрах, сколько людей может безбедно существовать на ежегодную производительность всей земли, да тогда бы уж и пред-

лагали революционные меры. А то никто из серьезных натуралистов да и вообще практических людей вам не поверит". — „Еще бы практические люди, то-есть толстые карманы...“ говорит с негодованием Крапоткин, как бы намекая, что я — из их разряда... Капитал должен быть в руках труда, а не обратно". — Пусть так; но где ручательство, что завтра экономическая гармония не нарушится в пользу способнейших, сильнейших умственно и физически? И что же вы, поклонник безусловной справедливости, станете производить полицейскую нивелировку для восстановления нарушенного идеала, который потому и не стоит быть идеалом, что исключает улучшение породы, осуждает все человечество на стоячесть или даже вымирание, ибо меры размножению людей нет, а земля производит для них лишь определенное количество средств существования?... — Знаем мы, знаем эти мальтусовские формулы. Вы, очевидно, отстали от развития политических наук и неправильно прилагаете к ним выводы естественных... А впрочем, Люба, дай-ка нам по стакану кофе, а то у меня в горле пересохло!—и Люба, т.-е. Вера, сожительница Крапоткина, которая на него чуть не молится дает нам кофе, что заставляет мое сердце сжаться, ибо я знаю, что это, может быть на последние деньги...

Жаль мне Крапоткина, искренно жаль. При всей односторонности его идей, это был и есть человек сильный умом, знаниями и, что особенно важно, верностью раз принятым или выработанным началам. Никакого флюгерства, как у Драгоманова, Мечникова и пр. Его речь перед Лионским судом, который засадил его на пять лет в тюрьму, есть образец честного *profession de foi*, нечто в роде тех аналогий, которые раздавались из уст первых христиан, когда их ставили перед лицом римских судей, отправлявших их на костер, на виселицу или в цирк, на с'еденье зверям. Швейцарская и Французская буржуазия поняла, какого опасного врага имели они в нем, и не столько потому, что он издавал ультра-социалистический журнал *Le Revolté*, сколько по причине его ограмного личного влияния на работников в бассейне Роны. Швейцарские буржуа, терпевшие Бакунина и Лаврова, а с Герценом, как с человеком богатым, водившие даже дружбу, не вытерпели Крапоткина и осудили его на изгнание из своей „свободной“ земли. Куда ему было деться? Вся его жизнь, вещественная и нравственная, была, в последнее время, связана с его журналом, который издавать было негде, как в Женеве, и вот он поселился в Тононе, т.-е. во Франции, хотя и в пяти шагах от Женевы. Там за ним следили десятки шпионов, распечатывали его переписку, наблюдали, у кого он бывает и кто бывает у него, и, наконец, арестовали, когда французскому буржуазному правительству понадобилось принести его в жертву с одной стороны—своим согражданам из „правящих“, т.-е. богатых сословий, а с другой—русскому деспотизму. Его процесс и его осуждение — вечная его слава. Он не хотел унизиться до апелляции на приговор судей-буржуа к другим, еще более жирным и безжалостным представителям той же породы и молча сел в какую-то центральную тюрьму „свободной“, республиканской, демократической Франции.

После Крапоткина, Мечникова и Драгоманова, представляющих „передовых“ людей разношерстной русской эмиграции в Женеве, как-то не хочется вспоминать о заурядных ее представителях, тех самых, которых так не по шерсти погладил Герцен в посмертно-изданной части „Былого и Дум“. Я уже в 1870 году имел несчастье узнать одного из этих „политических“ индивидуумов, который надул меня при печатании 3—4 страниц описания Японии, и когда я заметил ему, что счет его не-

совсем добросовестен, ибо обязывает меня платить за бумагу вдвое, а за печать втрое против счетов других типографий, то отвечал мне письменно, что „так и следует, ибо он не имеет тех средств, как другие“. В 1878 совершенно подобная же штука проделана была со мною другим экземпляром того-же политического „разряда эмиграций, г-м Т. Мы условились с ним относительно печатания, при чем все было сделано на письме, кроме цены бумаги, которую я думал доставить сам. Когда набор начался, а бумаги, мною заказанной, еще не было, тогда я поручил Т-у купить 2—3 стопы из паличных складов у женевских бумаго-торговцев. Он и купил, но не 2—3 стопы, в которых была нужда, а целых 27, да не по 13 франков, как бумага действительно стояла, а по 20. Ergo он „сбарышничал“ 189 франков на предмете, которого вся цена была 351 франк!... Когда, не смотря на такую недобросовестность, я не только заплатил ему сполна деньги, но желая иметь свое сочинение напечатанным одним шрифтом, ему же поручил печатание 2-го тома, снабдив на этот раз бумагою от себя, тогда устроен был новый фортель: мне пришло было раз 3 отпечатанных листа, а счет подан на пять, за которые и взяты деньги, при чем проверить действительность я не мог, ибо дело было в субботу вечером, и мастерская переплетчика, куда были сложены отпечатанные листы, была уже заперта. Когда же, в понедельник, узнав истину, я стал упрекать Т. в „неточности“ его сообщений, тогда он, с таким же нахальством, как в 1870 году Э., отвечал: „так вас и следует! Мне деньги нужны, а вы авансов дават не хотите“. — После этой наглости я, разумеется, прекратил всякие сношения с г. Т. и вполне оценил отзывы Герцена о категории эмигрантов, к которой принадлежали г-да Т. и Э.

Впрочем, и другая, ультра-радикальная типография, не из „Общего Дела“, а из „Общины“, была немного лучше в финансовом смысле. Правда, на фортели, в роде Т-ких, она не пускалась; но зато, видя, что кроме ее мне обратиться некуда, „накинула“ мне 2 франка с листа за набор и никогда не доставляла работы в срок. . .

Да и что вспоминать о моих личных неприятностях с отечественными эмигрантами, когда их поведение уронило их в глазах самих женевцев, столь снисходительных ко всякого рода выходцам. Г-на Э-на, напр., мне прямо называли *misérable*, потому что он позволял себе самые бессовестные проделки. Будучи, напр., хозяином типографии, он, во время одной стачки наборщиков, являлся оратором на сходках и у них, разумеется, красным, и у собратьев по ремеслу, хозяев — синим. За это, конечно, и те, и другие его прогнали, да чуть ли, даже, не поколотили немного.

Бедность многих русских эмигрантов, крайняя, гнетущая бедность, правда, объясняет многое в их поведении, но далеко не все. А главное, они „люди честного, высокого политическою принципа, представители борьбы с деспотизмом, бессудием, неуважением к человеческому достоинству“, вовсе не стояли на высоте своего призвания, не имели никаких твердо-выработанных принципов и, в довершение всего, грызлись между собою, наполняя приютивший их город самыми невыгодными для себя слухами. Из-за чего грызлись? — я в подробностях не знаю, но хорошо помню искренние, полные печали слова прекрасного юноши, А. Башмакова, сказанные мне: „бедная наша эмиграция! раздоры съедают ее и делают совершенно непроизводительною для дела прогресса в России“. — В самом деле, в конце 1870-х годов и в начале 1880-х годов, деятельная боевая часть русской молодежи трудилась в самой России и из Женевы едва ли получала какие-нибудь внушения. Один Крапоткин, по-видимому,

работал, но и то более отвлеченно, чем каким-нибудь деловым образом, в роли, например, организатора заговоров или хот вдохновителя нигилистов, работавших дома. Из других, наибольшую известность приобрел Нечаев, но каким путем? — Убийством Иванова под Москвою? — это бы еще не диво, ибо тут он спасал свою кожу и кожу многих других; а тем, что нагло обманул Огарева и рассорил его с Герценом, после чего в русской эмиграции и водворились разлад и ссоры. Он обманул бедного Огарева, сказавши, что ему нужны деньги „бахметевского революционного фонда“ на пропаганду, а не на заговоры. Герцен, менее доверчивый, чем Огарев, сопротивлялся передаче денег Нечаеву, но отстоял только половину их, другую пришлось уступить нахальному обманщику, а вместе с нею исчезла и тесная связь Герцена с Огаревым, та связь, которая делала из них одну главу эмиграции, хотя и двухипостасную, но общепризнанную. Ни Бакунин, ни Лавров, ни Крапоткин не могли уже их заменить, и раздор в эмиграции все рос и ожесточался.

Вероятно, эта резня была причиною, что более состоятельные русские выходцы, не желая пачкаться в грязи, жили вне Женевы, иногда лишь наезжая в нее. Старый „лев“, Бакунин, даже совсем переселился в Лугано, где и умер отставным патриархом, но не вождем эмиграции. Лавров, после каких-то неприятностей в Цюрихе, оставил вовсе швейцарскую почву и жил то в Париже, то в Лондоне. Жуковский . . ., но этот, кажется, жил и в Женеве, и где-то еще в Швейцарии; только о нем я ничего не знаю. Курьезный „Кузьма Прутков“, из „свистунов“ „Современника“, т.-е. А. Жемчужников, спасал душу во фрейбургском кантоне и с Женевой имел, кажется, одну связь: получал из лавочки Эльпидина читанные уже русские журналы. — Что эти люди имели между собою общего? во имя чего будировали? — мне неизвестно. Конечно, Лавров, издавал журнал „Вперед“, который не мог нравиться в Петербурге; но стоит исключить из него корреспонденции из России, обличительные для администрации, и, право, его можно бы печатать в Петербурге, даже под предварительною пензурою. Но Лавров еще имел личные причины не возвращаться в Россию, довольно полновесные; а Жемчужников? Кому мог быть опасен этот свистун, в 1880 году, бывший уже седым стариком? Можно бы смело предоставить ему писать по прежнему зубоскальные фельетоны в журналах и даже излагать свои претензии на государственное устройство России в жалобных книгах на почтовых станциях, как он сделал это однажды под Оренбургом.

Неспособность русских эмигрантов к труду физическому, незнание ими каких-нибудь ремесл, видов торговли и т. п. делала положение их в Женеве, где все работают не одной головой, а и руками, очень незавидным. Какая разница, напр., с французскими коммунарами, которые тотчас по прибытии в город основали разные мастерские, лавочки, магазины и пр.! Лучший башмачник в Женеве был коммунары; немало лавочек было содержимо ими. А Рошфор и Реклю? — Они, живя на берегах Лемана, заставляли говорить о своей деятельности целую Францию, целый свет, потому что работали без усталости. Наши же, даже передовые умники, являлись у них лишь подмастерьями, да и то на короткое время, за негодностью их к постоянной, напряженной деятельности. Реклю, например, последовательно приближал к себе Соколова, Драгоманова, Крапоткина и Мечникова и не на одном не остановился, как на постоянном сотруднике, кроме Крапоткина, да и то не по „Всеобщей географии“, а по журналу *Le Revolté*, заниматься которым лично не имел времени. Соколова, первого по порядку и дававшего Реклю уроки русского языка, пришлось отпустить, потому что ни образование его не было основательно,

ни прочных политических идей он, русский Прудон, не имел. Его пристроили было гувернером и учителем русских языка и истории в большой пансион или институт Тюдикума, где были русские воспитанники; но там он долго не остался, потому что стал запивать. . .

Но, довольно о русской эмиграции! Я чувствую в груди какое-то раздражение, нечто в роде последствий обманутой надежды, неудовлетворенного желания, в смеси со стыдом и отчасти даже презрением. Не при этих условиях можно писать *sine irae et studia*, тем более, что изложенного здесь прямо на-бело переписывать не намерен.

Русские «видные особы».

Но кроме эмигрантов всегда бывали и бывают в Женеве много других русских: следовало бы теперь сказать что-нибудь и о них. Однако я с трудом отыскиваю в памяти какие-нибудь, характерные случаи, сюда относящиеся. Не считать же таковым, например, участие заезжего брата Л. Мечникова (Ильи, профессора) в похоронах какого-то ничтожного коммунара, на которые Лев приглашал было и меня. Этого рода малодушием, т.-е. публичным заискиванием перед „крайними“, русские везде успевают ронять себя, нисколько при том не возбуждая симпатий и доверяя даже самим крайним. Не стоит почти вспоминать и другого, примера малодушия, в обратном смысле: генерал Столетов, бывший наш посланник в Кабуле, где он столько скомпрометировал Россию и себя, уклонился от приглашения женевского географического общества прибыть на его заседание и даже вовсе уехал из Женевы ранее срока, чтобы не быть потом заподозренным петербургскими властями в сношениях с женевицами, т.-е. неблагонамеренными царепротивниками, республиканцами. . . . А впрочем, может быть, не пошел он на заседание и потому, что очень слаб во французском языке и боялся обнаружить свое невежество, особенно неприличное в дипломате. Мог притом зайти на заседание какой-нибудь англичанин и доподлинно узнать, какого ничтожества испугались его соотечественники в 1878 году.—Другой русский дипломат,— на этот раз уже не случайный, а профессиональный и даже долгое время ходивший в Петербурге за умного,— Бюцов, наезжал как-то в Женеву за женою, которая там проживала, кажется, для практики в французском языке; но о нем я слышал только от женевицев, что „едва ли он любит Россию“, т.-е. то, что и сам знал в совершенстве с 1869 и даже 1858 года. Гораздо более удалось узнать о пребывании другой „видной особы“ — бывшего начальника Терской области, генерал-адъютанта Свистунова: но тут уж смешное или презренное смешивается с грязным. Свистунов, живший со мною в одной гостинице, приезжал в Женеву, чтобы написать проект переустройства кавказских минеральных вод ¹⁾ и, главное, изложить его по-французски, так как это придавало бы ему особый вес в глазах петербургских „высших сфер“, а вместе избавило бы и от многих критических замечаний со стороны людей дельных, но незнающих по-французски. Проект был написан и переведен, но не настолько грамотно, чтобы обойтись без корректора, которого Свистунов и нашел в лице некоего Демонта (Demont), учителя, обыкновенно дающего уроки иностранцам зрелого возраста, по 2¹/₂ франка за час. Вот этот-то Демонт и рассказывал мне, что Свистунов больше всего налегал на воз-

¹⁾ Он для этой цели и был командирован за границу правительством, он артиллерийский генерал, вовсе незнакомый ни с химией, ни с медициной, ни с геологией, ни с приемами разумного „водяного“ хозяйства! Где, кроме России, подобная нелепость могла случаться?

вышение сметных цифр своего проекта, так что его сотрудники-иностранцы дивились, как это он, вместо обычного у всех прожекторов уменьшения сметы — с целью скорее втянуть правительство в ловушку, — раздувает ее? . . . Бедные! они не знали, что генералу, во-1-х, пришлось бы торговаться в Петербурге и дать немало взяток за то, чтобы получить в свои руки „водяное дело“, а во-2-х, что ведь не бессребренник же он сам, чтобы упустить случай нажиться. По несчастию для его превосходительства, сумма, к которой он пригонял в Женеве все свои расчеты, четыре миллиона рублей, показалась даже в Петербурге безобразно большою, и проект канул в Лету, оставив в генеральском кармане одни „разъездные“ на прогулку по Европе и, пожалуй, еще на содержание в Женеве жены и дочери, ради получения последнею основательных познаний во французской грамоте. — Гораздо лучше заявил себя перед женевицами другой кавказец, Лорис-Меликов: сначала как герой Карса, а потом, во второй проезд, как министр уволенный за либерализм: для него в последний раз хозяин Hôtel des Bergues заблаговременно готовил комнаты, как для почетного гостя (Я, впрочем, не помню, был ли он действительно в Женеве в 1881 году, по крайней мере, я его не видал, а читал в газетах о предстоящем его прибытии, а от хозяина Н. des V. слышал, что комнаты для него приготавливались). Лорис-Меликов держался очень скромно, бывал по воскресеньям в русской церкви, но не отказывался в будни заглянуть и в пресловутую лавочку Эльпидина, чтобы посмотреть, чем дарят русскую литературу ее женевиские представители? Тут-то раз он сказал про „Общину“: „ну, это резко, но, по крайней мере, логично“ — и про „Общее дело“: „а это просто глупо“ . . . Бедный Эльпидин сам рассказывал мне эту лаконическую беседу с бывшим министром, и мне нужно было сделать усилие над собою, чтобы не расхохотаться при этом.

Другой русский министр внутренних дел, предместник Лориса, Тимашев, не нисходил до такой фамильярности с „каторжниками, которых настоящее место не в Женеве, а на Каре“. Быть может, опасаясь и личного воздаяния от Эльпидина и Ко, которых он „судил“ в 1863 г. в Казани, он в лавочку, признаваемую за революционный очаг, не заглядывал, а ограничивался одним приемом русских шпионов у себя, в Hôtel de la Paix. У меня была мысль, в один из таких приездов Тимашева нанять в той же гостиннице комнату и посмотреть, кто были эти тимашевские агенты; но всякое шпионство, даже за шпионами с целью их обличить, мне противно. Да и что мне было за дело до лиц, когда система обнаруживалась со всею ясностью? Каждый почти год Тимашев посещал Париж, Висбаден, Женеву, Ниццу, а его заведомые агенты шныряли, кроме того, в Цюрих, Интерлакен, Монтре, Баден-Баден, Эмс и пр. Образчик последних, Перелешин (Пелешин), бывал у меня под глазами, в Hôtel Richemont, ежегодно два раза, весной и осенью; на лето он уезжал в Интерлакен, а зимою переселялся в Ниццу.

О русских не-шпионах, бывших в Женеве или живших там по долгу, но не принадлежавших к эмиграции, я сказать почти ничего не могу, ибо всячески старался избегать сближения и даже встреч с ними, хотя для человека, ежедневно читавшего газеты в Café du Nord, это было почти невозможно. „Позвольте после вас „Голос“, говорит сегодня такой наезжий соотечественник, видя вас читающим эту газету; а на завтра он уже сопровождает подобную просьбу более или менее длиною беседу, разумеется, либеральною. — „А у нас-то! что только творится у нас! И когда всему этому наступит конец?“ — это было почти стереотипною фразою каждого русского, приехавшего в Женеву и обрадовав-

шегося случаю излить душевную скорбь перед случайно встреченным земляком.—Мне надоели эти золотушные причитания, особенно нелепые в устах какого-нибудь чиновника, который тотчас по возвращении в Петербург начинал строчить отношения, предписания и доклады, имевшие целью поддержать и развить деспотизм, а сверх того хлопотать о крестике или о годовом жалованье не в счет, для покрытия издержек по либеральной поездке на берега Лемана и Сены. Особенно отучил меня от наезжих русских либералов Ознобишин, козловский предводитель дворянства. Он лично представился мне не в кафе, а в гостинице, после обеда, чтобы попросить „Вестник Европы“; представил меня жене; просил по вечерам к себе и, при разговорах, казался человеком неглупым и верным честным началам. „Ну, этот,—думал я,—из порядочных; да и занимается серьезно делом, заслуживающим всякой хвалы: изучает женевские учебные заведения всех разрядов и учится по-английски“. — И что же? в конце-концов он признался, что его любимая газета — суворинское „Новое Время“! и только как бы в виде смягчения, прибавил: „ведь, Суворин мой старый товарищ по корпусу“. А Салтыкова он искренно ненавидел¹⁾.

Впрочем, что говорить о каком-нибудь степном земце, хотя бы он был и предводителем дворянства, даже quasi-либералом. Вот господин, который сорок пять лет стоял во главе либеральнейших русских журналов, являлся, некоторым образом, руководителем общественного мнения, страдальцем за русскую политическую свободу (ибо предостережения министра внутренних дел не миновали и его, не смотря на дружеские его отношения к разным сильным мира сего), — а в Петербурге числился если не вождем, то „хозяйном“ либерального мира. Сижу я как-то раз в Café grec, в Риме и пью вермут или какую-то другую подобную жидкость с водою; кругом много русских художников и нехудожников, ведущих беседу, по обычаю громко, и курящих неумолимо; среди дыма я жду, пока опростается „Голос“, чтобы прочесть его и уйти. Но вместо „Голоса“ является сам владетель его, Краевский, который, впрочем, проходит мимо, не узнав меня, намеренно или ненамеренно, я уже не знаю. Мне захотелось попытать, как этот господин, много лет знавший меня в Петербурге, как сотрудника своей газеты, бывший у меня, одолевший мною, как секретарем географического общества, говоривший мне любезности на своих воскресных вечерах и пр., — как этот человек выпутается из затруднения, если я ему публично напомню о нашем знакомстве. Я и напомнил, конечно, в приветливой форме, и тогда что же услышал? — „А, Михаил Иванович! как я рад вас видеть! вот не ожидал-то! Я ведь думал, что вы безвыездно живете в Женеве“ (последнее походило на перефразу слов: вед вы — эмигрант). — И не успел еще я обяснить, что для меня Женева не более, как станция, которую я охотно меняю на Рим, Париж и т. п., когда можно, — как хозяин петербургского либерализма спросил меня, достаточно громко, чтобы соседи могли слышать: „а скажите мне по совести, как на духу: вы написали книгу об истории России со времен крымской войны до берлинского договора?“ — Будь я не приучен уже к этому глупому вопросу, я бы, пожалуй, наговорил Краевскому вещей довольно неприятных; но тут, сверх соображения о пошлости вопроса, мне пришло в голову и то, что ведь хозяин либерализма в свое время был чем-то в роде литературного сыщика, рылся в бумагах умиравшего Пушкина, описывал и опечатывал их, поэтому и в настоящем случае действовал, как маньяк, которому верность согляда-

¹⁾ Как, впрочем, и эмигрант Драгоманов, называвший Салтыкова — скоморохом.

тайским началом была невремена. Поэтому я продолжал разговор спокойным тоном, но ответа на его вопрос не дал, а сам спросил: о какой это книги он говорит? — Тогда он позвал меня к себе, через площадь, в *Hôtel d'Espagne*, и показал мне 1-ый том „Исторических Очерков России“, отозвавшись, конечно умышленно, о нем с большой похвалою. — Я с своей стороны ограничился только тем, что посмотрел заглавие книги и сказал, что нужно будет как-нибудь ее прочитать, положил ее на стол Краевского. Разговор на этом присекся, но нужно было видеть, какими глазами смотрел на меня все время представитель петербургского либерализма! Я думаю, ни один жандарм, допытывающий политического преступника, не употребляет более пронзительных и свирепых . . . Заметив, однако, что я на это не обращаю внимания, старый российский Гранье-де Кассаньяк быстро перешел к другому предмету.

Именно, он стал рассказывать мне свой план основания в „Голосе“ особого восточного отдела, при содействии Гейнса, Лидии Пашковой и каких-то рекомендованных ею агентов; просил „дружеских“ советов и указаний, как у старого, уважаемого сотрудника и знакомого . . . Это шпионство и лицемерие, разумеется, оставило во мне более скверное впечатление, чем ознобишинское признание в либерализме à la Суворип.

Русский Париж ¹⁾.

После Муравьева ²⁾, в порядке иерархии, а еще более, пожалуй, по закону противоположности, следовало бы вспомнить тоже умершего в Париже старого его антагониста, гр. Путятина, а затем разных других *gros bonnets* между елисеевцами: кн. Меншикова, гр. Шувалова, и т. п. и т. д.; но все это—такие ничтожности, что решительно о них сказать нечего. Гораздо любопытнее Скобелев, наезжавший в Париж после своего знаменитого ахал-текинского похода, и произведший эффект бомбы или ракеты, разорвавшейся на парижском горизонте. Речь его к сербским студентам, где он прямо сказал и настойчиво повторил, что у всех славян один враг—немец, имела смысл вызова Бисмарку, намек, что у Франции есть союзник, Россия, а потому произвела впечатление потрясающее. „Ведь это говорит генерал-ад'ютант русского императора, хотя и из „авантюристов“; значит, пожалуй, быть скорой войне“ . . . Но все успокоилось недели через две, а немного позднее пришла весть, что Скобелев умер скоропостижно, в одной из гостиниц Москвы, где поил пивом и шампанским развратниц из немок, которые, по видимому, тоже чем-то его напоили, может быть, по поручению Бисмарка. О последнем были настойчивые слухи, и кто знает?—может быть, в них была правда. Бисмарк, когда ему нужно отвязаться от опасного врага или приобрести полезного союзника, в средствах не затрудняется. В том же 1882 году он устроил в России штуку почище умерщвления гуляки-Скобелева; приобрел шпиона в одном из членов царского дома. Член этот была одна немецкая принцесса. Узнавая все правительственные и придворные секреты, через императрицу и другими путями, она обо всем немедленно извещала Бисмарка через германского посланника, отправлявшего шифрованные депеши из Петербурга в Берлин. Одному из ад'ютантов в князя—мужа, показалось подозрительною эта частая переписка русской

¹⁾ Венюков, III кн., стр. 109—112.

²⁾ Характеристику Муравьева-Амурского пропускаем, как не заключающую в себе ничего нового.

великой княгини с немецким послом; он сообщил свои подозрения Игнатьеву, получил от него санкцию задерживать и вскрывать подозрительную корреспонденцию,—и измена была открыта. Следовало, бы конечно, запереть виновную на целую жизнь куда-нибудь в подземелье или хоть в монастырь; еще лучше—со срамом изгнать из России. Петр Великий, вероятно, не затруднился бы отстегать ее кнутом, или придушить подушками; но от малодушно свирепого Александра III такой строгой последовательности деяний опасаться было нечего. Правда, в первые минуты по открытии измены, он, говорят, думал засадить шпионку в монастырь; но вспомнил что она лютеранка. Императрица громко говорила, что она „отогрела змею на груди“, намекая тем на свою бывшую дружбу с изменницей; но когда дело дошло до определения действительной кары, то решено было отправить ее, на русские деньги, проветриться в Италию. Дерзкого же министра внутренних дел, посягнувшего на вскрытие царских писем, Александр III скоро уволил от должности, а своего министра иностранных дел два года сряду посылал на поклон Бисмарку, чтобы его умиловить. В 1883 году, т.-е. через каких-нибудь полтора года после скандала, криминальная княгиня явилась снова доверенною особою их величества и приезжала в Париж ради устройства брака одного из младших братьев императора с одною из орлеанских принцесс. Тогда-то я видел ее в последний раз, в церкви, где она была окружена зятьями и мужем, но уступала место княгине Долгоруковой-Юрьевской ¹⁾.

А кстати! вот еще представительница елисеевского отдела русской колонии в Париже, и еще какая крупная представительница! Без скандала, разумеется, не обошлось и с ней; ибо на то и русские «аристократы» в столице Франции, чтобы давать увеселительно-позорные представления. Желая заставить свет говорить о себе, она издала книженку о последних будто бы днях Александра II, в сущности же о себе и о возможных претензиях на русский престол ее сына, который, будто бы, был любимым детищем ее покойного супруга. Брошюрка была подписана псевдонимом Виктора Лефранка, издана в Швейцарии, но пущена в продажу в Париже. Первое время ее читали, потом верноподанный елесевец, банкир и сотрудник *Journal des Debats* Рафалович, конечно по приказанию свыше; осмелел это «историческое творение», доказав его безграмотность, и намекнув, что нетрудно узнать настоящего автора по нелепым его домогательствам и самовосхвалениям. Книжонка, в самом деле, полна последними.

Русского «политического салона», т.-е. дамского отделения тайной полиции, в последние годы не существует в Париже, хотя еще несколько лет тому назад княгиня Трубецкая красовалась в звании его деректрисы, и, на этом основании, поддерживала связи с разными Вильмесанами и тому подобною журнальною и политическою сволочью. Заменяла ли княгиню издательница «*Nouvelle Revue*» г-жа А., бывшая посланница Гамбетты в России, или самая должность высшей политической шпионки упразднена, я не знаю, хотя на редакторшу «Нового Обозрения», припавшую у себя русских великих князей, и падало подозрение. Одно несомненно: русская тайная полиция, политическая по крайней мере, по отношению к нам, русским, существует в Париже. Рошфор, в своем, «*l'Intransigeant*» дал место четырем любопытным статьям о ней, где наз-

¹⁾ Однажды вышел смешной случай. Дьячек, выйдя из алтаря с тарелкой для сбора денег, не знал, к какой из двух дам прежде подойти, великой ли княгине, которую дьякон упоминал на эктинье, или жене бывшего императора, занимавшей первое место? Великий князь Алексей вывел его из затруднения, положив первым на тарелку свою монету; но публика видела замешательство и смеялась.

ваны по именам многие агенты, сообщены их адреса и рассказаны некоторые из их шпионских подвигов. И что статьи содержали правду, доказательством служит то, что ни один из названных негодяев не посмел преследовать Рошфора за клевету или хоть диффамацию. Вот, например, имена и адреса некоторых из этих суб'ектов: Лагранж, бывший комиссар наполеоновской полиции и кавалер почетного легиона—avenue d'Italie, 55; Барле, бывший секретарь парижской полиции—boulevard de Vaugirard, 4; Патуа и Паке—тоже бывшие французские полицейские агенты, в 1882 году находившиеся в Петербурге; Беллино-Млоковский—boulevard Malesherbes, 75; состоявший в распоряжении какой-то г-жи de G..., русской девицы, отличившейся приключением в Булонском лесу; Франк Герман—бывший русский поручик, раненый под Плевной, и др. и др. Оплачивал их услуги баден-баденский агент русской полиции, Закрофо (очевидно грек), а контролировала—барыня, жившая на boulevard de Malesherbes, т.е., вероятно, русская аристократка. Одно утешительно; большая часть этой сволочи нерусские родом, разные греки, итальянцы (Мараско, Ферфуки), немцы (Сиверс, Герман), французы (Воклер, Ренс Бинд); но однако и из русских Рошфора газета назвала Германовича, Жданова, Англина, впрочем агентов второстепенных.—Я жалею, что автор статей не назвал того лысого старика в очках, который однажды удостоил меня своим соседством за обедом в 2 франка, в табль д'от Зарбурга, и который оказался столь важной особой, что на отпевании Тургенева, гр. Лорис-Меликов предлагал ему место впереди себя, непосредственно за послом. Сановный негодяи этот очевидно был коренной елисеец, и носил в петличке самую разноцветную бутоньерку, из всех русских орденских лент. Сходственный экземпляр, но только помоложе и, вероятно, пониже рангом, попадался мне часто на глаза в читальном кабинете Бараньона, на Монмартаском бульваре, и все заглядывал, какие именно газеты читаю я...

К елисецам, если не по знатности происхождения и важности общественного положения и служебной карьеры, то—по претензиям, принадлежат или причисляют себя довольно многочисленные художники, составляющие даже особый официальный кружок, Cercle artistique russe с помещениями и вечерами по вторникам, на rue de Tilsit 18. Тургенев у них был секретарем, а Боголюбов считается патриархом. Но кружок этот не популярен; кн. Мещерский, один из его основателей, говорил мне даже, что в нем много сплетен (это уж разумеется само собою: на то он и русский кружок), и я не стараюсь в него проникнуть, предпочитая французские. Но русские художники, Боголюбов, Харламов, Верещагин и др. не только члены русского кружка, а и участники в разных публичных выставках, однажды даже пробовавшие открывать собственную, национально-русскую (на Avenue de l'Opera). Верещагин даже очень популярен в Париже, главным образом, конечно, за свои военные картины, которыми он старается отучить человечество от войны. Однажды его выставка на Итальянском бульваре, в комнатах редакции «Gaulois», имела несомненный успех; но отчасти известности этого артиста помог (в 1882 г.), и учиненный им скандал. Именно, когда раз «Директор» Gaulois (русский жид Цион), бывший профессор-ретроград в медицинской академии, в Петербурге, вздумал фанфаронить перед Верещагиным, тот ударил его шляпою по носу, а потом напечатал в газетах «опровержение слуха, что будто у него с г. Ционом дело дошло до подсвечников». Парижская публика, всегда сочувствующая смелым проучениям и презирающая трусов, которые не умеют защищать свою честь, очень сочувствовала Верещагину, а Цион должен был покинуть

место в редакции даже «Gaulois», т.-е. одного из наименее уважаемых бульварных листков.

Само собою разумеется, что не все же русские художники в Париже—скандалисты или, как можно бы думать из слов Мещерского,—сплетники. Я даже полагаю, что они по житейским обыкновениям и нравам лучше художников многих других стран, начиная с самой Франции. По крайней мере, не слышно, чтобы они поступали с заказами на манер Мессонье, «великого» Мессонье, который в 1883 году взялся сделать, за 70.000 франков, портрет богатой американки Макай, не доделал его как следовало, и стал «продергивать» в газетах богатую заказчицу будто бы за уклонение от расплаты. Макай деньги заплатила, но портрет сожгла или изрезала, как негодный, и мне кажется, имела на то основание не только по праву собственности, но и по причине действительной неоконченности, нетщательной отделки портрета, который я видел на выставке. Про русских артистов, живописцев и ваятелей я ничего подобного не слышал. Они, вероятно, к художественной работе относятся добросовестнее, как, впрочем, и можно было судить по их выставке 1880 года, где не было ничего выдающегося, особенно даровитого, но где все было сделано по мере сил каждого. Одного Верещагина можно бы упрекнуть в некотором «ляпаньи» своих картин; но и это ляпанье все же гениально и по идее, и по рисунку, и по верности природе общего тона каждой картины. Правда, для скрадывания многих недостатков своей кисти он прибегает к слишком искусственному освещению своих выставок.

Ну вот, кажется, я очертил слегка все отделы русского Парижа, т.-е. той колонии, которая, состоя из восьми слишком тысяч душ, разбросана по Парижу французскому или, пожалуй, международному. Не останавливаться же еще на пестром колейдоскопе россиян, посещающих по пятницам местного слависта, а вместе сотрудника петербургского «Журнала мнн. нар. просв.», туриста и кавалера Св. Анны, Леже. Конечно, там иногда можно встретить очень порядочных людей, но, по собственным словам хозяина, у него «бывает всякая славянская сволочь». Лучше заключу эти строки о русских в Париже небольшою статьею, которую я напечатал в «Новостях» 1884 г., № 45, в защиту себя и других русских абсентеистов, на которых слышется не мало упреков от домо-седов и которых, может быть, думал уколоть Салтыков своею сказкою о «мудром пискаре», эгоисте, проводящем жизнь в норе ради безопасности. Редакция многое урезала из страха перед цензурою, только-что запретившею розничную продажу газеты, но я, насколько память позволяла, восстановил текст.

Из переписки московских славянофилов

А. И. Кошелев и И. С. Аксаков.

1861 — 1878 гг.

Печатаемые ниже письма А. И. Кошелева исчерпывают ту коллекцию его писем к И. Аксакову, которая имеется в распоряжении редакции „Голоса Минувшего“¹⁾. На этот раз мы печатаем письма, большая часть которых относится к 60-м годам XIX ст., некоторая часть — к 70-м и два последних захватывают самое начало 80-х гг., т.-е. относятся уже к самым последним годам жизни Кошелева, скончавшегося 12 ноября 1883 г. Все эти письма хорошо отражают те настроения, какие переживались в послереформенное время людьми, подобными Кошелеву: землевладельцами, связанными с сельским хозяйством не одними лишь наследственными узами, но и серьезной личной хозяйственной деятельностью, людьми либеральными, т.-е. понимавшими, что для процветания самой сельско-хозяйственной и всякой иной промышленности необходимо раскрепощение народного труда и ограничение бюрократического произвола в делах управления широким развитием общественного начала, но в то же время полагавшими, что, с уничтожением крепостного права, удельный вес землевладельческого дворянства в общественно-политической жизни должен не понизиться, а еще более возвыситься чрез развитие хозяйственной деятельности этого сословия и чрез предоставление ему видного участия и в местном самоуправлении и в общегосударственном представительстве.

Это общегосударственное представительство люди этой категории считали необходимым коррективом к бюрократическому управлению, но представляли его себе не иначе, как в виде совещательной Земской думы, отнюдь не ограничивающей самодержавия монархической власти. Кошелев являлся одним из выдающихся представителей этого именно круга воззрений, к которому склонялись после эмансипации многие более просвещенные помещики и который для Кошелева не был чем-то новым, но служил лишь естественным выводом из его славянофильского мировоззрения. Этим определялась позиция Кошелева, отличная и от позиции реакционного крепостни-

¹⁾ См. „Голос Мин.“ 1918 г. №№ 1-3, 7-9. Переписка получена нами от О. Г. Аксаковой. Ред.

ческого дворянства и от либерального радикализма передовой части тогдашнего русского общества, неговоря уже о развивавшемся в 70-х годах народническом движении.

В печатаемых письмах явственно выражаются элементы этого мировоззрения Кошелева, применительно к отдельным явлениям текущей жизни. Письма от 1861 г. почти целиком посвящены тем тревогам, которые наполняли душу Кошелева, как хозяина и землевладельца в виду переустройства привычных форм сельского хозяйственного быта в связи с отменой крепостного права. Эти письма интересны, потому что они вводят нас отчасти во внутренний мирок только-что раскрепощенной деревни. Сетуя на затруднения, которые ему приходилось испытывать при налаживании новых отношений с прежними своими крепостными крестьянами, Кошелев особенно нападает на одну из действительно слабых сторон реформы: на сохранение барщины после отмены личной зависимости. Но насколько даже такой рассудительный помещик, как Кошелев, чрезмерно нервничал и преувеличенно представлял себе свои затруднения, — это видно из сравнения его писем от 1861 и от 1862 г.г. Письмо его от 8 апреля 1862 г. служит, как-будто, прямой поправкой к тем lamentациям, которыми он переполнял свои послания летом 1861 г. „Хозяйственные дела мои — сообщает он Аксакову — идут гораздо лучше, чем я ожидал“ и сообщив затем о переходе многих крестьян с барщины на оброк, он в конце письма опять повторяет: „вообще в деревне в этом году лучше, чем я ожидал“.

Острому вопросу об устройстве помещичьих хозяйств по отмене крепостного права в печатаемых письмах отведено наибольшее место. Но Кошелев касается также и других тем, выдвигавшихся общественной жизнью того времени. К удивлению, он совсем не затрагивает вопросов, связанных с подготовкой земской реформы. Только вопрос о цензе, составивший предмет полемики между Аксаковым и Кошелевым, имел, конечно, непосредственное отношение к местному самоуправлению, но и этот вопрос трактовался ими в общей форме; а признаков внимания, прямо направленного на разработку проектов земских учреждений, мы в этих письмах не находим. Зато, Кошелев чутко реагирует на изменения в общем направлении правительственного курса, и в этом отношении надлежит отметить, что уже в 1862 г. характер правительственной политики представлялся Кошелеву, как проявление чистой и открытой реакции. „Куда они идут? неужели воображают эти господа, что реакцией теперь можно делу помочь?“ — спрашивает он в письме от 2 августа 1862 г.

Под реакциею Кошелев разумел главным образом решительно отрицательное отношение правительства ко всяким планам народного представительства, хотя бы лишь совещательного, которое только и представлялось Кошелеву возможным и желательным. В этом отношении Кошелев расходился с Милютиным и Самариным, которые

продолжали проповедывать прогресс „сверху“. К этим именно разногласиям относится горячая филиппика Кошелева против Самарина в письме от 27 апреля 1862 г.

В 1863 и 1864 г.г. Кошелеву пришлось однако работать рука об руку с Милютиным и Самариным в Польше, в году польского восстания, над переустройством социального уклада польского края. Этот эпизод из деятельности Кошелева также нашел себе отражение в издаваемой переписке. В письмах Кошелева к Аксакову отразилось и его несочувствие польскому восстанию и его критическое отношение к мероприятиям русского правительства, вызванным этим восстанием: заметим в этом отношении его жалобу на ненужные казни.

В письмах 70-х годов, конечно, особенно громкой нотой звучит осуждение Берлинского трактата и того непомерного усердия, которое русское правительство стало проявлять после Берлинского конгресса в гонении на славянские симпатии. В полосу этих гонений попал и Аксаков за его речь в Славянском обществе против Берлинского трактата. Очень любопытно указание Кошелева в письме от 3 сентября 1878 г. на контакт, установившийся между русским правительством и прусской полицией при преследовании аксаковской речи.

Не смотря на глубокую старость (в 1878 г. Кошелеву было 72 года) Кошелев и в 70-х годах проявляет в своих письмах живую отзывчивость на явления общественной жизни и чуткую внимательность к ее процессам. Как видно из писем, он отдавал себе ясный отчет в ненормальности внутреннего состояния России в 70-х годах в виду незавершенности начатых реформ и склонности правящих сфер поворотить вспять все, что было можно. Обеднение крестьян, расстройство земского дела, упадок общественных нравов, подкупы и растраты, и подбор бездарностей в правящих кругах — вот черты, какими Кошелев характеризовал тогда окружающую русскую действительность. Внимательно следил он и за жизнью западно-европейских стран. И от его умственного взора не укрылось все растущее значение социального вопроса в жизни западной Европы и параллельные этому росту названного вопроса успехи социалистического движения.

А. Кизеветтер.

Письма А. И. Кошелева.

1.

25 Мая 1861. Москва.

Письмо ваше от 15 Мая я получил, любезнейший Иван Сергеевич. Не писал Вам потому, что крайне занят. Хлопоты у меня всякого рода: и хозяйственные и заводские и политические. Поговорю с Вами о последних.

Самарин горячо стоял за обязательную работу и желал только упразднения слова: барщина. Ред. Ком. и Черкасский в числе ее членов утвердили барщину, веря или не веря в ее возможность.

Если верили, то были слепы; если не верили то действовали не весьма честно. Весьма многие депутаты и недепутаты утверждали, что в России барщина вольных людей невозможна, Факт повсеместно оправдал мнение последних. Барщина допускается народом в виде меры кратковременной и он протестует против нее всячески: устанавливает уроки нелепые и утверждает, что больше сработать не может; если один не может спяхать полудесятины, то все недопахивают; если один поздно выходит на работу, то все являются поздно. Прежде они возили навоз каждый на 2, 3 и 4 лошадях и заваживали вперед. Всякий исполнял урок за себя и не заботился о прочих. Теперь, все выезжают на одной лошади, все вместе едут и у всех воза одинакие. Ни один не провиняется отдельно, а все равно виноваты. Приезжает Исправник с солдатами; они повинуются, и отработывают уроки в свои дни. Положение барщинских имений самое критическое: каждую минуту жди осложнения. У меня барщина справляется порядочно, но причиною тому, как мои личные отношения к крестьянам так в особенности то, что я предоставил крестьянам с 1-го Апреля перейти на оброк и теперь предоставляю с 1-го Октября опять выходить на оброк. В других же имениях барщина отправляется так для смеха: некоторые помещики отсеялись только на днях. Я боюсь теперь еще того, что крестьяне узнавши всю непроизводительность нынешней барщины для помещика и всю ее необременительность для них, не будут выходить на оброк. Они убеждены, что нынешнее Положение есть мера переходная и что настоящая воля еще выйдет. Я боюсь, что они не будут выходить на оброк, дабы тем не изъявить своего согласия на нынешнее Положение. Следовало, как я сто раз толковал, сделать обязательным оброк, и вместе с тем сказать: крестьяне, которые не в состоянии уплачивать оброк, могут оставаться на барщине. Тогда барщина была бы делом воли каждого и тогда она еще как ни как бы пошла¹⁾.

Да, любезнейший Иван Сергеевич, положение нашего хозяйственного и общественного быта есть самое критическое.

Мировые Посредники не будут иметь никакой власти, ибо они избраны, как говорит народ, из бар самими же барами, которые их привели к присяге: не выдавать ни одного своего брата и всех крестьян опять поворотить в крепость.

Старшины и Волостные Сходы не будут иметь никакой силы, потому что крестьяне не понимают *схода выборных*, и еще менее *Головы*, главного мирского начальника, избранного не миром, а его выборными²⁾. Не хотят (говорят крестьяне) нас спускать вместе и бары хотят заступить наших выборных, чтоб выбрать Старшину себе на руку. Я этой беде решил помочь след. образом: приказал в силу помещичьей отпадающей власти крестьянам собраться на сход и назначить Старшину и выбрать выборных для того, чтоб они, когда придет Посредник, могли уже официально выбрать Старшину, назначенного прежде миром. Все мирские назначения сделаны хорошо. Крестьяне приходят ежеминутно за советами и Положения вовсе не понимают. В след. воскресенье должно быть открытие волостного Правления в Песочне.

Помещики еще менее понимают Положение. Просто смех и горе.

Да, дрожащий Иван Сергеевич, мы переживаем великую минуту самым странным образом: народ страшен единомыслием; помещики и теперь стараются каждый в своем уголке в мутной водице рыбки половить; и Правительство не знает, каким богам

молиться: то хватается за филантропию, то опять за Николаевщину. И страшно и смешно, и грустно и утешительно; видна великая будущность, а являются на первом плане беспорядки, столкновения и пр.

Радуюсь, что Вам разрешили Газету³⁾; но вы ее не начинайте теперь — прежде 1-го Октября не открывайте рта. Право, нынешняя минута слишком неблагоприятна. Теперь должны быть страшные стеснения, ибо Правительство чувствует, что почва колеблется. Мой совет, объявить в Сентябре и начать с 1-го Января. Зимой Правительство убедится в необходимости действовать либеральнее, и против огромной силы материальной искать опоры в классе образованных. До зимы оно должно действовать по Николаевски, и иначе действовать не может. Теперь в России пожар; к осени дожди несколько сократят пламя, и тогда можно будет перейти к иной системе. Ради Бога не торопитесь. Хоть раз послушайтесь благоразумия, вещающего моими устами.

Деньги для газеты к вашим услугам. Возьмите их у жены моей, которой я об этом пишу по сей же почте.

Кто же будет Министром Народ. Просв., если Ковалевский положительно выходит?⁴⁾ Придется *теперь* об нем жалеть, ибо *теперь* хорошего не назначут.

Сухозанет — в Варшаве! Это что такое? Неужель хуже никого не нашли?⁵⁾

Деньги для Болгар возьмите также у жены моей.

Право Болгарскую проделку следовало бы прекратить. Нет Президента; к чему еще выбирать? Мне весьма не хочется продолжать по 500 руб. бросать в печь. Я хотел и в прошлом году отказаться от дальнейших взносов; и теперь имею то же желание, которое при случае можете сообщить Собранию полутора человек. Что за смысл Комитет? Пора нам перестать дурачиться⁶⁾.

Прощайте. Кажется, измарал много бумаги. Не имею почти одной минуты свободы для занятия хозяйством настоящим образом. Ничего не читаю; еще менее пишу; но зато говорю без умолка и с крестьянами и с соседями—помещиками. — Положение для всех есть слова Оракула, которые всякий толкует по своему и которое никто не понимает или не хочет понять. Благодарю Бога, что я не участвовал в редакции этого Положения. Видно милость его больше, чем я стою.

Еще раз прощайте.....

Усердный поклон всем вашим и нашим.

От Хомяковых в Болгар. Комитет не поступит более ни копейки. Прошу Вас это заявить *положительно*.

2.

10 Июня 1861. С. Песочня

Письмо ваше, любезнейший Иван Сергеевич, я получил и спешу Вам отвечать.

Совершенно справедливо вы говорите, что время таково, что чрез каждые две недели может быть новое явление и вперед ничего угадать нельзя. Да, теперь у нас спокойно, но за это спокойствие нельзя ручаться ни на один день вперед. Расскажу Вам несколько фактов крайне замечательных.

Прежде крестьяне выезжали на работу кто раньше, кто позже; теперь все выезжают за-раз, и если один опоздал, то все опоздали. Извольте взыскивать при таких условиях.

Прежде крестьяне возили возы навоза по силе лошади каждого из них. Теперь у всех воза одинакие, и скорее малые, чем средние.

Прежде крестьяне беспрестанно приходили с просьбами то о том, то о другом. Теперь они часто приходят или миром или чрез своих выборных, но очень редко беспокоят своими личными просьбами.

Прежде у меня в каждом имении выдавалась без повинности земля сиротам, престарелым, немощным — всего раздавалось до 100 дес. Я объявил, что теперь обязанность призрения лежит на мире; и вообразите — ни одна просьба о даче такой земли ко мне не поступила.

Прежде отработка за больных была очень затруднительна; теперь мир положил, что всякий должен справлять повинность с своего участка. Больные нанимают, а барщина идет без больных.

Потравы господских полей часто случаются, но свои поля они так строго держут, что немилосердно штрафуют за всякую вольную скотину.

Еще одно очень странное, но весьма знаменательное явление: везде крестьяне просили меня миром, чтоб за праздники не отработывать в будни, но чтоб *барщина была и в праздники*. Чистейший протест против барщины и заявление, что они покоряются лишь силе, принуждению.

Не помню, писал ли я вам о том, что волостные сходы, сочиненные Ред. Ком., встречены с самым сильным сопротивлением. Крестьяне долго не соглашались избирать выборных; когда им было растолковано, что на то есть закон, воля Царская, то они исполнили это след. образом. Назначили старшину на мирском сходе, а выборным приказали, чтоб старшиною был ими назначенный. Когда Посредник, сделавши переключку выборным, велел им выбрать старшину, то везде они ему объявили, что мы уже его выбрали и сказали кого они выбрали.

Искусственное разделение властей также сильно не понравилось крестьянам, и Старшина везде будет судить с судьями⁷⁾.

На выкуп земли крестьяне весьма согласны; но 49 лет срока возбуждает их общий смех, и они на это смотрят как на обман. Платить в Казну они согласны, но и слышать не хотят о добавочном взносе помещику. Пусть уже все Вам заплатит Казна, а мы ей будем выплачивать по возможности⁸⁾.

Мировые посредники не могут иметь никакого значения, потому что выбраны все люди или ничтожные или неблагонамеренные. Я знаю три уезда и там нет ни одного сносного человека. След. 100, 200 хороших посредников не могут спасти учреждение, состоящее из 2000 или 3000 лиц. Крестьяне приходят теперь с просьбами и жалобами, потому что они Посредников пробуют, испытывают; но вскоре это прекратится.

Теперь водворено временное, крайне ненадежное спокойствие. Пламя может разом обхватить все здание. Мы находимся теперь, как говорил Талейран: *pous dausons sur un volcan*.

А помещики! ох помещика, чуть отдохнут и опять воображают, что можно удержать прежнюю барщину и прежние порядки. Когда я приехал сюда они были все в страхе и ужасе; все согласны были

отпустить на оброк за полцены; теперь и черт им не брат. Хорошо, что крестьяне стоят очень дружно и стойко. Их дело выиграно, и нужно только нынешнею зимою, т.-е. в начале зимы изыскать средства настоящие к осуществлению выкупа. Выкуп — одно спасение, один исход.

Если Валуев напишет, хотя по секрету, отношение к Губернаторам в пользу помещиков, то жаль, ибо придется ему вскоре писать новое, ибо большинство из них и без того, за свою братью-помещиков. Впрочем, теперь опасно писать и в пользу крестьян; ибо есть местности в нашей же губернии, где помещики угнетены и крестьяне своевольничают. Беда да и только. Повернись—беда; перевернись—еще хуже. Нет возможности теперь давать советы из-за 1000 верст. Можно только рассказывать на месте. Всего лучше — молчать и дать лицам действовать на месте по указанию обстоятельств.

Я теперь ничего не должен Болгарскому Комитету. Я каждый год очищал. Я подписался весною в Апреле и всегда в Апреле или Мае платил. Один раз через Вас, однажды через Хомякова (именно в прошедшем году); платил также и прямо Бахметьеву. Он всегда просил деньги вперед; даже приставал и через Вас и через Хомякова; но я знал свое время и всегда платил исправно. Решительно ни полушки не должен и не заплачу Болгарскому Комитету. Очень бы желал прекратить мои платежи и на будущее время, ибо считаю это игрою не стоящею свечей; но если необходимо платить, то буду бросать деньги в печь; но знайте, что мой голос всегда за прекращение, упразднение этого Комитета.

На счет биографии Киреевского⁹⁾, то к Соболевскому посылать не могу, ибо не знаю, где он находится. Если он в Москве, то отдайте, и попросите его сообщить свои пополнения. К Петерсону писать не могу, ибо не знаю даже его имени. — К кн. Одоевскому и к Титову послать необходимо. Вот к ним письма. К Титову можно переслать через Гильфердинга. К Максимовичу бесполезно посылать, ибо он что знал, то написал (т.-е. ничего) К Нат. Петр. Киреевой прилагаю письмо. К Мельгунову оставьте у себя до востребования, ибо на днях он должен быть у меня и я ему дам к Вам письмо.

Об Кавуре постараюсь написать; но теперь я вовсе не в пишущем расположении духа. Не знаю что скажет осень. Вообразите, я читать ничего не могу. Покойный Хомяков часто смеялся надо мною, что я погружаюсь по маковку в каждое дело, которым занимаюсь, что не тону в нем, но лишаясь всех чувств в отношении ко всему остальному. Это совершенно справедливо.

Прощайте, любезнейший Иван Сергеевич. Усердный поклон всем вашим, Погодину, Гилярову и прочим нашим благоприятелям. Где Чижов? Что делает Погодин? От Самарина и Черкасского получил длинные письма. Черкасский пребывает в восторге от Положения.

Как дали Черкасскому Владимира на шею, а Самарину — ничего? Почему из всех членов Ред. Ком. выбрали Черкасского и Семенова и их наградили? Это должно быть Черкасскому очень неприятно; но как же это случилось?¹⁰⁾

Прощайте

Вам преданный...

Чтоб убедить Вас в том, как распечатывают ваши письма, посылаю обратно ваш пакет, даже не искусно склеивают.

3.

25 Июля 1861. С. Песочня.

Давно, очень давно я к Вам не писал, дрожайший Иван Сергеевич; но что делать? хлопот столько, что только бы их свалить, а уже для другого чего, право, не остается ни минуты.

Знаете: надобно иметь ангельское терпение, чтоб не беситься. Крестьяне читают Положение не в книге, а на деле: они пробуют могут ли то сделать или нет? Могут ли того не исполнить или нет? Беспрестанны разьяснения; частые обращения к Посреднику; а к великому моему горю Посредник сперва был очень плох, а под конец и вовсе его не стало. Кандидат, мой племянник, не мог вступить в должность, ибо ему не прилично теперь разбирать мои жалобы на крестьян; кандидаты из других участков, за болезнью, отказались. И мы недели три были без посредника. Хлопот бездна; терпение надобно иметь не-человеческое. Я не сержусь на крестьян; они читают по своему Положению; но для меня от того не легче.

Много перемен надобно сделать в Положении. Теперь и на деле оказывается, что барщина, при свободе людей, невозможна. Надобно быть вооруженным правом наказывать, или барщина должна быть заменена обязательным оброком. Как первое невозможно и не желательно, то необходимо последнее.

Крестьяне решительно помещикам не верят. Я думал, что пользуюсь их доверием, но на деле оказывается, что и я помещик и потому не пользуюсь верою со стороны крестьян. Тяжело барахтаться в этом омуте....

Пришлите ко мне замечание Елагина и заметки на поле Погодина. Надеюсь осенью быть по-свободнее и по-спокойнее думать и тогда поисправлю биографию Киреевского.

Не знаю, кто считает меня сумасшедшим: мне взять на аренду С. Петер. Ведомости!!!

Уставных грамот написал я много, но на подпись крестьян рассчитывать нельзя. Они убеждены, что это новая кабала, и что кто подпишется, тот уже лишится права на новое, настоящее Положение, которое выдет к концу двух лет.

В Польше дела идут — говорите вы, плохо; но где же они идут хорошо? Я купаюсь ежедневно и только этим поддерживаю бодрость духа.

7-го Августа я выезжаю в Хомяков. имение. Думаю проездить недели три. О как все это представляет мало успокоительного и приятного — опять толковать с крестьянами. Знаете: надо их очень любить, чтоб их не возненавидеть.

Прощайте

Вам душевно преданный....

4.

14 Сентября 1861. С. Песочня.

Коротенькое письмо ваше, через Бодгарово, я получил в Песочне и спешу Вам отвечать, любезнейший Иван Сергеевич.

Вы говорите: „приезжайте поскорее в Москву; что вам делать в деревне? Не беда, если потеряете две, три тысячи“. Я готов потерять не две, три тысячи, но двадцать, тридцать тысяч, лишь бы выр-

ваться из деревни. Здесь тяжело до-нельзя. Крестьяне не ослушиваются, но и не работают не то что хорошо, а даже сносно. На оброк не идут; ни на какие сделки не соглашаются; и испытывают ваше терпение всеми возможными и невозможными способами. Теперь я составляю и представляю уставные грамоты; все без подписи крестьян, ибо они не идут ни на какие соглашения. Как я их к себе позову, они милы и любезны, говорят всякие нежности, а как к делу—тут и запята.

Знаете—мое пребывание здесь удерживает в покое весь край и дает быть может ввести Уставные грамоты без военной силы. Напротив, теперь все помещики порядочные, несколько здравомыслящие, должны оставаться в деревне. Кашу заварили отличную! Ну, Редакционная Комиссия! Можно было напакостить, но трудно было сделать в исполнительном смысле хуже.

Теперь один исход—обязательный оброк и обязательный выкуп.

Конечно, обязательный оброк есть насилье; но заставили же помещиков дать крестьянам землю. Это было насилье, но насилье необходимое; теперь неизбежно за эту землю крестьян заставить платить деньгами, а не работою, ибо барщина была всегда дурна, а теперь она невозможна.—Если барщина продолжится, если ныне зимою не будет дано помещикам права переводить крестьян обязательно на оброк, то я весной в деревню не поеду, а отправлюсь в чужие края и махну рукою. Нет сил действовать при бессильных посредниках, при отсутствии полиции и при сельском управлении, начинающем понимать, что вся сила в его руках, и что все прочее гнило и бессильно.

Вы живете в Москве, читаете, пишите и говорите.—Вы не можете себе составить понятия о положении дел вообще. Знайте же, теперь плакать надо не о крестьянах, не они угнетенные—они теперь самовольничают тем разгульнее, чем прежде гнет над ними был тяжче.—У меня дела плохо идут, а у других—и говорит нечего. Теперь еще, теперь половина помещичьего хлеба гниет в поле. А посевы сделаны так, что страсть просто смотреть. Если я не проехал почти по всей Рязан. губ., по частям Тамб., Воронеж и Тульской, то я был бы очень недоволен своими крестьянами, а теперь вижу, что они еще милы.—Одним словом, везде страшнейшая неурядица и если правительство не примет решительных мер, то беги из России.

Вы знаете, что я вовсе не пессимист, не Дмитрий Николаевич Свербеев, а должен сказать, что—*худо*.

Возгласы в пользу крестьян—в газетах и журналах,—мне теперь до того противны, что охотнее читаю старые статьи Г. Г. Бланка и ком. Конечно они не правы, но они все-таки ближе к истине, чем вы, г.г. филантропы и литераторы. Вас всех отправить в деревню на три месяца, и конечно завеса спала бы с ваших глаз.

Прежде нужно было иметь и самостоятельность и храбрость, чтоб говорить в пользу народа,—теперь нужно еще более самостоятельности и храбрости, чтоб сказать слово в отпор этому модному направлению все превозносить народ. Много конечно в нем хорошего, но необходимо есть и дурное; и теперь это дурное по милости бессилия Правительства и прочих сословий является наружу в значительных, страшных размерах.

Я нервозен теперь до-нельзя, и решительно с крестьянами более не говорю. Знаю, что никакие соглашения с ними невозможны. Вот из ста один образчик: Вас. Ив. Хомяков сзывает крестьян и

говорит им, что он дает им даром по 2 дес. на душу. Довольны ли они?—Они отвечают: много довольны Вашею милостью.—Ну, подпишите Уставную грамоту.—Один назад, другой туда же и все разошлись.—Когда он стал некоторых спрашивать о причинах их несогласия, то получил в ответ: бают, что мы все получим даром.

Замечательно: крестьяне поняли прекрасно все, что в их пользу; и они никак не хотят понять того, что в пользу помещика.

Недобросовестность русского человека теперь ярко проявляется. В этом отношении он едва ли уступит французу. Прежде мы это сваливали на крепостное состояние, но теперь его нет, а недобросовестность еще сильнее выказывается.

А купцы! что может быть их недобросовестнее!

Ради Бога, в своей газете не воспевайте народ—эта тема так избита, что стыдно теперь вторить Русскому Вестнику и Петер. Журн. Теперь должно стоять за другое, а именно за *наряд* в земле Русской. Его-то теперь вовсе нет.

Что потравлено и погнуено хлеба! Что украдено с полей, из амбаров, из изб и пр.!—Одним словом страшно подумать о всеобщей неурядице.

А в Петер. в ответ на наши жалобы, устанавливают бляхи для посредников, для Старшин и старост.

Думаю, что все порядочные посредники (а их и без того очень мало) бегут со службы.

К 10-му октября я окончу Уставные грамоты, проживу еще полторы или две недели, чтоб видеть, как пойдет по Уставным грамотам и потом через Москву, поеду в Питер, чтоб растолковать кой-что людям нами управляющим.

Прощайте.

Понимаю, что Вам тяжело; да кому же теперь легко? Вы жалуетесь на одиночество, но мы все теперь в разброде и все не знаем, что делать. Душно и тяжело.

Прощайте. . .

5.

6 октября 1861. С. Песочня.

Верю что вы заняты, но дайте же о себе весточку, любезнейший Иван Сергеевич.

Что значит закрытие Петерб. Университета? Эта мера еще не бывала¹¹⁾.

У нас все идет скверно. Крестьяне самовольничают жестоко; посредники все—размазня; у них нет достаточно власти. Земской Полиции вовсе нет и ералашь во всем страшнейший.

В Польских провинциях также кажется ералашь.

Из Питера получаю письма; там и не подозревают положения, в котором мы находимся. О, слепцы!

Прощайте. Пишите.
Вам преданный. . . .

6.

26 марта 1862. С. Песочня.

Вы не можете себе представить, как я рад, что нахожусь в деревне. Ростепель полнейшая; нельзя ни вытти, ни выехать и я наслаждаюсь полнейшим уединением. Даже крестьяне меня мало посещают. Просто прелесть.

Читаю и пишу мало. Для вас изготовил статью, и, кажется, не плохую. В ней высказываю такие новые мысли, что не решаюсь прямо их вам открывать. Посылаю эту статью к Черкасскому с тем, что если он с нею согласен, то бы отправил ее прямо к Вам для напечатания; а если не согласен, то чтобы возвратил ко мне с замечаниями. Эта статья цензурою будет пропущена, но в литературе произведет большой шум, и много каменьев в меня бросят. Заглавие статьи: *о денежных процентных знаках*. Я бью с плеча и Ламанского и № 5 Соврем. Летописи. Потом я изготовил статью: *О восстановлении ценности кредитного рубля*. И той и другой статьи прошу мне дать особую брошюрку по 50 экземпляров ¹²⁾.

Вы мне дали 25 экзем. моего 2-го письма, а 1 и 3 ничего не дали. Дайте мне по крайней мере по 10 экземпляров, из которых по 5 пришлите сюда.

Что у вас нового? Не слышали ли чего о моем деле?—Как идет новое устройство Цензуры? Какие вести из Питера. Пожалуйста пишите, хоть коротко да обо всем, ибо здесь кроме.... (Дальше письмо оторвано).

7.

8 апреля 1862. С. Песочня.

...Статьею Соврем. Летописи, я очень доволен: она глупа, ответа не вызывает, доказывает, что противнику нечего было отвечать и вдобавок содержит обещание поддержать мою кандидатуру на любой, самый видный пост. Чего же мне больше? Спасибо, да и только.

Если вы получите от Черкасского мою статью о Процентных денежных знаках, то пожалуйста перечтите ее с особенным вниманием, и если в ней найдете что-либо тревожное, для кого-либо лично оскорбительное, то пожалуйста измените. Со стороны это гораздо виднее чувствуется. Я вовсе не желаю лезть на брань ни с Современною Летописью, ни с Ламанским. Об деле готов спорить, но не желаю никого оскорблять лично.

Посылаю вам одну статью полученную мною в письме от жены. Она, т.-е. статья, выскоблена целиком в № 371 Ost und West. Ну спрашивается: для чего такие статьи тщательно выскабливать? За эти статьи надобно благодарить; они несколько убеляют нашу нынешнюю политику; а мы их скоблим!

Не знаю, что мне и делать с моим разбором записки Ламанского. Он растет до размеров невозможных. Попробую разбить его на несколько статей в роде моей первой, отправленной к Черкасскому. Как трудно писать длинное сочинение при беспокойном положении ума, и при частых отрывках по делам хозяйственным!

Об хозяйственных моих делах должен вам сказать что они идут гораздо лучше, чем я ожидал. На оброк крестьяне выходят довольно охотно по одиночке. Прежде у меня было из 2200 тягол на оброке до 600; осенью это число дошло до 800; теперь уже более половины на оброке, т.-е. слишком 1200 тягол. Из 18 деревень моих состоят уже целиком на оброке 6; в 3 деревнях осталось на барщине менее $\frac{1}{8}$, и след. я имею право их обязательно перевести на оброк; но я этим правом не пользуюсь, потому что боюсь прочих остановить в переходах на оброк. Теперь могу положительно сказать, что к будущему апрелю у меня на барщине никого не останется.—Наемки трудны: крестьяне ломают страшные цены, но, при выдержке, согла-

шаются и на разумные цены.—Вообще в деревне—в нынешнем году—лучше чем я ожидал. Это я говорю только о своих имениях; но, за прекращением всяких сообщений по причине распутицы, я еще ни кого не видал.—Безденежье у помещиков страшное и в этом отношении дело их не улучшилось.

Прощайте. Вам преданный...

8.

14 апреля 1862. Песочня.

Вчера обратно получил от Черкасского мою статью, при сем к вам отправляемую. Я думал, что он со мною согласится, но вижу, что точка, на которой он стоит по общинному вопросу, удерживается им и по финансовому делу. Об общине он говорит: пока ее терпеть можно и должно, но она вскоре уничтожится и увековечивать ее не должно. О процентных бумагах он повторяет точь в точь. В длинном письме он меня убеждает не нападать на наших ученых, и выбросить все то, что я говорю против их науки. Если это опустить, то и мысль моя будет не ясна, не полна и крайне бледна. Стать же на точку Черкасского я не могу—это противно моим убеждениям. Пусть возражают, я буду отвечать.—Замечание Черкасского и его письмо меня окончательно утвердили в верности моего взгляда. Теперь я не боюсь возражений; но верные они будут пустее тех, которые он мне сообщил.—Прошу вас об одном: если найдете, что иные выходы или выражения слишком жестки, то смягчите их. В этом Вам *carte blanche*.

Теперь пишу статью о беспроцентных денежных знаках. Мне надобно было многое прочесть, многое перечесть. Чувствую, что завяжется у меня страшный спор с целою фалангою политико-экономов. Сделайте милость, следите за их критиками; ни одной дельной я не оставлю без ответа, а потому покорно прошу вас из всех журналов, относящихся до моих статей, ко мне присылать, а я вам все это акуратно возвращу. Из больших журнальных книг можно вынимать тетрадки, а по возвращении от меня вы их опять вклеете.

Черкасский, написавший мне разные комплименты по поводу первой статьи о цензе, возражал теперь весьма резко против 2 и 3-й. К чему воскрешать статьи—остатки до Петровской гнили? К чему мелкопоместных вотчинников призывать к участию в деле общественном? Лучше было бы их причислить к волостям, а нас оставить, в более ограниченном числе, в известных отношениях к среде черных людей.

Все письмо Черкасского на 4 листах, очень замечательно. Он, как и Самарин, никак не может еще выбыть из Редакционной Комиссии. Он возлагает все надежды на действие свыше и ничего не ожидает от нашей среды. Надобно де дураков везти.—Очень забавно то, что он в заключение высказывает уверенность, что нам, при открытии Земской Думы, придется взять пачпорта за границу и ехать одному в Карлсбад, а другому на Баварские воды; тут он прибавляет: не думайте, чтобы дворянство вам, когданибудь простило ваши грехи по эманципации¹³).

Не давайте цензоровать этой статьи в рукописи, а прикажите прежде набрать. Это замечание Черкасского не показывайте другим. Пусть Современная Летопись и другие выставляют свои возражения.

Прощайте...

9.

27 Апреля 1862 С. Песочня.

Знаете, дрожайший Иван Сергеевич, что письмо Самарина в № 27 „Дня“, меня просто взбесило¹⁴⁾. Но и вы как могли, без оговорки, без примечаний, напечатать такую косвенную защиту бюрократии и явную нападку на общественную деятельность. Знаете это письмо Самарина может в Петербурге быть употреблено сильным доводом к тому что еще не следует предоставлять нам совещательное собрание, что мы дети, что не умеем ни за что взяться и пр. За письмо напечатанное в „Дне“ право можно дать и написавшему и напечатавшему каждому по Станиславу с звездой. — Я написал ответ наскоро; — при сем его к Вам препровождаю. Если найдете нужным что исправить, смягчить изменить, то делайте как знаете даю вам *carte blanche*, ибо я написал очень на скоро и весьма сгоряча. Я просто взбешен на Самарина. Прощаю ему эту выходу, как следствие его болезненного состояния и не иначе. Но вы разве также больны? Нет вы имеете слабость к изящной форме, и ради ее печатаете такие произведения Самарина, без оговорок, которые для дела крайне вредны. — Его защита Положения под именем Рычкова и это письмо суть статьи вредные, но первая по крайней мере была полемическая и как таковая была особенно вредна и смешна только для Г. Рычкова; а это письмо и без всякой оговорки напечатанное — это просто проступок против общественной деятельности.

Если хотите выставить мое имя целиком, то выставляйте. Я думаю что не прилично мне от своего имени ратовать против Самарина. Через это мое положение в общ. мнении делается через чур выгодным, а положение Самарина через чур невыгодным. По этому я считаю лучшим выставить одну или две буквы а имени всего не выставлять. Впрочем делайте как хотите, но письмо Самарина без ответа не оставляйте. За это я стою крепко. — Еще раз повторю: исправляйте в моем письме, что найдете нужным, ибо я написал его наскоро и сгоряча, но скорее печатайте. Не давайте в Петербурге бюрократам торжествовать....

Прощайте. Вам преданный...

Хороши сюрпризы к 17 Апреля! Даже и Панина не прогнали! Ваша статья в № 27 очень хороша¹⁵⁾.

10.

1 Мая 1862 года. С. Песочня.

Ну, скажите, не страшнейшие ли вы все бюрократы? Прочтите письмо Соболевского, при сем прилагаемое, и не заслуживают ли: Общество, Президент, Вице президент и *tutti quanti* по крайней мере Станислава разных степеней за соблюдение формы с презрением полнейшим к сущности дела? Семену до зареза необходимы деньги; деньги имеются или по крайней мере должны быть, а дается ответ что не могут быть выданы, потому что хоть и будет собрание, да не такое, какое нужно. Это де дело должно быть решено в обыкновенном заседании, а будет иное. К этому еще добавляется: Никак не думаю чтоб Президент взял на себя нарушить *законный* порядок.

А я вам объявляю одно: если Общество не выдало этих денег Семену прежде 1-го Мая, то я бумагою войду с вопросом: какое право Общество имело употреблять на разные свои издания деньги

предназначенные мною на напечатание Словаря? Тут уже не форма, а *сущность* дела. И в этом случае, т.-е. если Общество по моему желанию не уплатило Семену до 1-го Мая, то копейки оловянной обществу уже не получит от меня; и я предложу Далу иметь дело со мною или с Обществом. В этом случае я разумеется выду из Общества, ибо не хочу с такими кавалерами Св. Станислава заседать за одним столом.

Семену крайняя нужда в деньгах до 1-го Мая. Это срок найма его квартиры. Хозяин желает получить квартиру обратно для перестроек. Если он одним днем опоздает, то хозяин ему откажет, и Семен окончательно разорен — и все это ради соблюдения глупой формы.

Прощайте — до следующей почты...

Здесь слух прошел что опять всплыл проэкт об Уездных Начальниках. Неужель это правда? Вот сюрприз к 26 Августа! После этого нельзя будет жить в деревнях. Успокойте меня или окончательно огорчите.

11.

8 Мая 1862 года. С. Песочня.

Письмо Семена и записка Соболевского меня просто взбесили: соблюдение форм и презрение к сущности дела. Деньги, предназначенные на одно дело, употребляются на другое дело, и об этом не полслова тому, кто эти деньги дал. — Я вовсе не жертвовал эти деньги в распоряжение Общества, а я их дал на издание Словаря. — Теперь нужно для уплаты 380 руб., а из выручки более чем 1000 руб. не могут уплатить и эту безделицу. — Это просто взбесит хоть кого.

Прилагаемое письмо передайте Председателю Общества, т.-е. Мих. Петр. или себе — глядя по тому, кто из вас там теперь председательствует.

Очень мне любопытно знать: напечатаете ли вы мое письмо против Самарина с примечанием или без оногo? Если вы не напечатаете, то я на вас просто прогневаюсь. Ответ Лонгинова и глуи и пуст. Ваша заметка несколько через чур защищает Самарина¹⁶⁾.

Препровождаю при сем в особом пакете 380 рублей для уплаты Семену. Если Общество уже уплатило, то эти деньги оставьте у себя до моего приезда.

Здесь я теперь ужасно занят. Хозяйство в полном разгаре и едва ли придется что либо теперь написать. А очень бы хотелось высказать мое пророческое мнение на счет мер Правительства по размену билетов на золото. Меры — без фундамента...

Прощайте. Я очен взбешен на ваше Общество...

Скажите и себе и Мих. Петровичу что лично на вас я не сержусь а глупо, крайне глупо Общество, а в настоящем случае оно поступало и дурно.

Вот записка Соболевского. Пожалуйста обе эти бумаги, т.-е обе записки Соболев. сохраните. Они составляют исторический документ нашего огалтелого духовного и общественного положения.

12.

21 Мая 1862. С. Песочня.

Письмо ваше от 9-го Мая я получил; долго вам не отвечал, потому что немного на вас сердился. Вы не следуете правилу: *amicus Plato, sed magis amica veritas*. Самарин в другой раз несет чушь в

вашей газете, а вы не позволяете ему и отвечать. Если это — так, то и держите лавочку с Самариним, но я в ней участником быть не желаю. Я думал, что вы мое письмо напечатаете без моего имени и с некоторыми, быть может, смягчениями; но оставить письмо в своем портфеле, не позволить писать против Самарина, сделавшегося защитником официальным *quand même* — это не хорошо. Постоянный сотрудник до некоторой степени несет ответственность за мнения Журнала. Самарин дичь несет; а вы не допускаете и возражений против него. Нет! на таких условиях я участвовать в вашей газете не буду. — Впрочем теперь я и *не желаю*, чтоб вы поместили мое письмо. Письмо Самарина уже забыто, и подогревать его нет надобности.

Как Общество уплатило Семену, то вы, надеюсь, мое письмо к Председателю удержали у себя. Я очень рад в ответе Председателю разъяснить отношения Общества к деньгам, назначенным мною на издание Словаря Даля. Я вовсе их не пожертвовал Обществу, Даль также вовсе не отдал своего Словаря Обществу в собственность. Даль ради учтивости (и только ибо Общество Далю никакого содействия не оказывает) посвятил свой Словарь Обществу; а я вызвался дать 3 т. руб. на издание Словаря Даля. Даль имеет полное право из этих денег нанять себе помощника; и я его на это весьма уговаривал. *Теперь* я готов пополнить свои тогдашние слова следующим: *Когда* Словарь Г. Даля будет окончен изданием и *когда* эти три тысячи выручатся сполна, то я оставляю этот капитал на издание полезных книг, по одобрению их Обществом; но требую чтоб до издания Слов. Даля не тратили эти деньги на другие издания и чтоб никогда (т.-е. и впоследствии) не употребляли их ни на что другое как на издание ученых книг по Русскому Слову.

Как вы и многие другие по финансовым делам близоруки: радуетесь, что стали обменивать золото на билеты. Это ничто иное как банкирская заграничная проделка: верное средство нажать 2% в три месяца. — Если Правительство будет так неосторожно что оно будет назначать положительные сроки на понижение ценности золотого и серебряного рубля, то такие проделки повторятся часто; — посмотрите они еще усилятся и значительно в Июле. О дети! Понижение должно быть внезапное — по обстоятельствам; а назначение срока есть нелепость.

Что нового? Почему не отвечаете на мой вопрос: действительно ли имеется в виду учреждение Уезд. начальников? Это было бы скверно.

Прощайте...

13.

Сапожок, 29 Мая 1862 г.

Посредники бегут из службы, потому что они приняли на свои руки труд не посильный: они должны быть *посредниками* между двух сословий, тогда как они не выбраны ни тем, ни другим из них; они назначены кем-то. Крестьяне думают, что они выбраны барами; помещики знают, что они по назначению губернатора; сами посредники знают, что они по назначению Правительства. Все им недоверяют. — С месяц тому назад губернаторы получили от Министра разрешение представить к наградам лучших посредников; и по нашей губернии 6 посредников представлены к наградам. Теперь новый циркуляр:

Министр Вн. Дел предлагает, т.-е. предписывает губернаторам обревизовать ход крестьянского дела на местах, т.-е. *обревизовать посреднические учреждения*, и принять меры к успешнейшему ходу крестьян. дела.

Ну! скажите, после этого, может ли порядочный человек оставаться посредником? Получив от предводителей копию с сего циркуляра, к сведению сообщенного посредникам, все порядочные люди окончательно убегут; а найдутся Самарины, которые будут оправдывать Правительство и обвинять людей, которые не хотят подчиниться этому порядку, и пожертвовать своею независимостью и которые сочтут не по силам принять на себя дело невозможное: служить одновременно Правительству, которое враждебно расположено к Обществу, и Обществу, которое враждебно относится к Правительству. Нет! Гг. Ю. Самарины и *их защитники* — из нынешнего порядка — вы ничего доброго не получите. Знайте, убедитесь наконец, что без очищения атмосферы, чрез созвание Думы, вы будете только толочь воду, болтать, а дела никакого вы не произведете.

Ну, что вы своею статьею о полной свободе слова, думаете что-нибудь произвести? Ровно ничего. Эту статью Правительство назовет — *produit d'un idéologue*; а публика — почти не обратит на нее никакого внимания, ибо теперь мы все заняты делами, прямо, материально жизненными. Люди с голоду умирают, полиция тузит их и спереди и сзади, а вы проповедуете о свободе слова. Нет, любезнейший Иван Сергеевич, у нас на первом плане теперь не литература, а ежедневная жизнь: ее необходимо изменить, уладить и пр. а там мы позаботимся и о свободе слова, — а там она и сама придет. Вы думаете что свобода слова вам все доставит. Нет, свобода слова придет вследствие свободы вообще. Ради слова — никто умирать не будет; ради свободы вообще — это дело другое.

Вообще я в скверном расположении духа. Зол на вас и на всех. Все хватаются не за настоящий конец. Вы преследуете теоретическую мысль; а прочие думают как бы удержать остаточки прежнего порядка. А дело не тут и не там.

Прощайте...

14.

1/13 Июля 1862 года. Карлсбад.

Очень вам благодарен за ваше письмо, дрожайший Иван Сергеевич. Крайне жаль что „День“ ваш до сих пор не устраивается. Признаться, Головин поступает по путятински или даже хуже! Никогда этот человек мне не нравился: в нем всегда казалось мне много кошачьяго. Поступок Самарина очень хорош, но я не понимаю, как вы можете издавать „День“ под его именем. Вы будете связаны по рукам и по ногам, ибо в весьма многом вы теперь с ним расходитесь. Мы скорее могли бы сойтись, и то нужно было бы в некоторых пунктах условиться. Теперь времена не прежние. — Если Самарин вовсе примет „День“ и сделается его издателем и редактором, то мы почти органа иметь не будем, ибо он будет воспевать дифирамбы. Я видел на днях письмо Черкасского у Баронессы Раден. Видно, что Черкасский вполне всем доволен и молит Бога только об одном — чтоб не было никаких перемен и чтобы их „Положение“ свято соблюдалось как совершеннейшее Откровение свыше. Просто эти люди рехнулись. Нет с этими господами теперь ни в чем нельзя сговориться. Надобно, чтоб время и обстоятельства их вылечили.

Не понимаю, как Головнин мог не согласиться на Чижова; разве только на основании того, что один человек не может быть издателем двух журналов. На Аксакова он и подавно не согласится. Нет! дрянь этот либерал. Мне очень бы хотелось для Головнина, чтоб выставлено было имя Самарина: как-то он на это имя не согласится?¹⁷⁾

Много читаю и здешних и русских произведений, но все дрянь. Эти господа такую чушь несут, что просто и читать не хочется. Герцен решительно выписался; Огарев и Долгорукий пошли до всей невозможности; Бакунин еще мало является; а Шедофероти и Блюмер (Свободное слово) хуже всех. Тургенев похож на старика, который бредит: он воображает, что еще пишет в 30 годах.

Я пью воды очень усердно: здоровье мое поправляется водами, но нервы крайне встревожены действием вод...

Здесь В. К. Елена Павловна, а потому все важные известия она получает по телеграфу. Поляков здесь бездна но с нами они не знают.

Что-то будет из всей нынешней каши? И не придумаешь. Какой будет исход. Прощайте. Вам преданный...

15.

12/24 Июля 1862.

Здравствуйте, дрожайший Иван Сергеевич; что подельваете доброго?

Вчера прочел в Северной Пчеле новый указ о льготах для выкупа¹⁸⁾. Ну! спасибо им что расщедрились, и Валуев одержал такую победу, что теперь вполне достоин оставаться министром. Вы знаете, что он из этой меры делал *question de portefeuille* и уж точно сделали ему угодное! Ну! лучше бы ничего не издавать, чем выпустить такую скаредную льготу—это как будто на смех публике....

Что Ваш *День*? Настал ли для него рассвет? Или все еще Головнин держит его во тьме.

Много перечел я из здешней русской литературы. Замечательного нет ничего. — „*Правдивый*“ Долгорукова 6-м номером окончил свое существование. Причина объявлена та что он не может исполнять существующих законов по книгопечатанию. Теперь Вольфганг Гергард, издатель ответственный в Лейпциге „*Правдивого*“, будет издавать без участия Кн. Долгорукого, журнал „*Праволюбивый*“. Полагаю что он еще будет хуже даже „*Правдиваго*“ (если это возможно).

— „*Свободное слово*“, издаваемое в Берлине, пишется плохо — не порусски, а по германски, и вовсе не интересно. „*Колокол*“ здесь в Австрии запрещен а потому давно его не читал. Много издано брошюр, но интересных нет ни одной. Книжонка (безименная) о *крестьянском вопросе и дворянстве*, — соч. Кавелина, очень плоха.

Скажите что подельвается в России? Что цензура? Что крестьяне? Что готовится к тысячелетию? Признаться не многого я ожидаю от Валуева и Комп.

Прощайте. Поклон всем, кто обо мне помнит...

16.

2/14 Августа 1862. Лондон.

Вчера получил ваше письмо от 23 Июля—4 Августа, любезнейший Иван Сергеевич. Признаться тяжело даже слышать, что у нас делается в России: видно страх у нас глаза отвел от действитель-

ности! Куда они идут? Неужель воображают эти господа, что реакциею теперь можно делу помочь? Я всегда был того мнения, что Головин, Милютин и компания несравненно хуже Путятиных, Ланских и Ковалевских. Эти *красные* в душе более деспоты и когда отведают власти—сильнейшие реакционеры, чем Д. Н. Свербеев. Но должны же Головин с компаниею где нибудь и когда нибудь остановиться; тогда что же они сделают? Нет! наше Правительство теперь может идти только путем дальнейшего освобождения—только этот путь для него и благонадежен.—А в Польше все стреляют! Вот до чего довели людей. Теперь уже хотят изменить свой образ действия, и как бы ни было—*слишком поздно*. Валуев и Головин хотят и у нас до того же довести. А в ось, Государь их до того не допустит.

Лондон—это омут, в который сожалею, что попал,—здесь просто с ума сойдешь от общего жизнелюбия. Здесь люди не ходят, а мчатся—не живут, а бесятся—не трудятся, а мучаются. Нет такая деятельность не естественна и Англия должна вскоре обанкрутиться.—Выставка (т.-е. здание) своею наружностью менее поражает чем хрустальный дворец 1851 года, но внутри она много лучше своей предшественницы: освещение несравненно лучше; в ней более простора, и машинное заведение так поставлено, что *постоянно* действует парами (чего не было прежде).—Я изучаю только одно отделение т.-е. сельско-хозяйственное, а по прочим отделениям гуляю. По простым (шиллинговым дням) толпа так велика, что нет возможности что-нибудь рассмотреть; только и можно хорошенько взглянуться в те дни, когда платят за вход полкроны (2½ шил.). По этому я не пропускаю ни одной Пятницы и Субботы; но по прочим дням я большею частью разъезжаю по опытам, которые делают для меня как Президента Москов. Общ. Сел. Хоз. Много интересного я видел и много узнал полезного. Но ужасно хочется поскорее уехать из Лондона, ибо сил нет здесь бесновать! Вот деятельность! Но она и мне не по силам. Надеюсь в Субботу или в Воскресенье отсюда вырваться.

Русских здесь очень много, но дельных или делом занимающихся очень мало. Здесь они остаются не долго: прогуляются по выставке, съездят в Sudemham хрустальный дворец и скорее бегут в Париж.

Прочел я статью Русского Вестника против Герцена¹⁹⁾. Мало в ней правды и написана крайне зло. Любопытно знать, что будет отвечать Герцен в след. номере, который выйдет после-завтра. В послед. номерах Колокола мало интересного.

Пишите ко мне в Остенде и уведомьте обо всем что относится до „Дня.“ Любопытно весьма его судьба. Прощайте. Вам преданный.

17.

23 Ноября 1862. С. Песочня.

Вполне сознаю, что следует ехать в Москву? сильно порываюсь; но что делать? Завод теперь свидетельствуют г.г. Акцизные чиновники. Луженевский приехал для этого из Рязани и теперь находится у меня. На днях пускаю завод в ход, и тогда сам отправлюсь в путь.

Знаете и хочется и колется ехать в Москву. Так мало радостного у нас в общественной жизни, что деятельность уходит в пятки. Еще хозяйство всего удовлетворительнее. Тут работаешь один, и право, у нас, на Руси, то только и идет хорошо, что выносишь на

своих плечах. Мы--гады: как съедемся, то перессоримся; как примемся сообща что делать, то всегда или дело не идет, или один диктаторствует. Но взгляните даже на крестьян: все переделались; теперь начинают ссориться между собою и очевидно в них желание и стремление выходить из общинного устройства. Знаете: мир, община, мирское согласие и единодушие держались только по милости помещичьяго гнета. Теперь все это еще существует — в присутствии общего врага — помещика и казенщины. Но распадение всего этого не минуемо; и уже сильные того признаки. Все это очень грустно; и как бы нам еще не пожалеть о преждевременной отмене палки.

Воображаю себе, как теперь в Москве все хлопочут, как интригуют, как подличуют! И на это ехать смотреть! Нет, право, не ради этого мне хочется в Москву; а ради только того что зимою общество людей необходимо.

Писать мне, право, и в голову нейдет. Дай Бог справиться с текущими делами. Куда нам рабочим теперь заниматься литературою... Письмо Хомякова поищу. Но право дел столько, что вечером я валюсь спать как убитый и измученный. К.

2 Июля 1863.

Хотя писал к Вам на днях, дрожайший Иван Сергеевич, но не могу не выразить вам моего благоволения за ваш ответ Герцену²⁹). Прекрасно. В настоящее время надобно против этих господ и против Виляевых действовать ровно открыто и сильно. До чего нас довели: мы восхищаемся Муравьевым! Да — он, в настоящее время, лучше действует Константина и Валуева. Пора, давным давно пора положить конец действиям Польскаго тайнаго Правительства. Вообразите Русские, даже генералы, отправились на почтовых из Варшавы и по железной дороге, брали охранные листы от революц. Комитета, и в Варшаве все знали где заседает Комитет и из кого он состоит, и никто не смел, да и теперь не дерзает перевешать этих самозванцев. Честь и слава Константину.

Что у вас и на прочем белом свете делается? У нас сенокос и свадьба — вот два предмета, поглощающие все наше внимание. По случаю свадьбы съехалось к нам много, и это начинает меня сильно утомлять. Еще две недели надо послужить.

Прощайте, дрожайший Иван Сергеевич.

Вам преданный...

Что делает Самарин? Поклон ему, если он в Москве.

18.

6 Октября 1863.

Вовсе не ждал я вашего письма чтобы к Вам писать, любезнейший Иван Сергеевич. Вовсе не хотел я преднамеренно оторваться от политического и общественного дела. Нет! Не писал к Вам только потому что, по справедливому замечанию покойного Хомякова, Кошелев чем ни занимается, всегда в свое дело погружается по уши. Теперь я предался хозяйству и так им занят, что никакая другая мысль мне не идет в голову. Давно хотелось к Вам писать, все откладывал до след. почты, я очень рад что ваше письмо мне дало полезный толчок.

Буду сперва вам отвечать.

Я вовсе не негодую на Самарина, отправляющегося в Варшаву. Если бы он туда не поехал, то я бы конечно не негодовал на него, но он умалился бы в моих глазах и я бы сказал: он неверен своему характеру, — плоть взяла у него верх над духом, над безкорыстным стремлением ко благу общему. Что Черкасский отказался — это опять согласно с его, Черкасского, характером. А быть может он еще поедет, если ему сделают золотой мосток для переезда. Черкасский — себе на уме; а Самарин мечется в дело всегда с самоотвержением²¹⁾.

Пыл мой к Каткову и Москов. Ведомостям нимало не простыл. Я считаю его газету отменно полезною, ибо вижу здесь, какое действие она производит. „День“ пишется для немногих; он несравненно выше Москов. Ведомостей; но последние производят несравненно более действия и действия отменно полезного. Я не охотник до Каткова, я вовсе не высоко ценю ни его характера ни его убеждений; но дивлюсь, как он попал теперь в такт и пляшет всем в назидание и отраду. Да, любезнейший Иван Сергеевич, Московские Ведомости из *ежедневных* журналов один может считаться настоящею газетою и один полезен. Вы и Самарин смеетесь над Москов. Ведомостями и смеетесь очень умно и дельно; но этим вы себе вредите и делу не помогаете. В глазах большинства огромного Катков прав, а вы — идеолог. Лучше было бы направлять Каткова. Это было бы весьма возможно, ибо он уже доказал, что меняет убеждения как рубашки: из западника сделался почти квасным Славянофилом. Следовало его направлять, приписывать ему то, что ему надобно было говорить и таким образом сообща работать на общую пользу. Не во гнев вам было бы сказано: вы слишком исполнены своего я и никак не хотите незаметно, с смирением, с самозабвением действовать через других. Знаю, что в этом грешат многие (в том числе и в сильной степени и ваш покорный слуга); но ничто так не вредит делу, как этот недостаток. Чист в этом отношении был наш общий друг Хомяков; но он имел другие недостатки, которые также вредили делу. Да, дрожайший Иван Сергеевич, мы все должны стараться как можно более забывать наше я, и как можно более действовать просто — с самозабвением — в этом великий учитель и образец — Русский народ.

Да! и я ожидаю Конституции, но она явится к нам в своем Русском платье. Сила вещей такова, что и Валуевы и Милютины будут перемоланы, и эти жестокие западники создадут нам Русскую Уставную грамоту. Скажите: кто даровал нам уничтожение крепостного права? Кто направил у нас освобождение крестьян согласно требованиям Русской земли? Кто ввел самоуправление в крестьянстве? Тот же даст нам и Конституцию в Русском духе. Мы все хлопочем, возмемся, думаем, что мы должны делать дело, а сила солому ломит и все идет к лучшему.

Но прощайте. Вчера проводил жену в Москву. Она очень нездорова. Для нее мне бы хотелось ехать в Москву; но право здесь я занят дельно, а в Москве опять будешь кипятиться и из сил лезть чтобы неубить даже мухи. Приеду в Москву, но еще не знаю когда. Там Президентство, гласничество, вечера (перекладка из пустого в порожнее) интрижки, происки, хлопоты разные и пр. Право смерть не хочется в Москву.

Еще раз прощайте. Вам преданный...

19.

Варшава, 15 Июня, Воскресение.

Вот четвертый день как я в Варшаве, любезнейший Иван Сергеевич²²⁾, и сегодня — воскресенье я пишу к Вам. Доехал я благополучно; въезд в Варшаву не произвел на меня никакого особенного впечатления. С железной дороги прямо поехал к кн. Черкасскому, у которого обедал в 7 часов (железная дорога приходит в 6 часов) пробыл у него до 10-ти и потом он проводил меня до Брюлевского дворца, где я живу. Черкасский был очень рад меня видеть, и мы обо многом поговорили. Да! дело очень трудное, и оно труднее, чем можно было ожидать, ибо затруднения приходят не отсюда, откуда их следовало и предполагать.

На другой день, являлся к Наместнику и сделал визит всем высшим сановникам в городе — военным и штатским. Вчера и сегодня они все отплатили мне визиты. Сегодня был у обедни в Соборе, а потом у Архиерея, с которым я обедал сегодня у Черкасских. Он мне очень понравился — прост, обходителен, умен, говорит обо всем и даже понюхал табак из моей табакерки. Мы много говорили об униатах, я нашел в нем самые верные понятия о положении дел.

Вообразите: я принимаю в той же гостиной и сплю в той же комнате, где год тому назад принимал и спал Гр. Велепольский, а 40 лет тому назад Вел. Кн. Константин Павлович. Думал ли я когда-нибудь, что мне придется жить в Варшаве и даже во дворце Брюлевском! О времена! О перевероты!

Но не думайте, чтоб был от того в восторге: напротив дорого бы дал, чтобы, вместо того, быть в моем Песочненском дворце. Тяжело, очень тяжело здесь быть, и эта тяжесть по многим причинам усугубляется и удешевляется. В нашем управлении нет единства, именно того, что могло облегчить дело. Все винят друг друга, а на поверку выходит, что все виноваты. Шибко боюсь, чтоб из этого не вышло кораблекрушения, — т.-е. чтоб мудро задуманное дело, при исполнении, не превратилось бы в мыльный пузырь.

Тишина здесь полнейшая; живем в этом отношении, как в Москве и Петербурге; но между Русскими и Поляками, кроме официальных, нет никаких других сношений. За положение они бьются до крайности; на Комиссии они смотрят как на нашествие Татар. Крестьяне принимают всех Русских с восторгом, и закидывают их сотнями, тысячами просьб. Трудности растут с каждым днем. Работы предстоит нам бездна и чувствуешь, что нет надежных данных.

Вчера я был в 1-й раз в заседании Комитета Учредительного. Оно продолжалось до 2-го часа ночи. Во вторник буду в Совете присягать и участвовать в заседании. Читаю и узнаю много, но еще мало соображаю. В моей голове сумбур еще все усиливается; и здесь приходится работать и принимать участие в управлении. — Черкасский очень мало работает и не унывает. Ожидаем на днях Милютина. — Умножение членов Учред. Ком., сверх меры, т.-е. назначили кроме меня и Соловьева, еще Под. Губ. Братановского и Ген.-Лейт. Заболотского, не облегчает а затрудняет дело.

Через неделю опять напишу к Вам. Дай Бог, чтобы на душе было повеселее, а теперь — вовсе не весело.

Прощайте. Пишите и на адресе не забудьте Превосходительство, ибо иначе ваши письма могут не дойти, ибо здесь я Excellence, Генерал, Тайный Советник, но вовсе не простой, свободный гражданин Москвы или Песочинский землевладелец.

Крепко вас обнимаю. Вам преданный . . .

20.

26 Июля 1864, Варшава.

Письмо ваше я получил, любезнейший Иван Сергеевич, и весьма за него благодарю. Браните, страшайте — все это отменно полезно.

Вы спрашиваете, интересуемся ли мы тем, что делается в России? Читаем ли мы „День“ и пр. Интересуемся весьма в душе; желаем читать и „День“ и все, что относится к любезной нам родине. Но мы так завалены делом, что едва успеваем отдохнуть и прогуляться в Лазенках; а читать что-нибудь, думать о чем постороннем, хотя и весьма близком — нет никакой возможности: одно дело погоняет другое и все крайне спешные. Мы все в долгу по таким делам, которые должны быть уже давно решены. Я говорю не о частных каких делах, по которым ожидаются удовлетворения, а по общим, по которым всякая остановка отзывается в общем ходе дел целой страны, нам вверенной.

К счастью до сих пор идет все дружно. Все дела решаем единогласно, и еще ни одного отдельного мнения не было ни кем подано. Арцимовичем я чрезвычайно доволен, и его я все более и более люблю и уважаю. Черкасский и Соловьев действуют очень умно и уступают, когда встречают в нас непреклонность.

В Учредительном Комитете все идет очень порядочно; в Совете Управления — становится сносно; в наших особых Комиссиях — совершенно по нашим желаниям. Одно, что грустно — тяжело — безрасчетно — это смертные казни. Ну к чему оне после указов 19 февраля сего года! К чему оне когда по всем частям предприняты преобразования! К чему — когда сила уже в наших руках! Эти дела идут помимо нас, а мы узнаем о них только из газет.

И на Поляков и на Русских эти казни производят самое скверное действие. Русские, одобряющие казни (а их не мало), остервеняются; Русские — не одобряющие, упадают духом; а Поляки не утращаются, не окончательно усмиряются, а как будто вызываются на борьбу неравную. В пятницу повесили 5 главных деятелей Жонда, вчера, т.-е. субботу, опять появился траур, и в один день собрали штрафов за траур на сумму 2 т. руб. Это одно, что крайне тяжело и что вредит делу начатых преобразований.

Это письмо доставит Вам Г. Петровский, возвращающийся из Праги...

Прощайте, любезнейший Иван Сергеевич. Ваш...

21.

12/24 Марта 1865. Варшава.

Сто лет не писал я к Вам, дрожайший Иван Сергеевич, но что делать? Я завален делами по маковку. Не имею минуты свободной: в тот день, когда я работаю 12 часов, я не жалуюсь на усталость; часто приходится работать до 14 и 15 часов. Управление делами составляет меньшую часть моих занятий; но необходимо все преобразовывать: все должно быть переустроено и все в одно и то же кратчайшее по возможности время. Не знаю, как успеваю еще дела вести текущие.

Дела идут у нас порядочно. Спорим много, но нет неприязни, и споры не вредны, а полезны для дела. Одни хотят все ломать, другие сдерживают; одни желают действовать как будто распоряжа-

емся не людьми, а призраками или камнями; а другие быть может слишком мягки. — Из этого выходит, что дело идет весьма недурно.

Польша совершенно спокойна и крой ее как хочешь. Никто не пикнет. По моему теперь необходимо действие решительное: присоединить окончательно к Империи, да и дело было бы кончено. Ни Польша, ни Европа теперь ни слова не скажет. Можно даже великолепно это дело сделать: спросить чрез поголовную подачу голосов: оставить ли Царство как есть или окончательно присоединить к Империи, т.-е. инкорпорировать? Более 9/10 скажут с восторгом — да, окончательно присоединить. Крестьяне, евреи, все за нас. Даже из помещиков и чиновников весьма многие желают окончания этой комической отдельности.

Что вы поддельваете? Мы читаем и слышим о ваших земских собраниях; но так заняты своим делом, что не имеем времени всматриваться в ваши там действия. Скажите: как идут земские собрания?

Весьма и весьма вам благодарен за ваше превосходное письмо о Московских выборах. По милости вашей мы как будто посреди вас были. Ваше письмо мы сохраняем, как исторический документ для потомства.

Прощайте. Душевно вас обнимаю. Ваш...

22.

25 Сентября 1875 г. Сапожок.

Читал в газетах, что у Вас, любезнейший Иван Сергеевич, открыта подписка в пользу Герцоговинцев. Желая и я вложить мою лепту; а потому прилагая при сем записку, прошу Вас послать за этими деньгами и употребить их на это назначение.

Да! дело Герцоговинцев и важно и тяжело и необходимо должно возбудить общее сочувствие. Что наши газеты сквозь зуб бормочут, и живо не вступают в говор об этом деле! Надо публику будить, толковать ей что пожертвования теперь необходимы, что совесть каждого должна заставлять помогать Герцоговинцам по возможности, и не ждать, чтобы к тому нас принуждали какие подписки от высочайших или высокопоставленных лиц. Грустно, тяжело смотреть на нашу спячку и поллость.

Теперь я в Сапожке в земском собрании, которое идет хуже прежнего, ибо в дело вмешались личные интересы и самолюбия. Все это весьма и весьма неутешительно...

Возвратился я из-за границы здоровым и бодрым. Теперь я хотя и здоров, но бодрости много пропало. Право здесь, на Руси, трудно ее удерживать.

Прощайте. Ваш преданный...

23.

25 Ноября 1875. С. Песочня.

Письмо Ваше от 21 сего ноября, любезнейший Иван Сергеевич, меня сильно огорчило. Несколько дней тому назад я уже получил от Михаила Петровича письмо, не им писанное, продиктованное и только начертанным им крестом утвержденное. Он мне рассказывает почти то же, что Вы мне написали, но тогда язык его был еще свободен. Вчера я ему отвечал и повторил еще прежде даваемые мною ему советы на счет более экономического расходования старческих

сил. В Эмсе мы были вместе; из Смоленской деревни сына он мне прислал свою статью в ответ Кн. Васильчикову (на счет народного образования). Я возвратил статью и весьма ее нахвалил, ибо действительно очень хороша. Жаль мне очень Михаила Петровича. Приехать теперь в Москву — мне невозможно; ибо я еду через два дня в губернское собрание, которое без меня не может собираться (я не пропустил ни одного заседания губерн. собрания, а когда мне было невозможно там быть, то в эти дни заседания не могли состояться). Около 15 Декабря, по закрытии собрания, я из Рязани прямо поеду в Москву. Надеюсь, что здоровье Мих. Петровича еще поправится и что зимою мы еще побеседуем. Он ужасно много сидит и работает; это должно его убивать²³).

Жена моя уже в Москве и вероятно Вы ее уже видели. Она поехала отсюда 22 и должна быть в Москве утром 23-го.

Мои брошюры в Европе обратили на себя внимание. Английские газеты много об них говорят. „Наше Положение“ переведено на немецкий язык и напечатано в Берлине. „National Zeitung“ расхвалила мои две брошюры первую и последнюю и по умеренности воззрений и требований считает их выражением общественного мнения в России²⁴).

Остзеец Проф. Вагнер разругал меня за брошюру об Общ. землевладении. — Знаю что Валуев, Пален и Тимашов, проезжая через Берлин, сами взяли мои брошюры из лавки Берса. Как буду в Москве, то дам Вам по экземпляру новых брошюр...

24.

Эмс, 22 июля 1878

Получил Ваше письмо, от 16-го, любезнейший Иван Сергеевич и спешу Вам отвечать.

Очень, очень прискрбно, что Вы уже более не председателем Славянского общества. Признаться, такой решительной меры я не ожидал. Конечно ее выхлопотал Тимашев и в особенности это произошло от того, что вздумали напечатать эту речь в Гражданине. Это уже через чур дерзко²⁵). Вы вероятно получили по почте еще пять экземпляров, из которых два на настоящей, а не на почтовой бумаге. Остальные экземпляры будут вам доставлены иным путем.

Здесь я познакомился с Деснотовичем. Он мне нравится. Я дал ему вашу речь и еще кой-кого его снабдил. Деснотович — в отчаянии. Он шибко боится Австрии, которая для Славян хуже Турции. Я его утешаю тем, что ее будут ненавидеть не менее Турции, и по этому опасность не так велика. Трактат и протоколы — ужасные. Еще никогда мы не были так одурачены и унижены. Стоит Шувалова и труп Горчакова повесить на позорном столбе. Надеюсь, по-крайней мере, что этого мира мы праздновать не будем и ради его не приедем в Москву²⁶).

Здесь я опять встретился с Лорис-Меликовым и мы еще более с ним сошлись. Он и умен и мил и отменно благонамерен.

Что значит что „Голос“ так воинствен? Война теперь немислима. Мы могли и должны были в Берлине отстаивать Сан-Стефановский договор. До Берлинского позора, продолжать войну мы могли; но теперь начинать ее ведь—это потребует еще миллиард а его у нас—ни, ни. Что же теперь будет? Этот вопрос каждый себе предлагает

и нам никакого положительного ответа дать не может. Но так — ничем — дело кончиться не может. ..

Социальный вопрос в Германии обратил на себя все мое внимание. Читаю очень много и теперь могу сказать, что он все более и более для меня уясняется. Он здесь много глубже разработан, чем где либо.

А наши нигилистические и социалистические сочинения таковы, что нет возможности прочесть двух—трех страниц. Хорошо, что они пишутся по-русски, а то срам был бы страшный.

Обнимаю вас...

25.

1/13 Августа 1878. Калтбад Риги.

Жена постепенно сообщала мне, любезнейший Иван Сергеевич, о грустных событиях, совершившихся у нас в Москве после моего отъезда. Знаю, что утешения собственно Вам не нужны; вы их находите в себе — в чувстве исполненного гражданского долга. Но грустно, что такие дела еще могут у нас совершаться.

Могли вам сделать выговор — даже, на основании прежних примеров, выслать вас из Москвы; но сместить вас из Председателей — закрыть общество, передать пожертвованные суммы Ген. Губерн. — это дела немыслимые. Наказывать общество за вину (если это уже вина) одного члена; закрывать Славянское Общество в то время, когда Правительство перед Славянами так виновато — это такие действия, которых понять нельзя и ставят вас в тупик.

Я приехал в Риги-Калтбад и хотел здесь заняться и кой-что написать; но полученные из Москвы известия меня просто ошеломили, перепутали все мои мысли. Чего же нам ожидать, если такие вещи теперь совершаются?....

Уверен, что это письмо прочтется не Вами одними; а прежде Вас прочтут его другие. Желаю чтобы эти другие, а через них и третьи знали, что такими мерами Правительство всего более вредит себе, что белое черным не сделаешь, а черное не убелишь....

Закреть теперь Славянское благотворительное общество! Уж не Биконсфельд или Андраши подписали этот приказ?

Вам душевно преданный...

26.

15/27 Августа 1878. Париж.

....Хотя я в Париже, однако вовсе не наслаждаюсь. Напротив того, теперь быть за границею крайне тяжело. Русских чрезвычайно мало за границею....

Не дивлюсь, что Русских здесь мало потому в 1-х что все очень дорого; во 2-х, что наш рубль $2\frac{1}{2}$ франка; и в 3-х что наше значение вообще страшно упало. Даже в гостиницах уже не оказывают к нам того уважения, каким мы пользовались в прежние времена. Это последнее конечно происходит от того, что мы уже не можем бросать денег, как мы то делали прежде. Знаете, кто теперь завладел Европою? Не Немцы, не Французы — а Англичане. Не один Биконсфельд повелевает в Берлине; все Англичане везде господствуют. В Париже главные вывески по французски и английски. В гостиницах введены все обычаи английские; обедать в 7 и $7\frac{1}{2}$ часов; учреждены (чего

прежде не было в Париже нигде) Conversations rooms, чистота какой прежде не бывало во фран. hôtels, и проч. В лавках везде написано: englisch spoken. На железных дорогах заведены: sleepings Wagons. Англичане командуют везде. И не мудрено: у них деньги, свобода и страшная самоуверенность.

Никто в Европе не верит, что мы хотели освободить Славян. Нет! Charité bien ordonnée commence par soi. Вам бы прежде себя освободить от произвола и уже затем освобождать других. Вам бы прежде самим расжиться, и уже потом хлопотать о благосостоянии Болгар, Сербов и пр. — Никак не уверишь никого, что наш народ пошел на эту волну по собственному влечению. Нет — это устроили ваши нигилисты.

Журналы почти все говорят в этом смысле. Посылаю в виде обращения вчерашнюю статью Journal des Debats.

О закрытии Слав. Общества и о вашем изгнании писали разные статьи, и все говорили, что Правительство наше поступило очень разумно и совершенно так, как следовало для успокоения Европы. Не могу вам эти статьи прислать, ибо, где теперь их отыскивать; да и не стоит этого труда: все в роде препровождаемой: и страшное невежество и полное извращение либерализма. Бедная Европа!

На счет Н. Попова нового вы ничего не сообщили: всегда я его считал и дураком и дрянью. Он всегда мне был противен.

В Париже я останусь до 26-го, т.-е. 2 недели, а потом прямо в Берлин и Петербург, где мне быть по делам необходимо. В Берлине. хочется провести несколько дней во время прений о противу-социалистическом законе. Я очень занят этим вопросом. Много прочел, и он для Германии теперь очень важен, да и не для одной Германии.

Поехал было за границу чтобы отдохнуть и нервы успокоить; а вместо того их еще более расстроил. Нет! Пребывание за границей теперь не наслаждение а пытка...

Крепко вас обнимаю и усердно кланяюсь Анне Феодоровне
Ваш...

27.

Москва, 3-го Сентября 1878.

Возвратился я из-за границы, любезнейший Иван Сергеевич, и очень, очень хотелось бы с Вами повидаться и побеседовать; но усталость от дорог железных, от Парижа и выставки, и расстройство нерв от всего, что происходит вокруг нас, при 72-летней старости; заставляют меня отложить до первого пути поездку к Вам. Очень это для меня грустно.

Многое хотелось бы Вам сообщить и из заграничных моих наблюдений и из Петербургских слухов; но теперь не в состоянии много писать. Не хорошая вещь старость: так устаешь легко и так трудно отдохнуть, что из прежнего человека остается менее половины. Но расскажу Вам одну вещь невероятную, но совершенно верную:

За день до моего приезда в Берлин является полиция к книго-продавцу Беру и накладывает арест на все экземпляры еще не проданные вашей речи. По закону, полиция имеет это право; но обязана в 24 часа передать дело судебному ведомству, которое в 48 часов должно или освободить книгу от ареста или уже начать судебное дело, которое может быть разрешено только судебным приговором. Я пробыл в Берлине 5 дней; Бер несколько раз ходил и в Полицию

и в судебное ведомство, но ничего положительного не узнал. Имперская оппозиция в восторге от этого события: ну, как можно администрации давать право запрещать всякие социалистические собрания, книги, брошюры и статьи, когда она налагает запреты на брошюры вовсе не социалистические, а просто в угоду какого-нибудь дипломатического агента! Этот арест уже наделал и еще более наделает шума в Берлине и Германии. Об нем будет много толков в Имперском сейме. Ну скажите — вероятно ли это — не безумие ли не только со стороны нашей дипломатии, но и Прусской администрации? Бер обещал меня уведомить о дальнейших приключениях по этому делу.

Я остаюсь здесь дня два или три, по разным делам. Заграничное путешествие оставило во мне тяжелое впечатление. Везде очень не хорошо. Я думал, что Франгузы от республики несколько изменились к лучшему, но на деле оказывается, что они еще более лгут, еще более бесчинствуют, еще более предаются роскоши еще менее придерживаются закона и заботятся только о благе народном, чем даже при Наполеоне. Нет! этот народ неизлечим и на него надеяться нечего. Вообразите еще то, что франгузы теперь совершенно предались Англичанам. Все вывески по франц. и английски, везде *englisch spoken*, уже билетов нет, а везде *tickets*; даже, в подражание Англичанам отъучаются от *potage*. Странно, но Франгузы теперь за Турцию и Турок и верят их прогрессу и конституции.

Немцы находятся в странном положении: все и северные и южные чрезвычайно недовольны своим бытом. И торговцы и промышленники и землевладельцы и ученые и народ — все ругают все — и Бисмарка и установившееся законодательство. Социализм весьма распространяется и укрепляется. Новый предложенный закон, если он с некоторыми изменениями и будет принят, мало поможет беде. Там социализм много умнее Французского или нашего нигилизма. Там много книг очень интересных о социализме и ему указывается настоящее значение и цель. Я прочел много и хочется об этом написать статью для Сборника Госуд. Знаний Безобразова.

В Париже виделся я с Ригером, который вообще очень грустен. Он очень жалеет о закрытии Славянского общества в Москве и о вашем изгнании; но сердит за ваш ответ. Я защищал вас, но вполне оправдывать не мог, ибо всегда находил ваш ответ не своевременным и не ловким. Не всякую истину можно во всякое время высказывать. Вы правы вообще, т.е. в сущности; но неправы были на горячий отзыв ответить такую жалкою отповедью,

4-го Сентября.

Сей час получил от Бера из Берлина уведомление что их арест вашей речи снят, и свое действие оправдывают несоблюдением со стороны Бера одной пустой формальности при пущении книжки в продажу.

Вам преданный...

28.

8 Октября, 1878. С. Песочня.

Письмо Ваше от 18 Сентября, любезнейший Иван Сергеевич, я получил. Не отвечал долго потому что у нас было земское собрание а затем объезжал свои разные хозяйства. Сверх того написал статью

о мерах к восстановлению ценности рубля. Вчера ее кончил и отправил для напечатания в Новое Время. Как получу оттиски, то один пришлю к Вам. Не знаю, хороша ли она или нет; но я ею более доволен, чем обыкновенно бываю своими произведениями.

Собираемся в Москву. Думаю ехать туда 14 и быть там 15-го утром. А жена пробудет в Сапожке дня четыре или пять и к 20-му рассчитывает быть в Москве.

Очень жаль, что Вас там нет. Думаю что в Москве будет скучно: коротких приятелей все меньше и меньше. Хотелось бы обо многом побеседовать; но, кроме Юрьева и Лопатина, не с кем и поговорить.

А поговорить есть о чем. В Европе воздух все сгущается и у нас тож. Положение Австрии ужасно; незавидны и обстоятельства Англии. Да и Бисмарку не легко было уступить национал-либералам.

Наше положение также не улучшается а значительно ухудшается. Крестьяне приходят все в большую бедность. Воровство и поджоги все учащаются. Земские собрания становятся все хуже и хуже. У нас проявились подкупы гласных из крестьян, и подкупы даже довольно гласные. А растраты суммы в Управах становятся делом почти обычным. Из наших 12 уезд. Управ, уже три за растраты отданы под суд. Все это крайне грустно. О казенщине, о Петербурге—ничего и говорить...

Вам преданный...

29.

21 Октября, 1878.

...Две газеты до сих пор почтили меня несколькими словами о моей статье. Статья Русского Мира—просто глупа—он ничего не понял и говорит, что я предлагаю то, что напротив я отвергаю и стараюсь упразднить. А *Биржевые* ведомости в двух фельетонных статьях осыпают меня насмешками и вопросами и главнейше на то обстоятельство, что я, как один из последних могиканов славянофильства, недавно проповедавший крестный поход против врагов креста, теперь в явное противуречие своей первой статье, вздумал исправлять наши финансы. Нет! „бредни славянофильства никак не могут совпадать с здравыми финансовыми мерами“.

Грустно если не будет отзывов серьезных, на которые можно было бы отвечать...

А дела опять запутываются; у нас же безлюдие полное. Еще никогда не было подобного сборища бездарностей в нашем управлении.

В Москве тихо и смирно. И слухов даже мало.

Прощайте...

30.

21 ноября, 1878. Москва.

Давно я к Вам не писал, любезнейший Иван Сергеевич. Это произошло не от того, что не хотелось с Вами беседовать—нет! а от того, что не только писать, но и говорить вообще не хочется. Положение наше прескверное: мы ничего не знаем, а слухи самые противуречущие приходят и опровергаются постоянно. Теперь сообщу Вам о событиях последних дней.

Государь приехал 19-го вечером. Везде были расстановлены войска и вся полиция была сосредоточена на улицах, по которым он проезжал. Вчера, в 12 часов был Выход. Толпа огромная была и во дворце и на улицах. Речь, им произнесенная, вам известна из газет. Могу сказать одно: она передана совершенно верно. Из нее решительно нового, важного мы ничего не узнали; но, признаться, я и не ожидал, чтобы он что-либо объявил, как ожидали многие и как под рукою распространяло о том слух начальство—очевидно в видах привлечения толпы на выход.

Вечером был раут у кн. Долгорукова. Званых было множество и теснота была ужасная. Государь приехал в 10^{1/4} и прежде 11 он уже уехал. Говорил он с дамами и весьма немногими мушкетерами. Он очень изменился: похудел и постарел значительно. Видел там Нила Попова ²⁷, который было подошел ко мне очень бодро, но я ответивши ему очень сухо, тотчас отвернулся и заговорил с другими ¹).

Вот вам мой „рапорт“ о событиях последних дней. О нашем житье-бытье скажу вам, что у нас по вторникам собираются и в количестве довольно значительном. Разговоры и споры бывают довольно живые, но замечательно, что из них нечего извлечь и что существенного ничего не высказывается. Вообще—во всем какое-то уныние и отсутствие всякой жизни.... Поздравляю Вас с кандидатством на Болгарский престол. Если будете Болгарским князем, то знайте что я ваш гость ²⁸.

Вам преданный...

Долгоруков хотел чтобы Москва подала адрес; но что сказать в адресе? Решили лучше дать обед гренадерам, и Государь осчастливил этот обед своим посещением. В 7 часов он уезжает.

31.

30 ноября 1878. Москва.

Чрезвычайно рад, любезнейший Иван Сергеевич, что Вам разрешено возвратиться в Москву. В последнем моем письме я воздержался нарочно говорить о слухах, ходивших на ваш счет: они были так разноречивы, что их вам сообщать считал делом неуместным. К чему было Вас волновать? В деревне сообщаемые известия производят сильнейшее действие чем в городе...

И так до свидания, любезнейший Иван Сергеевич.

Вам преданный...

32.

Восьмидесятые годы.

Любезнейший Иван Сергеевич!

Вчера за ужином, Шарапов вызвал меня на разговор о вашей статье в последнем № Руси и „Ржи“ вообще ²⁹). Я имел глупость податься на этот разговор и высказать свое мнение, которое готов повторить. Вам, и отчасти уже вам высказал у Бахметьевой. Опасаясь, чтобы наш разговор не был передан Вам в неверных словах, и чтобы не вышло из этого между нами недоразумения, прошу Вас сказать мне могу ли сегодня вечером в 9-м часу быть у Вас.

Среда. До свидания...

¹) 22-го ноября приписка: Нил не унялся: вчера явился на наш вторник, но думаю, что более не возвратится. Что же медный лоб!

33.

Иван Сергеевич! Мое мнение о корр. из Вильны такое: Это старая, бесконечная песня о ксендзовских злоумышлениях, под которую сладко спится русским „деятелям“ в Запад. Крае. Лучше бы таких вещей не печатать. Было бы гораздо полезнее для русск. дела, еслибы русские деятели, перестав сваливать всю вину своей лености и неспособности служить ему на ксендзов, встрепенулись наконец сами, и принялись за работу. В Сборнике статей о Запад. рус. Крае того же III., где перепечатаны из „Дня“ статьи Ю. О. Самарина, Гильфердинга и другие, за 25 лет, наперед предсказано было ясно, что дело русское там не пойдет, если деятели наши будут действовать так, как они действовали и действуют доселе.

Но статейку III. можно, по моему мнению, напечатать с оговоркой от редакции, да и нужно, потому что III. конечно не сможет больше писать, если этого не напечатать, а он может быть и хорошо что-нибудь напишет в будущем. Прилагаю немецкие газеты с отзывами о „предостережении“, выговор Дурново и проч. .

А. Кошелев.

¹⁾ Согласно Положению 19 февраля 1861 г., целые сельские общества и отдельные крестьянские дворы или тягла, отбывавшие барщинную повинность, могли переходить на оброк в течение двух лет со времени издания Положения не иначе, как с согласия помещика, а по истечении двух лет и без согласия помещика, лишь предварив его о своем намерении за год вперед. Но помещик без согласия крестьян перевести их на оброк не мог; только в том случае, если четыре пятых крестьян уже перейдут по своей воле на оброк, помещик получал право перевести на оброк и остальных уже без их согласия (ст.ст. 236, 238, 239 Местного Положения). — Ср. письма Кошелева к кн. Черкасскому об этом же предмете за то же время. Кн. О. Трубецкая. „Кн. В. А. Черкасский“, т. I, кн. 2. М. 1904 г., стр. 282 и друг.

²⁾ Волостные сходы, согласно ст. 71 Общего Положения, составлялись из выборных от каждого принадлежащего к волости селения или поселка по одному от каждых десяти дворов. Волостные старшины избирались волостными сходами.

³⁾ В 1861 г. И. С. Аксаков получил разрешение на издание газеты „День“. Он начал выпускать ее с конца этого года. „День“ просуществовал до конца 1865 г.

⁴⁾ Евграф Петрович Ковалевский занимал пост министра народного просвещения с марта 1858 г. по июнь 1861 г. В июне 1861 г., в связи с студенческими волнениями предшествовавшего академического года, он был заменен на этом посту адмиралом гр. Путятиным.

⁵⁾ Военный министр Сухозанет был назначен в мае 1861 г. временно исправляющим должность наместника в Царстве Польском в виду болезни кн. М. Д. Горчакова, скончавшегося 18 мая. В это время Польша уже находилась в состоянии революционного брожения. Сухозанет отправлял названную должность до 12 августа 86 г., когда в Варшаву прибыл новый наместник, гр. Ламберт.

⁶⁾ О славянском фонде, организованном московскими славянофилами, см. в одном из примечаний к предшествующим письмам.

⁷⁾ Ст. 104 Общего Положения 9 февраля 1861 г. гласила: „волостной старшина и староста не должны вмешиваться в производство волостного суда и не присутствуют при обсуждении дел“. Волостной суд составлялся из судей, избравшихся на волостном сходе на годичный срок в количестве от четырех до двенадцати человек.

⁸⁾ По закону 19 февраля '861 г., при выкупе крестьянами надела, правительство назначало в ссуду крестьянам для выдачи помещику ⁴, выкупной цены, исчисленной путем капитализации оброка, если выкупался полный надел и ³,

этой цены, если выкупался уменьшенный надел. Эта ссуда уплачивалось правительством помещику процентными выкупными свидетельствами, а крестьяне должны были погашать ее в течение 49 лет, внося ежегодно в казну по 6 копеек на каждый рубль выкупной ссуды. Сверх того, помещик по добровольному соглашению с крестьянами мог выговорить себе от крестьян дополнительное вознаграждение сверх правительственной ссуды и это дополнительное вознаграждение крестьяне должны были вносить уже непосредственно помещику (ст.ст. 66, 68, 14 Положения о выкупе).

⁹⁾ В 1861 г. Кошелев издал „Полное собрание сочинений И. В. Киреевского“. В связи с этим изданием он и собирал материалы для биографии Киреевского.

¹⁰⁾ Мысль о награждении орденами членов редакционных комиссий принадлежала Панину. Милютин, через в. кн. Елену Павловну старался воспрепятствовать в этому, доказывая, что работа в комиссиях была не выполнением служебной повинности, а делом общественным. Но его старания остались безуспешными. Ю. Самарин также получил орден, но вернул его обратно, указав в официальной бумаге, что принятие ордена повредило бы ему в общественном мнении и затруднило бы ему деятельность в Губернском присутствии по крестьянским делам.

¹¹⁾ Студенческие волнения в Петербургском университете начались с сентября 1861 г., поводом к чему послужило издание министерством народного просвещения новых правил о надзоре за студентами. В октябре университет был временно закрыт после ряда студенческих демонстраций и столкновений со студентами вооруженных военных частей.

¹²⁾ Статья Кошелева „О денежных процентных знаках“ напечатана была в газете „День“, 1862 г. № 29.

¹³⁾ О переписке Кошелева с кн. Черкасским по этим вопросам и текст писем кн. Черкасского к Кошелеву, о которых здесь говорит Кошелев, см. в книге кн. О. Трубецкой: „Кн. В. А. Черкасский и его участие в разрешении крестьянского вопроса“, т. I, кн. 2, с. 343—367. По вопросу о „цензе“ Кошелев поместил в „Дне“ три статьи, в которых он полемизировал с мыслями, высказанными в той же газете И. С. Аксаковым. В № 11 „Дня“ за 1862 г., Аксаков выступил с доказательствами несоответствия складу русской жизни имущественного ценза, как условия принадлежности к какому-либо сословию и участия в выборных учреждениях. Аксаков утверждал, что идея ценза есть идея западная, лишенная нравственного основания и не согласующаяся с общинным бытом русского крестьянства. В ответ на это в № 18 „Дня“ Кошелев указывал, что ценз был известен и древней Руси, что в вопросах государственного устройства преимущественное значение должны иметь не соображения нравственного порядка, а требования общей пользы и что применение ценза не разрушит общины, а только извлечет из нее тех слишком могущих членов, которые представляют для общины опасное бремя. Ограничение цензом доступа в землевладельческое сословие придаст ему силу и значение. В № 19 „Дня“ Аксаков отвечал Кошелеву, доказывая, что определение способностей и степени полезности людей в общественных делах на основании „вещественного и количественного мерила“ всегда произвольно, неверно и направлено не на общую пользу, а на пользу немногих богатых в ущерб другим. Отвергая ценз, Аксаков выдвинул идею распределения избирателей и представительных учреждений на имущественные курии. Выражению полного одобрения этой идее и дальнейшему развитию ее была посвящена вторая статья Кошелева о цензе (№ 20 „Дня“) и третья, написанная в ответ на критику „Современной Летописи“ („День“ № 23).

Что касается статей Кошелева в „Дне“ по вопросу о денежных знаках, то в этих статьях Кошелев критиковал мнение „Современной Летописи“ (статья Ламанского) о вреде выпуска серий и 4% металлических билетов. Кошелев доказывал, что серии — суший клад для мелких сбережений и вредны не процентные денежные знаки сами по себе, а вредно переполнение рынка какими бы то ни было денежными бумагами.

¹⁴⁾ В № 27 „Дня“ за 1862 г. помещено письмо Ю. Самарина из Самары. Здесь рассказано, что в одном уезде одной заволжской губернии никто из дворян, избранных для участия в комиссии при уездном предводителе дворянства по распределению между мелкопоместными дворянами правительственного денежного пособия, на вызов предводителя в комиссию не приехал. Самарин в связи с этим фактом обличает общество в том, что оно лишь на словах жалуется на непредоставление ему просора для самостоятельности, а на деле обнаруживает полное равнодушие к участию в общественных делах. По этой же причине — говорит Самарин — у нас и разрослась бюрократия и казенная администрация, ибо „управление не терпит пустоты“.

¹⁵⁾ В № 27 „Дня“ И. Аксаков в передовой статье развивает ту мысль, что в нашем историческом прошлом между Государством и Землею и не развилось той посредствующей среды, которая называется обществом и которая могла бы с одной стороны придать силу земской стихии, а с другой стороны — „сдерживать напор государственного начала“. Аксаков пытается исторически объяснить эту особенность русской государственной жизни.

⁶⁾ В № 29 „Дня“ за 1862 г. помещено возражение М. Лонгинова на письмо Самарина (см. выше, примеч. 14) и редакционный ответ Лонгинову в защиту Самарина. Лонгинов главным образом выдвинул ту мысль, что распределение пособий не есть настоящее общественное дело. Аксаков в редакционной заметке критикует эту мысль Лонгинова и признает необходимым не закрывать глаз на недостаток самодеятельности в дворянстве. Письмо Кошелева против Самарина в „Дне“ не появилось.

¹⁷⁾ „День“ был приостановлен 2 июня 1862 г. на № 34, за полемическую статью против рижских немецких газет. Аксаков начал хлопотать о возобновлении издания при условии передачи редактирования кому-либо из своих сотрудников, при чем со своей стороны намечал для этого Ф. В. Чижова. Министр народного просвещения Головин не утвердил Чижова редактором, что вызвало резкое письмо Чижова к Головину. „День“ возобновился в сентябре за редакторскою подписью Юрия Самарина, а в октябре государь возвратил Аксакову право редакторства.

Головин занимал пост министра народного просвещения с декабря 1861 г.

¹⁸⁾ См. в № „Северной Пчелы“ от 6 июня 1862 г. Высочайше утвержденное мнение государственного совета 27 июня о распространении на крестьян, состоящих на издольной повинности, содействия правительства к приобретению ими в собственность земельного надела.

¹⁹⁾ Здесь разумеется статья Каткова против Герцена, напечатанная в „Русском Вестнике“ в июньской книге за 1862 г. Статью эту за грубость и явную несправедливость многих нападок не одобряли ни Ив. Аксаков, ни даже Погодин.

²⁰⁾ В № 25 „Дня“ за 1863 г. помещено письмо Герцена с опровержением статьи Касьянова (Письмо из Парижа, № 19 „Дня“ за 863 г.), в которой говорилось об агитации Бакунина в Швеции против России. Аксаков поместив письмо Герцена, тут же напечатал и ответ ему, доказывая правильность сообщений Касьянова и нападая на деятельность и самого Герцена в связи с Польским вопросом.

²¹⁾ Ю. Самарин принял предложение Милютина отправиться с ним в Польшу в сентябре 1863 г. Отказавшись занять там какую-либо коронную должность, он в качестве частного лица принял деятельное участие в составлении Положений о поземельном и общественном устройстве крестьян в Польше. В таком же качестве отправился туда и кн. Черкасский, получив и приняв приглашение от Милютина и Самарина тоже в сентябре 1863 г. Затем кн. Черкасский занял в Польше пост главного директора правительственной комиссии внутренних дел.

²²⁾ Кошелев был назначен членом учредительного комитета в Царстве Польском и взял на себя управление финансами.

²³⁾ Речь идет о предсмертной болезни М. П. Погодина, который скончался в 1875 г.

²⁴⁾ В 1875 г. Кошелевым были изданы в Берлине две брошюры: „Наше положение“ и „Общая земская дума в России“.

²⁵⁾ В 1878 г. Аксаков произнес в Славянском Комитете речь с порицанием наших дипломатических представителей на Берлинском конгрессе. За эту речь Аксаков был выслан из Москвы во Владимирскую губернию, где и провел несколько месяцев (ср. ниже, письмо от 30 ноября 1878 г.). Славянский Комитет был закрыт.

²⁶⁾ Речь идет о трактате, установленном на Берлинском конгрессе. Под словом мы — очевидно разумеется Александр II.

²⁷⁾ Н. А. Попов, профессор Московского университета, историк.

²⁸⁾ В 1878 г. некоторые болгарские избирательные комитеты выставили кандидатуру Аксакова на болгарский престол.

²⁹⁾ Аксаковская газета „Русь“ начала выходить с ноября 1880 г.

Уходящее ¹⁾.

8 Юродивые и блаженные.

(Очерки быта 60—70 г.г.).

Как современную нам жизнь невозможно себе представить без газет, так и жизнь описываемой мною эпохи немыслима была без юродивых, прозорливцев, блаженненьких. Что значит жить без газет, это люди нашего времени узнали впервые... Ранее же, даже в худшие времена царизма, в дни господства господ вроде Плеве, Сипягина, Победоносцева, никто из этих душителей свободной мысли не дерзал огулом прихлопнуть всю независимую печать. Как люди, все же прошедшие известную школу, они прекрасно понимали, что одними казенными рептилиями нельзя удовлетворить жажду общества *«знать»*, и потому волей-неволей терпели существование органов ненавистной им печати. Конечно, последней приходилось по временам очень жутко, и, приспособляясь к обстоятельствам, русский журналист-писатель и русский читатель выработали в себе удивительное умение—первый писать, а второй—читать особым, так называемым, эзоповским языком *«междустрок»*.

Некрасовский цензор говорил:

„Например: если страстную Лизу
Соблазнил русокудрый Иван,
Переносится действие в Пизу,—
И спасен многотомный роман“.

Или:

„Если скажешь: в дворянских имениях
Нищета с каждым годом растет:
Речь идет о Сардинских владениях,
И—статья свободно пройдет“.

Говорить, что угодно о сардинских владениях, переносить действие в Пизу—никому не возбранялось. Напротив, кажется, считалось делом высокопатриотическим отмечать в жизни какой-нибудь Сардинии, Пизы, вообще Европы, темные явления, с целью показать, насколько у нас обстоит все лучше, чем за границей. Но читатель-то привык смекать, в чем тут дело и умел прекрасно Сардинию и Пизу переводить на русский язык *«Тамбовской губернией»* и *«городом Царевококшайском»*. Когда, например, бойкий фельетонист описывал расхищение казенных лесов или железнодорожную панаму в *«стране лежащей к северо-востоку от Испании»*, то догадливый и наторевший в дешифрировании эзоповской грамоты читатель прекрасно понимал, что дело идет именно о любезном отечестве.

¹⁾ См. „Голос Минувшего“ № 1, 1922 г.

Но даже писанные на эзоповском языке газеты почти не проникали в медвежьи углы в пору, описываемую мною. А главное то, что газеты, издававшиеся в столицах, совсем не освещали местной жизни, не отвечали на те недоуменные вопросы, которые предъявлялись к жизни обывателем, и не обличали то зло, которое под покровом безгласности могло бы отравить самые источники жизни. И роль обличителей брали на себя юродивые и блаженные, пользовавшиеся уважением и любовью широких слоев народа, видевшего в них носителей Божьей правды и справедливости. Считаю нужным оговориться: много было среди юродивой братии тунеядцев, мошенников и отъявленных мерзавцев, которые под покровом наружного благочестия и юродства, выразившегося различными странными поступками, бессвязными речами и нередко притворными припадками эпилепсии, ловко эксплуатировали доверчивых простых людей и устраивали себе сытую праздную жизнь, которую от времени до времени разнообразили бесшабашными кутежами и чудовищным развратом на стороне. Но встречались и безусловно честные люди, принявшие на себя юродство во имя спасения души и братского служения людям,—и, как характерную черту, надлежит отметить, что все они выходили по преимуществу из простецов—из крестьян, дворовых, мещан, и большею частью не знали даже грамоты. Но дар юродства открыл им дорогу в дома вельмож и богачей, и к голосу их прислушивались далеко не одна только темная масса, но и люди, стоящие высоко на ступенях общественной лестницы. С одной стороны они являлись утешителями униженных и оскорбленных, с другой—суровыми обличителями притеснителей и творящих неправду сильных мира сего, высказывая им в глаз—прямо или в форме иносказания—горькие слова обличения. Большинство смотрело на таких юродивых как на людей угодных Богу, почти святых, и роль их в общественной и народной жизни недавнего еще прошлого нельзя и не признать весьма значительной и в высшей степени плодотворной. Помимо обличительных функций, вскрывающих неправду общественной и частной жизни, они так же нередко несли функции положительного характера, словом и собственным примером показывая идеал праведной жизни, пути к которой были (да есть и теперь) загромождены суетными заботами и мелочами житейской сутолоки.

В нашем городе в свое время подвизался и пользовался большим влиянием „блаженный“ Митя. Происходя из семьи подгородного крестьянина—хлебопашца. Митя до двадцати лет ничем не проявлял себя и не выделялся из окружающей крестьянской среды. В восемнадцать лет его оженали и, казалось, вся последующая жизнь его потечет по определенному, веками проторенному руслу. Но в двадцать лет с ним что-то случилось. Что именно—никому не ведомо. Может быть ему, как некрасовскому Власу, было «сонное видение», может быть какой-то таинственный голос прозвучал в его пробуждающейся к новой жизни душе, пока еще поглощенной будничными заботами,—но Митя вдруг «замолчал», стал как бы немым—очевидно, наложил он на себя обет молчания, и в одну темную осеннюю ночь исчез из родительского дома, бросив молодую красивую жену и младенца—сына, которого он очень любил. Ушел он, как потом узнали, на поклонение к святым местам, странствовал года два с небольшим и, вернувшись из полонничества, окончательно порвал всякую связь с родным домом и семьей,—стал вести бродячую жизнь в нашем городе, кормясь тем, что ему подавали добрые люди, ночуя в церковных

сторожках, а летом и просто где-нибудь под заборами. И летом и зимою Митя был одет в пестрядевую синюю рубаху и такие же порты, босой, без шапки, он, казалось, не чувствовал ни летнего зноя, ни трескучих крещенских морозов, и попрежнему был нем. Церковные службы он посещал неопустительно, становился около входных дверей и звучно выбивал лбом поклоны, а по ночам его обычно можно было встретить коленопреклоненным около какой-нибудь церкви или часовни. В этот «немой» период его юродства он только раз куда-то исчезал из города, пропадал около месяца и возвратился, звеня тяжелыми веригами, которыми было опутано все его тело. Надо полагать, что для приобретения этих вериг он и уходил куда-то из города. А вскоре после того он и «заговорил». Весть о том, что Митя стал говорить, быстро облетела весь наш город, и обыватели начали на-расхват заманивать к себе Митю, в надежде услышать от него «прорицание». Поскольку мне известно, однако, прорицаниями Митя не занимался, весь уйдя в проповедничество. Надо заметить, что до юродства Митя был неграмотен—в те времена не только среди крестьян, но и в среде городского мещанства грамотные были чрезвычайно редки,—а тут вдруг обнаружилось, что Митя умеет разбирать и церковно-славянскую и «гражданскую» печать, и может даже писать «уставом». Когда он успел обучиться грамоте—никому не было известно: многие охотно видели тут некое чудо, были уверены, что Мите грамота была «дана» свыше по его великим молитвам и постничеству. Как бы то ни было, но Митя начал проповедывать, обличать нарушителей Божьего закона, и эта проповедническая деятельность его вскоре обратила на себя внимание духовного начальства. Особенно встревожилось последнее, когда три или четыре девицы из публичного дома, содержимого мещанской вдовой Кузякиной, под влиянием Митиной проповеди оставили приют разврата, сделались «черничками» и удалились «спасаться» в лесную трущобу верст за пятнадцать от города, где с незапамятных времен сохранилась ветхая изба, в которой, по местному преданию, был когда-то скит и жили какие-то «старцы». Митя деятельно собирал подаяния хлебом и другими пищевыми продуктами, и раза два в неделю относил подаяние обращенным им на путь истинный «блудницам». Эти частые посещения Митей лесного убежища дали повод подозревать его в проповеди хлыстовства: любители сплетничали о тех «радениях», которыми будто бы руководит Митя во время его посещения скита, о тех оргиях необузданного разврата, которые будто бы там совершаются по ночам во время радений. За «скитом» установили весьма тщательное наблюдение, и в конце-концов убедились, что никаких «радений» там не происходит, что, посещая «скит», Митя обычно читает девицам книги священного писания, жития святых, а те в это время занимаются шитьем и вязаньем чулок на продажу.

И, убедившись в полной непричастности Мити к хлыстовству и вообще к какому бы то ни было сектантскому учению, духовное начальство оставило его в покое и уже не препятствовало его проповедничеству и обличительству. Вскоре Митя сделался арбитром в случаях семейных неладов и неурядиц. К его защите прибежали обижаемые жены, его же просили родители вразумить их сбившихся с пути сыновей и дочерей; он примирял враждующих супругов, и даже в случаях нарушения имущественных прав, его решениям беспрекословно подчинялись. Помнится мне, был, например, такой случай. Один из местных купцов, наживавший крупное состояние неоднократно выворачиванием кафтана, наотрез отказался заплатить взятые им три тысячи

рублей у вдовы чиновницы, обремененной кучей ребятишек. Эти три тысячи было все, что она имела, и бедная женщина, убедившись, что чрез суд—у нее не было никаких доказательств того, что она дала займы деньги—она ровно ничего не получит, слезно просила Митю—«усоветить» ее должника. «Не плачь,—сказал ей Митя,—он отдаст, это он так только шутит с тобой, пугает». И в тот же день пошел к недобросовестному заемщику, и сказал: «ты, папанька,—он ко всем обращался «папанька» или «маманька»,—отдай вдове-то. Бедная она, грех такую обижать. Не отдашь—Бог накажет». И что же? Полез купец в сундук, вынул три тысячи и сунул их в руку Мите: «пооди, говорит, божий человек, отдай ей. Это меня бес посетил, да спасибо, ты меня образумил». Да что еще: не только три тысячи отдал, а недели через две послал он за вдовой, и когда она пришла к нему, то еще шестьсот рублей ей вручил: «это, говорит, я тогда забыл с Митей-то тебе проценты за два года прислать. Из головы вылетело: да вот нынче ночью чтой-то не спалось, я и вспомнил».

Мите щедро давали деньги, одежду, белье,—но, получив, он тут же все раздавал нуждающимся в помощи семьям городских мещан и слободских крестьян, среди которых он пользовался прозвищем «кормильца поильца». И действительно, много вдов и вдовцов с малолетками кормились исключительно благодаря помощи, оказываемой им Митей, и могли выращивать сирот. О его благотворительной деятельности и «пророческом» даре создавались целые легенды, но лица, хорошо знавшие Митю определенно утверждали, что роли пророка или прозорливца он никогда на себя не брал и лишь давал советы тем, кто обращался к нему. Если же кто-нибудь требовал от него предсказать будущее—а такие требования чаще всего предъявляли дамы и ожиревшие купчихи—то он грубо обрывал их: «пооди, маманька, к гадалке, она тебе, дура, все на картах выложит. А ко мне с глупостями не лезь, а то в морду плюну».

Молва называла десятки отчаянных цыяниц, ставших трезвенниками.

Так прожил этот юродивый в нашем городе лет около двадцати, а затем внезапно исчез. Потом рассказывали, что будто бы замечали какое-то особое беспокойство, овладевшее Митей; говорил он будто бы кому-то о том, что собирается итти на богомолье в Иерусалим и на Афоны,—но нужно признать, что исчезновение его произошло совершенно внезапно, и уйдя из нашего города, он уже более в него не возвращался и никому из горожан ниоткуда не подавал о себе вести. Говорили, между прочим, что посетив Иерусалим и Афоны, он затем направился в какой-то глухой маныстырек на крайнем севере России, где будто бы принял монашество и «затворился», то-есть совершенно отказался от общения с внешним миром. Возможно, что так оно действительно и было. Одна из монахинь местного монастыря, лет через пятнадцать после исчезновения Мити, во время поломничества к Соловкам, встретила будто бы в каком-то заброшенном на севере ските некоего «чудного» старца, прославленного чудотворениями и прозорливством, в котором она и признавала нашего Митю.

Кто знает: может быть она и не ошибалась.

9. Хлебосолы.

Безбрежное русское гостеприимство и хлебосолье особенно широко проявлялись в описываемые мною времена, когда все предметы первой необходимости, начиная с хлеба и кончая такими делика-

тесами гастрономии, как аршинные стерляди и зернистая икра, были, по выражению наших дедов, „дешевле пареной репы“. Именины, например, не то что в домах богатых помещиков или купцов, но и чиновников (по тогдашнему: приказных), справлялись по-лукулловски. К празднованию именин готовились задолго. Закупали провизию, заранее смакуя, предвкушая ожидающие их „желудочные радости“. Если именинник был помещик, то гости съезжались к нему в усадьбу обыкновенно накануне торжества, и накануне же начиналось пиршество. Так и говорили: „празднуем канун именин“. В городе именин какого-нибудь толстосума, или чиновника покрупнее, ждало «все общество», и в торжественный день, часам к одиннадцати утра, «поздравители» заполняли «аппартаменты», нарочито приукрашенные для торжественного случая. В ожидании гостей снимали с мебели чехлы, начисто мыли и натирали полы, в комнатах жгли „монашки“ (курительные свечи) и дня за два, за три до именин никого не пускали в парадные комнаты, „чтобы не наследили“. Когда, наконец, поздравители все собирались, и, по соображению хозяина, больше ждать было некого, то он просил «приступить». Духовенство служило молебен, а затем «дорогие гости» «проходились по единой». Закусывали, «чем Бог послал», то-есть зернистой икрой, янтарным балыком, рыжичками, груздиками и т. п., желая имениннику долголетия и всяческих земных благ,—чинов, орденов, капиталов. Минуту спустя, «проходились» по второй и по третьей,—а любители выпить и по четвертой и пятой,—и все с поклонами и добрыми пожеланиями самому имениннику, его супруге, деткам и прочим членам семейства, и наконец-то появлялась на столе—гордость хозяйки—румяная кулебяка с тающей начинкой из вязиги и свежей осетрины—в постные дни, или с яйцами и плавающей в собственном жире курицей—в дни скоромные.

После пирога снова выпивали, и хозяин, извиняясь, что больше нечем угостить дорогих гостей, просил пожаловать откусать хлеба-соли в три часа. Таким образом гости расходились часа на два, а затем снова собирались к имениннику на обед. Многие, впрочем, из особенно близких приятелей не уходили, а располагались во внутренних аппаратах „отдохнуть пред обедом“,—на именинах же помещиков, само-собою понятно, приезжие гости так и оставались весь торжественный день в усадьбе гостеприимного хозяина. В общем же, ритуал именинного чествования был почти одинаков как у горожан, так и помещиков, и я позволю себе привести здесь наиболее характерное меню именинного обеда которое почему-то считают чуть ли не ересью видоизменять. Сначала подавался суп с кореньями или же уха, к которым непременно подавались слоеные пирожки. На второе—ростбиф или разварная стерлядь, на третье—индейки или чудовищных размеров лещи (стоили в ту пору 5—7 копеек фунт) и, наконец, лимонное или малиновое желе, обложенное бисквитами. Каждое кушанье обильно запивали хересом (почему-то излюбленным напитком был у нас херес различных марок), домашними наливками, а дамы и барышни—сотерном. В помещечьих богатых домах это меню дополнялось какими-нибудь „заморскими штуками“, например, устрицами, омарами, и, кроме того, подавалось шампанское, которое к торжественному дню заготовлялось дюжинами.

После обеда гости не расходились. Молодежь танцевала „под фортепьяно“, а в домах побогаче—под игру домашнего хора музыки, или приглашенного военного оркестра, если по близости находилась какая-нибудь воинская часть. В последнем случае танцы носили особо ожи-

вленный характер и продолжались нередко до утра, так как в них принимали участие приглашаемые офицеры, которые в то время считались в провинции лучшими танцорами. Люди зрелого возраста, обычно, усаживались играть в карты, для чего раскрывались ломберные зеленые столы во всех комнатах, кроме зала и гостиной, предоставляемых в пользование молодежи. Вечером, часов в одиннадцать, подавалась „легкая закусочка“, то-есть повторялся тот же обед, только без супа и кулебяки, и «дорогие гости» снова приглашались «пройтись» и по первой, и по второй, и по третьей, и снова с аппетитом кушали, делая честь каждому подаваемому блюду. Для танцующей молодежи подавалось мороженое, оршад и фруктовые квасы, а также разного рода сладости, варенье, леденцы, коврижки, которыми и кавалеры и барышни подкрепляли свои силы.

Кое-где обломки старинного хлебосольства можно было встретить даже в конце семидесятых годов прошлого столетия, когда новый быт еще только вживался, а старый, отживающий, все еще боролся за свое существование.

Припоминается мне рассказ одного московского адвоката, который случайно попал в наиболее глухой уездный городок нашей губернии, где ему предстояло выступление в качестве защитника или гражданского истца в выездной сессии окружного суда. Протащившись верст восемьдесят по сквернейшей осенней дороге на перекладных, адвокат прибыл в город часов в десять вечера, и на вопрос ямщика: куда, барин, прикажет везти,—сказал, чтобы тот вез его в самую лучшую в городе гостиницу.

— Да здесь гостиниц не полагается, заявил ямщик. Постоялые дворы, точно, имеются: один содержит вдова Кучкина, а другой ямщик Прохоров, да только господа, которые приезжают, там не останавливаются. Говорят, клоп очень беспокоит, да и шум от народу...

— Так куда же заехать-то?—беспомощно спросил адвокат.

— Да все хорошие господа заезжают к Новосильцеву господину, к Всеволоду Петровичу, значит у него и столуются. К примеру, судьи из губернии, или помещики из уезда, все к нему въезжают...

— Ну, к нему, что ли, вези...

Ямщик хлестнул уставших коней, и через несколько минут тележка подкатила к подъезду ярко освещенного двухэтажного деревянного дома. Из подъезда выскочил чисто одетый лакей, помог адвокату вылезти, подхватил чемодан и распахнул перед приезжим двери.

— Пожалуйте-с...

А комната есть свободная?

— Есть-с. Пожалуйте на верх...

Лакей ввел приезжего в небольшую, прекрасно меблированную комнату, и, сложив в угол багаж гостя, спросил:

— Чайку прикажете, или, может быть, закусить? Может, вниз сойдете, или сюда вам подать?

— Нет, вниз не пойду, устал я очень с дороги, растрясло. А подай-ка, друг любезный, сюда самоварчик, чего-нибудь перекусить, да водочки рюмочку.

— Простой-с или английской?

— Все равно, только поскорей.

Не прошло и четверти часа, как лакей внес самовар с чайным прибором и огромный поднос, на котором стоял графин водки, бутылка лафита, коробка сардин, горячая ветчина с горошком и еще какие-то закуски. Приезжий закусил с большим аппетитом, напился чаю, и, утом-

ленный двухдневным путешествием в вагоне и восьмидесятиверстной тряской в расхлябанной почтовой тележке, почувствовал, как его безудержно клонит ко сну. Позвонив лакея, он приказал ему на утро, не позже восьми часов, разбудить его и немедленно же подать два стакана кофе «покрепче», с молоком и хлебом.

Спал я эту ночь,—рассказывал мне адвокат,—как невинный младенец. Утром проснулся от яркого света, заливавшего комнату: это лакей внес заказанный мною с вечера кофе и распахнул драпировки на окнах. Напившись кофе, я поспешил в суд, заседание которого было назначено в девять часов. Забрав портфель и зонт, я позвал лакея и приказал ему к двенадцати часам заказать для меня лошадей и приготовить счет: я рассчитывал, что к ближайшему утреннему поезду следующего дня я успею дотащиться до станции железной дороги.

— Лошадей заказать можно-с, почтительно доложил лакей, а на счет счета это вы напрасно беспокоитесь: у нас счетов никому не подают, у нас, ведь, не гостиница.

— Как не гостиница? удивился я.

Так точно. К нашему барину, Всеволоду Петровичу, по знакомству заезжают, а не то, что бы из какой корысти...

— Чорт возьми! Я чувствовал, как краснею до корня волос. Заехать в незнакомый дом, не представиться хозяину, и, как в гостинице, потребовать счет. Признаюсь, в таком глупейшем положении я еще не бывал...

Рискуя опоздать в суд, я тотчас же спустился вниз и послал карточку хозяину дома. Тот не заставил меня ждать и тотчас же принял меня в столовой за утренним чаем. Это был еще крепкий старик, с белыми зубами и острым взглядом совсем еще молодых глаз.

Первым делом он укорил меня:

— Что же это вы, молодой человек, вчера не пожелали с нами компанию разделить? Надо полагать, устали? А мы-то, было, обрадовались: гость из столицы у нас не каждый день бывает...

Я решил откровенно рассказать радушному хозяину мое досадное заблуждение, как я принял его дом за гостиницу, и как неприлично вел себя, требуя закуски, чаю и так далее. Старик слушал меня, до слез смеялся,—и столько добродушия было в его смехе, что и я невольно заразился его веселостью, и все происшедшее стало казаться не более, как веселеньким водевильчиком.

— Не вы первый,—захлебываясь от смеха, говорил Всеволод Петрович,—частенько этак-то бывает. На прошлой неделе проезжий раскричался на моего Федю за то, что тот ему скоромное подал,—он, видите ли, посты строго соблюдает, — и приказал, чтобы ему обязательно сготовили рыбный обед. Уморил просто. Оказался потом—рубаха-парень: три дня гостил, подружились мы с ним — страсть как. А уезжал—так сорок пять рублей у меня занял, очень, говорит, придержался в дороге...

И мне уехать, как я хотел, в тот день не пришлось. Всеволод Петрович настоял, чтобы я «в виде штрафа» провел у него вечер, и я, чувствуя себя виноватым перед стариком, не мог не уважить его просьбы.

Должен отметить, что только на другой день, провожая меня, Всеволод Петрович спросил меня о моем имени, отчестве и профессии, и очень обрадовался, узнав, что—адвокат.

— Вот и прекрасно,—воскликнул он, потирая руки от удовольствия: так я рад, что вас Бог ко мне занес,—прямо, можно сказать, счастливый случай...

Я предположил, что Всеволоду Петровичу нужен совет юриста, и охотно подал бы его во искупление моего невольного перед ним невежества. Но оказалось, что никаких тяжб у Всеволода Петровича не имеется и в адвокатских советах он совершенно не нуждается. И если он выразил особую радость по случаю приезда в его дом адвоката, то исключительно по его привычке говорить всем приятные вещи. Совершенно так же он радовался бы, если бы узлал, что я инженер, или комми-воажер.

10. „Просветителя“¹⁾.

Захолустный городок Мокшан, Пензенской губернии, в котором протекли мое детство и юность, и теперь обойден железными дорогами, и потому многими весьма справедливо считается таким местом, откуда хоть три года скачи, никуда не доскачешь, а в те давние времена—в конце шестидесятых и в начале семидесятых годов прошлого столетия—он считался в числе мест «не столь отдаленных» и служил пунктом для административной ссылки политически-неблагонадежных обывателей бывшей Российской империи. Так, после польского восстания, в Мокшан были сосланы многие польские ксендзы, заподозренные в сочувствии к повстанцам; значительно позже, под надзор мокшанской полиции, высланы были поляки. Ссылали к нам, кроме того, пламенных кавказцев—грузин, черкесов, лезгин и других «восточных челоуеков», виновных в строгом соблюдении обычая кровной родовой мести. Настоящих политических, то-есть революционеро-интеллигентов, было сравнительно мало, но зато среди них был один очень крупного масштаба,—это Зайчневский, сосланный в Мокшан под надзор полиции. В Мокшан он попал после отбытия им наказания—если не ошибаюсь, на каторге, в конце шестидесятых, или в самом начале семидесятых годов. Немудрено, если такая крупная фигура, Зайчневский сразу занял такое положение, что на него стали смотреть снизу вверх. Образованных людей у нас в то время было чрезвычайно мало. Я прекрасно помню, что в начале семидесятых годов прошлого века в нашем городе был всего *один* студент университета,—сын местного священника, и когда он приезжал к родителям на каникулы, то на него смотрели, как на какого-то заморского зверя. Несколько позже появились в городе гимназистка и два-три гимназиста,—и они также возбуждали всеобщее внимание и зависть юношей и юниц, не имевших возможности учиться в губернской гимназии...

А между тем стремление к образованности росло стихийно: под влиянием журналов—«Современника» и «Отечественных Записок», которые получались некоторыми обывателями, молодежь из среднего

¹⁾ Эту главу воспоминаний В. В. Быстреннина, посвященную преимущественно Зайчневскому, мы помещаем с очень незначительными лишь изменениями. Несомненно, оценка автора воспоминаний крайне субъективна—вытравлять ее из мемуаров мы не считаем нужным, так как субъективизм автора в этой главе является своего рода историч. источником. О Зайчневском, между прочим, была напечатана статья В. П. Алексева в предшествующей книге „Голоса Минувшего“.

Ред.

класса рвалась к свету знания, и немудрено, что «просветители» пользовались в городе большим успехом.

Как опытный пропагатор, Зайчневский сразу же понял, что перед ним — богатое невозделанное поле, которое стоит обрабатывать и горячо принялся «просвещать» жаждущих света, разумеется, в духе атеистического социализма. Как ни карикатурны образы и типы, выведенные Достоевским в «Бесах», но для тех, кто имел возможность видеть работу таких «просветителей», как Зайчневский, просветителей, осуществлявших в полной мере шигалевскую программу, эти образы и типы являются точнейшей копией с действительных героев тогдашнего времени. Боюсь быть обвиненным в плагиате, но, право же, я ни чуть не повинен в том, что вынужден заносить на страницы моих воспоминаний сцены, идентичные увековеченным Достоевским в его бессмертной сатире — романе.

Петр Степанович Верховенский говорил, что «если в России бунт начинать, то чтобы непременно начать с атеизма». А затем, по его программе нужен на одно-два поколения разврат, чудовишный разврат, так, чтобы человек почувствовал себя слякотью и мразью, — и в конце-концов этому, ставшему слякотью человеку надо дать «кровушки понюхать».

Будучи поднадзорным, Зайчневский — и это создавало ему престиж — бравировал опасностью и чуть ли не открыто проповедывал необходимость разрушения существующего строя. Около него быстро сгруппировался кружок из чиновников (не крупных), маменькиных сынков и дочек и частью из земского и городского третьего элемента. Было в этом кружке два-три дворянина — помещика, фрондировавших ради «моды»; был, как говорили потом, один полицейский чиновник, попавший в кружок, по его чистосердечному признанию, «по глупости». В этом кружке каждое слово Зайчневского ценилось, как откровение, и, без сомнения, как умный человек, он не мог внутренне не презирать эту мелюзгу. Года за полтора его пребывания в Мокшане он успел основательно обработать в духе революционного социализма нескольких обывателей и более зрелого возраста — людей уже тронутых сединой, отцов многочисленных детей, искренно поверивших в атеизм и социализм. Как мало нужно было для того, чтобы совратить с пути истинного нашего обывателя, позволю себе привести здесь оценку, в результате которой было «отпадение» нескольких юнцов, юниц и седовласого чиновника от христианства. Об этой оценке рассказывал в нашем доме Н. А. Томсон, друг нашей семьи, человек высокой правдивости и чуждый каких бы то ни было предрассудков. Собралась в доме одного из последователей Зайчневского довольно большая компания, в которой, кроме членов кружка, были также и «посторонние» лица, — и между ними Томсон и совсем юный учитель уездного училища, только-что приехавший в наш город. Зайчневский, умевший ловко направлять беседу, и, верный заветам Верховенского, может быть, в сотый раз завел речь о «суевериях», которыми «попы» поработают народ, закрывая для него пути к свету знания. Беседа на этот раз возникла по поводу, кажется, прибытия в город, из дальнего монастыря соседнего с нашим уезда, чтимой народом чудотворной иконы Богородицы.

«...Сделают доску, — разглагольствовал Зайчневский, — обложат ее серебром да драгоценными камнями, и уверяют простодушный народ, что это Боженька. И несчастный наш народ слепо верит попом, и наше дело, дело развитых людей, всячески разоблачать поповские проделки, всячески бороться с мраком суеверий, будя в людях их здравый смысл...

Юный учитель уездного училища, о котором я упомянул выше, очевидно, еще недостаточно распропагандированный и сохранивший уважение к народным святыням, несмело возразил:

— Все-таки, я думаю, что нельзя так сразу и грубо разрушать веру народа. Для нас, людей образованных, икона—это символ. Для простецов же гораздо более, чем символ. И я не посмел бы разрушить народную веру в чудотворность икон...

— Не посмели бы? в упор уставился в лицо говорившего Зайчневский, насмешливо играя губами. Не посмели бы, говорите? Так-с... Так и запишем. Может-быть вы и сами искренне веруете, что вот эта, например, мазня какого-то неведомого маляра,—он сделал широкий жест в сторону угла, где висела икона Николая Чудотворца,—может быть вы верите, что это не просто неискусная мазня, а какая-то святыня? Признайтесь, веруете?

— Да, верую, твердо произнес учитель.

— Так-с, протянул Зайчневский. А вот я, например, не верую. Да полагаю и ни один разумный человек не верит в такой вздор.— И чтобы доказать вам, молодой человек, что никакой тут святыни нет, а есть только доска с плохо намалеванным на ней изображением какого-то лысенького старичка—вот, смотрите..

Вскочив на стул, Зайчневский сорвал со стен икону и, положив на стул, сел на нее.

— Вот вам и святыня. И так должен относиться к поповским бредням и суевериям всякий разумный человек. И я надеюсь, что по зрелом размышлении, вы придете к тому же, к чему, путем логических рассуждений, пришли мы все, кого вы здесь видите перед собою...

Молодой человек медленно поднялся с места, и, ни с кем не прощавшись, вышел из комнаты. Говорили потом, —не знаю насколько это верно,—что случай с иконой так потряс его нервную систему, что он несколько дней лежал в постели и горько плакал...

Несколько позже, однако, он стал покорным учеником Зайчневского и деятельным проповедником атеизма. «Смелость» Зайчневского, севшаго на икону, еще более увеличила его престиж и многих, еще колебавшихся, подтолкнула окончательно порвать с «поповскими бреднями».

Итак, пункт программы Верховенского, «начинать бунт с атеизма», нашим просветителем проводился неуклонно. Столь же неуклонно проводился им и пункт о необходимости «разврата». Что касается разврата чисто полового, то, будучи в этом отношении сам весьма воздержным, Зайчневский так съумел «воспитать» свой кружок, что, например, почтенный, тронутый сединой чиновник, когда его супруга, бывшая значительно моложе его, пожаловалась на одного постоянного посетителя их дома, что тот уже слишком недвусмысленно ухаживает за ней, добиваясь взаимности, ничуть не возмущился ее жалобой, и в ответ сказал:

— Ну, так что же? Ведь это же его право, право самца добиваться благосклонности понравившейся ему самки. Я, разумеется, не позволю себе вмешиваться в ваши отношения, и если он тебе не нравится, то просто отвечай ему отказом.

Знаю наверное, что молодая и безусловно порядочная женщина, выслушав эту циническую реплику мужа, плюнула ему в лицо, и на

другой же день, забрав с собою шестилетнюю дочку, уехала в соседний город к ее родителям.

А распропагандированный Зайчневским муж всюду затем рассказывал, что жена «бросила» его потому, что, происходя из семьи старозавтных купцов, она была отравлена с детства поповско-мещанской моралью...

Я не знаю, как глубоко проникла бы пропаганда атеизма и расшатывания «буржуазной» морали, если бы «просветительский» кружок, центром которого был Зайчневский, внезапно не распался. Опять-таки боюсь быть обвиненным в плагиате: но случился скандал, в некоторых чертах довольно схожий с тем, который разыгрался на балу в пользу гувернанток, устроенном губернаторшей фон-Лембке. Сходство, впрочем, только в заключительном аккорде — пожаре, который у нас, как и там, явился в своем роде *deus ex machina*, разрешившим запутанный господами приверженцами Зайчневского узел.

Была ли подготовлена эта демонстрация «борьбы с поповскими суевериями», или же она состоялась экспромптом, но произвела она потрясающее впечатление — обратное тому, положим, которого ждали ее участники, и, разумеется, прежде всего сам Зайчневский. И трудно сказать, какие последствия могла бы иметь эта демонстрация для ее участников, если бы не случился пожар.

Был Духов день. Погода стояла чрезвычайно, не по сезону, жаркая, дул с большой силой юго-восточный ветер, тот «суховей», который так часто является причиной неурожая в нашей полосе, в день-два совершенно сожигая зеленеющие поля. Тучи пыли и мелкого песку носились в воздухе, залепляя глаза и набиваясь в рот, но, тем не менее, нарядные толпы горожан и крестьян из подгородных слободок не только переполнили все четыре городских храма, но и церковные ограды. Во всех церквах шла праздничная служба, а в соборе литургию совершали двое священников и пел любительский хор, обычно привлекавший массу любителей церковного благолепия.

Колокола гудели к «достойной», когда в собор с шумом и хохотом ввалилась толпа демонстрантов с дымящимися папиросками в зубах, и, расталкивая молящихся, пробралась вперед, почти к самому амвону. По церкви пролетел зловещий гул ропота. Исправник, стоявший в первых рядах, и полицейский надзиратель засуетились и что-то шептали на ухо Зайчневскому и стоявшей с ним «под ручку» даме. Зайчневский оскалил зубы и бросил на пол папироску, а его дама громко, так что было слышно в самых удаленных углах церкви, запротестовала:

— Это насилие... Это чорт знает что...

— Я прикажу вас вывести, — отчетливо прозвучал голос исправника. Бросьте все папироски, и стойте прилично, или же уйдите вон...

— Вы не смеете, — раздалось из кучки демонстрантов.

Ближайшие ряды молящихся придвинулись плотнее; сзади слышались возгласы:

— Что такое? — Задавили кого-то? — Пропустите, пожалуйста... — Ах, да не лезьте, ради Бога... — Куда, дядя, напираться... Ай...

Начинался беспорядок, близкий к панике. Стоявшие в ожидании выхода со Святыми Дарами женщины с младенцами на руках спешили протискаться к выходу; параличная старушка, — бывшая предводительша, — сидевшая в мягком кресле у правого клироса, беспомощно моргала выцветшими глазками и что-то взволнованно шептала стоявшей около нее внучке-институтке. Хор певчих, исполнявший запричастный

концерт, сбился с такта, и регент безуспешно размахивал камертоном усиливаясь собрать во-едино расплзшийся хор...

Расталкивая толпу вперед, протискивался наряд полиции—человек пять городских под предводительством «старшего», бравого унтер-офицера с георгиевским крестиком в петлице. И вдруг...

Послышался зловещий звук набата, раздались крики: «пожар, горим»,—и вся многотысячная толпа, наполнявшая церковь, ринулась к выходам. На счастье, боковые двери были не заперты, и паническое бегство перепуганной толпы обошлось, сравнительно, благополучно: никого не убили, не затоптали, и лишь пять-шесть человек получили легкие ушибы.

Горела заречная часть города, населенная мещанской беднотой. Ветхие деревянные домишки, покрытые соломой, загорались, как серные спички, и пламя, раздуваемое бурей, бушевало на пространстве нескольких кварталов. Тучи искр и головней несло на город и опасность угрожала лучшим городским улицам—гостиному двору, городской думе, казначейству и собору. О тушении заречного пожара нечего было и думать: все усилия пожарной команды сосредоточились на защите ближайших к пожару деревянных строений, расположенных по сю сторону реки, почти-что у самой воды. Их буквально засыпало искрами, и только близость воды дала возможность отстоять их и тем положить предел распространению огня. Часам к трем пополудни пожар прекратился: сгорело за рекой более двухсот пятидесяти дворов, владельцы которых потеряли, кроме того, и все движимое имущество.

В широких кругах обывателей долго потом говорили, что пожар явился «божеским наказанием» за бесчинство, учиненное в храме компанией Зайчневского, и так как эти разговоры с весьма недвусмысленными намеками на то, что пора-де этих господ сократить и «дать им науку, так, чтобы и детям-то их икалось», то поклонники Зайчневского как-то сразу притихли, стушевались, и частые собрания их почти прекратились. А вскоре и Зайчневского от нас «убрали»—перевели в какой-то другой, тоже захолустный, город ¹⁾).

Довольно долго спустя после того, как Зайчневский скрылся с Мокшанского горизонта, выяснилось, что он далеко не ограничивался только тем, что «обрабатывал» зеленую молодежь и фрондирующих чиновников, но был душою и руководителем крупной конспиративной организации, и наш глухой уездный городишко был резиденцией, так сказать «штабом» этой организации. В описываемые мною годы проживала у нас семья акцизного чиновника Жилинского, состоявшая из мужа, жены и нескольких малолетних детей. Жилинские держались как-то в стороне от местного общества; по приезде в город муж и жена сделали несколько официальных визитов в чиновничьем кругу, но знакомства ни с кем не поддерживали. По обязанностям службы сам Жилинский был в постоянных разъездах, а мадам Жилинская—Ольга Ивановна, почти безвыходно сидела дома, возясь с детьми, появляясь только в послеобеденные часы на улицах города или—если то было летом—в городском саду, окруженная своими четырьмя малолетками. Ольгу Ивановну у нас в городе считали „нигилисткой“ за стриженные волосы и очки, и „гордячкой“ за то, что она ни с кем из наших дам не сближалась. Зайчневский в кружке своих правоверных последователей чествол Ольгу Ивановну кличкой „дурехи“ и ретроградкой. Ольга Ивановна, в свою очередь, не оставалась в долгу перед Зайчневским и,

¹⁾ Мы не комментируем рассказы об этом маловероятном эпизоде. Ред.

при встречах с дамами на прогулках, нередко высказывала удивление неразборчивости мокшанского общества, которое так радушно принимает такого «мерзавца», как этот «каторжник» Зайчневский. То обстоятельство, что, по прибытии в Мокшан, Зайчневский сначала чуть не каждый день посещал квартиру Жилинских, а затем вдруг прекратил свои посещения и начал всюду, — как я уже выше о том упомянул, — весьма непочтительно отываться об Ольге Ивановне, навело местных догадливых кумушек на соображение, что — де Зайчневский ухаживал за Ольгой Ивановной, а та его «отшила», и теперь, в отместку за свое неудачное ухажерство, он и звонит на всех перекрестках о том, что Ольга Ивановна и дура набитая, и к тому же ретроградка. Простодушным обывателям и в голову не приходило, что враждебными отношениями Ольги Ивановны и Зайчневского, прикрывается «конспирация», и как же были удивлены мокшанцы, когда обнаружилось, что и Жилинские и Зайчневский стояли во главе организации, что Ольга Ивановна — эта, по заверениям Зайчневского, «дуреха» и «ретроградка» — была хранительницей подпольной типографии и склада нелегальной литературы. Обнаружилось это совершенно неожиданно.

Невдолге после того, как «убрали» от нас Зайчневского, был переведен с повышением по службе в Пензу Жилинский, где Ольга Ивановна и была арестована, как активный член народовольческой организации. Где-то, кажется, на «севере дальнем», было перлюстрировано чье-то письмо, в котором автор рекомендует адресату обратиться за получением денег на партийную работу и литературы к «Ольге Ивановне», — при чем местопребывание последней указано не было. Не знаю, сколько десятков, а может быть и сотен особ женского пола, носивших такие имя и отчество, были «взяты в подозрение», у многих ли из них были произведены обыски и выемки, — у нас в то время говорили, что чуть не все Ольги дочери Иванов более или менее пострадали, благодаря усердию синей гвардии, — достоверно же известно лишь то, что благосклонное внимание жандармерии было обращено на Ольгу Ивановну Жилинскую, за которой, конечно, была установлена строгая слежка. Обыск в ее квартире дал, как говорили, неожиданные, даже для жандармов, результаты: в подвале оказалась прекрасно оборудованная типография с большим запасом шрифта и краски, большой склад прокламаций и брошюр, и, кроме того, крупная сумма денег. Следствие установило, что Жилинская и Зайчневский находились в постоянных сношениях, и что Ольга Ивановна являлась ревностной исполнительницей распоряжений Зайчневского.

Привожу этот факт, как характерную черту подполья шестидесятых и начала семидесятых годов: в уездном городке, где обыватели знают всю подноготную друг о друге, Зайчневский и Жилинская умели не один год играть комедию и всех морочить, прикидываясь почти незнакомыми. Кстати: не только уездное общество, посторонние люди не знали о близком знакомстве и совместной работе в организации Зайчневского и Жилинской: не знал о нем, как говорили близкие к семье Жилинских люди, и муж Ольги Ивановны, которого, как гром поразил арест жены и угрожающая ей тяжкая кара. Желая спасти жену и сохранить детям мать, Жилинский решился на героический поступок: он «взял» вину на себя, показав на дознании, что «работал» он, Жилинский, и, ради сохранения своей чиновничьей репутации, «принуждал» жену держать типографию на ее имя. Он так хорошо съумел разыграть роль «заговорщика», что ему удалось выгородить Ольгу Ивановну, и она вскоре была освобождена из тюрьмы, где ее место занял Жилинский, который вскоре же и умер от злейшей чахотки, не дождавшись суда...

11. Секретарь.

В детстве и ранней юности я частенько слышал, как взрослые, при каких-либо затруднениях, говорили:

— Придется к секретарю обратиться...

Или:

— Идите к секретарю Алексею Алексеичу: еже ли он вашего дела не оборудует, то, значит, уж нечего и хлопотать...

Алексей Алексеич Воздвиженский, о котором идет здесь речь, был секретарем дореформенной городской думы в нашем городе, и сила его покоилась, с одной стороны, на темноте тогдашних хозяев города — купцов и мещан, а с другой — на влиянии его родного брата, советника губернского правления в нашей же губернии. Получал он, если не ошибаюсь, что-то около трехсот рублей в год содержания по должности секретаря, но все знали, что он имеет больше сотни тысяч в банке, да, кроме того, солидный дом, купленный, как это было принято в чиновничьей среде, на имя жены. «Драл» он, как про него говорили, «и с живого, и с мертвого», и в деле взяточничества и вымогательства был настоящим виртуозом, ухищрявшимся «сдирать шкуру» даже с лиц, совершенно не имеющих никакого касательства к городскому управлению. Главным источником доходов Воздвиженского были гильдейские и промысловые свидетельства и мещанские паспорта. Гильдейские и промысловые «документы» были обложены определенной мздой, без уплаты которой никто не мог получить «документ», а следовательно, не мог производить и торговлю. Жаловаться? Но кому и куда? Да к тому же Воздвиженский так ловко обставлял дело поборов, что было бы чрезвычайно трудно обвинить его в вымогательстве. Никогда и ни с кого он денег не требовал, никому в выдаче документов не отказывал, а лишь смиренно, елейным голоском говорил в тех случаях, если потребная мзда не была своевременно ему вручена:

— Обождите с. Очень-с много работы скопилось. Придется, должно быть, вам завтрачка пожаловать-с...

Это «завтрачка» затягивалось иногда на целые недели для тех недогадливых или упорных «неплательщиков», которые не желали внести положенной в пользу секретаря мзды. И само-собою разумеется, что подавляющее большинство купцов, во избежание потери времени, вместе с заявлением о выдаче им потребных документов, прилагали от десяти до двадцати пяти рублей на «канцелярские расходы». А так как в те времена лица купеческого звания освобождались от рекрутчины, то «купцов» в нашем захолустном и безусловно неторговом городе насчитывалось более пятисот, и понятно, что эта статья дохода давала около десяти тысяч рублей. Надо, впрочем, оговориться, что не вся эта сумма поступала в карман секретаря, часть ее обязательно шла в пользу канцелярии и городского головы, о чем будет сказано ниже.

Другой, не менее важной и верной статьей дохода «секретаря» являлась выдача и, особенно, высылка по почте мещанских паспортов, которые в то время выдавались городской думой. Более полутора тысяч мещан нашего города проживали многими годами в разных местностях российской империи, занимаясь разными промыслами и торговлей. Многие из них прочно осели в приволжских городах и посадах, обзавелись семьями, домами, хуторами, но, частью по инерции, частью же по крайней в те времена затруднительности выхода из сословия, продолжали числиться мещанами нашего города, — да и не только они, но часто и взрослые дети их, решительно не имеющие никакой связи

с нашим мещанским обществом. И вот такие-то мещане были обязаны ежегодно к 1 января уплачивать «податя» в пользу мещанского общества и «выправлять» паспорта, без которых им нельзя было проживать вне города, к которому они были приписаны.

И вот с половины ноября на имя «секретаря» думы—реже на имя городского головы—начинали поступать денежные пакеты со вложением десяти—пятнадцати рублей. Кроме денег в пакете заключался старый паспорт и письмо, в котором какой-нибудь мещанин Иван Сидорин «слезно» просил «отца и благодетеля Алексея Алексеича» поскорей выслать новый паспорт. «Следующие с меня податя и на пересылку паспорта при сем прилагаю»—обычно заканчивал проситель свою слезницу.

«Податя» и почтовая пересылка паспорта стоили около двух рублей,—значит, от каждого высланного паспорта оставалось «детишкам на молочишко» рублей 8—13, а так как паспортов ежегодно выдавалось не менее полутора тысяч, то и доход по этой «статье» выражался в почтенной сумме—от двенадцати до двадцати тысяч рублей.

По неведому с каких времен установившемуся обычаю, все эти постоянные, а также же и другие случайные доходы делились таким образом: гривенник с рубля поступал в пользу канцеляристов, тридцать копеек—городскому голове, который жалованья тогда не получал, а служил «из чести», и шестьдесят копеек попадали в карман секретаря, который вершал в городской думе все дела.

Городской голова был не более, как покорной пешкой в руках всемогущего секретаря. Выборы головы производились чрез три года, и месяца за четыре до дня баллотировки в городе стояло поголовное пьянство. Обычно было много опившихся насмерть, еще больше—заболевших на почве острого отравления алкоголем. Мещан-избирателей поили кандидаты, добивающиеся попасть в должность головы, поили так же и те, кого наметили мещане, но не желающие принять избрания. По закону, служба в должности головы являлась в некотором роде натуральной повинностью, отказ от выполнения которой влек за собою ограничение некоторых прав и преимуществ, и любители даровой выпивки ловко срывали с богатых купцов по несколько десятков ведер водки за «освобождение» от выборов. Выборами фактически руководил Воздвиженский, и благодаря его стараниям, много трехлетий подряд «головой ходил» (тогдашний термин) малограмотный купец Лебедев, слабавольный старик, покорно исполнявший веления секретаря. Вся служба Лебедева состояла в том, что часов в девять утра он приходил в думу, грузно опускался в широкое, покойное кресло у «присутственного» стола, посреди которого стояло «зерцало», закурив толстейшую папироску,—а курил он непрерывно,—и бесцельно хлопал заплывшими жиром бесцветными глазками, в ожидании, пока секретарь принесет бумаги для подписи.

Приходили и уходили посетители, почтительно кланялись голове, некоторые обменивались с ним рукопожатиями,—проходили к секретарскому столу в соседней комнате. В деловые разговоры с головой не вступали, по многолетнему опыту зная, что толку от «старого пня» добиться невозможно, что он будет делать только вид, что внимательно выслушивает просителя, но в конце-концов, переложив папироску из одного угла рта в другой, промямлит:

— Вы все это Алексею Алексеичу изложите. Они уж знают, как и что, а меня это дело не касается...

Часов в одиннадцать начиналась «страдная пора» для головы. Воздвиженский выходил из канцелярии, нагруженный кучей бумаг, раскладывал принесенные бумаги перед головой, и, ткнув пальцем в лежащую сверху бумагу, буркал себе под нос:

— Ставь подпись...

Голова брал перо, обмакивал его в чернильницу, и, подняв глаза на стоявшего позади него секретаря, робко вопрошал:

— Где писать-то?

— Вот тут,—Воздвиженский стучал пальцем по тому месту бумаги, где голова должен был доставить свою фамилию.

Трудно и долго выводил голова гусиным пером — тогда стальными перьями еще мало писали—каракули. Перо скрипело, делало кляксы, которые голова слизывал языком, но все же, в конце-концов, получалось что-то, похожее на *Лебидеф*.

Секретарь сдергивал подписанный лист и снова тыкал пальцем в бумагу, и снова буркал:

— Здесь...

И так до последней бумаги. На пятой-шестой подписи с головы начинал лить пот, шея и лицо его краснели, глаза наливались кровью и поминутно он вытирал клетчатым ситцевым платком лысину. Вот-вот, казалось, хватит его удар. Но дело обходилось благополучно. Окончив тяжкую работу, голова облегченно вздыхал:

— У-у-ф-ф... Уж и бумаг ты, Ликсеич, прикопил. Прямо, сердешный, замаял ты меня нонеча. Можно, что ль, уходить-то?

— Иди, пожалуй. Тут и без тебя управимся,—ты свое дело сделал.

— Ну, ладно, пойду пока. А вечером, Ликсеич, заходи: больно хороши лепешки на меду моя старуха испекла, да кстати будем и новую вишневочку пробовать.

— Ладно, приду.

И так «служил» голова изо-дня-в-день не одно трехлетие.

Ранее я сказал, что в могущество нашего думского секретаря верили не только местные «подверженные» ему обыватели, но и люди, обладающие властью, до губернатора включительно.

В начале семидесятых годов голова Лебедев ушел со службы и на его место был выбран купец из молодых, который с первых же дней вступления в должность начал войну с Воздвиженским. В этой войне, разумеется, победил бы секретарь, имевший в губернии руку (в лице брата, служившего советником губернского правления), но уже и в нашем захолустье повеяло новым духом реформационной эпохи, и не смотря на, казалось, непоколебимое могущество Воздвиженского, ему пришлось уйти с поля битвы.

Поняв, что никакими мерами и средствами он не выведет из думы поборов и взяточничества, новый голова обратился к губернатору,—тоже только-что назначенному в нашу губернию,—с докладной запиской, в которой изложил невозможность дальнейшей службы Воздвиженского, как лихоимца, и просил, поскорее назначить нового секретаря. И что же? Через неделю голова получил от губернатора *частное письмо*, в котором «хозяин губернии» признавался в своем бессилии выставить старого взяточника. „Чтобы пойти навстречу желанию освободиться от Воздвиженского, рекомендую вам немедленно же возбудить ходатайство о введении у вас «нового городского положения»,—писал губернатор нашему городскому голове. «Даю вам слово, как только возможно ускорить проведение вашего ходатайства по всем правительственным инстанциям, и как только будет реформировано ваше город-

ское управление, вам не трудно будет дать Воздвиженскому отставку. Из вашей просьбы я заключил, что этот господин достаточно насолил всем горожанам, и не сомневаюсь, что он не будет ими избран на должность городского секретаря».

Ходатайство о введении в нашем городе нового городского положения было, согласно совета губернатора, немедленно же возбуждено, несмотря на энергичное противодействие Воздвиженского, и губернатор, как и обещал, действительно, в спешном порядке провел его, так что чрез полгода у нас уже была выбрана новая дума и управа, и Воздвиженский — этот всемогущий «секретарь», пред которым трепетали наши обыватели, — на выборах был „прокачен на вороных“, и не попал даже в число гласных.

Вскоре почтеннейший Алексей Алексеевич переехал от нас, как он сам говорил его благоприятелям, „на спокой“ в губернский город, где, как потом это узнали у нас, у него было два доходных дома, купленные, как водится, так же на имя супруги.

Любопытная подробность: обыватели, из пожилых, долго еще не могли приспособиться к новым порядкам, при наличии которых «барашек в бумажке» потерял свою былую силу, и частенько вспоминали «батюшку Ликсея Ликсейча», при котором «все так просто было, не то, что теперь. Дашь, бывало, что полагается, ну, и живи себе, как у Христа за пазушкой».

В. Быстренин.

Пушкин и графиня Д. Ф. Фикельмон.

Среди лиц, изучавших и изучающих жизнь и творчество Пушкина, редактор-издатель «Русского Архива» П. И. Бартенов занимает совершенно особое место.

В течение шестидесяти лет, начиная с 1851 года, когда в «Москвитяине» были им напечатаны отрывки из писем Пушкина к П. В. Нащокину, Бартенов опубликовал огромное количество разного рода материалов для биографии поэта. В этом отношении не было и, конечно, не будет среди пушкинистов ему равного. Но не только количественно ценно сделанное для пушкиноведения Бартеновым.

Родившись за семь с лишним лет до смерти Пушкина (1 октября 1829 г.), Бартенов, скончавшийся 22 октября 1912 г., был последним из хранителей живой, устной традиции о великом поэте. Достаточно сказать, что редактор «Русского Архива» был знаком с П. А. и В. Ф. кн. Вяземскими, П. А. Плетневым, С. А. Соболевским, М. П. Погодиным, П. Я. Чаадаевым, А. О. Смирновой, С. П. Шевыревым, гр. Е. К. Воронцовой, П. В. и В. А. Нащокиными, А. Д. и Д. Н. Блудовыми, А. С. Хомяковым, Арк. О. Россет, кн. М. Н. Волконской, Е. Н. Орловой, Н. В. Пугачевой, С. Н. Гончаровым, В. И. Далем. Достаточно, повторяем, назвать этих лиц, чтобы понять, какие совершенно исключительной ценности сведения о Пушкине мог от них узнать Бартенов.

Интерес к Пушкину пробудился у Бартенева еще в годы его студенчества (1847—1851), под влиянием общения с С. П. Шевыревым, слушателем которого был Бартенов.

Вскоре по окончании университета, осенью 1851 г., знакомится он с П. В. Нащокиным. Знакомство это было крупным событием в истории собирания Бартеновым материалов по биографии Пушкина, потому что после смерти Дельвига, в последние годы жизни Пушкина, не было у него более близкого друга, чем «любезный», как называл его в письмах поэт, Павел Воинович. Достаточно прочесть переписку поэта с Нащокиным, чтобы убедиться в том, какая тесная дружба связывала их. Ни с кем из своих приятелей Пушкин не был так интимно близок, как с Нащокиным; с ним одним делился он всеми своими радостями и горестями, его одного посвящал во все тревожения своей жизни последних лет. В свою очередь Нащокин питал к Пушкину чувство глубокой бескорыстной любви, прямо-таки боготворя его, что видно в каждом из его прелестных по своей непосредственности и своеобразию стиля писем.

Рассказы о Пушкине Нащокина П. И. Бартенов записывал в особую тетрадь, в настоящее время принадлежащую Л. Э. Бухгейм, любезно предоставившему ее в наше распоряжение ¹⁾). Записи производились

¹⁾ Полностью записи Бартенева рассказов Нащокина о Пушкине с нашими комментариями печатаются отдельной книгой в изд. „Задруга“.

вскоре после бесед с Нащокиным, на что указывают пометы Бартенева: «Первая беседа 1 Октября 1857 года», «Октября 7», «8 Октября», «10 Октября», «16 Октября», «17 Октября», «4 Ноября», «23 Ноября», «24 Ноября».

В записи беседы 8 октября Бартенева между прочим пишет: «Нащокинъ съ умиленіемъ, чуть не со слезами вспоминалъ о дружбѣ, к. [которую] онъ имѣлъ съ П. [Пушкинымъ]. Онъ увѣренъ, что такой близости П. не имѣлъ болѣе ни съ кѣмъ, увѣренъ также, что ни тогда, ни теперь не понимаютъ и не понимали до какой степени б. [была] высока душа у П.; говорить, что П. любилъ, и еще болѣе уважалъ его, слѣдовалъ его совѣтамъ, какъ совѣтамъ человѣка больше него опытнаго въ житейскомъ дѣлѣ. Горько пѣняетъ онъ на себя, что будучи такъ близокъ къ великому человѣку, онъ не помнитъ каждаго слова его. Вообще степень довѣрія къ показаніямъ Нащокина во мнѣ все увеличивается и теперь довѣріе мое переходитъ въ увѣренность. Онъ дорожитъ священною памятью и сообщаетъ свои сведенія осторожно, боясь ошибиться, всегда оговариваясь, если онъ нетвердо помнитъ что-либо».

Запись беседы 10 октября начинается такъ: «Вотъ воспоминаніе самого Пушкина о своемъ дѣтствѣ, переданное Нащокину имъ самимъ. Семейство Пушкиныхъ жило въ деревнѣ...» Далее идетъ рассказъ о сумасшедшей родственнице Пушкиныхъ, помещенный Бартеневымъ в его статью «Род и детство Пушкина» ¹⁾ и рассказъ о брате Пушкина, умершемъ в детстве.

После этого идетъ записка следующего содержания:

«Слѣдующій рассказъ относится уже къ совершенно другой эпохѣ жизни П-на. Пушк. сообщалъ его за тайну Нащокину и даже не хотѣлъ на первый разъ сказать имени дѣйствующаго лица, обѣщался открыть его послѣ.—Уже въ нынѣшнее царствованіе, въ Петербургѣ, при дворѣ была одна дама, другъ Императрицы, стоявшая на высокой степени придворнаго и свѣтскаго значенія. Мужъ ея былъ гораздо старше ея, и несмотря на то ея младыя лѣта не были опозорены молвою; она была безукоризненна въ общемъ мнѣніи ²⁾—любящаго сплетни и интриги свѣта. Пушк. рассказалъ Н.—у [Нащокину] свои отношенія къ ней по случаю ихъ разговора о силѣ воли: Пушк. увѣрялъ, что при ³⁾ необходимости можно удержаться отъ обморока и изнеможенія, отложить ихъ до другаго времени. Эта блистательная, безукоризненная дама наконецъ поддавалась обаяніямъ поэта, и назначила ему свиданіе въ своемъ домѣ. Вечеромъ Пушкину удалось пробраться въ ея великолѣпный дворецъ; по условію, онъ легъ подъ диваномъ въ гостиной и долженъ былъ дожидаться ея пріѣзда домой. Долго лежалъ онъ, терялъ терпѣніе, но оставить дѣло было уже ⁴⁾ невозможно, воротиться назадъ — опасно. Наконецъ, послѣ долгихъ ожиданій онъ слышитъ подъѣхала карета. Въ домѣ засуетились. Двое лакеевъ внесли канделябры и освѣтили гостиную. Вошла хозяйка въ сопровожденіи какой-то фрейлины: онѣ возвращались изъ театра или изъ дворца. Черезъ нѣсколько минутъ разговора фрейлина уѣхала въ той же каретѣ. Хозяйка осталась одна. «Êtes-vous là?», и Пушк. былъ передъ нею. Они перешли въ спальню. Дверь была заперта, густыя, ро-

¹⁾ См. П. И. Бартенева. «Род и детство Пушкина» в «Отечеств. Записках» 1853 г., № 11, стр. 19 II-го отдела.

²⁾ Слова: «она была безукоризненна въ общемъ мнѣніи» написаны сверху зачеркнутыхъ: «не было человѣка которому бы она оказала».

³⁾ Передъ словомъ «при» было написано потомъ зачеркнутое «въ».

⁴⁾ Передъ словомъ «уже» было написано, но потомъ зачеркнуто: «нев», т. е. начато слово «невозможно».

скошныя гардины задернуты. Начались восторги сладострастiя. Они играли, веселились. Предъ каминомъ была разостлана пышная полость изъ медвѣжьяго мѣха. Они раздѣлись донага, вылили на себя все духи, какіе были въ комнатѣ, ложились на мѣхъ Быстро проходило время въ наслажденiяхъ. Наконецъ П. какъ-то случайно подошелъ къ окну, отдернулъ занавѣсъ и съ ужасомъ видитъ, что уже совсѣмъ разсвѣло. Уже бѣлый день. Какъ быть? Онъ наскоро, кое-какъ одѣлся, поспѣвая выбраться ¹⁾. Смущенная хозяйка ведетъ его къ стекольнымъ дверямъ выхода. Но люди уже встали. У самыхъ дверей они встрѣчаютъ дворецкаго, Итальянца. Эта встрѣча ²⁾ дотога поразила хозяйку, что ей ³⁾ сдѣлалось дурно; она готова была лишиться чувствъ, но П., сжавъ ей крѣпко руку, умолялъ ее отложить обморокъ до другаго времени, а теперь выпустить его, какъ для него, такъ и для себя самой. Женщина преодолѣла себя. Въ своемъ критическомъ положенiи они рѣшились прибѣгнуть къ посредству третьяго. Хозяйка позвала свою служжанку, старую, чопорную Француженку, уже давно одѣтую и ловкую ⁴⁾ въ подобныхъ случаяхъ. Къ ней-то обратились съ просьбою привести изъ дому. Француженка взялась. Она свела Пушкина внизъ, прямо въ комнаты мужа. Тотъ еще спалъ. Шумъ шаговъ его разбудилъ. Его кровать б. [была] за ширмами. Изъ-за ширмъ онъ спросилъ, кто здѣсь? Это я, отвѣчала ловкая наперстница, и провела П. въ сѣни, откуда онъ свободно вышелъ: если бъ кто его здѣсь и встрѣтилъ, то здѣсь его появленiе уже не могло быть предосудительнымъ. На другой же день П. предложилъ Итальянцу-дворецкому золотомъ 1000 руб., чтобы онъ молчалъ, и хотя онъ отказывался отъ платы, но П. принудилъ его взять.—Т. [Такимъ] обр. [образомъ] все дѣло осталось тайною. Но блистательная дама въ продолженiи четырехъ мѣсяцевъ не могла безъ дурноты вспоминать объ эт. [этомъ] происшествiи».

На полях ⁵⁾ противъ словъ: «Эта блистательная, безукоризненная дама» неизвестной намъ рукой (не Бартенева!) карандашомъ написано: «Графиня Фикельмонтъ ур. Хитрово». Другая заметка сделана рукой Бартенева и, судя по черниламъ, одновременно с записью рассказа Нащокина, противъ словъ: «онъ легъ подъ диваномъ въ гостиной и долженъ былъ дожидаться ея приѣзда домой»—«Ожиданiе Германа въ Пиковой дамѣ».

Наконецъ, в концѣ записи, противъ послѣднихъ строкъ, рукой Бартенева карандашомъ написано: «Внучка Кутузова, урожден. Тизенгаузенъ (или Хитрово, не помню), за мужемъ за Австр. Посланникомъ Фикель Монъ» ⁶⁾. Дальше рукой же Бартенева, но чернилами: «Мать ея, Лизав. Мих. Хитрова обожала Пушкина, и только къ концу немного сердилась на него за Полководца и за излишнiя похвалы Барклаю. И она неумышленно доставила поэту записку о сосисъ».

В литературѣ о Пушкинѣ до сихъ поръ ничего не было известно не только объ этомъ эпизодѣ изъ жизни поэта, но и вообще о какихъ-либо болѣе или менѣе интимныхъ отношенiяхъ между Пушкинымъ и графиней Д. Ф. Фикельмонъ.

¹⁾ Слова: „поспѣвая выбраться“ написаны сверху зачеркнутыхъ: „Смущенная хоз“.

²⁾ Слова: „Эта встрѣча“ написаны сверху зачеркнутыхъ: „печки уже топятъ“.

³⁾ Передъ словомъ „ей“ было написано, но потомъ зачеркнуто: „она“.

⁴⁾ Передъ словомъ „ловкую“ было написано, но потомъ зачеркнуто: „спо“.

⁵⁾ Страницы тетради имѣютъ поля для замѣтокъ, поправокъ и дополненiй.

⁶⁾ Передъ словомъ: „Фикель Монъ“ сначала была написана большая буква „Р“, но потомъ зачеркнута и написано: „Пикль Монъ“, но и это зачеркнуто.

П. И. Бартенев трижды только намекнул на то, что он узнал от П. В. Нащокина,

Во 2-м номере «Русского Архива» за 1884 г., в статье (неподписанной, но несомненно принадлежащей П. И. Бартеневу) «Пушкин и Великопольский», автор мимоходом, «кстати», заметил, что в „Пиковой Даме» «есть целая автобиографическая сцена» (стр. 465). Затем, в рецензии на III-ью книгу «Старина и Новизна» (обложка № 8 «Русского Архива» за 1901 г.) Бартенев пишет: «Обе они [т.-е. Е. М. Хитрово и гр. Д. Ф. Фикельмон] любили и почитали Пушкина, который бывал очень близок с графиней Д. Ф. Фикельмон». Наконец, говоря о письмах гр. Фикельмон к кн. П. А. Вяземскому, в которых она пишет о жене Пушкина, Бартенев замечает: «Может быть, тут действовала и бессознательная ревность, так как она, по примеру матери своей, высоко ценила и горячо любила гениального поэта и, как сообщал мне Нащокин, не в силах была устоять против чарующего влияния его. (Брат Пушкина говорил, что беседа его с женщинами едва ли не пленительнее его стихов)»¹⁾.

Конечно, по этим глухим намекам нельзя было и подозревать о том, что рассказывал Бартенеvu П. В. Нащокин, и только теперь, по ознакомлении с тетрадью редактора «Русского Архива», нам становится ясно, на что он намекал.

Вообще, несмотря на то, что Бартенев опубликовал о Пушкине очень много, нельзя сказать, что это—все, что знал покойный биограф о поэте. Нежелание посвящать в семейные тайны широкий круг читателей не позволяло иногда Бартенеvu быть откровенным до конца, а о некоторых фактах он считал себя и не вправе распространяться печатно. Так, перепечатывая одно письмо Жуковского к Пушкину, где приводятся слова Пушкина об А. Н. Раевском, Бартенев делает примечание: «Княгиня В. Ф. Вяземская, живучи в 1824 г. в Одессе, знала А. Н. Раевского; но «подвиги» его относятся к 1828 г. Про них мы еще не вправе рассказывать»²⁾.

Судя по намекам, разбросанным в работе П. И. Бартенева «Пушкин в Южной России», знал биограф и имя той «миллой, бедной девы», в которую так долго и так безнадежно был влюблен поэт,—имя, которое не решился он назвать ни в произведениях, ни в своем «дон-жуанском» списке³⁾. Известны были Бартенеvu и отношения, существовавшие в последние годы жизни поэта между ним и сестрой его жены Александрой Николаевной Гончаровой, но и об этом он позволил себе лишь намекнуть, и только на вопрос П. Е. Щеголева в частном письме ответил определенно⁴⁾.

Графиня Дарья Федоровна (в кругу родных и знакомых ее пазывали Долли) Фикельмон—дочь известной приятельницы Пушкина Елизаветы Михайловны Хитрово (р. в 1783 г., ум. 3 мая 1839 г. в Петербурге), урожденной кн. Голенищевой-Кутузовой-Смоленской, дочери полководца, от первого брака ее (6 июня 1802 г.) с флигель-адъютантом (с 9 апреля 1802 г.) гр. Федором Ивановичем Тизенгаузеном (р. 20 мая 1782 г.), скончавшимся 2 декабря 1805 г. от ран, полученных в сражении под Аустерлицем. От брака с гр. Тизенгаузеном у Елизаветы Ми-

¹⁾ См. „Русск. Арх.“, 1911, № 9, обложка.

²⁾ См. „Русск. Арх.“ 1909, № 5, стр. 156.

³⁾ Это показано С. Бобровым в статье „Любовь к Пушкину“ в книге „Записки стихотворца“. Изд. „Мусагет“. 1916, стр. 21—29.

⁴⁾ См. П. Е. Щеголев. „Дуэль и смерть Пушкина“—„Пушкин и его современники“ вып. XXV—XXVII, стр. 327—328.

хайловны было две дочери—старшая Екатерина (ум. в 1888 г.), бывшая камер-фрейлиной русского двора, и младшая Дарья, родившаяся 14 октября 1804 г.

Вышедши вторично замуж, в 1812 году за Николая Федоровича Хитрово, Елизавета Михайловна с дочерьми поселяется во Флоренции, где муж ее (с 25 апреля 1815 г. по 22 января 1817 г.) в чине генерал-майора был русским посланником, и где он и скончался 19 мая н. с. 1819 г.

Обе графини Тизенгаузен были красавицы. Есть свидетельство, что за старшую сватался наследный принц прусский, впоследствии король прусский Фридрих Вильгельм IV ¹⁾. О красоте младшей вспоминал впоследствии гр. Мих. Дм. Бутурлин, в ноябре 1817 г. познакомившийся во Флоренции с семьей Хитрово: «Молодые графини Екатерина и Дария (Доблли) Федоровны Тизенгаузен только что начинали выезжать в свет и были во всем блеске красоты; но особенно поражала, даже меня, десятилетнего мальчугана, пятнадцатилетняя графиня Дария Федоровна» ²⁾.

Здесь же во Флоренции на восемнадцатом году жизни была она выдана матерью замуж (в 1821 году) за бывшего на 27 лет ее старше Карла-Людвига гр. Фикельмон (р. в Лотарингии 23 марта 1777 года).

Происходя из старинного бельгийского рода, сын французского эмигранта, граф с юных лет находился в австрийской службе и участвовал в войнах против Наполеона, сделав двенадцать походов. В 1815 г. он был назначен полномочным министром в Швецию, в 1820 г. во Флоренцию и в 1821 г. в Неаполь.

Здесь у графов Фикельмон, с которыми жили Елизавета Михайловна и старшая дочь ее Екатерина Федоровна, бывал в 1822 г. кн. Дмитрий Иванович Долгоруков (сын поэта), писавший отцу: «В Неаполе мало русских. Первое место занимает Хитрово, рожденная Кутузова-Смоленская. Ее младшая дочь замужем за гр. Фикельмонтом, австрийским послом в Неаполе... Антонина [сестра князя], с фонарем в руках изучающая все закоулки моего сердца, должна знать, что оно еще совершенно свободно, что г-жа Фикельмонт прекрасна, ее сестра очень хороша собой и..... я совсем не влюблен» ³⁾.

До 1823 г. графиня Фикельмон, кажется, не была в России. Осенью этого года она приезжала в Москву. 1-го октября кн. П. А. Вяземский писал А. И. Тургеневу из Москвы: «И нашу старушку [т.-е. Москву] вскружила Фикельмонт. Все бегает за ней; в саду дамы и мужчины толпятся вокруг нее; Голицын празднует. Впрочем, она в обращении очень мила. Во вторник уезжают» ⁴⁾.

Во второй половине января 1829 г. графиня приезжает в Петербург, куда был послан ее муж с чрезвычайным поручением от австрийского правительства. 30 января он имел у Николая Павловича частную аудиенцию, а вскоре затем был назначен австрийским послом при нашем дворе ⁵⁾.

Вместе с супругами Фикельмон поселяется и Елизавета Михайловна со старшей дочерью, и дом их делается одним из первых в столице. «Утра матери (впрочем, продолжавшиеся от часу до четырех пополудни), вспоминал кн. П. А. Вяземский, и вечера дочери ее, графини

¹⁾ См. в „Записках“ А. О. Смирновой в „Рус. Арх.“ 1895, № 6, стр. 190.

²⁾ См. „Русск. Арх.“ 1897, № 4, стр. 588.

³⁾ См. „Русск. Арх.“ 1904, № 5, стр. 22 и 26.

⁴⁾ Остаф. Арх., т. II, стр. 354—5.

⁵⁾ См. „Journal de S.-Petersbourg“ 1829, № 14 от 31 янв. и „Северную Пчелу“ 1829 г., № 15 от 2 февр.

Фикельмонт, неизгладимо врезаны в памяти тех, которые имели счастье в них участвовать. Вся животрепещущая жизнь европейская и русская, политическая, литературная и общественная, имела верные отголоски в этих двух родственных салонах. Не нужно было читать газеты,.... в двух этих салонах можно было запасть сведениями о всех вопросах дня, начиная от политической брошюры и парламентской речи французского или английского оратора и кончая романом или драматическим творением одного из любимцев той литературной эпохи. Было тут обозрение и текущих событий; был premier Pétersbourg с суждениями своими, а иногда и осуждениями, был и легкий фельетон, правоописательный и живописный. А что всего лучше, эта всемирная, изустная разговорная газета издавалась по направлению и под редакцией двух любезных и милых женщин»¹⁾.

Пушкин был частым посетителем этого политическо-литературного салона. Экзальтированная Елизавета Михайловна питала к поэту, с которым она познакомилась, когда ей шел сорок шестой год, восторженное чувство обожания, писала к нему письма, полные нежной заботливости и благоговения. За глаза Пушкин отзывался о ней насмешливо и даже цинично, называя «Пентефрейхой», бросал в огонь, не читая, ее записки, но в личных отношениях, по свидетельству Н. М. Смирнова, «никогда не мог решиться огорчить ее, оттолкнув от себя». И нам кажется, было это не по «некоторой беспечности» Пушкина, не из одного нежелания обидеть, как думает Смирнов, а потому что, по словам Вяземского, «в числе сердечных качеств, отличавших Елизавету Михайловну, едва ли не первое место должно занять, что она была неизменный, твердый, безусловный друг друзей своих. Друзей своих любить немудрено, но в ней дружба возвышалась до степени доблести. Где и когда нужно было, она за них ратовала, отстаивала их, не жалея себя, не опасаясь за себя неблагоприятных последствий, личных жертвований от этой битвы не за себя, а за другого»²⁾. Этого не мог не ценить Пушкин, сам глубоко чтивший правила дружбы. Весьма возможно, что между Елизаветой Михайловной и поэтом были и более интимные отношения, но не столько из-за нее и посетителей ее салона бывал в доме австрийского посла Пушкин, сколько из-за ее младшей дочери, гр. Д. Ф. Фикельмон.

«Австрийская красавица», как называет ее в письмах кн. П. А. Вяземский, была одной из красивейших женщин тогдашнего петербургского великосветского общества. Сестра Пушкина, О. С. Павлицева, познакомившись с его женой, писала своему мужу (в августе 1831 г.): «В конце концов, на мой взгляд здесь есть женщины столь же красивые, как она: графиня Пушкина не много хуже, m-me Фикельмон не хуже, а m-me Зубова, урожденная Эйлер, говорят, лучше»³⁾.

С гр. Фикельмон Пушкин познакомился, вероятно, вскоре после ее приезда в Петербург, во второй половине января—первых числах марта 1829 г.

Впервые фамилию Фикельмон в писаниях Пушкина мы встречаем в черновой тетради поэта № 2382, где (на л. 20₂) имеется, по описанию В. Е. Якушкина: «список лиц, вероятно тех, к кому надо было съездить или т. п.—Gourief, Langeron, Prince S. Golitzin, idem, Fiekelmont». В дру-

¹⁾ „Из старой записной книжки, начатой в 1813 году“ в „Русск. Арх.“ 1877 г., I, стр. 513.

²⁾ Ibidem, стр. 514.

³⁾ См. „Пушкин и его современники“, в. XV, стр. 84. Нам неизвестно ни одного портрета гр. Д. Ф. Фикельмон.

гом списке лиц с адресами (та же тетрадь, л. 26₁) на первом месте стоит: «Дворцовая набережная: Австрийскому посланнику 2». Оба списка определенно можно датировать ноябрем-декабром 1829 г.»¹⁾

Цифра «2» вероятно обозначает число экземпляров книги «Стихотворения Пушкина. Часть II-ая. 1829», которое нужно было завезти или отослать—один графу, другой графине.

О гр. Фикельмон поэт пишет из Москвы 2-го мая 1830 г. к кн. П. А. Вяземскому: «Правда ли, что ты собираешься в Москву?— пишет Пушкин. Боюсь графини Фикельмон. Она удержит тебя в Петербурге. Говорят, что у Канкринна ты при особых поручениях и настоящая твоя служба при ней».

Через неделю (9-го мая) Ел. Мих. Хитрово пишет в Москву Пушкину, бывшему в это время женихом Н. Н. Гончаровой: «Я нахожу совершенно необходимым, чтобы вы уведомили меня о получении этого письма. На будущее время вы не можете оправдываться—я для вас более никакого значения не имею. Говорите мне о вашей женитьбе и о ваших будущих намерениях. Все исчезают, а хорошая погода не появляется И Долли и Катерина просят вас рассчитывать на них, чтобы быть путеводительницами вашей Натали. Сомов дает уроки послу и его жене, а я перевожу на русский язык: Marriage in the high Life; я буду продавать его в пользу бедных».

Вскоре после этого письма, не получив ответа от Пушкина, Елизавета Михайловна шлет второе, более пространное. «Я обдумала, я боролась, страдала,—пишет она,—и наконец я достигла того, что я желаю, чтобы вы поскорее женились... В сущности между нами ничего не изменилось—я буду видеть вас еще чаще... (если Бог даст, я еще увижу вас). Отныне навсегда мое сердце, мои душевные мысли останутся для вас непроницаемой тайной, а мои письма будут такими, какими они должны быть. Океан будет между мною и вами. Но и прежде и после вы всегда найдете во мне и для вас, и для жены вашей, и для детей—друга непоколебимого, как скала, о которую все разбивается. Рассчитывайте на это по жизни и смерти. Располагайте мною на все и без разбора»...²⁾

На это письмо Пушкин ответил, что узнаем из письма кн. П. А. Вяземского из Петербурга к жене в Москву от 30 мая 1830 г. В письме этом князь между прочим пишет: «Скажи Пушкину, что он плут. Тебе говорит о своей досаде, жалуется на Эрминию, а сам к ней пишет. Я на днях видел у нее письмо от него³⁾, не прочел, но прочел на лице ее, что она довольна. Неужели в самом деле пишет она ему про *Любовь*? Или просто тут экзальтация платоническая, или Филаретовская?»⁴⁾ Последнее слово намекает на дружбу Хитрово с московским митрополитом Филаретом.

Тот же Вяземский писал Тургеневу (25 апр. 1830 г.), что Элиза Хитрово пылает к Филарету христианскою, а к Пушкину языческою любовью.

19 июля 1830 г. Пушкин приехал в Петербург, откуда 25-го июля Над. Осип. Пушкина пишет между прочим дочери: «Александр был у Герминии, а вчера даже был в ее ложе»⁵⁾. Из приведенных слов

¹⁾ См. „Русская Старина“ 1884, № 11, стр. 349 и 351.

²⁾ См. „Переписка“ Пушкина, Акад. изд., т. II, 152—3 и „Русск. Арх.“ 1884, № 4, стр. 414—415.

³⁾ Этого письма Пушкина не сохранилось.

⁴⁾ Сообщением этих строк из неопубликованного еще письма кн. Вяземского мы обязаны любезности В. С. Нечаевой, которой и приносим нашу благодарность.

⁵⁾ Л. Павлищев. Воспоминания об А. С. Пушкине. М. 1890., стр. 218.

письма Вяземского ясно, что Эрминией, по имени героини «Освобожденного Иерусалима» Тассо, называли иронически в кругу знакомых Елизавету Мих. Хитрово ¹⁾.

К 1831-му году относятся два замечательных письма графини Фикельмон. Первое (от 25 мая), написанное кн. П. А. Вяземскому через несколько дней после приезда Пушкина с женой из Москвы в Петербург, заключает в себе прямо пророческие строки, говорящие о незаурядном уме и большой наблюдательности графини. «Пушкин к нам приехал, к нашей большой радости, пишет она. Я нахожу, что он в этот раз еще любезнее. Мне кажется, что я в уме его отмечаю серьезный оттенок, который ему и подходящ. Жена его прекрасное создание, но это меланхолическое и тихое выражение похоже на предчувствие несчастья. Физиономии мужа и жены не предсказывают ни спокойствия, ни тихой радости в будущем: у Пушкина видны все порывы страстей; у жены вся меланхолия отречения от себя. Впрочем, я видела эту красивую женщину всего только один раз» ²⁾.

Второе письмо (от 12 декабря), тоже к кн. П. А. Вяземскому—самое значительное из всего, что мы знаем о гр. Д. Ф. Фикельмон—прекрасно характеризует чрезвычайно привлекательный духовный облик этой женщины ³⁾. «Я пишу вам мое письмо с тайной надеждой, что оно уже не застанет вас в Москве. Вы увидите Петербург веселым, танцующим, не сохранившим даже воспоминания об истекшем роковом годе; несмотря на все грустные, мрачные, черные мысли, возбужденные истекшим годом, вы услышите только звуки музыки и пустейшие разговоры. Как я ненавижу это суетное, легкомысленное, несправедливое, равнодушное создание, которое называют обществом! Как Адольф (ваш приемный) прав, когда он говорит, что обществу нечего нас опасаться: оно так тяготеет над нами, его глухое влияние так могуче, что оно не медля перерабатывает нас в общую форму.

Знаете ли вы, что Виктор Гюго написал прелестные стихи, гармонические, прочувствованные, религиозные? Это молитва, обращенная к его ребенку; в нем глубокая набожность, как у Ламартина, но с оттенком горести земной и светской, почему они еще трогательнее. Я бы переслала их вам, если бы не надеялась скоро увидаться с вами. Удивительно, что автор излюбленный юною Францией говорит о Боге, как следует говорить о Нем ⁴⁾.

Пушкин у вас в Москве; жена его хороша, хороша, хороша! Но страдальческое выражение ее лба заставляет меня трепетать за ее будущность.

Чтобы дать вам понятие о наших балах, я скажу лишь, что мы пляшем мазурку на все революционные арии последнего времени, и поверите ли вы мне, что я не нашла ни единой особы, которая бы остановилась на этой мысли? Ожидаю вас, чтобы сообщить мои размышления по этому поводу»... ⁵⁾

На балах графиня и по своему положению и по красоте занимала

¹⁾ Н. О. Лернер, в книге „Труды и дни Пушкина“, Спб. 1910, стр. 216, не зная письма Вяземского, высказал предположение, что в *Erminie* писем Н. О. Пушкиной можно видеть Е. М. Хитрово.

²⁾ См. «Русск. Арх.» 1884, № 4, стр. 418.

³⁾ Нами выпущено начало письма, где графиня пишет о том чувстве дружбы, которое она питает к Вяземскому.

⁴⁾ Речь идет, вероятно, о стихотворении „Dans l'alcove sombre“, датированном 10 ноября 1831 г. и помещенном в сборнике „Les feuilles d'automne“ (зарегистрир. в „La Bibliographie de la France“ от 10 дек. н. с. 1831 г.).

⁵⁾ „Русск. Арх.“ 1884, № 4, стр. 419.

одно из первых мест. Вот отрывки из описания одного из балов, бывших на масленице 1833 г. (8 февраля) у министра двора кн. П. М. Волконского. 9-го февраля писал кн. П. А. Вяземский А. Я. Булгакову: «Вчерашний маскарад был великолепный, блестящий, разнообразный, жаркий, душистый, восхитительный, томительный, продолжительный... Кадрили Царицы были прекрасны, начиная с нее и с великой княгини... Старофранцузский кадрили графини Фикельмон был также очень хорош, совершенно в духе того времени, и мог дать понятие, как деды влюблялись в наших бабушек с пудрою, мушками, фижмами, и проч. Очень хороши были в этом кадриле сама графиня Долли и Толстая, фрейлина великой княгини¹⁾. Бал продолжался до шестого часа.... Хороша очень была Пушкина-поэтша, но сама по себе, не в кадрилях, по причине, что Пушкин задал ей стишок свой, который с помощью Божией не пропадет также для потомства...»²⁾

В июле—первых числах августа 1833 г. кн. П. А. Вяземский пишет из Петербурга к жене в Дерпт: «Вчера был вечер у Фикельмонт вместо пятницы, потому что в субботу большой парад на заключение в Красном Селе. Вчера было довольно весело. Один Пушкин *palpitoit de l'interêt du moment* краснел, взглядывая на Крюднершу и несколько увивался вокруг нее»³⁾.

10-го августа граф Фикельмон выехал в Богемию, где должно было состояться свидание Николая I с австрийским императором⁴⁾. 18-го августа уехал в Оренбургскую губернию Пушкин. 20-го авг. кн. П. А. Вяземский писал А. И. Тургеневу: «Фикельмон уехал в Австрию, и австрийская красавица не принимает»⁵⁾. Скоро уехала из Петербурга и графиня, судя по словам Пушкина в письме из Болдина к жене от 8-го октября 1833 г.: «Да кланяйся и всем моим прелестям: Хитровой первой. Как она перенесла мое отсутствие? Надеюсь с твердостью, достойной дочери князя Кутузова. Так Фикельмоны приехали? радуюсь за тебя»...

20-го ноября Пушкин приехал в Петербург, а 24-го ноября был на рауте у Фикельмонов, что отметил в дневнике. 29-го ноября в дневнике же Пушкин записывает: «Молодая графиня Штакельберг (урожденная Тизенгаузен) умерла в родах. Траур у Хитровой и у Фикельмона⁶⁾.

4-го января 1834 г. кн. П. А. Вяземский пишет А. И. Тургеневу: «Зима наша расплясалась. Не пляшет одна австрийская красавица, которая обожгла себе ногу кувшином с горячею водою и лежит на оттоманке своей уже с недели две»⁷⁾.

¹⁾ Толстая—Анна Матвеевна (1809—1897) дочь Матв. Фед. Толстого от брака его с дочерью кн. Кутузова-Смоленского, Прасковьей Михайловной, теткой гр. Д. Ф. Фикельмон. См. „Ост. Арх.“, т. III, примеч., стр. 573.

²⁾ См. „Русск. Арх.“, 1884, № 4, стр. 422, где кн. П. П. Вяземский ошибочно указал, что этот бал-маскарад был „сколько помнится, в Австрийском посольстве“. См. письмо К. Я. Булгакова к брату об этом бале („Русск. Арх.“ 1904, № 2, стр. 246—7) и письмо кн. П. А. Вяземского к А. И. Тургеневу от 6 февр. 1833 г. („Остаф. Арх.“, т. III, стр. 219). В австрийском же посольстве бал был 6-го февраля (*ibidem*). Н. Н. Пушкина не танцевала, потому что была беременна сыном Александром (р. 6 июля 1833 г.).

³⁾ Приведенные строки из неопубликованного письма Вяземского сообщены нам В. С. Нечаевой. Письмо без даты, и время его написания определено нами на основании содержания. „Крюднерша“—баронесса Амалия Максимилиановна, жена барона Александра Сергеевича Крюднер, первого секретаря Русского посольства в Мюнхене. В нее влюблен был Ф. И. Тютчев. См. „Остаф. Арх.“, т. III, прим. стр. 618—619.

⁴⁾ См. „Санктпетербургские Ведомости“.

⁵⁾ См. „Остаф. Арх.“, т. III, стр. 250.

⁶⁾ Графиня Аделаида Павловна Тизенгаузен, двоюродная сестра гр. Д. Ф. Фикельмон, доч. брата ее отца, умерла 7 ноября 1833 г. См. кн. П. Долгоруков „Российская родословная книга“, ч. III, стр. 269.

⁷⁾ „Остаф. Арх.“, т. III, стр. 254.

За февраль—апрель 1834 г. в дневнике Пушкина имеется ряд записей о Фикельмон. Под 28-м февраля записано о бале, на котором поэт не был, «потому что все были в мундирах». Об этом же бале упоминается и в записи от 8-го марта.

15-го марта Пушкин был на званном обеде у Фикельмон. «Я сделал несколько промахов, записывает в дневнике Пушкин: 1) приехал в 5 часов вместо 5¹/₂ и ждал несколько времени хозяйку; 2) приехал в сапогах, что сердило меня во все время. Сидя втроем с посланником и его женою, разговаривал я об 11 марта».

Под 7-м апреля записано: Вчера раут у Фикельмонт. S. не была. Впрочем—весь город. Моя Пиковая Дама в большой моде. Игроки понтируют на тройку, семерку и туза...»

15-го апреля Наталья Николаевна уехала с детьми в Калужскую губернию. 9-го мая мать поэта пишет о нем дочери Ольге в Варшаву: «По утрам очень занят и жалуетса на тяжелый труд и беспокоества всякого рода. После работы, перед тем, чтобы отобедать у Дюме с бородачем Соболевским, Александр ходит отдыхать в Летний Сад, где и прогуливается с своей Эрминией. Такое постоянство молодой особы выдержит всякие испытания, и твой брат в этом отношении очень смешон»¹⁾.

И здесь, вероятно, под Эрминией нужно разуместь Елиз. Мих. Хитрово.

Сам поэт в письме к жене (от первой половины мая) так описывает свое времяпровождение: «Что тебе сказать о себе: жизнь моя очень однообразна. Обедаю у Дюме часа в 2, чтоб не встретиться с холостой пайкой. Вечером бываю в клобе... Летний сад полон. Все гуляют. Гр. Фикельм. звали меня на вечер. Явлюсь в свет в первый раз после твоего отъезда.—За Салог. я не ухаживаю, вот-те Христос; и за Смирновой тоже.... Я не поехал к Фикельмону, а остался дома, перечел твое письмо и ложусь спать». В письме к ней же от 8 июня: «Фикельмон болен и в ужасной хандре. П. Б. пуст, все на дачах, а я сижу дома до 4 часов и пишу. Обедаю у Дюме. Вечером в клобе. Вот и весь мой день».

Но несмотря на такого рода уверения мужа, Наталья Николаевна, извещенная кем-то о прогулках поэта в Летнем саду, написала ему укорительное письмо²⁾, на которое Пушкин отвечает (11 июня): „Нашла за что браниться!.. за Летний сад и за Соболевского! Да ведь Летний сад—мой огород. Я, вставши от сна, иду туда в халате и туфлях. После обеда сплю в нем, читаю и пишу. Я в нем дома. А Соболевский? Соболевский сам по себе, а я сам по себе. Он спекуляции творит свои, а я свои. Моя спекуляция—удрать к тебе в деревню».

Но после этого письма Пушкин живет в Петербурге еще два с половиной месяца, и за это время в письмах к жене находим упоминания о Фикельмон.

Во второй половине июня поэт пишет: «П.Б. ужасно скучен. Говорят, что свет живет на Петергофской дороге. На Черной речке только Бобринская да Фикельмон. Принимают—а никто не едет». 11-го июля описывает вечер у Фикельмон. «Теперь расскажу тебе о вчерашнем бале. Был я у Фикельмон. Надо тебе знать, что с твоего отъезда я кроме как в клобе нигде не бываю. Вот вчерась, как я ввалил в освещенную залу с нарядными дамами, то и смутился, как немецкий профессор: насилу хозяйку нашел, насилу слово вымолвил. Потом, осмотревшись, увидел я, что народу не так-то много, и что бал это запросто, а не раут. Незнакомых дам несколько Прусачек (наши лучше, не говоря уже о тебе),

¹⁾ Л. Павлищев. Воспоминания об А. С. Пушкине. М. 1890, стр. 352.

²⁾ Оно не дошло до нас.

а одеты, как Ермолова во дни отчаянные. Вот, наелся я мороженого и приехал себе домой—в час».

С мужем Дарьи Федоровны Пушкин был в хороших отношениях. Участник наполеоновских войн, потом выдающийся дипломат, граф Фикельмон был человек разносторонний и талантливый. Сближению его с поэтом способствовал интерес графа к литературе, свидетельством чего служит подарок, который сделал он Пушкину в 1835 г. Это были сочинения Гейне на французском языке (изд. 1834—35 гг.), сохранившиеся в библиотеке Пушкина вместе с любезной запиской графа (от 27 апр. 1835 г.) к поэту ¹⁾.

В конце апреля супруги Фикельмон уехали, надо полагать, в Австрию ²⁾, откуда графиня вернулась в Петербург в октябре ³⁾.

24-го января 1836 г. кн. П. А. Вяземский пишет А. И. Тургеневу: «Фикельмонт также болен, а прежде она была больна, и зима их прошла смиренхонько» ⁴⁾. Это—последнее по времени упоминание о графине Фикельмон за годы жизни Пушкина.

О дуэли и смерти Пушкина писал в своем донесении Меттерниху граф Фикельмон от 2 февраля 1837 г., но его сообщение не содержит в себе ничего примечательного: очень, конечно, осведомленный о многом, дипломат очень сдержан и сух в своем изложении ⁵⁾.

Приведенная сводка известных нам сведений о графине Д. Ф. Фикельмон за годы жизни Пушкина не дает нам материала, на основании которого мы могли бы рассказать историю отношений поэта к графине ⁶⁾. Нечего, конечно, говорить о том, насколько Пушкин должен был скрывать этот роман, и неудивительно, что ни в писаниях самого поэта, ни его друзей и знакомых мы не находим никаких прямых указаний на этот счет.

В центре рассказа Нащокина, записанного Бартевым, стоит один эпизод—свидание в доме графини, вся же предшествующая этому свиданию история отношений поэта к графине изложена в нескольких словах: «Эта блистательная, безукоризненная дама наконец поддалась обаяниям поэта...» Ничего не сказано и о том, что было между поэтом и графиней после свидания: «... все дело осталось тайною. Но блистательная дама в продолжение четырех месяцев не могла без дурноты вспоминать об этом происшествии». Таким образом, перед нами как бы одна глава романа, ни содержания, ни размеров которого мы не знаем. Как долго продолжались ухаживания и домогательства Пушкина? Когда было описанное свидание? Было ли оно единственным? Каковы были вообще отношения между поэтом и графиней после свидания? Для биографа все это, конечно, не праздные вопросы, и он не вправе отказаться от поисков ответов на них. Но, увы, кроме нескольких догадок, мы ничего, пока, не можем сказать об этой любовной истории.

В вопросе о времени рассказанного Нащокиным происшествия для

¹⁾ См. „Библиотека А. С. Пушкина“ Б. Л. Модзалевского в „Пушкин и его совр.“ в IX—X, стр. 247. Траурная кайма на бумаге записки объясняется смертью австрийского императора Франца 18 февраля с. с. 1835 г.

²⁾ См. указанную записку графа к Пушкину.

³⁾ О ее возвращении писал 25-го октября кн. П. А. Вяземский. См. „Остаф. Арх.“, т. III, стр. 276.

⁴⁾ Ibidem, стр. 289

⁵⁾ См. П. Е. Щеголев. Дуэль и смерть Пушкина. Изд. 2-ое. стр. 349.

⁶⁾ О гр. Фикельмон немало говорится в Записках А. О. Смирновой, но так как пока неизвестно, что имелось в подлинных записях А. О. и что присочинено ее дочерью, то этим источником мы не пользовались.

нас определяющим моментом является отмеченное уже Бартевым сходство между Германном, проникающим тайком в дом старой графини, и Пушкиным, также тайно проникающим в дом графини Фикельмон. Заметил ли это сходство Бартев, или ему об этом сказал П. В. Нащокин (м. б. со слов самого Пушкина)—неважно: для нас, как и для Бартева, автобиографичность эпизода проникновения Германа в спальню графини—несомненна.

Вспомним несколько мест повести. «Но Германнъ не унялся. Лизавета Ивановна каждый день получала отъ него письма, то тѣмъ, то другимъ образомъ. Они уже не были переведены съ нѣмецкаго. Германнъ ихъ писалъ, вдохновенный страстію, и говорилъ языкомъ, ему свойственнымъ: в нихъ выражались и непреклонность его желаній, и безпорядокъ необузданнаго воображенія. Лизавета Ивановна уже не думала ихъ отсылать: она упивалась ими, стала на нихъ отвѣчать—и ея записки часъ отъ часу становились длиннѣе и нѣжнѣе. Наконецъ она ему бросила в окошко следующее письмо: «Сегодня балъ у ***скаго посланника. Графиня тамъ будетъ. Мы останемся часовъ до двухъ. Вотъ вамъ случай увидѣть меня наединѣ. Какъ скоро графиня уѣдетъ, ея люди, вѣроятно, разойдутся; въ сѣняхъ останется швейцаръ, но и онъ обыкновенно уходитъ въ свою каморку. Приходите въ половинѣ двѣнадцатаго. Ступайте прямо на лѣстницу. Коли вы найдете кого въ передней, то вы спросите, дома ли графиня. Вамъ скажутъ: нѣтъ—и, дѣлать нечего, вы должны будете воротиться. Но, вѣроятно, вы не встрѣтите никого. Дѣвушки сидятъ у себя, всѣ въ одной комнатѣ. Изъ передней ступайте налѣво, идите все прямо до графининой спальни»...

Германнъ трепеталъ, какъ тигръ, ожидая назначеннаго времени. Въ десять часовъ вечера онъ ужъ стоялъ передъ домомъ графини. Погода была ужасная: вѣтеръ вылъ, мокрый снѣгъ падалъ хлопьями...

Германнъ сталъ ходить около опустѣвшаго дома; онъ подошелъ къ фонарю, взглянулъ на часы: было двадцать минутъ двѣнадцатаго. Онъ остался подъ фонаремъ, устремивъ глаза на часовую стрѣлку и выжидая остальныхъ минуты. Ровно въ половинѣ двѣнадцатаго Германнъ ступилъ на графинино крыльцо и взошелъ въ ярко освѣщенныя сѣни. Швейцара не было. Германнъ взбѣжалъ по лѣстницѣ, отворилъ двери въ переднюю и увидѣлъ слугу, спящаго подъ лампою, въ старинныхъ, запачканныхъ креслахъ. Легкимъ и твердымъ шагомъ Германнъ прошелъ мимо его. Зала и гостиная были темны. Лампа слабо освѣщала ихъ изъ передней. Германнъ вошелъ въ спальню... Но онъ воротился и вошелъ въ темный кабинетъ.

Время шло медленно. Все было тихо. Въ гостиной пробило двѣнадцать; по всѣмъ комнатамъ часы одни за другими прозвонили двѣнадцать—и все умолкло опять. Германнъ стоялъ, прислонясь къ холодной печкѣ. Онъ былъ спокоенъ; сердце его билось ровно, какъ у человѣка, рѣшившагося на что-нибудь опасное, но необходимое. Часы пробили первый и второй часъ утра, и онъ услышалъ дальній стукъ кареты. Невольное волнение овладѣло имъ. Карета подъѣхала и остановилась. Онъ услышалъ стукъ опускаемой подножки. Въ домѣ засуетились. Люди побѣжали, раздались голоса, и домъ освѣтился. Въ спальню вбѣжали три старья горничныя, и графиня, чуть живая, вошла и опустилась въ вольтеровы кресла...»

Время писанія «Пиковой Дамы» неизвестно. Впервые повесть была напечатана в «Библиотеке для Чтенія» за 1834 г., в книжке третьей, вышедшей в свет 1 марта 1834 г. Никакихъ рукописей—ни беловыхъ, ни черновыхъ—«Пиковой Дамы» не сохранилось, кроме двухъ небольших чер-

новых набросков в тетради № 2373 (л.л. 15₁ и 18₁—18₂), которые можно датировать, судя по их положению, лишь 1832—1833 гг. Таким образом о времени свидания Пушкина с графиней Д. Ф. Фикельмон, о котором рассказал Нащокин Бартеневу, мы можем утверждать вполне определенно только одно: свидание произошло во всяком случае не позднее последних месяцев 1833 года.

В той же тетради, где находятся наброски к «Шиковой Даме», имеется черновой набросок на французском языке «исчерканный, нелегко разборчивый» (л. 24₁) такого содержания: ¹⁾ «C'est au jourd'hui.... c'est l'anniversaire du jour ou je vous ai vu pour le premier fois, ce jour... de ma vie, c'est...

Plus j'y pense, plus je vois que mon existence est inseparable de la votre: je suis né pour vous aimer et vous suivre, toute autre soin de ma part est erreur ou folie. Loin de vous je n'ai que les remords d'un bonheur dont je n'ai pas su m'assouvir. Tôt ou tard il faut bien que je... tout et que je vienne tomber a vos pieds. L'idée de pouvoir un jour avoir un coin de terre en... et la seule que me sourit et me ranime a milieu de mes mornes regrets. La je pourrais venir en pelirinage... autour de votre maison, vous rencontrer, vous entrevoir...»

Т.-е.: «Сегодня... годовщина того дня, когда я увидел вас в первый раз, этот день... моей жизни, это...

Чем более я над этим думаю, тем более я вижу, что мое существование нераздельно с вашим: я создан, чтобы вас любить и следовать за вами, всякая иная забота для меня—заблуждение или безумие. Вдали от вас я испытываю только угрызения совести, что я не сумел насытиться счастьем. Рано или поздно я должен буду... все и упасть к вашим ногам. Мысль, что я мог бы иметь когда-нибудь уголок земли в... единственная, что мне улыбается и оживляет меня в моих угрюмых размышлениях. Там я мог бы ходить как паломник... вокруг вашего дома, встречать вас, видеть вас мельком...»

По положению в тетради—после черновых набросков из «Родословной моего героя» и «Медного всадника» и рецензии на книгу, изданную в 1832 г.—набросок можно датировать 1832—1833 г., с большей вероятностью относя к последнему году.

«Если это действительно письмо, то к кому оно относится?» спрашивал В. Е. Якушкин, впервые опубликовавший приведенный набросок. Если бы не начальные слова: «Сегодня годовщина того дня, когда я увидел вас в первый раз», то этот набросок можно было бы счесть за набросок одного из писем Германна к Лизавете Ивановне, но между днем, когда Германн увидел в первый раз Лизавету Ивановну, и днем, когда он пришел ночью в дом графини, прошло менее трех недель (см. главу IV-ую «Шиковой Дамы»), и Германн не мог писать: «Сегодня годовщина того дня, когда я увидел вас в первый раз». Нельзя ли видеть в этом наброске черновик письма Пушкина к гр. Фикельмон?

В пятой книжке «Библиотеки для чтения» за 1834 г., вышедшей в свет 5 мая, впервые было напечатано стихотворение Пушкина под заглавием: Красавица (въ Альбомъ Г****) без обозначения года написания:

Все въ ней гармонія, все диво,
Все выше міра и страстей;
Она покоится стыдливо
Въ красѣ торжественной своей;

¹⁾ См. „Русск. Старина“, 1884, авг., стр. 327.

Она круюмъ себя взираетъ:
 Ей нѣтъ соперницъ, нѣтъ подругъ;
 Красавицъ нашихъ блѣдный кругъ
 Въ ея сіяньѣ исчезаетъ.

Куда бы ты ни поспѣшалъ,
 Хотъ на любовное свиданье,
 Какое-бъ въ сердцѣ ни питалъ
 Ты сокровенное мечтанье;
 Но встрѣтясь съ ней, смущенный, ты
 Вдругъ остановишься невольно,
 Благоговѣя богомольно
 Передъ святыней красоты.

Автографа стихотворения не сохранилось. При жизни поэта оно было перепечатано в «Стихотворениях А. Пушкина», ч. IV, 1835 г. с таким же заглавием. Здесь стихотворение занимает пятое место; первые три стихотворения (Гусар, Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях и Будрыс и его сыновья) помечены 1833-м годом; четвертое—«Воевода»—не имеет даты, но относится к 1833-му году; на шестом месте стоит «Сказка о золотом петушке» без даты, но относящаяся к 1834-му году, затем идут без дат: «Сказка о рыбаке и рыбке» (относится к 1833 г.), «Разговор книгопродавца с поэтом» (1824 г.), «Два подражания древним» (1833 г.), «Безумных лет угасшее веселье» (1830 г.) и «Песни западных славян» (1832—1833 г.).

Как заметил уже Н. О. Лернер ¹⁾, место, занимаемое здесь стихотворением «Красавица», указывает на то, что стихотворение это нужно скорее датировать 1833—1834 г.г., чем 1831 г., что делалось с легкой руки Анненкова всеми редакторами до Венгерова и В. Я. Брюсова включительно.

М. Л. Гофман по этому вопросу пишет: «...судя по технике, стихотворение написано вряд ли раньше 1830—1831 года, а судя по тому, что оно вошло в издание 1835, а не 1832 года, вряд ли оно написано и раньше 1832 года: вернее всего предположить, что оно создано в 1832 или, что еще вероятнее (судя по времени появления в печати), в 1833 г. Таковы объективные данные для предположительной датировки пьесы» ²⁾.

Таким образом М. Л. Гофман, исходя из других соображений, приходит к тому же выводу, что и Н. О. Лернер, и с чем нельзя не согласиться. Без каких-либо объяснений 1831-м годом стихотворение датировал Анненков ³⁾. Можно догадываться, что сделал он это потому, что относил стихотворение к Н. Н. Гончаровой, хотя подзаголовок: (въ Альбом Г***) оставил в таком же виде. В следующем за изданием Анненкова издании Исакова 1859 г. Геннади без всяких объяснений оставил дату Анненкова 1831 г., но подзаголовок напечатал: (въ альбомъ Н. Н. Гончаровой). Итак, получилось, что стихотворение датировали 1831-м годом потому, что относили к Н. Н. Гончаровой, а к Н. Н. Гончаровой относили потому, что датировали 1831-м годом. Но если стихотворение относится не к 1831-му году, а к 1832—началу 1834 г., то и приурочивание его к Н. Н. Гончаровой отпадает уже по одному тому, что с 18 февраля 1831 г. Н. Н. Гончарова стала Н. Н. Пушкиной.

¹⁾ См. Собран. соч. Пушкина. изд. Брокгаузъ-Ефрон, т. VI, стр. 406.

²⁾ М. Л. Гофман. Пушкин. Первая глава науки о Пушкине. Пгр. 1922, стр. 91 (перв. изд.) и 93 (второе).

³⁾ В посмертном издании 1838—41 г. (т. III, стр. 110) стих. имеет заглавие: „Красавица. (Въ альбом Г***)* и не датировано.

Что стихотворение «Красавица» может относиться не к Гончаровой, стало известно еще в 1889 г., когда А. И. Незеленов, занимавшийся рукописями Пушкина в Румянцевском Музее, в своей статье «Новые отрывки и варианты сочинений Пушкина»¹⁾ писал: «...в рукописи (тетрадь № 2393) [копии] стоит: «Въ альбомъ Г***» и под тремя звездочками прибавлено (другими чернилами, мелко и другой рукой, но рукой ли Пушкина—сказать трудно): «рафинъ». Быть может, стихотворение посвящено не Гончаровой»²⁾.

П. О. Морозов в собр. соч. Пушкина изд. «Просвещение» добавил, что буквы «рафинъ» приписаны «рукой кажется, Жуковского»³⁾. Это не помешало однако Морозову остаться при мнении, что стихотворение относится к Н. Н. Гончаровой. С. А. Венгеров в собр. соч. Пушкина изд. Брокгауз-Ефрон отнес стихотворение тоже к Н. Н. Гончаровой, а в примечании Н. О. Лернер писал: «предположению Незеленова, что стихотворение посвящено не Гончаровой, нельзя отказать в известных основаниях, хотя указание неизвестного нам лица на какую-то неназванную графиню слишком слабый довод»⁴⁾.

Совершенно новое предположение выдвигает М. Л. Гофман: «Повидимому, так [т.-е. со словом «Графинъ»] Жуковский предполагал печатать пьесу в посмертном издании, для скрытия подлинного посвящения: стихотворение могло бы быть посвящено какой-нибудь определенной Графине, а не вообще Графине. Не скрыл ли Жуковский «Графинею» другое высокопоставленное Г—«Государыню»? супругу Николая I-го Александру Федоровну, Лаллу Рук, о которой Пушкин в таком же тоне говорит в черновиках восьмой главы «Евгения Онегина»? Конечно, это только наше предположение, на наиболее возможное, наиболее вероятное из всех предположений»⁵⁾.

Непонятно, почему это замысловатое, натянутое объяснение представляется М. Л. Гофману «наиболее возможным, наиболее вероятным из всех предположений». В самом деле, для чего Жуковский, если он знал или предполагал, что стихотворение посвящено Государыне, написал, что оно посвящено графине? Зачем нужна была, вместо умалчивания, недоговоренности, эта выдумка, напраслина? Когда Жуковский переделывал, искажал стихи Пушкина, то делал он это с добрым намерением провести их, хотя и в искаженном виде, в печать, но зачем ему было в стихотворении дважды уже напечатанном сочинять «графиню», вместо «государыни»? Не естественнее ли «предположить», что написанное «Графинъ», так и читается «Графинъ»? Вопрос только в том, какую графиню разумел Жуковский. Мы предполагаем, что это—графиня Д. Ф. Фикельмон, в альбом которой Пушкин, на основании всего вышеизложенного, мог написать стихотворение «Красавица».

В Петербурге Фикельмон прожили до 1839 года, когда граф был отозван в Вену. О пребывании графини за границей заимствуем из рецензии П. И. Бартенева на книгу Comte F. de Sonis. *Lettres du Comte et de la Comtesse de Ficquilmont à la Comtesse Tiesenhausen*. Paris. 1911. V+481 p.⁶⁾

¹⁾ „Исторический Вестник“, 1889. № 3, стр. 683.

²⁾ Тетрадь № 2393 Румянцев. Муз. представляет собою собрание писарских копий, приготовленных для посмертного издания.

³⁾ См. т. II, стр. 518.

⁴⁾ Т. VI, стр. 406.

⁵⁾ М. Л. Гофман. Пушкин. Первая глава науки о Пушкине. Пгр. 1922 г., стр. 92 (перв. изд.) и 94 (второе).

⁶⁾ См. „Русск. Арх.“ 1911, № 9 обложка. Самой книги нам не удалось видеть.

«В Россию она, кажется, до конца жизни не возвращалась, и, живя в католической среде, оставалась православною. Она заботилась о певчих для тогдашней нашей посольской церкви в Вене; а во время революции, вынужденная перебраться на жительство в Теплиц, ездила она в Лейпциг, чтобы поговорить в греческой церкви. Ее положение в Австрии было блестяще. Приезжие из Петербурга находили у нее радушный привет. Ее посещала Екатерина Николаевна Дантес, жившая со своим мужем (убийцей Пушкина) у голландского в Вене посланника Геккерна. Единственная дочь Фикельмонова была выдана за князя Кляри. Эта дочь подписывала свои письма словом *елка*, как бы в память о своем русском происхождении ¹⁾. Мать же ее усвоилась Австрии и восхищалась молодым, ныне престарелым, ее императором. Она пишет сестре о том, как Франц-Иосиф положил первый камень для воздвижения памятника в Трансильвании нашему молодому герою Григ. Яковл. Скарятину, но в 1854 г., когда Австрия так лукаво изменила императору Николаю Павловичу, графиня Фикельмон писала сестре в Петербург: «Когда у тебя два отечества, их любишь, как отца и мать, и глубоко огорчаешься, как скоро они не могут действовать заодно».

Скончалась графиня Д. Ф. Фикельмон 7/19 апреля 1863 г., через шесть лет после смерти мужа, скончавшегося в Венеции 25 марта—6 апр. 1857 г.

М. Цвловский.

Июль 1922 г.

¹⁾ Единственная дочь гр. Фикельмон Елизавета-Александра родилась 10 ноября н. с. 1825 г. и вышла замуж 5 дек. н. с. 1841 г. за кн. Кляри-Альдринген. См. Allgemeine Deutsche Biografie. Leipzig. 1878, слово „Fiequelmont“.

Земли, земли! ¹⁾

(Наблюдения, размышления, заметки)

„Студент на деревенском горизонте“

Александр III мирно отошел к праотцам. Это был, кажется, самый неподвижный из Романовых, и к нему, более, чем к кому-нибудь из них, можно было применить известную характеристику из драмы Алексея Толстого:

От юных лет напуганный крамолой,
Всю жизнь свою боялся мнимых смут,
И подавил измученную землю.

Его отец ввел реформы и погиб трагической смертью. „Не двигайтесь, Государь“, — говорили мудрые советники. Он не двинулся ни на шаг из своего заколдованного самодержавного круга, и мирно почил в своем крымском дворце.

Пример этой противоположности между судьбой отца и деда послужил программой для нового царствования. Николай II сразу заявил в памятной речи, что всякие надежды на реформы являются „бессмысленными мечтаниями“, и после этого самодержавие, казалось, застыло надолго и прочно. Все свелось на полицейскую борьбу с крамолой в городах. Что же касается деревенской России, то она казалась попрежнему темной, неподвижной и покорной. И Николай II повторил слова отца о том, что деревне не следует надеяться на какие бы то ни было „прирезки“.

И вдруг, именно оттуда, со стороны деревни раздался глухой подземный раскат в виде аграрного движения 1902 г.

Как же это произошло? В то время я жил в Полтаве, и многое об этом знаменательном явлении могу рассказать, как наблюдатель, очевидец.

Начать приходится все-таки с центров. В столицах, а за ними в больших городах происходили сильные и все возрастающие волнения молодежи. К ним применяли самые суровые меры. Потом попробовали действовать «сердечным попечением». Ничто не помогало. Молодежь волновалась, и отголоски этих волнений разлетались по всей России. О волнениях молодежи говорили на улицах, в поездах железных дорог; извозчики и рабочие, возвращаясь с отхожих промыслов из столицы, разносили вести о них до самых глухих далеких углов провинций, порождая, в свою очередь, своеобразные легенды.

Одна из них, самая распространенная, показала мне до такой степени характерной, что я тогда же записал ее в нескольких вариантах из разных мест. — «В чем дело? Из-за чего это студент бунтует? — спрашивал себя простой человек. Еще недавно у него было готово объяснение: господские дети недовольны, что царь освободил крестьян. Теперь говорили иное. Студент — бедняк учится из-за хлеба, чтобы получить казенное место. Но тут его встре-

¹⁾ См. „Голос Минувшего“, 1922 г. № 1.

чает общая неправда: места раздают богатым, могущим дать взятку или имеющим связи.

— «Веришь ты, — передавал мне один такой простец жалобу студента, — последнюю шинель проучил, все места не дают... Даром, что сто очков дам вперед тем, которые получают». — «Конечно, всюду бедному нет ходу», — заключил рассказчик.

Таким образом, „бунтующий студент“ являлся уже не помещичьим сыном, недовольным освобождением крестьян, а бедняком, протестующим против повсюдной неправды.

Городское рабочее население, в значительной степени затронутое марксистской пропагандой, уже давно перенесло свое сочувствие на сторону молодежи, и в крупных городах волнения рабочих и студентов выливались на улицу совместно 2-го февраля 1902 года произошла грандиозная демонстрация в Киеве. Рабочие и студенты запрудили улицы, выкидывали знамена („Долой Самодержавие“) и вступали в драку с полицией и казаками.

«Студенческий мундир, — отметил я тогда в своей памятной книжке, — становится своего рода бытовым явлением на ряду с рабочей блузой.. Появился даже особый тип уличных «гаменов», веселая толпа подростков, из удалства и шалости шмыгающих между ногами казачьих лошадей с криками „Долой Самодержавие“. Для них это только веселая игра, но в этой игре начинает вырастать целое поколение“...

Деревня прислушивалась и недоумевала.

В это время приехала из Киева знакомая нашей семьи, простая, хотя довольно культурная девушка из казачьей деревенской семьи. Читала книги, жила у нас около года горничной. Ее брат служил в Киеве жандармом, и она была у него во время беспорядков. Но она ничего не могла сказать на вопросы о смысле того, что она видела в Киве.

— Чего они хотят?

— Бог знает... Говорят, будто хотят, чтобы не было ни богатых, ни бедных, ни начальства... Я не знаю.

С этими неопределенными сведениями она и уехала в свою деревню. И такие вести привозили из городов тысячи деревенских жителей, доставляя деревне материал для создающейся новой легенды...

На это правительство обращало мало внимания. То, что творит или претворяет сама жизнь, казалось нашим „внутренним политикам“ не заслуживающим внимания. Лишь бы ничего не проходило в деревню в виде прокламаций... Между тем, возрастающая возня в городах должна была действовать и на деревню... Деревне тоже плохо и, главное, нет надежды на лучшее. А тут, под боком кто-то шумит и протестует против неправды... Бедняк против богача, слабый против сильного. И во главе этого протеста стоят люди, называемые „студентами“.

И вот, фигура студента вырастает в легендарный образ, сплетающийся с царской легендой. Цари, по мнению мужика, всегда были — за народ и за бедноту. Но, по исторической случайности, данный царь пошел против народа и против бедноты за господ. Студент узнал и почувствовал это первый.. И в деревне явился интерес к студенту.

Около этого времени у меня отмечен следующий маленький эпизод: я ехал в Петербург, и со мной в вагоне ехал харьковский студент, возвращавшийся из Миргорода, где он гостил у приятеля. Миргород, как известно, до последних годов представлял полугород, полудеревню. Студент был самый обыкновенный юноша, в аккуратном мундирчике, в фуражке офицерского образца, с подвитыми усиками. Мне было ясно, что передо мной отнюдь не революционер, хотя стихийная волна уже втягивала его. Раз он уже был исключен, потом опять поступил. Как хороший товарищ, он „не мог уклоняться от общего дела“, но теперь

старался усиленно доплыть до берега, т.-е. до диплома. Может быть после этого и доплыл и состоял где-нибудь чиновником вполне приличным и благонамеренным... Дорогой он говорил мне:

— Да, знаете-ли, странное теперь настроение в народе. Вышли мы с товарищем погулять по базару в праздник. Было нас человек четыре или пять в студенческой форме. Смотрим, на широкой немощеной Миргородской площади толпа народа: парубки, девчата, солидные мужики. Все на нас усиленно смотрят... Нам стало неловко. Мы не знали, каково будет их отношение. Но когда мы поровнялись с толпой, — из нее выступило несколько парубков, и один, сняв шапку, сказал, указывая на нас: — „Ось, дивиться, люди добри... Це наши защитники идут“... Ужасно, знаете, неловко...

Я вспомнил астыревские прокламации и свою встречу у ветряка с их лукояновскими получателями и понял, как много воды утекло с тех пор. Правительство все так же удачно ловило крамольников и наполняло ими тюрьмы. Казалось, все осталось по-старому, но жизнь, не всегда доступная прямому полицейскому воздействию, сильно изменилась, как почва, незаметно размываемая невидимыми подземными водами.

Наконец, легендарный „студент“ проник в тихую Полтаву, и здесь тоже начался „шум“.

К тому времени Полтава оказалась переполненной высланной из столиц молодежью. Это было время, когда уже господствовало прямолинейное марксистское настроение. Народническое „доброхотство“ сильно ослабело. Мужик обаялся мелкой буржуазией... Эти различия в интеллигентской идеологии данного десятилетия, — для деревни, конечно, не существовали, но они существовали для начальства: марксистскую молодежь мудрец Плеве решил сослать в центр хлебородного края. В Полтаве очутилась масса поднадзорных. Тут были и исключенные студенты, и бывшие сосильные, и рабочие, „лишенные столицы“, и мужики, и девушки-курсистки.

Народ этот жался, точно в тесном углу, искал и не всегда находил работу, озлоблялся, нервничал, искал повода для демонстрации в тихом городе. Наконец, повод нашлся. Около этого времени Л. Н. Толстой был отлучен от церкви. Газеты были полны любопытной полемики между графиней и синодом. Раздраженная бестактными выходками синода, графиня вызвала его главу (митрополита Антония) на газетную полемику, которая уже сама по себе представляла курьезный „соблазн“... Об отлучении говорила вся Россия. И вот, 5-го февраля во время представления в Полтаве „Власти Тьмы“, перед вторым действием, когда на сцене и в зале устраивается полутьма, вдруг сверху посыпались летучие листки с портретом Толстого и с надписью: „Да здравствует отлученный от церкви борец за правду“ (что-то в этом роде. Я листков не видел). Публика сначала приняла это за обычную театральную овацию и стала разбирать листки. Но тут кто-то бухнул еще пачку прокламаций.

Мне говорили, что это было уже сверхсметное добавление, отнюдь не входившее в первоначальную программу и даже прямо противное ей. Говорят, самая прокламация была сляпана довольно нелепо, и устроено было это прибавление так неумело, что полиция сразу захватила всю пачку.

Казалось, — этот театральный эпизод ни мало не относился к деревне — и ни в каком смысле не может заинтересовать ее. Но вышло иначе.

Полиция не могла не ответить на него по своему. Начальство обдумало „план кампании“, и в одну из ближайших ночей полиция и жандармы нагрянули сразу на множество квартир, произвели обыски и арестовали сразу 44 человека. Разумеется, действовали на основании привычной формулы: „после разберем“ и набрали массу людей совершенно не причастных. Арестовали в том числе молоденькую гимназистку, которую везли уже днем. Вид этого полуробенка среди жандармов обращал внимание и вызывал недвусмысленное сочувствие уличной толпы...

В числе арестованных оказался один молодой человек, высланный студент, Михаил Григорьевич Васильевский. Это был очень симпатичный и милый юноша с тем обманчиво цветущим видом, какой бывает у людей с сильным пороком сердца. Он иногда проводил целые ночи без сна, на ногах, томясь и задыхаясь. Многие знали его, питая участие к угасающей молодой жизни, и его грубый арест вызвал общее возмущение... Васильевский, как все сердечно больные, был очень нервен и при том нервен заразительно. После ареста он сразу объявил голодовку... К нему примкнули другие товарищи... В арестантских ротах начались волнения политических...

Весь город кипел необычным до того времени участием и волнением. Все говорили о массовых арестах и о беспорядках. Здание арестантских рот помещается против большой и людной Сенной площади, привлекающей много приезжающих из деревень. Политические сидели в верхнем этаже, и толпе было видно, как в камерах вдруг зазвенели разбиваемые стекла и появился какой-то плакат с надписью „Свобода“. Потом в здании за оградой послышался шум, спешно подошли вызванные войска. Оказалось, что, когда политических попытались перевести вниз, они оказали сопротивление. Крики женщин взволновали уголовных арестантов. Они подумали, что политических избивают, подхватили инструменты из мастерской и кинулись на помощь. Могла выйти страшная бойня, и политическим пришлось уговаривать уголовных, чтобы избежать кровопролития.

Потом бедняги сильно пострадали. Явились высшие власти: над уголовными производились жестокие экзекуции...

Под влиянием этих событий город волновался. Приходившая с базара прислуга с необычным участием рассказывала о происшествиях, о барышнях, которых привозят жандармы, о больном юноше, о том, что в тюрьме избивают. „На базаре аж кипить“, — прибавляли рассказчицы. Базарная толпа теснилась к тюрьме. Меня тогда поражала небывалая до тех пор восприимчивость этой толпы, и я думал о том, какие новые толки повезут отсюда на хутора и в деревни эти тяжелодумные люди в смазных чоботах и свитках, разезжаясь по шляхам и дорогам.

И опять мне вспомнился 1891-й год, земля под снегом, каркающие вороны и покорная кучка мужиков, несших к становому прокламацию „мужицких доброхотов“... Здесь было уже не то: над тихой Полтавой, центром земледельческого края, грянуло известие:

— У Полтаві объявились студенты...

Известие это передавалось различно и вызывало различное отношение, главное содержание которого была тревога...

Студенты... Те самые, что в Киеве и Харькове дерутся с полицией наряду с рабочими, те самые, что хотят, чтобы „не было ни богатых, ни бедных“... „Их посылает царь“... — Нет, они идут против царя, потому что царь перекинулся на сторону господ. — Легендарная, мистическая фигура появилась во весь рост на народном горизонте, вызывая вопросы, объяснения, тревогу. Не могу забыть, с каким чувством суеверного ужаса зажиточная деревенская казачка из под Полтавы рассказывала при мне о том, как какая-то компания студентов взшла на Шведскую могилу. — „Увійшли на могилу, тай дивляться на усі сторони“...

— Ну, и что же дальше? — спросил я.

Дальше не было ничего. Казачка видимо была встревожена и не ждала ничего хорошего от того, что таинственные студенты с высокой Шведской могилы осматривали тихие до тех пор поля, хутора и деревни. Казаки — самая консервативная часть деревенского населения Украины. В неказачьей части этого населения таинственные студенты порождали сочувствие и надежды. С именем студентов связывалось всякое недовольство и протест, и когда в селе

Павловке (Харьковской губ.) произошли памятные штундистские беспорядки, то при мне в Сумах подсудимых по это муделу, простых сектантов-селян, тоже называли студентами...

Таким образом, та самая сила, из которой самодержавие рекрутировало новые кадры своих слуг, от которой по нормальному порядку вещей должно было ждать обновления и освежения, — становилась символом борьбы с существующим строем и его разрушения... Но самодержавие имело очи, еже не видѣти, и уши, еже не слышати... Оно могло изловить и заточить каждого крамольника в отдельности, и не видело страшной крамолы, исходившей от его приверженцев.

Крамола эта называлась: застой и омертвление государства...

Прокламация в 1902-ом году.

Это было ровно через десять лет после астыревских прокламаций и моей дорожной встречи, описанной в первой главе, когда в нашем тихом землеробном крае тоже появились прокламации. И опять это было весной.

По сляхам, начинавшим просыхать после довольно суровой бесснежной зимы, ранним утром проезжающие на базар мужики увидели разбросанные там и сям листочки. Чтобы их не унесило ветром, кто-то старательно придавливал их камешками или грудкой земли. Бумажки кидались в глаза. Мужики оставляли возы, медлительно сходили с них, подымали листочки, прочитывали, если попадались грамотные, или увозили с собой для прочтения.

Характерно. От Петра Павловича Старицкого, старого земца, председателя уездной земской управы, я слышал (со слов исправника), что ни одного экземпляра долгое время не было доставлено в полицию... Пришлось употребить особые меры, чтобы добыть таинственный листок. Как-то в уездную управу пришел довольно богатый казак, землевладелец полтавского уезда из под дер. Лисичьей, где, как говорили, появилось особенно много прокламаций. Он рассказал П. П. Старицкому, что исправник, по приятельству, просил его достать для него хоть одну прокламацию. Казак был человек популярный, „благодетель“ деревни, дававший деньги в рост, снабжавший в долг семенами и землей в аренду. Одним словом, человек из того слоя, который в то время был так близок и силен в деревне. Желая услужить начальству, он призвал одного из своих клиентов, у которого, как он знал наверное, — был листок. Но тот ответил решительно, что у него „той бумаги немає“...

— Ну, як у вас для мене нема бумажки, то и у мене для вас нема ни земли, ни зерна... ничогисенько...

Под таким ощутительным давлением — бумажка нашлась. В ней говорилось о земле.

Стали, разумеется, искать корней и нитей. В Лисичьей жил, между прочим, поднадзорный студент Алексенко. Казак, не называя прямо, намекал, все-таки, что молва считает его центром этой агитации, как, вероятно, в других местах считались центрами другие поднадзорные. У Алексенка произвели обыск. Но, когда захотели произвести обыск и у его знакомых молодых крестьян, то мужики, говорят, заволновались, не дали понятий, не позволили сотским идти с полицией.

Через несколько дней ко мне явился и сам Алексенко.

Это оказался юноша небольшого роста, смиренного вида, с нервным лицом и большими печальными, как будто испуганными глазами. Слухи о его важной роли, очевидно, очень его обеспокоили. Зная, что я жил тогда в доме председателя управы Старицкого, он просил узнать у него, что именно говорил ему казак из под Лисичьей. Я спросил его откровенно и „между нами“ — было ли что-нибудь в этом роде с его стороны? Он ответил (и я уверен, с полной

искренностью), что никаких прокламаций не разбрасывал и не передавал, и все его отношения с деревенскими сверстниками, с которыми он рос в деревне, ограничивались дружеским знакомством и чтением легальных книг.

Тем не менее, его вскоре арестовали, и его фигура, по разным сторонним рассказам, вскоре выросла до сказочных размеров могущественного агитатора, державшего в руках всю округу...

Мне, наконец, удалось достать один экземпляр прокламации. Это оказался простой перевод одной из прокламаций к рабочим, не особенно даже приспособленный к деревне. В ней говорилось, что царь окружен господами и что народу необходима свобода собраний и слова для обсуждения своих нужд. Составители, очевидно, не придавали листку значения прямого призыва, а только, как когда-то и Астырев — пытались возбудить в народе интерес к борьбе за политическую свободу.

Кстати и годы были тяжелые. Были сильные неурожай. В моей записной книжке отмечено между прочим: „Продовольствие из'ято из ведения земства, а земские начальники ведут его прямо по-лукояновски... Передают о случаях поразительной небрежности... Народ не видит выхода вообще, а тут еще тяжелая и малообещающая весна“.

Трудно определить, какую именно роль играли в дальнейшем прокламации. Характерна, во всяком случае, необыкновенная восприимчивость к ним. Газеты того времени отмечали появление разных толков и слухов, под влиянием которых в некоторых местах составлялись даже постановления сходо́в, касающихся земли и необходимости наделения ею. С одним таким газетным известием из Воронежской губернии в памяти моей связывается характерный эпизод.

Я проезжал через Харьков, и с вокзала вез меня престарелый извозчик как-раз из Воронежской губернии. Это был совершенно седой старец, суровый деревенский консерватор или, как впоследствии называли, „черносотенец“. Дорогой он рассказывал мне о том, как в Харькове „безобразят студенты“. Это было вскоре после одной из манифестаций: студенты и рабочие вышли на улицу, побили (по установленной традиции) окна в редакции газеты Юзефовича, казаки ходили в атаку с нагайками и т. д. Старик негодовал на студентов и рабочих и с большим злорадством передавал отзыв каких-то офицеров, обещавших скорую расправу с „этими сволочами“. Мне стало любопытно, что он скажет о требованиях деревни, и я прочел ему краткую выдержку о постановлениях крестьян Воронежской губернии. Действие этого известия оказалось прямо поразительным. Старец повернулся ко мне на своих козлах и, нимало не осуждая деревенской крамолы, спросил только с необыкновенным захватом:

— А скажи, пожалуйста,—могутли это ихнее постановление действовать?...

И потом долго горорил про себя что-то, из чего я понял только, что деревенское верноподданничество грозит в земельном вопросе не меньшими осложнениями, чем деревенский радикализм. Они могут различно относиться к студенту, но к земле относятся одинаково.

„Грабижка“.

3 апреля 1902 года я занес в свою записную книжку следующее:

„В то время, когда я пишу эти строки, мимо моей квартиры едут казаки, поют и свищут. Идут точно в поход, и даже сзади везут походную кухню, которая дымит за отрядом... Полтава теперь является центром усмиряемого края, охваченного широким аграрным движением“.

Бунтом этого назвать было нельзя. Бунта, в смысле какого бы то ни было открытого столкновения с войсками, даже с полицией, или противодействия

властям, нигде не было. В том углу, где у Ворсклы сходятся четыре уезда (Валковский и Богодуховский Харьковской губернии, Полтавский и Константиноградский — Полтавской), внезапно, как эпидемия или пожар, вспыхнуло своеобразное и чрезвычайно заразительное движение, перекидывавшееся от деревни к деревне, от экономии к экономии точно огонь по стогам соломы. Пронесся слух, будто велено (кем велено, — в точности неизвестно) отбирать у господ землю и имущество и отдавать мужикам. Приходили в помещичьи экономии, об'являли об указе, отбирали ключи, брали зерно, кое-где уводили скот, расхищали имущество. Насилий было мало, общего плана совсем не было. Была лишь какая-то лихорадочная торопливость... Вскоре, впрочем, выяснилась некоторая общая идея: бывшие помещичьи крестьяне шли против бывших господ. Случалось, что мужики защищали экономии от разгрома, но не из преданности господам или чувства законности, а потому, что громить приходили „чужие“, тогда как это были „наши паны“. При этом исчезало различие между богатыми и бедными крестьянами. В общем, отмечали даже, что начинали даже по большей части деревенские богачи. И, как только это начиналось, по дорогам к экономии валил народ на убогих клячонках, запряженных в большие возы, на волах, а то и просто пешком, с мешками за спиной. Брали торопливо, что кому доставалось. Богачи увозили нагруженные возы, бедняки уносили мешки и тотчас же бежали опять за новой добычей...

Потом, разумеется, началась расправа. Приходило начальство, об'являло, что никакого указа не было, напоминало о „неизменной царской воле“ и, конечно, тотчас же принималось сечь. Мужики встречали начальство смиренно, по большей части на коленях. Коленопреклоненных брали по вдохновению или по указаниям „сведующих людей“, растягивали на земле и жестоко пороли нагайками. Секли стариков и молодых, богатых и бедных, мужчин и женщин. Таким образом, по старой самодержавной традиции, восстанавливалось уважение к закону...

В Полтавской губернии тогда губернатором был Бельгард, до тех пор ничем не выделявшийся и довольно безличный. Харьковской губернией правил кн. Оболенский, прежний Екатеринославский губернатор, фигура довольно яркая. О нем много писали в связи с его войной с земством и отрицанием голода (к которому он относился чисто по-лукояновски). Оба губернатора — тусклый и яркий — действовали как-будто одинаково: приходили, сгоняли мужиков, растягивали на земле, секли... Только Бельгард, как человек с „добрым сердцем“ при сечении, как говорили, проливал слезы. Оболенский никакой чувствительности не проявил и выступил в поход так бодро, что в Харькове шутили, будто у него на ходу „играла даже селезенка“. Сразу же, только сошедши с поезда, кажется в Люботине, по дороге в какую-то экономию, он встретил мужика с нагруженным возом. Не входя в дальние разбирательства, он приказал сопровождавшим его казакам растянуть мужика и „всыпать“. Баба кинулась к мужику. Тут же растянули и бабу...

Вскоре после этого в нашу местность приехал министр Плеве. Он отказался остановиться в губернаторском доме и прожил день или два в вагоне у Южного вокзала. В любой конституционной стране, в таких обстоятельствах не удовлетворялись бы судом, а непременно произвели бы исследование, которое выяснило бы глубокие причины явления. У нас „исследование“ министра Плеве на месте не имело других результатов, кроме того, что чувствительный Бельгард получил отставку до такой степени неожиданную, что узнал об ней только из телеграммы своего заместителя кн. Урусова. Оболенский, наоборот, получил поощрение... Очевидно, „внезапное обострение аграрного вопроса“ привело высшую правительственную власть к одному только выводу: старое средство порка признается целесообразным и достаточным. Но пороть следует без излишней чувствительности...

Движение стихло так же быстро, как и возникло, как легко вспыхивающая и так же легко потухающая солома.

Все очевидцы показывали согласно, что при появлении военной силы — все покорялось, и награбленное возвращалось собственникам. Очевидно, порка не была средством усмирения, а являлась, скорее, прямым наказанием...

Среди бытовых эпизодов этого движения мне особенно запомнился следующий. Управляющий крупных Кочубеевских имений, разбросанных в нескольких губерниях, В. А. Муромцев, бывший петровец, человек умный, установивший с населением хорошие отношения и, главное, не потерявший головы и сохранивший полное спокойствие во время этих и последующих событий, рассказывал мне:

— Вы знаете, у нас кроме центральной экономии в Полтавской губернии, есть еще другие, находящиеся в заведывании отдельных управляющих. Одна из таких экономий находится в Екатеринославской губернии. Движение в этой губернии не достигло таких крупных размеров и таких резких форм. Оно лишь назревало, но не разыгралось прямыми беспорядками. Так случилось, между прочим, и в той экономии, о которой я говорю. Заведывал ею управляющий — швейцарец, давно прижившийся у нас, человек умный и справедливый. Мужики чувствовали, что он честно исполняет свои обязанности по отношению к владельцу, но не пользуется случаем прижать мужика, использовать его трудное положение, выжать лишнее. К нему относились поэтому хорошо.

Но вот и туда долетели слухи об „указе“. Брожение сказалось сразу же пред'явлением разных небывалых требований. Как яркий пример, рассказчик привел следующий эпизод. Является к нему старый пастух и пред'являет претензию на.. 18 пар сапогов. История этого требования такова: старик служит в экономии с незапамятных времен. В прежние годы он получал жалованье натурой: столько-то зерна, столько-то картофелю и... ежегодно „пара чобит“ от экономии... 18 лет назад, кажется, по инициативе этого же управляющего, жалованье натурой было переведено на деньги на условиях, выгодных для рабочих. Но теперь вдруг старый пастух нашел, что неполучение сапог ему обидно и что ему следует требовать все 18 пар...

Старик был человек солидный, добросовестный, его ценили в экономии, и он, в сущности, не мечтал ни о чем больше. Управляющий призвал его и стали „балакать“ с ним просто, по душе. Через короткое время старик махнул рукой. Оказалось, что он уступал общественному мнению: для чего-то нужно, чтобы мужики пред'являли как можно больше требований, и только тогда они „получат права“.

Однажды обширный экономический двор оказался заполненным окрестными мужиками. Вызвали управляющего и об'явили об указе: делить помещичью землю. — Я еще не получал такого указа — ответил тот. — Все равно, скоро получишь. Надо, чтобы к тому времени все было готово. Давай, считаем всю панскую землю. Она теперь будет наша.

Умный швейцарец не противился. Мужики за это решили допустить к разделу и его. Вынесли столы, разложили на них планы, стали считать. Впереди стояли „богатыри“, беднота жалась подальше. Все были потомки бывших крепостных и все проявляли огромный интерес к учету земли. Но как ни считали, припоминая каждый клнн и каждое урочище, оказывалось, что по разделу земли на всех очень мало. „Громаду“ охватывало раздумье и разочарование: от раздела одной помещичьей земли богаче не станешь. А в это время кто-то обратил внимание на одного из коноводов, деревенского богача, который стоял впереди и принимал в расчетах самое деятельное участие.

— Как же это? — сказал этот кто-то. — Вот тут людям не хватит и по пол'десятины. А у вас же, дядьку, своей земли сотни полторы десятин.

Заявление подействовало, как разорвавшаяся бомба... Поднялись пыльные

споры. Богачи доказывали, что они такие же внуки „крепаков“ и имеют поэтому право на долю в разделе. Беднота кричала о своей нужде. Закипела рознь, и вскоре экономический двор опустел... Так в том месте не было ни грабижки, ни усмирения. Как-будто деревня остановилась в раздумьи.

Этот рассказ часто вспоминался мне впоследствии, когда я думал о том, почему в 1905 году накипавшее было народное движение стихло, и еще так долго деревня поставляла правительству покорных депутатов, поддерживавших думский консерватизм. Деревня тогда еще не расслоилась. В ней первую роль играл еще по-прежнему деревенский богач, выступавший всюду ее официальным представителем. Он же нередко руководил и грабижкой. Но деревня уже почувала близкую рознь, назревавшую в ней, и — сама испугалась последствий.

Об этом, впрочем, мне придется говорить еще далее.

Суд и закон.

Разумеется, „грабижка“ было движение в высокой степени бессмысленное. Но ведь вопиющее бессмыслие было неразлучно с каждым шагом в этом больном вопросе русской жизни как со стороны массы, так и со стороны правящих классов.

Участников „грабижки“ пришлось предать суду, чтобы внушить массе идею о „карающем законе“. Но при этом самый закон оказался в очень затруднительном и двусмысленном положении. Одна из основных истин уголовной юстиции состоит в том, что никто не может нести дважды наказание за одно и то же преступление. А гг. губернаторы, предавая жесткой порке коленопреклонных крестьян, несомненно совершали действие, которое иначе, как наказанием назвать нельзя. Таким образом, суд, для „водворения идеи права“, должен был, прежде всего, перешагнуть через явное бесправие.

К сожалению, русский суд того времени не привык останавливаться перед такими „небольшими затруднениями“. Неудобство состояло лишь в том, что защита тотчас же принялась выяснять настоящий характер административных действий. Энергичные председатели стали останавливать защитников и лишать их слова. Тогда защитники отказались от защиты, заносили в протокол мотивы протеста и демонстративно оставляли зал заседаний, который таким образом становился ареной бурных и скандальных для правосудия эпизодов.

При таких условиях открывалась судебная сессия и в Полтаве. Мне лично пришлось при этом играть некоторую косвенную роль. Дело в том, что отголоски некоторой моей литературной известности проникли к тому времени в местную крестьянскую среду, хотя и в довольно своеобразном виде. Меня почему-то считали теперь адвокатом, и ко мне стали приходиться кучки крестьян, прося защиты. С другой стороны, кружок адвокатов как местных, так и столичных, организовав защиту на широких началах и зная, с каким интересом я отношусь к местным делам, счел удобным назначить мою квартиру местом для обсуждения вопросов, связанных с защитой. Было важно, чтобы крестьяне не попали к „ходатаям“, уже раскидывавшим свои сети, и то обстоятельство, что мужики направлялись массами ко мне, делало удобным мое посредничество.

Одним из первых на этом адвокатском совещании был поставлен вопрос — какой линии поведения держаться защите. Было известно, что общая инструкция председателям уже последовала, и на выяснение вопроса о характере „административных воздействий“ было наложено запрещение. Продолжать ли при этих условиях защиту каждого подсудимого по существу, или ограничиться общим протестом и демонстративным уходом защитников? Мнения разделились. В общем — столичная адвокатура в большинстве стояла за протест. Местные

адвокаты смотрели иначе... Возникли прения. При этом обратились и к моему мнению. Для меня не было ни малейшего сомнения, что огромное большинство подсудимых крестьян желает защиты по существу, и я сказал, что, на мой взгляд, желание самих подсудимых играет здесь решающую роль. Эта точка зрения была принята. После этого кое-кто из столичных адвокатов охладела к делу, а мне было предоставлено направлять мужиков, ищущих защиты, к представителям местного кружка защитников, который уже распределял клиентов между участниками.

В эти дни моя передняя, кухня и кабинет густо наполнялись мужиками. Интересуясь характером движения, я опрашивал их, записывал наиболее характерные эпизоды и давал записочки к Е. И. Спяльскому и другим местным адвокатам. Таким образом в Полтаве бурных сцен в суде не было. Защитники ограничивались протокольным протестом против стеснения судебного следствия, но защиту продолжали. Может быть это отразилось отчасти на смягчении судебного настроения, и приговоры получались сравнительно мягкие. Многие подсудимые были довольно неожиданно оправданы...

„Из-за чего вы хлопочете?“

После суда некоторые из крестьян, благодарные за оправдание, стали приходить ко мне с предложением вознаграждения. Сначала предлагали деньги. Когда я отказывался, то говорили:

— Може хочь мишок пшеници, або картофельки...

Когда я и от этого отказался,—это вызвало недоумение.

— Что ж у вас,—есть своя земелька на сели? Нема? Ну, може дом у гори? И того нема?.. Так чим же вы кормитесь? Из-за чего хлопочете?

— Я писатель... Пишу книги...

— Та чи ж можно этим кормиться? — спрашивали они с недоумением и недоверием.

Наученный горьким опытом деревенский житель плохо верит в бескорыстные услуги. Настойчивые расспросы их заставили и меня задуматься. Из-за чего я хлопочу в самом деле и действительно ли хлопочу бескорыстно? Почему, меня, интеллигентного городского человека, так занимает эта нелепая грабизка и участь ее виновников, что я трачу на них столько времени и настроения?

Я давно уже чувствовал некоторое нерасположение к обычным рассказам о бескорыстном „доброхотстве“ интеллигенции. В этих внушениях мужику и в его недоверии чувствовалось что-то унижительное. Теперь я попробовал поставить вопрос прямее и реальнее, в более понятной для моих собеседников форме.

Я взял с полки книжку „Русского Богатства“, показал на обложке свою фамилию, надпись „Цена 8 рублей“, объяснил, что такое журнал и что значит подписка. Потом показал свою книгу „В голодный год“ и на ней цену „1 рубль“... Таким образом я объяснил: „чем я кормлюсь“.

— Вот и о вашем деле в журналах и газетах уже написано. Люди верят, что мы пишем правду о том, что делается на свете, и покупают наши книжки. А мы, писатели, этим живем, и как видите, живем не хуже вашего.

Это сразу выяснило дело и вполне определило наши отношения. Несколько человек после этого стали посещать меня для беседы. Когда же они прочитали мой „Голодный год“, наши отношения приняли совершенно дружеский характер. Они поняли, чем я кормлюсь, и поняли также, что литература часто идет в пользу, а не во вред их интересам. Им стало до известной степени понятно также, из-за чего я хлопочу, почему нам, интеллигентным людям, нужна законность и свобода и почему мы возмущаемся произволом и насилием.

Им нужна — земля, нам нужна свобода... Мы стараемся доказать, что свобода нужна и им.

Помню особенно троих из тогдашних моих посетителей. Один был солидный мужик средних лет, сравнительно зажиточный, хотя и малоземельный. Два другие — деревенские пролетарии. Когда стена недоверия, отделявшая нас вначале, разрушилась, они рассказали мне много интересного. Прежде всего сообщили, что прислал их ко мне „панич“. — Какой панич? — Та помещик... — Которого вы грабили? — Адаже ж... Панич, ничего сказать, добрый... „Бижить каже швидче до городу, та спытайте такого-то человека“. Та виц, бачте, той панич, и сам студент...

Установилась взаимная откровенность. В первые дни знакомства, на мой вопрос, — читали ли они прокламации, мужики отвечали неизменно: „Та мы ж неграмотни“... Но теперь они цитировали чуть не страницы из книжечки „Дид Евмен“ (кажется так. Это был перевод старой брошюры 70-х годов „Хитрая Механика“). На мое замечание, — что „вот вы же мне говорили, что неграмотны“, — мужики хитро усмехнулись. — „Були таки, що прочитали нам“. Они соглашались, что грабижка была дело нелепое и не хорошее, но самый солидный из них сказал в заключение:

— Хай воно и так... Та бачте: як дытына не плаче, то и маты не баче...

Кто эта мать, которая должна услышать? Для многих это был попрежнему царь, и его внимание деревня надеялась привлечь своей вспышкой.

Но за царем теперь чулось для некоторых еще что-то... Рождалась идея о какой-то еще силе, смутно понимаемой, неопределенной, но уже зарисовавшейся на горизонте... Деревня стучалась в таинственную дверь в надежде, что ее услышит кто-то, грядущий в жизнь... Это был грозный симптом, но самодержавие „имело очи, еже не видети и уши, еже не слышати“. Меня тогда не поразило упорство, с каким эти крестьяне настаивали на необходимости „поровнять богатых и бедных“. Они соглашались, что это чрезвычайно трудно. Это им показала самая грабижка.

— И с грабижки богатый везет панское добро возами, а бедный тащится пешочком с мешочком... Но, все-таки, — упрямо заканчивали они, — пусть хоть Христос сойдет с неба, а поровнять нужно.

Они охотно выслушивали мои возражения. Мы как-будто понимали друг друга. В мое расположение к ним они теперь верили, понимали, в чем состоит наш интеллигентский интерес к свободе, и почему мы хотели бы видеть в них союзников для ее достижения. Я пытался выяснить, как, в общем, мы понимаем земельную реформу. Дело это трудное, требует напряжения всех государственных сил на почве свободы. В грабижке же мы им не союзники и, если я и адвокаты содействуем теперь их защите, то лишь потому, что возмущаемся незаконным насилием и стеснением свободы в обсуждении и постановке земельного вопроса.

Некоторое время они еще посещали меня, приходя для разговоров. Затем я уехал в Петербург, потом переменил квартиру и мы потеряли друг друга из виду...¹⁾

Постановления крестьянских съездов перед 1-й Думой.

Подшла японская война. Она была с самого начала чрезвычайно непопулярна в народе. Крестьянство признало бы такую войну, которая доставила бы новые земли для переселения. — А эту землю, если царь и завоюет, —

¹⁾ Следующая глава этюда В. Г. Короленко посвящена Толстому. Мы помещаем ее выше отдельно, в связи с другими рукописями В. Г. о Толстом.

говорили крестьяне, — то она нам не годится... Гора да камень. Наши хлеба там не растут, а что там растет, то для нас непригодно. Переселяться туда незачем. — Вдобавок война кончилась позорными неудачами.

После этого в России все усиливалось стихийное движение. Деятельность всех партий порвала рамки обычных стеснений. Либеральные земцы собирались открыто на съезды, за которые прежде арестовывали и ссылали. В 1905 году они послали к царю депутацию, которая прямо высказалась за необходимость конституционного порядка... Во многих местах России крестьянство глухо волновалось, а в Саратовской губернии движение приняло формы той самой „грабижки“, которая три года назад происходила в Харьковской и Полтавской губерниях... Нападали на помещичьи усадьбы, грабили, жгли, кое-где убивали. Правительство, видимо, терялось. Несчастный царь, который назвал, в начале царствования „бессмысленными мечтаниями“ самые скромные просьбы земцев, — теперь принял милостиво депутацию с смелыми заявлениями кн. Трубецкого о необходимости конституции... Над этим глубоко-несчастливым человеком уже тяготела судьба: его и тогда называли „последним Романовым“. Он постоянно колебался, прислушивался к советам то справа, то слева, не зная, что делать. Самым способным из его помощников был Витте, человек совершенно беспринципный, еще недавно советовавший царю сократить земские учреждения, как несогласные с исконным строем русского государства. Но и Витте в это время был в опале по каким-то мелким придворным интригам. Другие министры были совершенные ничтожества.

В августе 1905 года были изданы на имя министра вн. дел Булыгина два манифеста. В одном царь звал все общество и народ на борьбу с крамолой... Указ был написан точно рукой покойного Победоносцева и весь был проникнут духом мрачной реакции. Но одновременно, чуть ли не в тот же день (6 августа), последовал другой указ, в котором царь приказывал созвать представителей от всех сословий для совещания.

Это была жалкая полумера: представители призывались только с совещательным голосом. Они могли советовать, царь и министры могли не слушать советов. Это была явная уловка погибающего строя, имевшего целью выиграть время и собраться с силами, чтобы подавить движение. Все слои русского общества отнеслись совершенно отрицательно к этому манифесту, и движение продолжало расти.

Тогда последовал манифест 17 октября, которым самодержавие сдавало свои позиции: народ призывался не только для совещания, но и для законодательства.

Как отнестись к этой новой уступке? Отвернуться и от нее или готовиться к выборам. Мнения разделились. Часть крайних левых партий решили „бойкотировать Думу“. Я лично с этим не мог согласиться. Я чувствовал, что наш народ, особенно крестьянство, еще далеко не разбирается в основах выборного закона, не сможет поставить сознательных политических требований и пойдет на выборы уже из простой привычки повиноваться. Кроме того, я думал, как думало большинство общественных деятелей, что народу нужна еще политическая школа, и в этом смысле Дума будет очень полезна. Вопрос лишь в том, чтобы в нее вошло как можно больше сознательных элементов.

Мы с моими полтавскими друзьями употребляли все усилия, чтобы по возможности разъяснить народу значение манифеста, как ограничение произвола не только чиновничьего, но даже и царского. Народная масса даже в городах была глубоко темна в политическом отношении. При публичных выступлениях нам, в том числе и мне лично, кричали из толпы: „а зачем вы срываете манифест“. Дело в том, что многие губернаторы были до такой степени ошеломлены объявлением конституции, что не решились сразу опубликовать указ. Так было и в Полтаве. Опубликование манифеста запоздало дня на три, и толпа

приписывала это всем интеллигентным людям безразлично. Для нее все образованное общество казалось просто царскими чиновниками, старающимися скрыть милостивую царскую волю. Ходили также чудовищные слухи, что все это чей-то обман, что это «жиды хотят выбрать своего царя», что губернатором у нас тоже будет еврей и т. д.

Деревня разбиралась еще хуже. От нее и от городских предместий надвигалось, как туча, настроение дикого и бессмысленного погрома. Еврейские погромы уже вспыхнули кое-где в губернии, особенно в Кременчуге... К городским громилам всюду присоединялись окрестные деревни. Крестьяне приезжали на возах и увозили награбленное в деревню...

Таким образом, темному народу приходилось еще раз'яснять, что свобода грабежа это не та свобода, которая нужна России.

Наш Полтавский кружок старался раз'яснить сущность происшедшего переворота. Мы выступали на митингах, выпускали от газеты воззвания, я написал ряд „писем к жителям окраины“, где старался в понятной форме раз'яснить новые права, их недостатки и достоинства, а также законные способы добиваться расширения этих прав. Эти письма были переизданы в некоторых губерниях и распространялись также среди крестьян. Мы объезжали и соседние села и мне доводилось говорить на сходах все в том же смысле. Всюду наши раз'яснения встречались с полным удовлетворением. Крестьяне легко усваивали при об'яснении общие основы конституционного права, и то, как законодательная Дума может разрешить земельный вопрос. При помощи железнодорожных рабочих, сильно затронутых социал-демократической пропагандой, удалось потушить погромное настроение и в Полтаве и в прилегающих деревнях. Народ спокойно подходил к выборам.

Между прочим, „Полтавщина“ расхваливавшаяся в довольно значительном количестве, стремилась ознакомить население с программами разных партий. Кроме программы партии народной свободы (к. д.), в ней были напечатаны также программы социал-демократов (с. д.) и социалистов-революционеров (с. р.). Однажды в редакцию явилась группа крестьян, с просьбой напечатать постановление одного сельского схода, в котором излагались взгляды крестьян на земельный вопрос.

Тут говорилось о необходимости распределить между малоземельными крестьянами земли духовные, казенные, монастырские и помещичьи...

„Полтавщина“ была, кажется, еще первая легальная газета, в которой полностью были напечатаны такие постановления крестьян. Земельный вопрос уже обсуждался на партийных с'ездах, кадеты уже разрабатывали программу в этом смысле. Не было, конечно, никакой причины не дать места этому голосу крестьянства, которое скоро должно послать депутатов в Думу.

Появление в газете первого такого постановления произвело на многих впечатление какой-то бомбы. Движение, уже назревшее в массе, выходило наружу. Постановление горячо обсуждалось на других сходах, и вскоре в редакцию стали поступать приговоры других крестьянских обществ. Ко мне на квартиру стали приходить селяне, как в 1902 году. Один раз пришли двое уполномоченных одного крестьянского общества с просьбой: они были вполне довольны редакцией напечатанного постановления, но не знали, как выразить то, что им было нужно. В моей столовой собралось в этот день 15 или 20 крестьян из разных мест, и все сообща стали обсуждать постановление пункт за пунктом. Я считал, что это именно и требуется. Пусть то, что уже пустило глубокие корни в умах крестьян, найдет свое гласное выражение. Пусть обсуждается на местах и крестьянами, и другими компетентными людьми. Это может принести только пользу. Вот уже первый напечатанный наказ вызывает критику в другом сельском обществе. Мысль начинает работать.

Помню, между прочим, как горячо обсуждался вопрос о воспрещении

наемного труда, подсказанный, вероятно, кем-нибудь из эс-эров. Земля будет отдана только тем, кто сам на ней трудится. Поэтому наемный труд должен быть воспрещен.

Один из присутствующих крестьян стал горячо возражать. Он вот уже третий год служит в городе в кучерах именно затем, чтобы поддержать падающее хозяйство. Он только и мечтает вернуться опять в деревню, где у него пока хозяйничает жена с наемным рабочим. Если этого нельзя, то как же ему быть. Нужно просить особого разрешения. А если нанять приходится не надолго. Если хозяин внезапно заболел или отлучился. Если брат помогает брату или товарищ товарищу. Если своя работа сделана, а время остается и хочется приработать. Просить каждый раз разрешения. Если у меня на земле работает чужой, то будут у него спрашивать бумагу.

— А то ж не дай, Господи! — выразительно закончил один из собеседников.

Когда, впоследствии, мне приходилось передать эти разговоры моим знакомым столичным эс-эрам то они удивлялись: о чем тут разговаривать. Конечно, наемный труд нужно воспретить. У всех будет в изобилии своя земля. Значит, некому наниматься. А так как земля будет наделена всем по трудовой норме, то некому и нанимать. Дело так ясно. Все желающие трудиться, получают немедленно право на землю. Рабочий, которого нужда погнала из деревни в отхожие промыслы, давно отбившийся от земли крестьянин, интеллигент, мечтающий о праведной жизни трудами рук своих, — все идут в обновленную деревню, и все устраиваются на свободной земле. Для осуществления этого земного рая нужно, конечно, многое создать и многое уничтожить. Нужно, кроме земли, чтобы у всех желающих было уменье, инвентарь, орудие... Нужен кредит, нужны известные формы взаимной помощи. Но создать это долго и трудно. Воспретить настоящую несправедливость гораздо легче, чем создать будущую справедливость. Поэтому-то многое так скоро разрушается и так долго на месте разрушенного зияет мертвая пустота.

Собравшиеся у меня в тот день крестьяне почувствовали эту разницу между создать и разрушить, и мы долго бились над редакцией разных пунктов. Редактировать пришлось мне, и я помню, с каким чрезвычайным вниманием мои собеседники обдумывали значение каждого слова.

Помню также, как обсуждался вопрос о выкупе или безвозмездном отчуждении. Первое побуждение крестьян в этом вопросе — „конечно, без выкупа“. Выкуп этот значит новые выкупные платежи и их взыскания... Вопрос—за что. За то, что паны когда-то владели людьми, продавали их на базар, как скотину, проигрывали их в карты... Какой там выкуп.

Но тут же являлись сомнения. Вся ли земля находится теперь в руках бывших рабовладельцев или их потомков. Сколько ее куплено и перекуплено людьми „на свои деньги“. Как быть с такою землею. О том, чтобы уничтожить самое значение денежного капитала, — тогда еще не было и речи. Все мыслили себя в том же денежно-хозяйственном строе и полагали, что в нем и останутся. Попрежнему будут покупать и продавать. Попрежнему будут стараться о собственном хозяйстве для себя и семьи, попрежнему, может быть, будут богатеть. Так почему же деньги, которые человек затратил на землю, должны пропасть, а деньги, затраченные на дом в городе—сохраняют силу...

Никто еще тогда не думал о полном устранении капиталистического строя во всех областях жизни...

Тогда это еще не было в ближайших проектах даже крайних партий. Вспоминается мне по этому поводу следующий характерный эпизод. В 1905 году съехались в Петербург журналисты со всей России, чтобы обсудить сообщаемое положение печати, а также наметить главные линии, которых следует держаться передовой журналистике. Говорили, между прочим, и о земельном вопросе. Что

землю надо экспроприровать в крупных размерах для наделения крестьянства—это было общее мнение. Но с выкупом или без выкупа. Один молодой одесский журналист горячо стоял за отчуждение без всякого выкупа. Он много говорил и о Екатерине, раздававшей землю своим любовникам, и о тех временах, когда людей проигрывали в карты и т. д. Во время довольно горячих прений кто-то сказал о том, что безвозмездная экспроприация не даст много народу. Огромное большинство земель, особенно дворянских, заложено в банках. Как же быть с земельной задолженностью. Тут горячий защитник безвозмездного отчуждения вскопчил, точно его подняло пружиной: «Держатели земельных бумаг должны быть обеспечены». В зале раздался смех. Этот молодой человек служил в одном из одесских банков, и ему ясно представилась невозможность одним росчерком пера уничтожить задолженность земли, которая, по большей части, распределена в иностранных банках... Для всех было ясно, что нет оснований уничтожать значение капитала в одной только области, оставляя его во всех других.

Задумывались над этим и крестьяне, с которыми мы толковали тогда в моей гостиной. Но... в них были слишком сильные воспоминания крепостного права. Оно давно миновало, но несправедливые и пережившие свое время дворянские привилегии не давали заглухнуть позорной памяти рабства. Сельско-хозяйственная перепись 1916 года показала, что в 44 губерниях европейской России из каждых 100 десятин посева 89 десятин было посево крестьянских и только 7 помещичьих, а из каждых 100 лошадей, работавших в сельском хозяйстве, 93 были крестьянских и только 7 помещичьих. Таким образом, экспроприация с выкупом или безвозмездная одних помещичьих земель имеет очень маловажное значение. Это крестьянство начинало понимать, как мы видели, еще во время «грабизки», но тогда еще серьезно не заходила речь об общем «равнении». Поэтому вопрос о покупке земли еще оставался мнотих.

— Ну, что ж,—решил один из крестьян во время нашей беседы,—кто купил землю за деньги, тот уж давно окупил свою затрату». Другой вдумчиво покачал головой. Многие купили землю совсем недавно. А потому, если забирать имущество, которое вернуло первоначальные затраты,—то много ли придется оставить даже мелких владений...

Я считал тогда и считал теперь, что то, что происходило в то время в небольшой приемной моей квартиры и в редакции «Полтавщина», было в маленьком виде то самое дело, которое должно было делать по всей России. Первая дума среди остальных вопросов, поставить один из важнейших вопросов—о земле. Было известно, что кадеты уже разработали свою земельную программу. Скоро она станет предметом всенародного обсуждения, страстных споров и поправок. Пусть же вопрос станет предметом общего и гласного обсуждения на местах, пусть шаг за шагом непосредственный максимализм массы и подуманный максимализм интеллигенции начнут в этих спорах перешрапляться в жизненно исполнимые государственные формы...

Но у нас не было еще привычек в использовании свободой. Появление в газете крестьянских постановлений произвело такое впечатление, точно это был призыв к немедленным захватам и поджогам. Мне говорили, что даже такой почтенный старый земец, как покойный Квитка, был этим напуган до такой степени, что во время проезда через Полтаву одного из ревизирующих флигель-адъютантов (помнится Палтелеева) высказал в совещании категорическое мнение, что спокойствие в нашей местности не может быть восстановлено до тех пор, пока «Полтавщина» не будет закрыта...

К этому присоединились другие события... Высшие власти не понимали, какие обязанности налагает на них новый порядок. Царь не хотел даже

отказались от самого титула и его всюду на ехтениях провозглашали «самодержавнейшим», а местные власти хватали направо и налево, хватали людей, разъяснявших населению «новые права». Из-за этого в большом местечке Со-гсчинцах произошло волнение: население, возбужденное агитацией проезжего оратора, арестовало полицейских, а затем произошло столкновение, во время которого был случайно убит местный пристав с одной стороны и несколько десятков крестьян с другой. Тогда на местечко налетел член губ. совета Филонов во главе отряда казаков и хотя население само было удручено последствием вешышки и встретило отряд с полной покорностью, — он произвел возмутительную расправу: поставил многотысячную толпу на колени в снег, держал ее таким образом более 4-х часов в декабрьский мороз, при чем по его приказу производили избивание на крыльце волостного правления отдельных лиц и над коленопреклонной толпой свистели нагайки... Я огласил все это в газетах, требуя суда над незаконной расправой. Моя статья была перепечатана многими изданиями, но... мне пришлось уехать из города, а «Подтащина» была закрыта.

Земельный вопрос поставлен в 1-й Думе М. Я. Герценштейном.

Я уже говорил выше о тех разногласиях, которые вызвал манифест 17 октября среди левых партий. Идти ли в думу или бойкотировать ее, продолжая раздувать революционное пламя.

В конце-концов проповедь бойкота не имела успеха и повела только к тому, что из всех прогрессивных партий первенствующее место в 1-й Думе заняла «партия народной свободы» или конституционно-демократическая партия (кратко называвшаяся — кадетами).

Она составила из той части свободолюбивой и благожелательной к народу интеллигенции, которая слалась давно из тех слоев просвещенного общества, которое было недовольно остановкой реформ со второй половины царствования Александра II-го. Целыми десятилетиями слатались ее идеи, получившие выражение в передовой журналистике, в ученых трудах, на университетских кафедрах и в ученых обществах.

Была одна существенная черта, отделявшая общее настроение этой партии от других, более крайних левых партий. Искренне стремясь к политической свободе и признавая необходимость значительных экономических реформ в разных областях жизни, — кадеты дальше стояли от народных масс и по своему социальному положению, и по своему настроению. Их оппозиция старому строю была в общем спокойнее. Они меньше чувствовали, меньше представляли себе то настроение глухого отчаяния, которое накопало в рабочей и крестьянской массе даже в то время, когда крестьянство было вполне «верноподданным». Более крайние партии ощущали это живее. Они, хотя и по иному, но тоже тяжело страдали от гнета и преследований царского режима, и в них кипела та же ненависть к «справящим слоям», какая накопилась в народных массах. Это чувство их объединяло. Об'единял и самый максимализм их стремлений. Социалисты-революционеры мечтали о немедленном переходе к новому земельному строю. Им казалось возможным достигнуть всего сразу. Многим социал-демократам тоже казался слишком легким переход к социалистическому строю в промышленности. Поэтому социалисты-революционеры находили более легкую почву для своей пропаганды среди крестьян, социал-демократы — среди рабочих. Кадеты не имели прямой опоры в массах.

Впрочем, было одно время, когда казалось, что кадетская партия может стать руководительницей широкого, почти общенародного движения. Это было тогда, когда в думе обсуждались проекты земельной реформы.

Ее взгляды на земельный вопрос опирались на обстоятельные знания и на работы знакоков земельного вопроса в России. Они сводились к следующим главным положениям. Наше крестьянство давно страдает от малоземелья. Необходимо увеличить площадь его землепользования и приступить к этому немедленно законодательным путем. На этот предмет должны быть обращены земли государственные, удельные, кабинетские, монастырские и крупные частновладельческие, отчуждаемые в нужных для этого размерах. Отчуждение производится с вознаграждением владельцев, за счет государства и по справедливой, а не рыночной цене, которая искусственно поднята крестьянским малоземельем. Все эти земли поступают в особый государственный фонд для наделения малоземельных или безземельных крестьян, и передаются нуждающемуся земледельческому населению на началах, сообразованных с особенностями земледелия и землепользования, привычного в различных местностях России¹⁾.

Эти общие основания были затем разработаны подробнее и частично изменены на трех партийных съездах. Многие члены кадетской партии склонялись даже к полной национализации земли²⁾, но основной чертой большинства кадетской партии являлось стремление исходить от существующего, «избегая, по возможности, провозглашения общих начал и отдаленных целей». Все соглашались, что государство должно стать верховным распорядителем земельной собственности и распоряжаться ею в интересах трудящегося населения. Но кадеты избегали крупной ломки бытовых привычек, приспособляя реформу и к общинным порядкам там, где существует община, и к подворному владению, где оно более привычно для населения.

Более левые партии имели в виду скорее отдаленное будущее и идеальные решения. Кадетский законопроект явился первой законодательно разработанной попыткой решения земельного вопроса, и крестьянское представительство первой думы в большинстве оказалось на его стороне.

Понятно, какой огромный интерес и какие взрывы страстей вспыхивали в думской зале всякий раз, когда на очередь ставился этот вопрос. Представители правительства решительно выступали против, а так называемые «зубры», т.-е. представители консервативного дворянства, доходили до прямого неистовства. Этому особенно способствовало то обстоятельство, что в центре разработки и защиты кадетского проекта стоял проф. Михаил Яковлевич Герценштейн.

Я хорошо знал этого интересного человека. Ученый финансист по специальности, он давно готовился к кафедре, и Московский Университет предложил ему приват-доцентуру тотчас по окончании им курса. Но правительство упорно не допускало его к кафедре. Он был еврей по происхождению и притом «неблагонадежный в политическом отношении»; по этим двум причинам кафедра была для него закрыта вплоть до 1905 года. Он писал по своей специальности, а для заработка поступил в один из частных банков. Это дало возможность приглядеться к самой черной практике того самого дела, которое он до тех пор изучал теоретически. Он превосходно ознакомился с закулисной стороной земельной и банковской политики, которую вело тогдашнее министерство финансов, вынужденное считаться с взглядами монархов и с безграничными претензиями крупного дворянства.

Это последнее обстоятельство придавало его речам в думе совершенно исключительный вес и значение. Его противники сразу почувствовали в нем

¹⁾ Н. Н. Черленков. Аграрная программа партии нар. свободы и ее последующая разработка. Бесплатное приложение к «Вестнику нар. свободы» за 1917 г.

²⁾ См. Г. Ф. Шершеневич—«Аграрный вопрос».

человека, отлично понимавшего все детали финансово-земельной политики самодержавия, все возжелания «первенствующего сословия» и казенное пошустительство этим возжеланиям за счет всего народа. Поэтому, каждый раз, когда он появлялся на думской кафедре—думскую залу охватывало вихрем особое оживление. Упрека в теоретичности этому теоретику сделать было невозможно. С иронической улыбкой на необыкновенно тонком и умном лице, он умел показать, что «практика» известна ему не хуже, а, может быть, даже лучше, чем его противникам. И эта ироническая манера вызывала среди «зубров» взрывы настоящего бешенства. Крестьянские депутаты, наоборот, сразу призывали в нем своего руководителя и союзника. Каждый раз, когда, под гром аплодисментов правых, сходил с кафедры кто-нибудь из министров или какой-нибудь правый депутат, возражавший против «принудительного отчуждения»,—крестьяне принимались кричать:—Герценштейн, Герценштейн...

Это значило, что очередь речей должна быть нарушена, и кто-нибудь из ораторов левой стороны уступал свое слово Герценштейну. На кафедре появлялось тихичное худощавое лицо с торчащими вразь ушами и с одухотворенными тонкими чертами. На губах Герценштейна играла неизменная ироническая улыбка, и выразительные светлые глаза твердо и насмешливо смотрели сквозь золотые очки.

Кругом кафедры начинался точно морской прибой. «Зубры» потрясали кулаками и ругались, порой даже не только не парламентски, но и непечатливо. На левой стороне, особенно среди крестьян, раздавался радостный смех и крики одобрения.....

Помню одно из таких заседаний, имевшее для Герценштейна роковое значение. На очереди опять стоял земельный вопрос. Опять крестьяне кричали: «Герценштейн, Герценштейн» и опять на взволнованную толпу депутатов с кафедры взглянули, сквозь золотые очки, умные глаза ученого-практика.

Он доказывал неизбежность и разумность коренной земельной реформы в интересах большинства народа, в интересах процветания государства, в интересах, наконец, того самого «успокоения», о котором так много говорится и с правых, и с министерских скамей...

— Неужели, господам дворянам,—прибавил он все с тою-же тонкой улыбкой,—более нравится то стихийное, что уже с такой силой прорывается повсюду... Неужели планомерной и необходимой государственной реформе вы предпочитаете те иллюминации, которые Вам устраивают в виде поджогов ваших скирд и усадеб. Не лучше ли разрешить, наконец, в государственном смысле этот больной и нескончаемый вопрос...

Это была только горькая правда. Я в тот год летом жил в своей деревенской усадьбе и отлично помню, как каждый вечер с горки, на которой стоит моя дача, кругом, по всему горизонту, виднелись огненные столбы... Одни ближе и ярче, другие дальше и чуть заметные,—столбы эти вспыхивали, подымались к почному небу, стояли некоторое время на горизонте, потом начинали таять, тихо угасали, а в разных местах, далеко или близко, в таком же многозначительном безмолвии подымались другие. Одни разгорались быстрее и быстрее угасали. Это означало, что горят скирды или стога... Другие вспыхивали не сразу и держались дольше. Это, значит, загорались строения... Каждая ночь неизменно несла за собой «иллюминацию». И было, поэтому, совершенно естественно со стороны Герценштейна, противопоставить государственную земельную реформу, хотя она и разрушала фикцию о «первенствующем сословии», этим ночным факелам, так мрачно освещавшим истинное положение земельного вопроса...

Да, это была правда. Но, во-первых, она была слишком горька, а во-вторых, это говорил Герценштейн, человек с тихично еврейским лицом и насмеш-

ливой манерой. Трудно представить себе ту бурю гнева, которая разразилась при этих словах на правых скамьях. Слышался буквально какой-то рев. Над головами подымались сжатые кулаки, прорывались ругательства, к ораторам выдвигались с угрозами, между тем как на левой стороне ему аплодировали крестьяне, представители рабочих, интеллигенция и представители прогрессивного земского дворянства. А Герценштейн продолжал смотреть на эту бурю с высоты кафедры с улыбкой ученого, наблюдающего любопытное явление из области, подлежащей его изучению...

Но он не оценил достаточно силу этого бессилия. Я знал и любил этого человека, и мне, при виде этого кипения лично задетых им чувств и интересов, становилось жутко. Ретроградные газеты пустили тотчас же клевету, будто Герценштейн советовал крестьянам «почаще устраивать помещикам иллюминации», и эта клевета долго связывалась с именем Герценштейна.

Первая дума была распущена. Она серьезно хотела настоящего ограничения самодержавия, во 1-х и во 2-х она стремилась к действительному решению земельного вопроса. А самодержавию показалось, что оно может ограничиться одной видимостью, без сущности конституционного правления и без земельной реформы. Кадеты решили после роспуска прибегнуть к английской форме общенародного протеста, и в Выборге они выпустили воззвание об отказе от уплаты податей и исполнения повинностей. Народ не шелхнулся.

Герценштейн тоже был в Выборге и подписал выборгское воззвание. Не успел он еще уехать из Финляндии, как на берегу моря, во время мирной прогулки с семьей, его поразила пуля наемного убийцы. Пройдя через его грудь, пуля застряла затем в плече его маленькой дочери.

Правительство покрыло это убийство беззаконием, и главные его вдохновители остались безнаказанными.

Через два года после трагической смерти Герценштейна мне пришлось ехать по дороге к Троице-Сергиевской лавре. Дорога эта особенная. Особенности вагоны, особенная публика. Чудится, будто даже воздух в этих вагонах пропах ладаном. На одной из близких к монастырю станций я вышел, чтобы ехать к сестре, жившей тогда на даче под Троицей. Дача эта—небольшой домик в лесу,—принадлежала покойному Герценштейну. Когда я назвал это место, мой возница, местный крестьянин тоже с каким-то подмонастырским отпечатком, тотчас же заговорил о Герценштейне. Оказалось, что это имя здесь очень популярно и упоминается с благодарностью. Герценштейн обычно жил в Москве и часто наезжал сюда. Помимо хороших личных отношений,—местное население знало его работу в думе.

— Знали, подлецы, кого убивали,—говорил этот крестьянин.—Даром, что родом был еврей, а о православном народе вот как старался.

Такие отзывы можно было слышать и в других местах. Тогда кадетская программа земельной реформы могла еще рассчитывать на сочувствие широких кругов крестьянства. Трудно представить себе, что было бы, если бы в то время указания народных представителей были приняты и в промежуток между первой думой и великой европейской войной—реформа в течении десятка лет уже проводилась в жизнь и давняя мечта о земле начала осуществляться...

— Но—«правительства гибнут от лжи»,—сказал когда-то английский историк Карлейль. А русская конституция с самого начала была ложным обещанием самодержавия.

Впечатление крестьянских выборов.

Итак, первая дума совершенно обманула наивные ожидания самодержавия, рассчитывавшего отделаться одними обещаниями. При этом она особенно рассчитывала на крестьян и на царившую когда-то среди них царскую легенду... Но и представители крестьян пошли за кадетами, рукоплескали обличительным речам левых депутатов, во время прений по земельному вопросу кричали: «Герценштейн, Герценштейн». Поэтому, после роспуска 1-й думы, выборный закон был изменен, а крестьянское представительство сильно сокращено.

В первых выборах я участия не принимал, так как был в это время под судом по литературному делу. Ко времени выборов во 2-ую думу дело это закончилось амнистией, и я получил выборные права. Мне пришлось осуществлять их в г. Полтаве и в Миргородском уезде, где у меня есть усадьба.

С большим интересом я отправился сначала в большое село Шыпак, где должны были состояться сельские выборы. Впечатление было неопределенное и смутное. Прежде всего, руководство выборами не только формально, но и по существу находилось в руках земского начальника и администрации. Привычка к слепому повиновению была еще слишком сильна в сельском населении. Средняя крестьянская масса уже охотно слушала оппозиционные речи, но влиятельных оппозиционных групп в деревне почти не было и действовали они не открыто.

Мои местные знакомые сначала были уверены в успехе: черная сотня и кулачное дворянство будут побиты. Но уже в зале волостного правления эти надежды рассеялись. Когда один из моих знакомых обратился к одному выборщику, на сознательность которого рассчитывал, — «неужели вы подадите голос за такого-то» — тот ответил простодушно:

— Нельзя иначе. За него очень стоит начальство...

Скоро к этому человеку подошел земский начальник и стал давать ему какие-то наставления. И распоряжения земского начальника исполнялись просто в силу привычки повиноваться.

Присматриваясь к выборной публике, я заметил на скамье в углу седого старика очень почтенного вида. На лице его было выражение какой-то торжественной грусти. Я подошел к нему и стал спрашивать, что он думает о происходящем. Он не был из богачей, а только рядовой крестьянин, но о происходящем думал только печальные думы. Прежде было так: люди знали, что надо верить в Бога и повиноваться царю... А теперь...

Он скорбно махнул рукой. К нам присоединилось еще два-три таких старика и полились такие-же речи. Я чувствовал, что настроение этих стариков непосредственно, искренно и твердо. Новое казалось еще неустоявшимся и смутным.

Во время самых выборов, когда стали вызывать к ящикам, была выкрикнута еврейская фамилия... Я почувствовал, что кто-то толкнул меня в бок. Рядом со мной стоял молодой крестьянин, высокий, худой, крепкий, но видимо сложившийся под тяжестью тяжелого труда с самого детства. Это был казак-хуторянин, представитель самой богатой, но и самой консервативной части населения. На его рябом лице маленькие живые глазки сверкали раздражением, любопытством и почти испугом.

— Жид... Ей Богу, жид. Да разве и ему можно.

Я объяснил, что никто из полноправных обывателей не лишен избирательных прав. Он слушал с недоверием и изумлением. Потом он отошел от меня и стал толкаться среди народа, тыча пальцем в еврея и в меня. И я видел, что его чувства находят отклик среди других. Я невольно думал, — что

могут дать выборы, где еще столько непонимания, темноты и слепого повиновения.

И действительно, результаты их были неопределенны. Прошли несколько «сознательных», но наряду с ними прошли еще больше ставленников земского начальника. И наверно, за тех и за других часто голосовали одни и те же люди.

Выборщики стали съезжаться в Полтаву. Предзнаменования для прогрессивных партий были плохие, и нам казалось сначала, что выборы будут сплошь черносотенными. Через некоторое время выяснилось, что надежда у нас есть. Между прочим, из Лохвицы приехала тесно сплоченная группа передовых земцев и довольно малосознательных крестьян, настроенных прогрессивно. Ядро у нас составили кадеты, но к ним же примыкали и социал-демократы. Социал-демократы были настроены против кадетов, лохвичане — против социал-демократов, но только блок мог спасти прогрессивную партию. Поневоле пришлось идти на компромисс. От крестьян был, между прочим, выборщиком харьковский студент Поддубный, исключенный из университета и более тогда занимавшийся в своей деревне сельским хозяйством. Это давало ему тогда выборные права. Он принадлежал к социал-демократической партии, и лохвичане, наконец, согласились отдать ему голоса, не как социал-демократу, а как крестьянину. А за то социал-демократы согласились голосовать за наш список.

Еще более трудностей предстояло нам с выборщиками-крестьянами. В их психологии была особенная черта. Перспектива быть выбранному самому, связанный с этим почет и особенно депутатское жалование в три тысячи — оказывали на них неотразимое обаяние. И вот, почти каждый из них явился на выборы с тайной надеждой лично попасть в депутаты. С мечтой о депутатстве каждый расставался трудно и со вздохами и нам стоило больших усилий добиться сокращения списка. Нам много содействовали в этом социалист-крестьянин и один очень хороший священник. В конце-концов соглашение достигнуто, список сокращен и тогда оказалось, что, если мы выдержим это соглашение, то большинство за нами обеспечено.

Тогда администрация пошла на крайнее средство. В самый день выборов комиссия собралась чуть не в 6 час. утра, и — еще несколько наших выборщиков были устранены, в том числе студент и священник. Последнего призвал к себе тогдашний архиерей и потребовал, чтобы он немедленно уезжал в приход. Священник со слезами рассказывал нам об этом, но у него была большая семья, он боялся лишиться прихода и повиновался.

Это были ходы явно незаконные. Устраняемые не имели времени для обжалования, но удар был рассчитан мелко. Наш блок, заключенный с таким трудом, сразу рассыпался: крестьяне не выдержали. Наивные личные вожделения выступили вперед, покрыв общее дело. Почтенные селяне-выборщики разбились на кучки и стали шептаться: «ты выбирай меня, я стану выбирать тебя»... При вызовах к урнам почти никто из них не отказывался. Получали смешное число голосов, порой вызывающее злорадный смех противников, но все-таки угрюмо, безнадежно, со стыдом шли на баллотировку и проваливались. Соблазн был слишком велик, сознание общих интересов слишком ничтожно.

Другая сторона, наоборот, сплотилась образцово. Администрация употребила все свое влияние на массы, и это влияние было еще очень значительно. Когда выборщики отправлялись в город, то кое-где священники приводили их к присяге, что они будут непременно баллотировать за принятый список. В городе старались поместить их на особых квартирах, куда ежедневно доставлялась им местная черносотенная газета, не останавливавшаяся ни перед

какой клеветой, чтобы очернить кандидатов прогрессивного блока. Кое-кто из этих выборщиков, приехав в город, уже спохватился, что попал он в ненадежную для крестьянства компанию...

— Я уж вижу и сам, — отвечал один такой выборщик моему знакомому на его убеждения. — Та ба. Присяга, ничего не поделаешь.

В первый же день мы провалились. Заметное число голосов получил только я и Г. Е. Старицкий. Поражение нашего блока было очевидное и самое жалкое. И его причиной была измена наших крестьянских выборщиков.

Деревня посылает черносотенных депутатов.

Под конец этого первого выборного дня я сидел в отдаленном конце дворянского собрания, где происходили выборы. Мысли мои были печальны. На наших собраниях мы тщательно разъясняли крестьянам, что только поддерживая прогрессивные партии, они могут рассчитывать на земельную реформу. Но масса была еще темна и так узко своекорыстна, что даже очевидный общий интерес не мог сплотить ее.

В это время рядом со мной сел один из выборщиков другой стороны. Это был человек деревенский, коренастая фигура, одетая в городской костюм, широчайшую черную пару, очевидно только для парада. Мне показалось, что он с каким-то своеобразным участием посмотрел на меня и заговорил о погоде и о необходимости скорее кончить выборы. Это был, очевидно, хлебобор из того зажиточного деревенского слоя, который еще так недавно имел влияние в деревне. К нему вскоре подсел другой, такого же типа, только попроще: на нем был уже прямо деревенский костюм. Я подумал, что именно люди этого типа, может быть, стояли во главе противопомещичьего движения. Теперь они придали силу блоку правых дворян и черной сотни (у нас октябристы и крайние консерваторы выступали вместе).

— Вот, это господин Короленко..... тот самый, что пишет, — сказал тот, что подсел ко мне первый.

— Знаю, — сказал второй, кланяясь и подавая мне руку.

— Что же именно вы знаете, — сказал я, улыбаясь и думая, что они знают меня по местной репутации. — Не то ли, что я учу крестьян поджигать помещичьи скирды и резать ноги экономической скотине.

— Нет.... Этого мы не знаем.....

— Это каждый день пишут для вас в «Вестнике».

— Ну, это брехня... Мало ли, что пишут. — Мы читали другое, — сказал первый.

Они были знакомы с моими статьями в «Полтавщине», с брошюрой «Сорочинская трагедия» и с «Письмами к жителям городской окраины». К моему удивлению, к моей литературной деятельности они относились с сочувствием.

— Почему же вы теперь голосуете с черной сотней, — спросил я.

По лицу первого моего собеседника прошла как-будто тень. Я узнал впоследствии, что его дети учатся в гимназиях и высших учебных заведениях и теперь, быть может, от этой своей молодежи он слышит тот же вопрос.

— Надоело уже, сказал он угрюмо.

— То-то вот и оно, — подхвалил второй. — что надокучило. Грабежи пошли, разбойство... Дед у деда суму рад вырвать. Если это такие новые права, — то Бог с ними.

— Да, — сказал другой. — Грабежи пошли, разбойство... Проклянешься ночью и слушаешь: может, какой добрый сосед уже клюно поднимает. — Потому г-н Короленко, — возьмите то: кричат, поровнять землю. А вы знаете, как вному земля досталась. Мы же помещичьи дети, не богатое наследство

получили от батьков... Каждый клочок земли отцы и деды горбом доставали. И дети тоже с ранних лет не доспят, не доедят... Все в работе. Одна зоря в поле тонит, с другой возвращаются... А теперь кричат: поровнять. Отдай трудовую землю какому-нибудь лентяю, который, что у него и было прошил.

Я знал, что это правда. Эти хлебобобы-собственники из казаков,—настоящие подвижники собственности. Многие из них живут хуже рядовых крестьян, откладывая каждую копейку на покупку земли. Ко мне одно время возил деревенские припасы один довольно жалкий на вид старик. Он был одет, как нищий, но я потом узнал, что это деревенский богач. Вся семья шитается ужасно, детям не дают ни масла, ни яиц,—все идет на продажу... Детей даже не отдают в школу. И все для того, чтобы прикупить лишний клочок земли.

Между тем, крылатое слово, винутое в 1902 году на кочубеевской усадьбе, теперь росло, ширилось. Лозунг «поравнять» уже гулял в деревне. Я как-то приводил в «Русском Богатстве» свой разговор с крестьянином. Он спрашивал моего соседа: можно ли «по новым правам» покупать землю: у него с братом 9 десятин на двух. Они хотят прикупить еще три. Значит, придется по 6 десятин на душу. А может, по равнению это выйдет много, так могут отнять... Не пропали бы даром деньги.

Понятно, с каким испугом и враждой должны были эти люди относиться к стихийному движению, которое уже тогда сказывалось в деревне. Я видел, что мои собеседники люди разумные и, сравнительно, даже просвещенные, и я спросил, слышали ли о проектах перводумской земельной реформы.

— Читали кое-что,—сдержанно ответили они.

— Ну, а что вы думаете. Если все останется по-старому, если у ваших безземельных соседей попрежнему будут плакать голодные дети,—будете ли вы спать спокойно в своих коморках. Впрочем,—закончил я, вставая,—дело ваше... Но если вы хотите знать мое мнение, то я вам скажу. Россия загорается. Первая дума хотела сделать многое, чтобы потушить пожар и указать людям выход. А вы теперь в этот пожар подкинули еще охапку черносотенного хворосту.

Я попрощался и отошел в сторону, где происходил счет шаров. Наши противники продолжали торжествовать. Консервативные дворяне и священники, известные черносотенной пропагандой, ходили с гордо поднятыми головами. За них было много крестьянских голосов. А наши кандидаты все так же позорно проваливались и проваливали их тоже крестьяне.

Мои собеседники остались на том-же месте, подзвав к себе еще некоторых других, уже положивших шары. В этой кучке шел какой-то оживленный разговор. Через некоторое время ко мне подошел один мой знакомый и сказал:

— Сейчас ко мне подошли вот эти два выборщика и сказали: мы видели, что вы знакомы с Короленько. Скажите ему, если он будет небаллотировываться завтра,—то у него будет 4 лишних голоса.

Я баллотировался и, действительно, к 78 голосам, которые я получил в первый день, прибавилось как-раз 4. Это было абсолютное большинство. Но в эту ночь наши противники приняли самые экстренные меры, привезли на тройках еще несколько своих выборщиков, и я попал только в кандидаты.

Вторая дума оказалась уже совершенно покорной, и земельная реформа была похоронена.

Вскоре после выборов мне пришлось быть в камере одного из подтавских нотариусов. Недалеко от меня сидел, тоже дожидаясь очереди, старенький помещик с благодушным лицом и круглыми птичьими глазами. К нему подошел другой помоложе, и у них начался разговор о выборах.

— Все вышло очень хорошо—говорил старик.—Прошли почти все наши... Теперь бояться нечего. Вторая дума наша.

— Да... подтвердил младший, кидая взгляд в мою сторону... Теперь разным Герценштейнам не дадут ходу.

Впоследствии я часто вспоминал этот разговор. Я не знал фамилий ни этого благодушного старика, ни его совсем уже не благодушного собеседника. Где-то они теперь и находят-ли подрежнему, что Россия в тот момент более всего нуждалась в устранении и Герценштейнов и их проектов государственного решения земельного вопроса...

Что было бы теперь, если бы в течении 14 лет, со времени японской войны, уже проводилась планомерная земельная реформа. Но состав последующих дум был далек от этих забот, а крестьянство, благодаря «разумным мерам» посылало в Думы в большинстве черносотенных депутатов¹⁾.

Вл. Короленко.

¹⁾ Последующие главы работы В. Г. Короленко озаглавлены «Несколько мыслей о революции». Печатаение их мы пока откладываем.

7-20 ИЮЛЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 70 ЛЕТ ВЕРЕ
НИКОЛАЕВНЕ ФИГНЕР.

С ОПОЗДАНИЕМ РЕДАКЦИЯ «ГОЛОСА МИ-
НУВШЕГО» ПРИВЕТСТВУЕТ ВЕЛИКОГО БОРЦА ЗА
ДЕЛО ОСВОБОЖДЕНИЯ РУССКОГО НАРОДА.

МЫ ГОРДИМСЯ ТЕМ, ЧТО СРЕДИ СВОИХ СО-
ТРУДНИКОВ ЧИСЛИМ ВЕРУ НИКОЛАЕВНУ, ВО-
СПОМИНАНИЯ КОТОРОЙ УЖЕ НЕ РАЗУКРАШАЛИ
СТРАНИЦЫ НАШЕГО ЖУРНАЛА.

ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ НАС ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ НАМ ТАК СКРОМНО ПРИХОДИТСЯ ОТО-
ЗВАТЬСЯ НА ЗНАМЕНАТЕЛЬНУЮ ДАТУ И ТАК
МАЛО СКАЗАТЬ ИЗ ТОГО, ЧТО МЫ ХОТЕЛИ
БЫ СКАЗАТЬ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВЕРЫ НИ-
КОЛАЕВНЫ.

Редакция.



В. Н. Фигнер
в 1873 г.

Голоса врагов и друзей.

(Штрихи характеристики В. Н. Фигнер.)

Современник—не судья своего времени. Его наблюдения, впечатления, оценка фактов и людей всегда и неизбежно преломляются через призму его субъективных ощущений, нередко искажающих в его восприятии лицо окружающей жизни. Утверждение это, методологически совершенно верное, допускает однако исключения. Они возможны в тех случаях, когда голоса современников сливаются в оценке того или иного лица или факта в единый голос времени, эпохи. Тогда все входящие в состав этого исторического хора звуки доносят до чуткого слуха историка живое биение исторической истины и позволяют ему обнаруживать ее в дисгармонирующих отзвуках прошлого.

Особенно богато такими отзвуками наше недавнее прошлое, то слившееся с нашей современностью время, когда в России, веками строившей на себе тяжелое здание крепостнического режима, зародились, окрепли и вышли на арену борьбу молодые силы ее, с подлинным энтузиазмом и героизмом бросившиеся на казавшиеся неприступными холодные твердыни старой России. Революционная борьба, наполнившая своими настроениями вторую половину девятнадцатого столетия, не находила себе дружного аккомпанемента в окружающей ее действительности. Как и во всякой борьбе, в ней слышались различные и резко-враждебные мотивы: восторженные перебивания революционной молодежи смешивались с язвившими ее репликами официальной и официальной печати; утопические мечтания наталкивались на неизжитые традиции; предсмертные стоны погибавших сливались с казенными „ура“ убивавших...

И если в этой борьбе обнаруживается факт или отдельная человеческая личность, к которым в равной мере привлекается внимание современников и если в голосах их мы подмечаем нечто общее, несмотря на полную противоположность их,—мы вправе признать исключительность такого факта или значительность такой личности.

К таким личностям и таким фактам история должна, думается нам, отнести В. Н. Фигнер и ее участие в той борьбе, о которой только что упоминалось. Не только потому, что она прошла весь народническо-народовольческий период борьбы и не потому даже, что в этой борьбе принимала она деятельнейшее и руководящее участие, занимает она, по нашему мнению, то поистине завидное положение в истории революционной борьбы в России, о котором так часто приходится читать в воспоминаниях ее ранних современников. Не внешние моменты деятельности В. Н. Фигнер, ставшие теперь более или менее известными, а внутренние импульсы ее борьбы, идейное содержание всей ее жизни, ее „Верую“ и его чистота и твердость,—вот те притягивающие к ней силы, обладательницей которых она являлась в полной мере и действие которых так неотразимо ощущали на себе и враги ее, ненавидевшие ее и боявшиеся ее, и друзья ее, любившие ее и до конца ей преданные.

Даже полицейский язык официальных донесений и „сводок“, обычно сухой и бедный даже в характеристике „государственных преступников“ и совершенных ими „злодеяний“, сбивается со свойственного ему тона, когда ему приходится говорить о В. Н. Фигнер. „Она,—читаем мы в одном из донесений о посещении ею в Николаеве кружка военных,—произвела на них большое впечатление красивою своею наружностью и увлекательным красноречием“¹⁾. Удивительно ли, что вколотенное в рамки служебных рапортов отношение противников В. Н. Фигнер выливалось в непринужденной обстановке в формы более непосредственные и, так сказать, восполняло то, что авторы официальных донесений не рисковали включать в свои служебные произведения, боясь быть заподозренными в предосудительном увлечении „одной из наиболее опасных деятельниц центрального кружка террористов“. Несколько своеобразно и по жандармски слишком резко определил однажды Веру Николаевну одесский жандармский полковник Катанский: „Да, знаете, Вера Николаевна... это дьявол, а не женщина!“²⁾ Однако и в этой жандармской экспансивности нетрудно уловить черты своеобразного жандармского восхищения. „Дьявол“—прежде всего символ силы, властвующей над человеком. Вот эту-то силу, способную управлять волею других людей, внутреннюю мощь, неспособную сломиться перед насилием, и чувствовал, может быть, эксцентричный в формулировке своих впечатлений, одесский жандармский полковник Катанский. То же самое ощущение, а м. б. и дополненное еще признанием в В. Н. Фигнер человека, умеющего гордо, твердо и свято нести свои страдания за конечное торжество своих идеалов, испытал и другой представитель враждебного ей мира, генерал Середа, когда ему пришлось с ней встретиться в камере Петропавловской крепости, куда он приехал для посещения известной „государственной преступницы“.

— Вы хороший человек,—должен был признаться он ей, взяв ее руку и поцеловав ее. В этой сцене едва-ли имело место циническое лицемерие победителя. Зачем оно нужно было бы Середе, хорошо понимавшему бессилие лицемерия и бесплодность цинических выпадов против человека, против женщины, шедшей к эшафоту с мыслью о честно пройденном пути и неизбежном роковом конце его?.. В том, что в этой встрече генерала, по высочайшему повелению назначенного для расследования политической пропанды в войсках по всей империи, и женщины, являвшейся одним из самых видных организаторов и вдохновителей этой пропаганды, генерал был искренен, убеждает еще и рассказ самой В. Н. Фигнер, свидетельствующий о том, что ген. Середа не имел в виду создать процесс-монстр и намеревался привлечь к суду лишь немногих. „Действительно,—вспоминает В. Н.,—судили по нашему делу 14 человек; из них военных было только шесть, а могли судить несколько десятков“³⁾

Судили четырнадцать человек... Среди них были люди, старшие по возрасту, чем В. Н. Фигнер, были люди с большими волевыми импульсами, люди, умевшие смело встречаться в борьбе с своими противниками, но в заседании суда „только одна В. Н. Фигнер,—вспоминает один из участников процесса,—сумела заставить себя выслушать. Как судьи, так и „публика“ слушали с необыкновенным вниманием и председатель, многократно и резко прерывавший речи других подсудимых, ни разу ее не остановил“⁴⁾. Вероятно и на этот раз внутренняя сила, сквозившая в ее словах, заставили председательствовавшего считаться с ней и воздержаться от обычных наскоков на обвиняемую.

¹⁾ «Былое» 1906, № 8, стр. 184.

²⁾ Воспоминания А. А. Спандони. «Былое» 1905, № 2, стр. 285

³⁾ В. Фигнер. „Запечатленный труд“, ч. I, стр. 300.

⁴⁾ М. Н. Ашенбреннер. Воспоминания. „Былое“.

Эту же силу ее может быть имели в виду и чиновники министерства внутренних дел, передававшие друг другу крылатую в ту пору среди них шутку о том, как В. Н. Фигнер в беседе с гр. Д. А. Толстым чуть было не обратила его в... народовольца!..

Всякий по разному, враги ее не хотели и не могли скрыть под личиной вражды к ней того подсознательного чувства, которое звеньями одной цепи рассыпалось в восклицании „Дьявол, а не женщина!“ провинциального жандармского полковника, и в поцелуе руки петербургского генерала, и в полицейских донесениях о „красивой наружности“ и „увлекательном красноречии“, и в язвительно-дерзкой шутке министерских чиновников над своим принципалом, и в безмолвии председателя суда, слушающего свободно льющуюся речь о незавершенной борьбе с самодержавием.

В стане врагов, в плену у них—их пленница, уставшая от длительной и мучительной борьбы, потрясенная изменой одного из недавних соратников, видевшая торжество своих противников, потерявшая одного за другим своих близких друзей, ожидавшая своей скорой гибели, она умела не только сохранить в себе независимость духа сильной и свободной личности, но и проявить ее в формах наиболее совершенных и своеобразно величавых. От внимания врагов не укрылись эти свойства натуры В. Н. Фигнер, и в их голосах—голосах врагов,—слышится признание ее нравственного превосходства над ними, наивное удивление и осторожное восхищение ею.

Полнозвучнее и ярче звучат голоса друзей ее. В каждом из них мелодично поют ноты неподдельной, глубокой и нежной любви к ней. Так много разбросано в мемуарах ее современников строчек, вписанных в страницы воспоминаний любовным чувством, с такой нежностью вспоминаются отдельные моменты встреч с В. Н. Фигнер,—что хочется сказать: какое великое счастье иметь способность зарождать в душах человеческих столько любви! Эта любовь ищет художественных форм выражения и выливается временами в яркое самопризнание:

Пусть, мой друг дорогой, будет счастлив твой путь
И судьба твоя будет светлей,
Пусть удастся тебе поскорее стряхнуть
Злые чары неволи твоей.
Скоро, милый мой друг, вновь увидит твой взор
Лица близких родных и друзей;
Скружат тебя вновь голубой небосклон
И холмы, и ручьи, и леса...
Все, чего столько лет ты была лишена,
Что в мечтах обаянья полно,
Вдруг воскреснет опять и нахлынет волна
Прежних чувств, позабытых давно!
Пусть же, милый мой друг, будет счастлив твой путь!
Скоро будешь ты снова вольна!
И успеешь уставшей душой отдохнуть
От тяжелого, долгого сна!

Так писал поэт-шлиссельбуржец Н. А. Морозов при оставлении В. Н. Фигнер Шлиссельбургской крепости. Он приветствовал выход ее из крепостных стен, радовался ожидавшей его подруге свободе; сам лишенный свободы и солнца, он ликовал, что ее скоро окружат

. голубой небосклон
И холмы, и ручьи, и леса.

Нет ни намека, ни тени чувства досады и невольной в таких случаях человеческой зависти. Любовь поглощает собою все другие ощущения любящего, и он живет лишь радостью любимого. Пусть с ее уходом узники

Шлиссельбурга лишатся радости мимолетных встреч с ней; пусть каждому из них после ухода ее ненавистнее станут крепостные своды; пусть не будет среди них лучшего товарища, полного живой инициативы, способной разнообразить даже крепостной режим; пусть будет одиноко им без нее,— но могла ли у кого-либо из них тоска и чувство личной потери восторжествовать над радостью освобождения их любимого друга?... Каждый из оставшихся в Шлиссельбурге, конечно, не мог не чувствовать, что с отъездом В. Н. Фигнер от них, „совершенно отрезанных от всего живого, появлялась громадная брешь, ощущалась такая пустота, которую ничем нельзя было заполнить, ощущалась тем болезненнее и сильнее, что в течение долгих лет В. Н. являлась тем естественным центром тюремного жита-бытья, около которого привычно группировались остальные ее товарищи“¹⁾. И хотя вместе с радостью душу заполняло и тоскливое чувство, все же не тоской напутствовали товарищи В. Н. Фигнер, уходившую от них за крепостные стены:

Кто, как ты, привык в тюрьме суровой
Лишь в груди забвенью находить,
Для того всегда есть путь готовый
Свет и счастье в жизнь людей вносить.

Последними словами очень верно выражено то поражающее свойство натуры В. Н. Фигнер, которое обладало магнетирующей силой в отношении окружающих. „Свет и счастье в жизнь людей вносить“ не всякий может. Лишь человек, владеющий неиссякаемым источником любви к людям и громадной волей, претворяющей любовь в действенное начало; лишь человек, готовый всю жизнь целиком и каждое отдельное мгновение жизни отдавать туда, „где горе слышится“,—лишь такой человек может обладать завидным богатством света и счастья, щедро рассыпаемых им в тусклой жизни обездоленного человека.

Юная девушка, выросшая в патриархальной семье, с детства обвеянная фантазией нянинных сказок, проведшая полжизни в стенах института, не без удовольствия обращавшая на себя внимание на балах, по-детски мечтавшая о том, как она сможет привлечь к себе взоры царя и стать царицей,— эта девушка вскоре добровольно спускается на самое дно русской действительности и в мире страшной бедности, невежества и дикости окружавшей ее деревенской жизни она легко и непринужденно начинает „свет и счастье в жизнь людей вносить“. И позднее, когда от мирной культурной работы своей она была насильственно оторвана, когда силы ее были перенесены на суровую революционную борьбу, она продолжала в себе хранить—среди гроз и несчастий, среди опасностей и жестоких потрясений—источник света и радости для людей, боровшихся за идеалы общечеловеческого счастья. Воспоминания народовольцев пестрят строками глубокой благодарности В. Н. Фигнер за то, что у ее источника они всегда находили чарующую прелесть ее отношений к ним. „Пребывание у нас,—пишет один из них,—этой замечательной женщины было настоящим праздником для всего нашего кружка; и мы все к ней привязались. Но не только на нас она имела влияние, но и на многих, случайно заходивших, она оставляла глубокое впечатление своим умом и энергией, соединенными с поразительной женственностью и грацией“²⁾. Для одних она была, „матерью-командиршей“³⁾, желание которой для многих из них „было законом“⁴⁾; для других—чело-

1) Галлерей Шлиссельбургских узников, стр. 250—251.

2) Э. Серебряков. Революционеры во флоте. „Былое“. 1907. № 4. стр. 117.

3) М. Ю. Ашенбрённер. Воспоминания. „Былое“. 1906. № 1, стр. 86.

4) А. Бах. Воспоминания народовольца. „Былое“. 1907. № 1. стр. 178.

веком, вне общения с которым скучной и неинтересной становилась жизнь, и для тех и других—человеком, с непонятым умением сочетавшим в себе разнородные, но одинаково глубокие свойства богато одаренной личности. Порою диаметрально противоположные чувства отливались в ее натуре в единую цельную форму непринужденного проявления творческого духа. В ней, по ее же признанию,

... Чувства доброго порыв
 Проснувшись раз, все нарастает,
 Пока всю силу истощив,
 В другую крайность не бросает.
 Так, бесконечной чередой
 В груди моей два чувства бьются:
 Капризно-нервного волной
 Вперед бегут и вспять несутся! ¹⁾

Творческая сила ее духа никогда не усыплялась в бездействии, она беспрестанно билась в чутком сердце, как бы накапливая в нем новые струи согревающего окружавших В. Н. Фигнер людей отношения. В неволе, в крепостном одиночестве и однообразии душа ее, по меткому определению М. Ю. Ашенбреннера, „душа апостола, прикованного к скале, томилась жестоко. Ей не доставало широкой армии, а она, подавляя страдания, забывая о себе и болея за других, великодушно снимала долю тяжелой ноши с них и несла ее на себе. Энергичная, отважная, самоотверженная она всегда была впереди; и неудивительно, что в больших и малых делах все взоры невольно обращались к ней, ожидая от нее слова, знака и примера“ ²⁾. И неудивительно, добавим от себя, что каждый из друзей ее, даже в мелочах, в ничтожных фактах повседневной жизни—считал себя счастливо-обязанным проявить к ней чувство любви, или дружбы, или готовность доставить ей хотя маленькое, какое позволяла тюремная обстановка, удовольствие. Размеры и количество этих проявлений роли не играют: иногда передача украдкой узнику через решетку окна его камеры полузавядшего листка с воли—полнее наполняет его душу светом радости и благодарности, чем постоянная привязанность дорогого человека. Новорусскому удалось высидеть в крепости цыплят, и первая же пара их была им подарена В. Н. Фигнер. Для него этот подарок был счастливой нравственной обязанностью. Для другого из друзей В. Н. Фигнер дружба ее к нему была „выше всего на свете и всякий знак, каждое выражение этой симпатии прибавляли ему здоровья, бодрости и настроения. Получение от нее письма или фотографической карточки было для него целым ликованием, большим и шумным праздником. С этой посылкой он обегал своих друзей, делился с ними радостью подарка, сообщал наиболее поразившие или тронувшие его фразы и слова из письма. Одним из ярких мечтаний его последних лет было свидеться с далеким любимым другом“ ³⁾.

Малое и большое... Но и в том и другом обнаруживается все то же тяготение к светильнику радости, к источнику любви.

„Последняя блестящая представительница старого периода „Народной Воли“, как назвал ее Н. А. Морозов, женщина боец, участница и вдохновительница террористической борьбы, В. Н. Фигнер поражала и пленяла людей проявлением к ним изумительной чуткости, умением вдумчиво и просто, ласкающе и нежно заглянуть к ним в смятенную душу и успокоить ее, наполнить радостью, тишиною и покоем. Как ни велико было смятение измученной души Г. И. Успенского, но и в ней воцарился

¹⁾ В. Н. Фигнер. Стихотворения. Пгб. 1906.

²⁾ „Былое“. 1906, № 1, стр. 93.

³⁾ Геккер А. А. Спандони (некролог). „Былое“. 1906. № 11, стр. 301.

мир, когда „девушка строгого, почти монашеского вида“, как он представлял себе В. Н. Фигнер, осторожно касалась ее. И перед нею он почти молитвенно преклонялся. „Она понимает всякое горе,—говорил он,—страдает человек из-за пустяков, а ей все-таки жаль его, готова помочь... Великое сердце“!

Образ В. Н. Фигнер настолько очаровал и овладел Г. И. Успенским, что и в своих бредовых видениях в больнице для психически-больных он не покидал его. Но образ „государственной преступницы“ в силу тайных путей больной души измученного писателя вставал перед ним в облике „монахини Маргариты, приносившей с собою утешение и ободрение“.

— Угрюмый сидел я, склонивши голову,—рассказывал Гл. Ив. про свое видение.—Вдруг чувствую... именно чувствую, а не вижу, что ко мне медленно, тихо приближается женщина в белоснежной одежде... Сосредоточенная, строгая она смотрит на меня с глубокой тоской во взоре... Такою я видел В. Н., когда она бывала удручена чем-нибудь... Да и видение, как мне казалось, походило на нее... Были и другие знакомые черты; но ее глаза, фигура.. Она подошла ко мне и любовно положила на мое плечо свою руку... Я очнулся, поднял глаза и увидел, что все небо, как яркими звездами, усыпано человеческими сердцами... все сердца... сердца... Весь мир она переполнила любовью... С этого момента я стал замечать, что здоровье мое улучшается. Светлые промежутки стали чаще. А чуть, бывало, снова набегит мрак, ненависть к людям, жажда смерти—мой ангел-хранитель, Маргарита, опять со мной¹⁾.

Больная душа Г. И. Успенского, скажут нам, слишком безотчетно отдавалась зову его фантазии и действительное скрывалось за дымкой мечтаний. Пусть так. Но напомним и другой эпизод, в котором место измученного, неуравновешенного, с больными нервами человека занимает сдержанный, почти замкнутый в себе, несклонный к иллюзиям Н. К. Михайловский. Он после встречи с В. Н. Фигнер в Харькове, незадолго до ее ареста, когда она одна оставалась у обломков крушения „Народной Воли“, и в окружавшем ее безлюдьи, среди гибели одних и предательства других, продолжала стоять на своем посту—скорбная и одинокая,—он взял ее голову в свои руки и поцеловал ее...

Этим поцелуем закреплялась им вся глубина тех переживаний, которыми был переполнен он в тот миг; этим поцелуем Михайловский определил отношение к В. Н. Фигнер не только ее близких друзей, но и всей русской интеллигенции. В поцелуе Михайловского и в видениях Успенского сливается, как в ярких символах, стройный хор голосов ее старых друзей.

Позднейшим современникам В. Н. Фигнер, свидетелям ее самидесятилетнего юбилея, имевшим счастливую возможность видеть ее и работать с нею в своей литературной и общественной среде,—нам да позволено будет в эти дни свой голос присоединить к голосам ее старых друзей.

Б. Федоров.

¹⁾ А. И. Иванчин-Писарев. Глеб Успенский и революционеры 70-х годов. „Былое“, 1907. № 10, стр. 45-46.

Женщины в Шлиссельбурге.

I.

Так уж повелось, что тюрьма, на манер интерната, строится разнополая: для мужчин особо, для женщин особо. Часто это два, совершенно различных здания. Иногда это две изолированные друг от друга половины одного и того же здания.

И русская практика, несмотря на свою патриархальность, осуществляла везде такой порядок, как самый естественный. Если же тюрьма строилась „усовершенствованная“, то образцы для этого брали в готовом виде на Западе. А там, как водится, все подробности тюремного быта предусмотрены до мелочей, в том числе и особая женская половина, с особым штатом женщин-надзирательниц и особым видом работ, занятий и проч.

Часто наша уголовная практика постепенно вводила в уголовных репрессиях ряд смягчений, так сказать, через женскую половину. Так, многие тяжкие наказания, а впоследствии и телесные наказания вообще отменялись сначала для женщин. Затем они некоторое время оставались уделом одних мужчин, а потом исчезали совсем из уголовного кодекса.

В таком же направлении работала уголовная мысль, когда руководилась сооружением общих тюрем. Совсем иначе она работала, когда дело шло не о тюрьме, а о Бастилии. То тюрьма, а то „Крепость“. А для крепости, как такого сооружения, которое связано с военной историей, тюремные законы не писаны. Арестованный или арестованная по подозрению в политическом преступлении попадали в Петербург в Дом предварительного заключения с его двумя половинами. Через месяц или через неделю, если арестованный считался особо „важным“, его (или ее) переводили в Трубечкой бастион Петропавловской крепости, где никаких „половин“ не полагалось. Здесь бок о бок рядом, или на одном и том же коридоре, могли оказаться мать и сын, отец и дочь, брат и сестра, муж и жена, жених и невеста... Мужчина и женщина — совершенно в одинаковых условиях, под командой одного и того же коменданта, под надзором того же самого солдата.

Так сидели подследственные месяц, два, а иногда год, два и даже три! Жизнь тюремная состоит из повседневных житейских мелочей. В виду их обыденности, о них не принято говорить. В нормальных условиях мы их не замечаем. В тюрьме, за отсутствием всего другого, они вырастают, заполняют сознание и обостряют чувствительность к ним. При этом страдает, конечно, женщина, так как именно она сидит в мужской тюрьме, а не мужчина в женской.

И по весьма понятным причинам женщины избегают оттенять в своих воспоминаниях эту сторону крепостного сидения,

Многолетняя борьба правительства с революционным движением приучила полицейские сферы к совместному и одинаковому содержанию в крепости мужчин и женщин. А потому, при постройке новой „каторжной“ тюрьмы в Шлиссельбурге в 1882—84 гг., совершенно не подумали, для кого строится эта тюрьма — для мужчин или для женщин. Трубецкой бастион, как создание дореформенного времени, трудно было делить на две половины. Но в конце 19 века, при создании в Шлиссельбурге новой тюрьмы по последнему слову тюремной техники, об этом могли бы подумать. Но не подумали. И трудно сказать, почему. Потому ли, что не хотели вовсе держать здесь женщин, или потому, что считали это ничтожной мелочью, которой легко было пренебречь. В самом деле, женщина приговорена к смертной казни. А ей оказывают великую милость — сохраняют жизнь. Стоит ли беспокоиться о том, где ей придется жить?

II.

В положении о Шлиссельбургской каторжной тюрьме, которое было напечатано в „Собрании Указаний“, помнится, в 1884 г., было всего 4—5 коротеньких параграфов и в них не нашлось места упомянуть, мужская это тюрьма или обоего пола. Умолчание, повидимому, было намеренное, потому что власти вообще, а жандармские в частности, не любили стеснять себя никакими ограничениями. Тюрьму выстроили, а в уголовной части Указаний забыли добавить, за какие именно преступления и в каких случаях человек приговаривался судом не к ссылке в каторжные работы (в рудниках), а к бессрочному пребыванию в Шлиссельбургской тюрьме на положении полного безделья.

Судили всех одним и тем же судом, приговаривали в „каторгу“. Но приговор осуществляли разное: одних посылали в Сибирь, а других в Шлиссельбург. За судебным приговором шло личное усмотрение, которое радикальным образом изменяло судьбу приговоренных. А если с приговором суда, вообще, не считались, то зачем и предавать людей суду? И действительно, в Шлиссельбург сажали не только по суду, но и по высочайшему повелению без всякого суда. Так просидел там 10 лет поручик М. Ф. Лаговский. На докладе гр. Толстого о первых арестах по нашему делу (1 марта 1887 г.), Александр III собственноручно написал: „По-моему, лучше было бы... не предавать (sic) их суду, а просто, без всякого шума, отправить их в Шлиссенбургскую (sic) крепость—это самое сильное и неприятное наказание“.

А если так, то по такому же точно повелению могли посадить и женщину в мужскую тюрьму. Так и посадили туда В. Н. Фигнер. Не было неудобно казнить, как женщину, так как казнь женщины слишком возмущалось общественное мнение в России и за границей. А чтобы положение одной женщины в мужской тюрьме не казалось выходящим из ряда вон, к ней присоединили в виде компаньонки и Л. А. Волкенштейн.

Это не было оплошностью, не было увлечением карающей Немезиды, которая в 84 г. имела основание быть особенно суровой. Уравнение полов, которого с таким трудом добивались русские женщины в других областях, здесь считалось бесспорным и становилось правительственной системой. Восемь или семь лет спустя, в Шлиссельбург привезли третью женщину, С. Гинсбург. Но ей, к сожалению, не пришлось повидать двух других, потому что она поспешила покончить с собой: так шлиссельбургская одиночка поражала женское

воображение с первого дня прибытия. Таким образом продолжали бы сажать и новых женщин, если бы таковые нашлись.

Двух первых старались уравнивать во всем с мужчинами: те же цепи (наручни) при пересылке из Петербурга в Шлиссельбург, тот же арестантский халат, те же широчайшие коты, грубейшее белье, такая же точно камера, тот же „глазок“ в двери, то же поминутное подглядывание жандарма, те же обыски в камере, тот же карцер, за попытку перестукиваться с соседями, на хлебе и воде и на голых досках. И только один раз в месяц, когда полагалась ванна и когда все остальные мылись на глазах полдюжины жандармов, к женщинам допускали женщину же, которая глядела в-оба, но была всегда немой.

Обезличение было идеальное. Женщины именовались так же точно, как и мужчины, номер такой-то (11 и 12), и именно, номер одиннадцатый, а не одиннадцатая, на мужской лад. В камере висела та же самая инструкция, с тем же самым параграфом, который угрожал розгами. И когда я, однажды, попробовал указать коменданту на явное беззаконие, содержащееся в этой инструкции, так как женщины в России уже были освобождены от телесного наказания, он быстро нашелся:

— Мы вывешиваем инструкцию для камеры, а потому не считаемся с тем, сидит ли в ней мужчина, или женщина.

Именно, не считались с женщиной и всюду старались третировать ее по-мужски. Когда один из товарищей указал на оскорбление женской стыдливости при подглядывании жандарма, Соколов премудро сослался на то, что и мужчины, и женщины устроены одинаково.

Очень часто в России сажали интеллигентных людей, одушевленных высшими стремлениями, в одну камеру с ворами и разбойниками. При этом строго выдерживали принцип уравнивания людей в одном и том же бесправии. У нас, в Шлиссельбурге, это уравнивание старались проводить даже между полами.

Страдающей стороной при этом были, конечно, женщины. И если бы к Шлиссельбургской каторжной тюрьме применялись законы, которые писались тою же самою властью для других русских тюрем, наши женщины имели бы право требовать для себя либо удаления из Шлиссельбурга, либо открытия там женского отделения.

Конечно, они этого не требовали так же точно, как и поручик Лаговский, который 10 лет сидел на каторжном положении, хотя и не был лишен своего звания.

III.

В дальнейшем такой симбиоз оказался наиболее выгодным. И смею думать, не только для мужчин но и для самих женщин. Наша небольшая община, составленная случайно из довольно разнородных элементов, разъединенных непроницаемыми стенами в строго изолированных одиночных камерах, получила в лице женщин необходимый сплавляющий цемент.

Известно, какую крупную роль в истории играли многие женщины, в доме которых встречались и при их содействии объединялись разнородные общественные и политические деятели.

Наша жизнь беспечная, бездельная и бессмысленная, все-таки, прежде всего, была жизнью политической. Мы были *volens polens* политическими людьми, судились по политическому делу, сидели в политической тюрьме, зависели от департамента политической полиции,

опекались политическими врагами и свои ежедневные отношения к ним должны были устанавливать по какому-то однородному политическому кодексу.

У каждого из нас в прошлом было некоторое политическое имя, хотя бы имя политического преступника. Признавал ли человек свою принадлежность к революционной партии, или нет, но его имя на судебном процессе тесно было связано с ней. Если он не проявил на суде себя ренегатом (а, понятно, у нас таких не было), он признал себя, независимо от своих экономических воззрений, решительным врагом того правительства, в руках которого он находился и от которого отныне зависела его жизнь и вся дальнейшая участь.

Впоследствии довольно скоро выяснилось, что незаконность всего шлиссельбургского быта имела свою специальную логику. Нам неоднократно напоминали, что русские законы к Шлиссельбургу не относятся. И это доказывали на деле, не применяя к нам полностью обычных манифестов. Но зато недвусмысленно намекали, что наша судьба находится в наших собственных руках. Срок нашего заключения зависел не от приговора, а от нас самих. Наивный летописец старых времен красочно описывал приемы, как господствующая церковь исправляла еретиков: „и бил его жезлом довольно, дондеже в покаяние прииде“. В наши дни выражались дипломатичнее и слово „покаяние“ не произносили. Но существо дела от этого не менялось. Нас держали политические враги. И они должны были держать нас взаперти до тех пор, пока мы оставались убежденными их врагами.

При такой постановке сохранить в себе немеркнущим пламень революционной вражды в течение бесконечно долгих лет; это—задача чрезвычайно серьезная. Ведь, человек не остается одним и тем же в 25 и в 40 лет своей жизни. Если мысли его мало меняются, то чувства его, порывы, увлечения, одушевление, энтузиазм—все это, с возрастом, становится другим. Наконец, какое направление может принять духовная эволюция в уединенной камере, среди непрерывных лишений, когда у человека нет живых возбуждающих впечатлений, которые дает только нормальная общественная среда?

В наших условиях эта эволюция могла бы принять характер некоторого примиренства. Победенному врагу, который сложил физическое оружие, нетрудно сложить оружие духовное, т.е. внутренне перестать быть врагом. Кто знает? Не понесла ли бы наша община в Шлиссельбурге в этом отношении некоторых потерь, если бы во главе ее не стояли женщины такой моральной чуткости и непримиримой революционности, каковы были наши дамы? В частности, Веру Николаевну, когда она осталась уже единственной женщиной, даже жандармские унтера называли нашей „командиршей“. Может быть было бы правильнее назвать „вождем“ или „душой“ политического „салона“, в котором рок объединил разнородных противников правительства.

IV.

Как общее правило, душевное настроение в тюрьме периодически меняется. Оно бывает то ровное и спокойное, то без причины веселое, то необыкновенно унылое и мрачное. Последнее овладевает как психоз, длится целыми днями, даже неделями и стряхнуть его никак невозможно. Заболевший меланхолией отказывается от свиданий, уединяется, предается мрачным мыслям, болезненно страдает и становится почти неузнаваемым. Это уже другой человек. Надолго ли

он останется другим? И не произойдет ли у него в таком состоянии какого-нибудь духовного надлома?

При подобном затяжном заболевании товарищи старались принимать свои меры воздействия. Но мужчины для этого были мало пригодны. Да их воздействие, в виду категорического отказа стучать в стену и ходить на свидание, не всегда могло осуществиться. Для дам же отказа не было. И их участие, по природе вещей, имело другой характер и воспринималось совсем иначе.

В отношении себя лично я мог бы свидетельствовать о подобном „заболевании“ с непререкаемой достоверностью. Но так как мои психические переживания не представляли собой ничего исключительного, то можно с большой дозой вероятности утверждать то же самое и в отношении других.

Кажется, через год моего пребывания в Шлиссельбурге, в ответ на мое заявление—разрешить прогулку вдвоем ежедневно, вместо—через день,—камендант игриво ответил:

— Не нужно расточать так быстро умственный капитал...

Он, вероятно, полагал, что в беседе с товарищем „умственный капитал“ не приобретается, а растрачивается. На самом деле, конечно, было наоборот. Это было так очевидно, что мы настойчиво стремились, пока не добились возможности видаться и свободно разговаривать со всеми товарищами.

В этой победоносной борьбе, разрушившей в корне принцип нашей одиночки, дамы сыграли главнейшую роль. Когда мы стали ломать заборы и добились того, что вместо них поставили простые решетки, мы, мужчины, уже пользовались правом менять свободно товарища по прогулке. Гуляли парами, но каждый день можно было иметь новую пару. Только женщины лишены были этой возможности. И их исключительно несправедливое изолирование было так очевидно, что наш единодушный напор к общению с ними не встретил особенно сильного противодействия.

V.

Когда эти препоны были устранены и общение с соседями по прогулке было установлено полностью, нужно было установить предмет общения. В обыденной жизни мы не задумываемся, о чем разговаривать со знакомым, либо приятелем, с которым мы очутились вдвоем, или втроем. Не то в тюрьме, где лица все те же, впечатления все те же и где сожителю не только знают насквозь друг друга, но и успели надоест друг другу. Вот тут участие женщин всегда вносило новую струю.

Всем известно, что женский ум и женская психика устроены несколько иначе, чем мужские. А это различие психического уровня так же полезно для взаимобщения, как различие уровня жидкостей в двух сообщающихся сосудах необходимо для движения этих жидкостей. Здесь взаимобщение происходит значительно иначе, чем между двумя мужчинами. Здесь предмет для беседы никогда не иссякал, и характер беседы почти всегда складывался иначе, чем между мужчинами. Даже если бы дело шло о доказательстве какой-нибудь геометрической теоремы.

А занятие разными науками (да ремеслами), это было все, что нам оставалось. Какую бы школу ни проходил каждый из нас, у всякого были огромные пробелы даже в самых элементарных областях знания. Да полезно было повторить и многие зады, которые прохо-

дидлись когда-то в школе по обязанности, только для надобностей экзамена.

В частности, В. Н. была неистощима в проявлении своего интереса, особенно в области точных и положительных знаний. От геометрии и астрономии, до всех отраслей биологии, включительно, она переходила от одной группы знаний к другой последовательно, либо эпизодически, с большим или меньшим рвением. Приглашались „лекторы“—в одиночку, парами и даже группами, смотря по условиям сношений. Там, где требовалась „демонстрация“, изготовлялись особые приборы. Для их изготовления в наших бедных мастерских требовалось проявить максимум изобретательности. Задавалась работа уму и воображению, и такими работодателями были почти исключительно наши дамы. И. Д. Лукашевич даже вырезал из дерева большую коллекцию кристаллографических моделей по рисункам, для надобностей своей ученицы. Кое-что из подобных изделий сохранилось и находится теперь в Музее Революции. Но большинство их делалось ad hoc и разрушалось по миновании надобности.

Это обстоятельство имело такое же значение в развитии наших ремесленных занятий, как и в развитии книжных. Одно дополняло другое. „Рынка“ у нас не было. Обслуживать жандармов своими изделиями не было охоты. Украшать ими свою тюрьму — тем более. А тут, работа „для науки“ давала не только физическое упражнение, но и здоровое умственное развлечение. Эту сторону нашей жизни целиком надо поставить на счет наших дам. И я едва ли ошибусь, утверждая, что без них мы не работали бы с таким увлечением, наверное, вовсе не работали бы в этом направлении.

Нечего греха таить. Тут было не одно бескорыстное увлечение, а своего рода спорт, желание произвести эффект, заслужить похвалу от дамы. Говорят, что в рыцарские времена мужчины, ради того же эффекта перед дамой, готовы были биться до крови с любым противником. И были очень польщены, если, в награду „за подвиг“, их дарили цветком или приятной улыбкой. Что-то подобное в основе наших отношений к женщинам остается до сих пор. Сказывалось, наверное, это и у нас в Шлиссельбурге.

VI.

Кто-то из товарищей в печати обмолвился, что слово В. Н. для нас было законом. С небольшими оговорками то же самое можно бы сказать и о Л. А.-не. Конечно, это говорилось не о партийной дисциплине, при которой требуется законодатель. У нас не было единой партии. Да и вообще партийность в тюрьме, абсолютно изолированной от всего света, является бессмыслицей. Это говорилось в том смысле, что мужчины старались исполнить малейшее ее желание, быть может, даже прихоть, и в этом исполнении находили свое удовольствие.

В нашей убогой жизни, в которой долгое время преобладали одни растительные процессы, трудно было не сделаться эгоистом. Каждый жил в одиночку сам с собою и сам для себя. Случаи для каких бы то ни было альтруистических проявлений были редки. Притом часто эти проявления совершенно запрещались. А между тем, побуждения к альтруизму у каждого были. Они искали выхода, искали и повода к этому выходу. Женщина в нашей среде представлялась наиболее страдающей стороной, наиболее обездоленной. И всякая обиходная мелочь, которая допускалась и которая могла какнибудь скрасить или просто оразнообразить монотонность жизни

нашей дамы, делалась с чрезвычайным удовольствием. Стоило ей обмолвиться о чем-нибудь, и повторять больше уже не придется. Человек готов был на какие угодно усилия, лишь бы доставить удовольствие даме.

Это простиралось на все сферы нашей жизни. И не мало было написано стихотворений, которые, увы, так и не увидели света, некоторые появились на свет только потому, что они посвящались даме. Даже наши рукописные журналы в значительной степени обязаны своим существованием тому же взаимоотношению. Появлялись специальные, не периодические „Сборники“, на обложке которых красовалась крупная дата: „24 июня“, либо „17 сентября“. В музее биологической лаборатории имени П. Ф. Лесгафта хранится глобус моей работы, на оси которого есть медный кружок с той же датой „17 сентября“.

Не мне судить, много ли удовольствия доставляли даме такие приношения. Но могу поручиться, что мы изготовляли их с огромным удовольствием. В пустую и беспечную жизнь на несколько недель вторгалась цель, которая озабочивала исполнителя: он работал, соображал, напрягал все свои силы, старался вызвать к жизни все свои дарования, пускал в ход лучшие свои способности, которых до этого, может быть, сам в себе не подозревал. И тот волшебник, который, пользуясь положением, мог так заставить человека работать, был самым дорогим, самым бесценным его другом. Этим волшебником в Шлиссельбургской каторжной тюрьме была женщина.

Я не хочу утверждать, и доказать этого невозможно, что без женщины мы оступили бы, обленились, совершенно перестали бы заниматься умственно и физически, не написали бы ни одного стихотворения, заскорuzли бы в грубом эгоизме. Вероятно, этого не случилось бы. Но я говорю не о том, что могло бы быть, а о том, что было в действительности. А из этой были, как из песни, слова не выкинешь, факта не уничтожишь. Этим фактом было противозаконное присутствие женщин в мужской тюрьме. И этому противозаконию мы были весьма многим обязаны.

VII.

Говорят, что женщина вообще имеет облагораживающее влияние на мужчину. Было несомненно это влияние и в Шлиссельбурге. Я затруднился бы сказать, в чем оно проявлялось и было ли оно вообще заметно. Но условия жизни были таковы, что создавали для него самую благоприятную почву.

Мы жили совместно долгие, бесконечные годы. Жили в условиях совершенно исключительных, в полном смысле слова—беспримерных. Жизнь наша, чрезвычайно бедная содержанием, была весьма богата психическими переживаниями. У нас отняли все, чем красится жизнь. Осталась только душа с ее недостижимой глубиной, с ее неуловимыми изгибами, с невольным страданием, с глубокой, неизбывной печалью. В этот внутренний мир мужчина не всегда пускает мужчину, своего даже самого искреннего друга. Скорее он замыкается от посторонних и, прячась под маскою, страдает еще сильнее.

Женщине было легче подойти к этому недоступному миру. Да, может быть, он и сам автоматически раскрывался перед нею. И то облагораживающее влияние, которое подмечено в обыкновенных нормальных условиях, в наших условиях могло находить самые лучшие и верные пути.

Проходили целые бесконечные годы под одной и той же крышей, точно в одной семье. Мы были отрезаны от всего остального мира, от каких бы то ни было людей. Всегда одни и те же. И притом сегодня, как и завтра, у меня и у соседа — все одно и то же. Такая жизнь не только сближает, но и роднит. Мы стали близки по родственному, и эта близость еще больше содействовала тому облагораживающему влиянию, о котором только-что сказано.

Чуткость у всех развивалась необыкновенная. Несмотря на глухие разделяющие нас стены, мы чутьем угадывали настроение соседа. Почти так же, как в семье, где по одному слову или по тону сказанного слова, мы безошибочно угадываем, что близкий нам человек — „не в духе“.

Все это создавало такую почву, при которой женщина, если она не враждебна нам, могла иметь, сама того не замечая, безграничное влияние на мужчину. Это влияние проявлялось в ежедневных житейских мелочах, из коих каждая в отдельности совсем не заметна. Но годами они суммировались. Ибо даже по физическим законам капля долбит камень.

Каждый из нас представлял из себя особую индивидуальность, с особыми способностями, наклонностями и стремлениями.

Но в пределах этих особенностей он мог проявлять себя и так, и иначе. На характер этих проявлений близкая женщина могла оказывать неизмеримо большее влияние, чем другие товарищи.

VIII.

Оглядываясь теперь назад и подводя итоги, можно открыто признать, что этот исключительный симбиоз, который правительство, само того не желая, устроило для своих врагов, сопровождался весьма благотворными для нас последствиями. Я говорю: „само того не желая“, и вот почему. В кругах департамента полиции, как передавали, сознавались, что они сделали ошибку, посадивши женщин вместе с мужчинами. Там приписывали именно женщинам подстрекательство в борьбе за разрушение наших тюремных устоев, борьбе, которая для нас была выигрышной. Если действительно жалели об этом наши враги, то мы уже по этому самому должны приветствовать эту ошибку и радоваться за нее. Даже если бы у нас не было на это своих собственных причин.

Мы прошли свой длинный тернистый путь с честью. Весьма многому научились, большему, чем в любой школе, и крепко закалили себя. Едва ли будет нескромностью, приписать нашим женщинам значительную долю влияния на такой конечный результат.

Влияние одного человека на другого очень редко бывает односторонним. Чаще оно — взаимное. Но каково было влияние мужчин на женщин в Шлиссельбурге — судить об этом не берусь,

24/VI 1922 г.

М. Новорусский.

Студенческие годы.

(1872—1873).

В первом томе воспоминаний В. Н. Фигнер „Запечатленный труд“ лишь несколько страниц посвящены тому периоду, когда она училась в университете. Эти годы В. Н. были описаны ранее с значительно большей полнотой, но все ее рукописи остались в 1915 г. за границей. (См. предисловие ко II т. „Запечатленного труда“). Через 7 лет В. Н. рукописи получила и с ее разрешения мы воспроизводим теперь в журнале текст тех глав ее воспоминаний, которые лишь в очень незначительной части использованы автором в I т. „Запечатленного труда“.

Ред.

Цюрихские кружки и библиотека.

После того, как в 68 году Сулова и Бокова кончили медицинский факультет в Цюрихском университете, другие русские женщины пошли по их следам. Но число студенток не превышало 15—20 вплоть до 72 года, когда не из одной Казани, а с сестрой, но из разных углов России многие женщины поспешили в Цюрих. Таким образом, в весенний семестр этого года в университете и Политехникуме оказалось 103—105 имматрикулированных студенток. Но это была лишь часть колонии учащихся в Цюрихе, а всех, говорящих на славянских наречиях, насчитывалось не меньше 600 человек.

Наиболее многочисленны были поляки, но среди них была лишь одна учащаяся женщина; далее шли мы, русские, и среди нас большинство составляли женщины. Некоторое количество сербов и болгар обоего пола также слушали лекции в университете, и, наконец, была в Цюрихе довольно заметная группа мужчин и женщин с Кавказа.

Все эти национальности не были объединены в одну общую, хотя бы рыхлую, организацию, но, сплоченные каждая в отдельности, жили своей особой внутренней жизнью. От сербов и болгар нас отделял язык, а поляки и до сих пор держатся за границей особняком от русских. Наиболее близкими нам были кавказцы, но и у них была своя группировка, свои общие и общественные интересы, о которых русское большинство ничего не знало.

Центром притяжения русской учащейся молодежи была русская библиотека и кружок молодых эмигрантов, которые основали ее за год или два до нашего приезда. Эти эмигранты: Росс, Смирнов, Эльсниц, Гольштейн и Ралли покинули Россию незадолго до 72-го года: четверо после того, как за студенческие беспорядки были исключены из высших учебных заведений, а пятый — Ралли, бежал из административной ссылки по нечаевскому делу. Среди внезапно нахлынувшей зеленой молодежи они являлись старожилыми и как бы ветеранами колонии, далеко превосходя нас образованием, опытом и политическим развитием. Познакомившись в Швейцарии с Бакуни-

ным, жившим в Локарно, Эльсниц, Гольштейн, Ралли и Росс составили, по инициативе Бакунина, кружок анархистов, „пятерку“, в которую входил и сам Михаил Александрович. В своем местожительстве — Цюрихе — они основали среди сербов и болгар славянскую секцию Интернационала — „Славенски Завес“, а среди поляков — общество, носившее название: „Товариство социальнo-демократычне польске“¹⁾ с анархической программой, написанной Бакуниным. Часть учащихся женщин, прибывших раньше нас в Цюрих, уже сплотилась около Бакунинского кружка эмигрантов. Сообща с ними, они заведывали библиотекой, открытой для всех учащихся, и потом помогали организации тайной типографии, которую задумали устроить бакунисты для издания произведений Михаила Александровича. Таким образом, с одной стороны, мы нашли довольно богатую и хорошо подобранную библиотеку, забронированную от вторжения новых элементов уставом, выработанным основателями, а с другой — вполне готовую сплоченную организацию, законспирированную от новичков, только-что явившихся из России. И та, и другая сыграли большую роль как в истории нашего духовного развития, так и вообще в нашей общественной жизни в Цюрихе. Библиотека была настоящей молчаливой школой пропаганды. Помимо всевозможных книг и периодических изданий, щедро присылаемых из России во имя молодежи, учащейся на чужбине, библиотека заключала превосходное собрание книг и изданий на французском и немецком языках по всем общественным вопросам, по истории и политической экономии. В ней была представлена вся заграничная запрещенная русская литература и были налицо все главные лучшие сочинения по западно-европейскому социализму. На столах читальни в „Бремершлюсселе“, дом, где помещалась библиотека и жили многие из кружка бакунистов, можно было найти не только русские журналы и газеты, но и все органы рабочей прессы Германии, Австрии и Швейцарии. Подбор книг, вновь выходящих брошюр и газет был таков, что невольно останавливал внимание на социальном вопросе и рабочем движении, уже тогда занимавшем громадное место в западно-европейской жизни. Тот, кто дома и не слыхивал, что на свете существует социализм и происходит борьба труда и капитала, не мог не задуматься над задачами рабочих организаций, читая о конфликтах в сфере промышленности, о стачках, рабочих союзах, конгрессах Международного Общества Рабочих и т. п. Новые мысли и перспективы открывались уму, новые интересы захватывали и, путем печати, мы молчаливо приобщались к великому движению. Кроме удовлетворения своих умственных запросов и собственной потребности следить за социалистическим движением, старшее поколение Цюрихской колонии, разумеется, имело в виду воспитательное влияние на вновь прибывающую молодежь. И эта цель легко достигалась как содержанием библиотеки, так и благодаря всему строю окружающей свободной жизни швейцарской республики. Заброшенные на чужбину, потому что не доверяли прочности и компетентности тех курсов „ученых акушерок“, которые были открыты в Петербурге и составляли зародыш будущего Женского Медицинского Института, изъятые из серых будней русской жизни и охлаждающих влияний старших членов семьи, мы, естествен-

¹⁾ Об эфемерном существовании и неудовлетворительном составе этих двух организаций, программы которых были написаны самим Бакуниным, см. в Сборнике „О минувшем“ статью Ралли: „Из моих воспоминаний о М. А. Бакунине“, 1908 г.

но, устремились к свету, к миру новых идей, раскрывавшихся перед нами. Все было ново и неожиданно в той литературе, которую мы находили в библиотеке, как все было ново и неожиданно в стране народоуправства, о которой лишь кое-что можно было прочесть на родине, а тут, на практике, мы познавали в ней блага свободы слова и организаций и видели высокий культурный уровень народа, который всем этим пользовался. Библиотека и жизнь показывали, что изучать нужно не только медицину, но и общественные науки. Что такое социализм? Откуда он явился, чем вызван и какие фазы прошел в своем развитии? Рабочий вопрос, рабочее движение, Лассальянский Всеобщий Рабочий Союз в Германии, тред-юнионы Англии, профессиональное движение в Швейцарии... Интернационал, с его грандиозной организацией и программой; восстание и подавление Парижской коммуны; восстание в Барселоне... Все было новизной, во всем мы были несведущи, и недочеты в образовании необходимо было пополнять. Политическая экономия, история культуры, возникновение религии, семьи, собственности и государства — все было неведомым царством и обратиться ко всему этому было гораздо важнее, чем учиться логически говорить в отсутствии подавляющего авторитета мужчин ¹⁾.

Были у студенчества некоторые общие материальные нужды. Лишь немногие из приезжавших в Цюрих в 72 г. принадлежали к богатым семьям. При высокой плате за учение, в особенности за практические занятия, при дороговизне учебников, громадное большинство студенчества должно было соблюдать строжайшую экономию на одежде, жилище и питании. Но вопросы материальные шли мимо нас. Была устроена своя кухмистерская, но она не играла в общей жизни никакой роли. Вопрос, что есть, что пить и во что одеваться никого не занимал. Другое дело область умственная — здесь каждый спешил обогатиться и, кажется, не было никого, кто не занимался бы в библиотеке.

Кроме тех организаций, о которых уже упоминалось — болгарской, польской и кружка анархистов-бакунистов, державших в своих руках библиотеку, остальная масса учащихся скоро распределилась по двум направлениям. К одному тяготели студентки старших курсов, специализировавшихся на учебных занятиях, и материально лучше обставленные. Их шутливо окрестили спокойно-либерально-буржуазной партией. Остальные, главным образом первокурсницы, отличались явно радикальной окраской и, стремясь к самообразованию в духе социалистическом, составляли отдельные кружки. Как-то само собой — кто жил в одном доме, или у одной и той же квартирной хозяйки, те, кто сидел рядом на лекциях или за одним и тем же препаратом в анатомическом зале, или вместе штудировал анатомию и гистологию, соединялись в группы для целей, стоящих вне медицины или другой избранной специальности. Наиболее выдающимися среди мелких и незаметных групп были два кружка, впоследствии работавших в России в качестве революционных организаций. Один кружок составляли так называемые „Сен-Жебунисты“. В него входили три брата Жебуновых, Глушкова, Блинова, Трудницкий, Макаревич и Анна Розенштейн ²⁾. Самое название, шутливо намекавшее на неутомимых ораторов этого кружка, было дано в па-

¹⁾ Намек на женский фереин. См. I ч. „Запеч. труд.“

²⁾ Впоследствии вышла замуж за известного итальянского социалиста Турати.

раллель Сен-Симонистам, о неистовых спорах которых, вплоть до обмороков, мы читали в книге об Анфантене и Базаре. Все члены этого кружка участвовали потом в социально-революционном движении 70-х годов и судились, за исключением Розенштейн, по процессу 193-х. Другим кружком, члены которого судились по процессу 60-ти в 77 году, были „Фричи“ — студентки, объединившиеся около Бардиной и получившие свое название от имени хозяйки-швейцарки, у которой некоторые из них жили. В этом кружке участвовали: моя сестра Лидия, Варвара Ив. Александрова (впоследствии — Натансон), две сестры Любатович, три сестры Субботины, Каминская, Топоркова, Аптекман, а позднее и я. Кружок задался целью изучения социального вопроса, начал политическую экономией по Миллсу с примечаниями Чернышевского, а затем участники распределили между собой творения социалистических теоретиков для реферирования в историческом порядке: Томаса Моруса, Кампанеллу, Роберта Оуэна, Фурье, Кабэ, Сен-Симона, Прудона, Луи-Блана, Лассаля. Затем, таким же образом проштудировали историю народных движений и революций. А чтобы следить за современным рабочим движением, распределили между собой социалистические газеты: немецкие, австрийские и швейцарские с тем, чтобы на еженедельных кружковых собраниях делать доклады о всех важнейших событиях в рабочем мире.

Лавров и Бакунин.

Осенью 72 года в Цюрих приехал П. Л. Лавров, эмигрировавший за 3 года перед тем из административной ссылки в Вологодской губ. Его приезд, как автора „Исторических писем“, как ученого и эмигранта, произвел в колонии большую сенсацию. Поселился он в доме, где жили: Смирнов — кассир библиотеки, Идельсон, бывшая библиотекарьшей и несколько девушек из среды „Фричей“. Целью приезда Лаврова было основание тайной русской типографии и печатание журнала, принявшего название: „Вперед“.

Известно, что первоначально Лавров имел в виду приглашение и Бакунина в состав редакции предполагаемого подпольного журнала. Но первый набросок программы журнала, написанный Лавровым и посланный Бакунину в Локарно, был отвергнут последним, как совершенно неревolutionный. Не удовлетворил его и измененный второй проект и при личном свидании в Цюрихе между обоими произошел окончательный разрыв. Лавров и Смирнов стали во главе будущего „Вперед“, а сторонники Бакунина: Эльсниц, Росс, Ралли и Гольштейн поспешили осуществить свой проект основания собственной типографии в Цюрихе, чтобы тотчас приступить к печатанию книги Бакунина: „Государственность и Анархия“.

Так, в Цюрихе образовались две типографии, выпускавшие потом два ряда изданий, которые выявили революционные направления, характерные для 70-х годов: пропагандистское, представителем которого явился Лавров, и бунтарское, окрещенное именем Бакунина. Около каждой типографии была своя группа учащих женщин, а вскоре и вся Цюрихская колония распалась на две враждебные части. Поводом для этого послужила русская библиотека, точнее, вопрос об управлении ею.

Небольшая группа молодых эмигрантов, основавших библиотеку, выработала и приняла устав ее, как общественного учреждения, еще

в эпоху, когда число учащихся в Цюрихе было незначительно. Состоя из людей уже определившихся, они хотели придать библиотеке характер общеобразовательный и, вместе с тем, сделать из нее школу для выработки социалистического мировоззрения. Чтоб обеспечить такой характер цюрихского книгохранилища, они создали правила, отдававшие все управление библиотекой в руки членов библиотеки, которыми являлись они сами и те, кого путем баллотировки они потом кооптировали, как подходивших к ним по направлению. С другой стороны, всякий, желающий пользоваться книгами библиотеки, мог, за определенную плату, записаться в число читающих, подобно тому, как это делается в обыкновенных коммерческих библиотеках.

Все управление и ведение библиотечного дела, как-то: сношения с Россией (с редакциями, издательствами и частными лицами-жертвователями), выбор и выписка газет, журналов и книг, распоряжение всеми денежными средствами библиотеки, выбор должностных лиц, контроль над ведением дел, выбор новых членов и пр. — все было исключительно в руках членов, а читательская масса оставалась совершенно бесправной; она могла высказывать лишь свои „пожелания“ в книге, специально для этого положенной в читальне. Между тем, с приездом множества женщин в 72 г., численное соотношение (и, сообразно этому, приток библиотечных средств) между членами с одной стороны и читающей публикой с другой, сделался совершенно несообразным: членов было 20—23, а читающих 100—120 чел.

Сначала, по приезде, никто не всматривался в свои права, или свое бесправие — так все были рады, неожиданно найти в Швейцарии библиотеку с русскими газетами, журналами, с большим выбором хороших русских и иностранных книг. Без этого трудно было бы существовать и, вероятно, тотчас пришлось бы сообща думать о подобном учреждении. И все спешили воспользоваться тем, что создали предшественники, тем более, что состав библиотеки не оставлял желать лучшего.

Но мало-по-малу вскрылась ненормальность того, что библиотека, считающаяся общественной, пополняемая пожертвованиями из России и средствами читающих, является делом кружка, а большинство учащихся, именем которых она создается, остается пассивным элементом в своем собственном деле. По мере того, как мы подростали в умственном и общественном смысле — чему, как нельзя более, способствовала сама библиотека — все более странным казалось устранение всех нас от общего дела. Опасение, что библиотека может переменить направление и сделаться узко научной или библиотекой легкого чтения, если к управлению ею будут допущены все подличники, являлось несостоятельным по явной симпатии к социализму со стороны всей учащейся молодежи. „Уравнение прав“ — сделалось лозунгом среди нас, и необходимость пред‘явить к „членам“ библиотеки требование уравнения — стала предметом оживленной агитации. Бардина написала в этом смысле горячую статью в книге жалоб, как мы называли книгу заявлений, лежавшую в читальне. Взяв энграфом красивую фразу из соч. Лассаля: „Der Sturm brach los, das Volk stand auf...“ от имени всех „читающих“, она формулировала общее недовольство и выставила справедливость требования при равных обязанностях иметь и равные права.

Наши желания казались так понятными и справедливыми, что мы ждали, что члены сделают уступку общественному мнению и не

захотят остаться маленькой кличкой, возбуждающей общее неудовольствие. Был составлен ультиматум, пред'явленный библиотечному правлению для рассмотрения на общем собрании членов.

В случае отказа в уравниении прав, мы, читающие, решили выйти из библиотеки и основать свою собственную на началах равноправия.

По уставу, на общем собрании членов, читающие имели право присутствовать в качестве публики. Поэтому, в решительный день, зал в Брюмершлюсселе был полным-полнехонек мобилизованными силами обеих сторон. На одном конце стола заседало человек 20—23 действительных членов, а сотня недовольных заполняла остальное пространство. Прений долгих не было, потому что члены очень хорошо знали все неудовольствия и требования, а решение не уступать—было у них уже предрешено. Так, среди общего возбуждения, на наши желания был произнесен отказ, и, когда раздалось: „нет!“—все возмущение вылилось наружу. Среди гула негодования кто-то произнес: „Господа, мы все выходим из этой библиотеки и организуем сейчас же свою новую“. Тут, как по сигналу, все двинулись вон. Тщетно Росс вскочил на стол и, жестикулируя, пытался сказать что-то, думая удержать публику. Никто не слушал, считая дело решенным.

На улице было решено тотчас же устроить собрание для принятия дальнейших решений. Несколько человек побежали вперед, быстро наняли помещение и вернулись указать его. Собрание состоялось многолюдное и оживленное: его целью было оборудовать материальную сторону новой, необходимой для всех, библиотеки. Было решено, все книги, какие есть у кого на руках, не сдавать в старую библиотеку, а, как общественное достояние, передать в новое учреждение. Кассир старой библиотеки (Смирнов) и библиотечарша (Идельсон) были во время распри все время на нашей стороне и вместе с нами ушли из Бремершлюсселя. Они заявили, что деньги и книги, имеющиеся у них, они передадут нам. Так, нам достались те 10 пудов книг, которые только-что прибыли, как пожертвование из России. Был пущен подписной лист для приобретения книг и тотчас был испещрен значительными суммами. В момент общего под'ема было внесено предложение, обеспечить новорожденное учреждение постоянным помещением и для этого ни больше, ни меньше—купить дом. Подписка на это предприятие тотчас же дала 10—15 тысяч франков, при чем главный взнос был сделан богатыми орловскими помещицами Субботинными, из кружка „Фричей“.

На этом учредительном собрании присутствовал и П. Л. Лавров, солидаризировавшийся с нами.

Дом, действительно, был куплен несколько времени спустя: небольшой, двухэтажный, он находился в переулке, примыкающем к Пляттенштрассе, на которой ютилось большинство студенток и студентов. Он стоил 90 тыс. франков или около этого, но так как был заложен, то приплата наличными была не более 10 или 12 тыс. Колонии приходилось затем только уплачивать проценты; они покрывались платой за комнаты верхнего этажа, сдававшиеся в наем, и платой за помещение библиотеки и кухмистерской, устроившихся внизу. Внизу же происходили все последующие общественные собрания, лекции и т. п. В верхний этаж перебрались многие из „Фричей“; там жила и я.

В Русском Доме жизнь закипела во всю, а внизу, каждый вечер, была публика. П. Л. Лавров читал здесь свои лекции по исто-

рии мысли. Тут же он начал читать курс высшей математики, кончившийся плачевно: кучка слушателей, вначале довольно многочисленная, начала таять, не по дням, а по часам, и когда их осталось трое, то, по предложению самого лектора, занятия были прекращены.

По вечерам образовалось нечто вроде клуба: собирались желающие поговорить о чем-нибудь. Иногда заходил и Лавров. Но чаще бывали различные деловые собрания: по библиотеке, кухмистерской или по поводу всевозможных проектов, которые предлагались колонии в изобилии некоторыми любителями. Так, обсуждался вопрос об организации бюро труда. Почвы для такового не было никакой, так как тогдашний состав учащихся, хотя не щедро, но все же был обеспечен средствами из России; ни спроса на наш труд в Цюрихе, ни связей в России для какого-нибудь литературного заработка — не было; так все дело и кончилось разговорами. Те же инициаторы думали, что в Русском Доме необходимо устроить различные мастерские. Не могу сказать, для заработка, или для физического упражнения? Кажется, ради принципа соединения умственного труда с физическим. Проект, после продолжительных дебатов, остался втуне — никаких мастерских не завели и, вероятно, они пустовали бы, так как университетские занятия отнимали много времени, а ведь именно для них-то мы все и приехали в Швейцарию. Много речей было также об объединении всего русского студенчества, находящегося за границей. Но и это было пустопорожним разговором. В Швейцарии, в то время, кроме Цюриха были две студентки в Берне; в Париже тоже учились только две русские. Вообще, по теперешнему количеству русских в высших учебных заведениях Бельгии, Франции, Германии, Италии и Швейцарии, трудно и представить себе, как мало их было в начале 70-х годов. Объединять пришлось бы лишь одиночек, рассеянных кое-где в Европе.

Наконец, когда в Барселоне произошло восстание под флагом анархо-федерализма, то по этому поводу тоже было собрание и оно снарядило разведчика, чтобы иметь первоисточник, который доставлял бы сведения о ходе событий и степени распространения движения. Насколько помню, наш делегат, как уехал в Испанию, так словно в воду канул, и никаких сведений нам так и не доставил.

Все наши обсуждения требовали много времени, и „Фричи“ неохотно участвовали в этой толкучке. Но я, обыкновенно, присутствовала и иногда со скандалом. Так, однажды, меня выбрали председательницей и, несмотря на сопротивление, мне пришлось занять место за председательским столом. Лились бесконечные речи: предложения, контр-предложения, замечания и возражения. Долго и скучно ораторствовала будущая докторесса г-жа С., и, признаваясь, в этом многоглаголаньи было много вздора. Председательница долго слушала, но, наконец, не выдержала и, ударив кулаком по столу, произнесла: „Вот, дура!“ Произошло замешательство. С., обратившись к собранию, протестовала, что председательница бранится. Нечего и говорить, что я сама была сконфужена своей несдержанностью и поспешила заявить, что, не обладая терпением и спокойствием, необходимыми для председательства, прошу выбрать вместо меня кого-нибудь другого. После этого я уж на веки-вечные избавилась от неприятного поста и сидела скромно в рядах публики.

В другой раз я сделала большую неловкость в клубе. Кто-то из „Фричей“ дал мне первоначальную программу нелегального издания, предпринятого Лавровым. Громадное различие между ней и той

программой, которая легла в основание „Вперед“, при чем обе были написаны самим Лавровым, до крайности возмутили меня. Последняя говорила о социальной революции, которая изменит весь строй жизни человечества а первая, не касаясь вопросов экономических, была в политическом отношении конституционной и отличалась полнейшей умеренностью: требуя культурной подготовки молодежи перед началом какой-либо пропаганды в народе, эта программа признавала, что и прокурор, и судебный следователь могут быть полезны делу служения народу. Считая, что программа журнала должна быть исповеданием веры составителя, я не могла примирить различия в содержании этих двух программ. Мне казалось невозможным, чтоб на протяжении самого короткого времени один и тот же человек мог предлагать, верить и защищать столь различные взгляды. Меня возмущал этот вольт руководителя журнала; я видела в нем неискренность и полное отсутствие твердого убеждения. И, вот, с молодой прямолинейностью и откровенностью, держа в руках злополучную первую литографированную программу, я обратилась в клубе, при всех, к Лаврову с наивным вопросом, как совместить эту программу с содержанием последней программы „Вперед“? Выпавив это, я тотчас увидела, что сделала бестактность: наступило неловкое молчание; а затем, Петр Лаврович, как мне показалось, не без некоторого замешательства, сказал: „Здесь не место обсуждать это“. Я поняла, что вопрос был неприятен, поэтому не поднимала его потом и в частном разговоре, а Петр Лаврович тоже никогда не возвращался к нему¹⁾.

Существование 3-х программ (так-как, кроме двух упомянутых, была и третья, промежуточная между первой и последней) не мало волновало цюрихскую колонию, вызывая недоумение и недовольство не у меня одной. Сам Лавров, в книге „Народники-пропагандисты 73—78 годов“, по поводу их пишет: „На меня сильно нападали за эти три различные программы „Вперед“. Эти нападки были бы вполне справедливы в том случае, если бы в этих программах, во всех трех случаях, имелась в виду одна и та же цель. Но дело было совсем иное. Первая программа, была программой предполагавшегося издания, исходящего из русского литературного радикализма 60-х годов, выступающего теперь, как боевая партия в подпольной литературе, в 72 году. Личные мнения редактора были здесь элементом второстепенным. Вторая программа, была программой издания, которое, не подчиняясь многим пунктам бакунизма 72 года, имела в виду сохранить единство социально-революционного движения в России в принципиальном отношении: личные взгляды редактора могли в ней проявиться лишь в той мере, в какой они не вредили этому единству. Лишь третья программа была личною программой редактора, принявшего полную и исключительную ответственность за помещение в издании одного и за непомещение другого“ (стр. 61. П. Л. Лавров „Народники-пропагандисты 73—78 годов“. Изд. Розенфельда, П. Б. 1907 г.).

Если бы эти строки были опубликованы тогда же, в 73 г., они все же не устранили бы нападков, потому что оставили бы неизблемым факт, что Петр Лаврович соглашался быть редактором журналов трех различных направлений и собственноручно составлял для них программы.

¹⁾ Историю 3-х программ, написанных Лавровым, можно прочесть в его книге: „Народники-пропагандисты 73—78 гг.“. Сравнить также статью Ралли в сборнике „О минувшем“ (1908 г.), под заглавием: „Из моих воспоминаний о Бакунине“. Стр. 290—292.

Вышеописанный демонстративный эпизод в клубе не испортил однако моих дальнейших отношений с Петром Лавровичем. Раз в неделю у него был жур-фикс, на который сходилось человек 8—10; между ними бывала и я. Посетители были всегда одни и те же: из мужчин—князь Александр Кропоткин—брат Петра Алексеевича, а из студенток—„Фричи“. На жур-фиксах всегда царствовала скука: никогда не поднималось ни одного общего вопроса, не происходило ни одного интересного теоретического спора. Не умели мы, что ли, подойти к старику-ученому, и стеснялись его возраста и его учености—только не было ни простодушной веселости, ни работы для мысли на этих натянутых вечерах. С наибольшим оживлением прошла беседа, когда Петр Лаврович неожиданно сообщил, что И. С. Тургенев намерен приехать в Цюрих, чтобы познакомиться с заграничными студентками и запастись материалом для замышляемого романа. Лавров сказал, что думает представить знаменитому писателю нас—присутствующих. Тут все мы, сколько нас было, закричали и замахали руками, объявляя, что не желаем подобных „смотринок“ и ни за что не пойдем к Тургеневу. Отпор был такой энергичный и единодушный, что по тому или по другому, проект рухнул: Тургенев из Парижа так и не приехал, и мы в роман не попали. Роман, который собирался писать Тургенев, вылился потом в „Новь“.

Говоря вообще, личных влияний на молодежь в Цюрихе было мало. Это покажется странным наряду с такими именами, как Бакунин, Лавров. И все-таки это так: влияние идей—вот что было могущественно. С Петром Лавровичем все были далеки, кроме Смирнова и Идельсон, которые жили с ним на одной квартире, студента-медика Гинзбурга, довольно долго жившего в Цюрихе, и Подолинского, которого Лавров не раз упоминает в своих воспоминаниях. К личности Лаврова относились с почитательностью, но при этом не было ни теплоты, ни горячности. Другое дело—Бакунин. Его, как неукротимого борца-революционера, а не мыслителя, лелеяли мы в своей душе. Он, а никто другой, возбуждал энтузиазм, и, в общем, можно сказать, что все мы, включая „Фричей“, набравших первый том «Вперед», были анти-государственниками в смысле Бакунинском и увлекались поэзией разрушения в его листках и орошениях. Под влиянием его статей; мы верили в творческие силы народных масс, которые, стряхнув могучим порывом гнет государственного деспотизма, создадут самопроизвольно, на развалинах старого строя, новые справедливые формы жизни, идеал которых инстинктивно живет в душе народа. Расстояние отделяло нас от всемирного бунтаря и разрушителя: он жил в Локкарно, куда к нему из Цюриха наезжали только близкие приверженцы и ученики из ранней русской колонии. Иногда, впрочем, приезжал в Цюрих и он сам: ведь были же у него вначале переговоры с Лавровым о журнале, а в руках Росса, Ралли и К-о была типография для печатания его произведений. Но все это было за спиной широкой публики, было скрыто тщательной конспирацией от ее глаз. Разрыв со старой библиотекой, с Бремершлюссельцами, оставшимися верными ей, совершенно отрезывал нас от личного общения с тем, кто был тогда для нас наиболее желанным учителем. Вообще, как величавая тень, проходил он где-то по близости от нас в Цюрихе. Его колоссальную фигуру с львиной головой я видела лишь однажды на улице, но „Фричи“ присутствовали на конгрессе в St. Imier, где был Бакунин. Но не беда: любовь и удивление к нему не переставали жить в нас. Так, в истории русской революционной колонии

в Цюрихе случилось, что бакунисты по идеям и темпераменту группировались, скорее, около Лаврова, а не около Бакунина, и помогали изданию „Вперед“, а не работали в типографии, печатавшей произведения Бакунина.

Выдача Нечаева.

Осенью 72 года, благодаря предательству поляка Стемпковского, в Цюрихе был арестован Нечаев, а потом выдан русскому правительству. О пребывании Нечаева в Цюрихе и его подпольной деятельности за границей—студенческая масса ровно ничего не знала. Известие об аресте и о том, что русское правительство требует выдачи Нечаева—упало нам, как снег на голову, и, удивительно, несмотря на нашу легкую возбудимость, оно не вызвало никакого особенного волнения. Зашевелились только близкие к Бакунину лица, имевшие сношения с Нечаевым, когда он скрывался в Цюрихе. Они издали небольшое воззвание к „Швейцарскому народу“ на немецком языке и созывали собрания рабочих с целью протеста против ареста и для разъяснения политического характера деятельности Нечаева, по которой он не подлежал выдаче России. Все было тщетно: агитация имела совершенно ничтожные размеры и не могла иметь влияния на швейцарское правительство. Прошел месяц, в течении которого шли переговоры между федеральными властями швейцарской республики и представителями самодержавной Российской Империи и на основании обещания, что за убийство Иванова Нечаев будет подвергнут суду, как уголовный, — он был выдан и увезен в Россию. Был между нами слух, что по дороге из тюрьмы на вокзал замышлялась попытка отбить Нечаева, и в воспоминаниях Ралли есть указание, что он тоже должен был принять участие в этом деле, но Бакунин не сочувствовал попытке и удалил Ралли из Цюриха, дав ему поручение в Яссах ¹⁾. Окруженный со всех сторон вооруженной стражей, Нечаев, без инцидентов, был препровожден на вокзал, и его судьба совершилась. Из студенток сильно волновалась только одна Южакова, бывшая и тогда и после яркой якобинкой; мы, остальные, можно сказать, и пальцем не пошевелили. Были ли мы недостаточно развиты политически, чтобы так или иначе активно реагировать на совершившееся нарушение права убежища в республике, в стране свободного народа, или это зависело от того, что мы чувствовали нравственное отвращение к кровавому делу в гроте Петровско-Разумовского парка — трудно сказать. Последнее, быть может, вернее. Ведь никто в то время не верил, что убитый Иванов был предателем; а политика Нечаева, его „цель оправдывает средства“ отталкивала от него решительно всю молодежь. Симпатии к Нечаеву, как к человеку известного нравственного облика, ни у кого не было. Подняться же над осуждением Нечаева, как общественного деятеля и человека, подняться во имя права, против лицемерия правительства могущественного государства и вероломства слабого—в ту эпоху мы были, видимо, не в состоянии.

Так кончилась эта печальная история, в которой мы выказали полное безучастие.

¹⁾ Сборник: «О минувшем», статья Ралли, стр. 335.

Вакат 73 года.

Весенний вакат был веселой интермедией. Сложив учебники гистологии и физиологии, мы, студенты, в количестве 8 душ, сели в поезд и двинулись вон из Цюриха—провести несколько недель в новой обстановке. Не знаю, почему мы наметили целью своего путешествия Невшатель, совсем не отличающийся особенно живописным местоположением. Быть может, этот город привлекал тем, что там жил выдающийся член Интернационала, Джеймс Гильом, с которым «Фричи» познакомились на конгрессе анархистов в St. Imier. Однако, мы думали поселиться не в самом Невшателе, а где-нибудь в окрестностях, которые предполагали исходить пешком.

По приезде в Невшатель, прежде всего надо было утолить волчий аппетит молодых путешественниц. Зашли в ресторан, совершенно пустой, и по домашнему разместились вокруг стола. После супа подают второе: что за диво? всё какие-то маленькие беленькие пожки! Спинка и при ней пара белых пожок. Птички, что ли, какие-нибудь?—педоуеваем мы. Неужели крошечные цыплята? «Что-то подозрительное»... ворчит младшая Любатович. «Неужели истребили столько молодых цыплят?!»—сокрушается Камнистая.

У некоторых «Фричей» были прозвища: младшую Любатович звали «волченком» за урюмый взгляд изподлобы и постоянную ругань чортом и буржуем. Старшую—в шутку—называли «акулой» за ненасытный аппетит; Аптекман прозвали «гусаром» за мужественный вид, а Бардину величали «теткой» за солидность и дипломатические способности.

«Тетка,—зашептали голоса,—спроси хозяина, что это за блюдо? Мы не будем есть, пока не узнаем».

Бардина надевает пенец на свой остроконечный носик и задает вопрос. В ответ мы слышим:

«Ce sont des grenouilles, madame!»

Конечно, никто не притронулся к лягушкам, и хозяин унес блюдо, удивляясь, что мы пренебрегаем подобным деликатесом.

Встав довольно палежке из-за стола, и посмеявшись над своим невежеством относительно лягушек, мы отправились гуртом в обход окрестностей, сопровождаемые стаей уличных мальчишек, которые, при виде нашего «гусара» кричали: «Ce n'est pas une femme—c'est un homme!»...

В 3—4 километрах от города, на берегу Бденнского озера мы попали в местечко Лютри. Селенье—маленькое, невзрачное, а озеро—изо всех виденных озер Швейцарии—самое плохонькое. Берега лишены лучшего украшения швейцарского пейзажа—гор, а вода не имеет ни синего, ни зеленого цвета, свойственного озерным водам этой страны. Но, как ни ничтожна деревушка, в ней оказался пансион для молодых девиц, в данный момент распущенных на вакат. Мы позвонили туда. Вышла особа, похожая на классную даму наших институтов: старая дева, в очках, с педагогически строгим выражением лица: M-elle Auguste—начальница и руководительница пансиона.

Никому из нас не было более 21 года, многие были коротко острижены и казались моложе своих лет—могли, пожалуй, сойти за свежий выводок тех же пансионеров, о которых пеклась мадамгазель Огюст. Осмотрев нас критическим взором и расспросив кто мы и каковы наши намерения, она ушла посоветоваться с матерью, добродушной старухой, которая вела хозяйственную часть этого воспитательного заведения, и вернулась с благоприятным ответом. За очень умеренную плату мы водворились в этой тихой обители юных душ. В нашем распоряжении был дортуар—две комнаты с 8 кроватями; обедали мы в столовой, где нас кормили довольно скудно, и весь день могли проводить в саду. Слученные в дортуаре, мы не тяготились теснотой, и было весело, лежа в постели, вечером и утром, болтать и шутить, задирая друг друга. Стрелы направлялись порой на «тетку», порой на «волченка», но всего чаще на «гусара», у которого мы находили смешные странности.

«Гусар! Который час?»—кричит, бывало, кто-нибудь утром из-под одеяла. Гусар молчит, хотя не спит и часы от него приближаются.

«Гусар!» рычит волчонок, «да отвечай же!»

Гусар, однако, ни гу-гу. Возгласы удваиваются.... Тщетно!

Наконец, словно шипенье старинных степных часов, под дружеский хохот всей компании, раздается:

«Вы знаете,—по утрам я не говорю!»... И только.

Который час—так и остается неизвестным.

В Невшателе была секция Интернационала: во главе ее стоял уже упомянутый Гильом, по профессии преподаватель средней школы. Вместе с Швицгелем и Спихигером он руководил Юрской Федерацией Международного Общества рабочих в Швейцарии. За полгода перед тем, в сентябре 72 года, в Гааге состоялся общий конгресс Интернационала, имевший громадное значение на всю последующую историю его. Конгрессисты большинством голосов подчеркнули необходимость политической деятельности для пролетариата, укрепили власть Генерального Совета Интернационала, но, вместе с тем, постановили перенести местопребывание его в Нью-Йорк. Строго осудив Alliance de la democratie socialiste—тайную организацию, которую Бакунин завел в недрах Международного Общества, Гаагский конгресс исключил из числа членов общества как Бакунина, так и Гильома. Юрская Федерация, бывшая детищем этих деятелей, протестовала против всех решений конгресса и стала центром, около которого мало-по-малу сгруппировались как все недовольные политикой Генерального Совета, которым управлял Маркс, так и в особенности те Федерации, которые, под влиянием анархических идей Бакунина, совершенно исключили какое бы то ни было участие рабочего класса в политике (Итальянская, Испанская, Бельгийская федерация). И если Santo maestro—Бакунин имел в Италии и Испании целую плеяду учеников и горячих последователей (Малатеста, Коста, Кафферо, Фанелли, Алерини, Фарга и др.), то во французской Швейцарии правой рукой его был историк Интернационала, Джемс Гильом, в котором, наряду с преданностью Бакунину, целые десятилетия не могли погасить жгучей ненависти к Карлу Марксу.

В то время в немецкой Швейцарии Интернационал был развит слабо и движению рабочего класса шло, скорее, в сторону профессиональных союзов и *Bildungsvereine*'ов. В этой области уже тогда выдающееся место занимал Грелих, столь известный теперь член Федерального Совета Швейцарской Республики. В Цюрихе, который далеко не был таким крупным промышленным центром, каким он является теперь, я даже не помню, чтобы кроме славянской секции Интернационала была и Швейцарская. В Берне, куда я переехала из Цюриха, я почти ежедневно посещала заседания местной секции; она была крошечной: на собраниях бывало человек 7—8 рабочих, не больше. Между тем, организатором ее был очень деятельный, образованный французский изгнанник Брусс, учившийся одновременно со мной медицине в Бернском университете, и в секцию заглядывал знаменитый Элизе Реклю, производивший своею личностью чарующее впечатление. Большее распространение имел Интернационал во французской Швейцарии, сосредоточиваясь в местности, занятой часовым производством. Секции Локля, Шо-де-фона, Сонвилле, Невшателя и др. и составляли Юрскую федерацию, бывшую одно время, благодаря центральному положению Швейцарии, чуть не главным очагом анархического Интернационала. Тут-то главными деятелями были: Швицгелем, Спихигер и Джемс Гильом. Художавая фигура с крупными правильными чертами лица, одухотворенного выражением кроткой грусти, Гильом производил привлекательное впечатление. Невшательская секция, в которой он был главным деятелем, не отличалась многочисленностью членов. Но это только при теперешнем размере рабочего движения кажется ничтожным, а тогда все казалось нам грандиозным и в высшей степени многообещающим. Из Лютри до Невшателя—рукой подать, как же было

не пойти на заседание секции, послушать Гильома и те прения, которые будут происходить между рабочими, а потом разойтись под пение революционной Карманьолы.

И вот, в один злополучный вечер, наши друзья, действительно, отправились в Невшатель. Дома остались только двое: я да еще кто-то. И вышел скандал на все Лютри: русские взгляды вошли в конфликт с швейцарскими правами.

Заседание секции началось, конечно, не раньше 8—8½ часов вечера, когда кончается рабочий день и ужин, и продолжалось до 11-ти. А потом надо было пройти еще 3—4 километра, чтобы добраться до Лютри. Наша деревенька уже потонула во мраке: ведь, поселяне всюду рано ложатся спать. Потухли огни и в нашем пансионе. На деревенской колокольне пробило 10—роковой час, когда все порядочные люди в Швейцарии должны быть в постели. А наших барышень—все нет! Половина 11-го... 11-ть... Встревоженная M-elle Auguste входит к нам и начинается объяснение: Молодым девушкам неприлично ходить по почтам. Наши подруги компрометируют не только себя, но и учебное заведение, принявшее их... Кто захочет после такого скандала отдать свою дочь в пансион M-elle Auguste? Двенадцатый час, скоро полночь, а барышень, принятых в дом, все еще нет...

Как на грех, поднимается гроза, и дождь начинает поливать землю. Мать M-elle Auguste от беспокойства не может заснуть... Пустой дом, в котором испуганные фигуры беспрестанно бегают к окнам, кажется сам наполненным электричеством. Мы, две оставшихся, на голову которых опрокинулись все жалобы и вопли благонамеренных швейцарских педагогов, сами приходим в первое настроение: чего доброго—не случилось ли и в самом деле чего-нибудь с запоздавшими путниками?! Мы ждем—но дождемся их.

Наконец, они приходят, возбужденные и промокшие... И целый поток упреков низвергается на легкомысленные головы. Никакие дипломатические способности «тетки», всегда выручавшие нас в трудные минуты, не помогли в этой деликатной ситуации, и, если не ошибаюсь, нас попросили в наискратчайший срок оставить тихую обитель, в которую мы внесли такое страшное нарушение общественных обычаев. А может быть, инцидент был предан забвению, так как и всего-то мы думали пробыть в Лютри лишь короткое время.

Но вот что значит сила убеждения: «Гусар» начал пропагандировать M-elle Auguste, и та скоро привязалась к русской девушке и была обращена в социализм. Пугало нигилизма, так резко проявившееся в возвращении молодых студентов домой после полуночи, было опровергнуто и, позднее, M-elle Auguste была готова для Аптекман на всякую, хотя бы и нелегальную услугу.

Конец Цюриха

Указ правительства.

Комично звучали слова Эмме на собрании женского ферейна, что вся Европа смотрит на нас, но что общество и молодежь в России интересовались Цюрихской колонией и в лице отдельных представителей имели тягу к ней—было неоспоримо. Личность Бакунина и Лаврова, с которыми можно было встретиться в Цюрихе, их издательская деятельность наряду с богатой вольной русской библиотекой, привлекали многих; познакомиться с заграничным русским студенчеством и, быть может, присмотреть среди него товарищей для деятельности в России—влекли других. Достаточно упомянуть кн. П. Кропоткина, первое знакомство которого с социализмом произошло в Цюрихе, где учился его родственник: доктор Калян, экономист Зибер, профессор Пресображенский, известный петербургский преподаватель Я. Ковальский и многие другие—побывали в Цюрихе, а с другой стороны—Ковалик, Каблиц, В. Дебагорин-Мокрневич тоже прожил некоторое время в нем. Постепенно, Цюрих де-

дался некоторым умственным революционным центром, которого не хотел миновать ни один русский интеллигент, попавший за границу. Но, кроме глаз благожелательных, на Цюрих устремлялось и недреманное око правительства. И вот, среди общего оживления, когда жизнь в Цюрихе кипела ключем, общественные учреждения стали крепко на ноги, обе тайные типографии энергично работали, и молодежь пользовалась всеми свободами маленькой республики, приютившей ее, пользовалась весело, шумно и беззаботно, как-будто она тут и родилась и останется навсегда—внезапно грянул гром и совершенно разрушил Цюрихскую колонию.

В конце весеннего семестра 73-го года в «Правительственном Вестнике» появилось сообщение относительно цюрихских студенток. Лицемерно соболезнуя увлечениям молодежи революционными коммунистическими идеями и не добрым помня рефераты о Стеньке Разине и Парижской Коммуне, правительство воспрещало студенткам дальнейшее пребывание в Цюрихе, и, в случае упорства, угрожало недопущением к экзаменам в России.

Впечатление от этого распоряжения было удручающее. Цель, ради которой мы приехали в Цюрих и ради которой было сделано столько усилий, отнималась. Затрата сил оказывалась напрасной—в будущем мы лишались возможности практического применения приобретаемых знаний; наши планы общественной деятельности—разрушались... Мало того, правительственное сообщение не остановилось перед грязной клеветой и во всеуслышание объявило, что под видом науки студентки занимаются свободной любовью и применяют свои медицинские познания к истреблению последствий этой любви... Мы, учившиеся в Цюрихе, всего более были оскорблены этим обвинением. То, что нас изгоняли из Цюриха и заставляли раз'ехаться, бросить занятия в университете—было тяжело и горько, но не затрагивало чести.

Обдумав деловую сторону вопроса и вчитавшись в текст правительственного распоряжения, мы легко нашли возможность обойти угрозу: циркуляр упоминал лишь о Цюрихе. В будущем лишались прав только те, кто останется там; о других зарубежных университетах не говорилось ни слова. Переехать в другие города и в них продолжать курс—таково было решение, которое напрашивалось само собой. Оно и было принято теми, кто хотел продолжать учиться за границей.

Но проглотить, молча, обвинение в безправственности—казалось невозможным, и мы непременно хотели протестовать против клеветы, протестовать публично, путем печати.

Созвали общее собрание студенток. Опять мы были только одни женщины, но собрались уж не для того, чтоб учиться говорить логично, а чтобы крикнуть: «Не клеветайте!»

Собрание в Русском Доме было многолюдное. Явились все, даже те, которые, по благоразумию или по множеству заятий, обыкновенно, отсутствовали. Сразу обнаружилось разногласие и противоположность интересов: мы перво- и второкурсницы, фуксы, энергично защищали идею протеста, а спокойно-либерально-буржуазная партия, студентки, близкие к окончанию университета, доказывали бесполезность, нецелесообразность и опасность этого шага. После горячих споров они, наконец, заявили, что, если мы напечатаем протест, они выступят с контр-протестом и подпишут под ним свои имена. Мы были возмущены и моральной стороной такого контр-протеста и самим разногласием, совершенно дискредитировавшим публичное выступление, которое должно было быть общим.

Поздно разошлись мы в эту ночь после бурных и довольно горьких прений. Не только приходилось перенести безропотно публичное оскорбление, но еще пришлось быть битыми своими же товарищами...

Однако, ходил довольно правдоподобный и невольно вызывавший улыбку рассказ, характеризующий двух миролюбия даже у протестанток. В Цюрихе жил некий Владыкин, бывший актер и богатый помещик Пензенской губернии. Попал он в Цюрих потому, что его жена, женщина уже за 40 лет, покинув поместье, приехала, как и мы, в Цюрих изучать медицину, чтобы быть полезной в деревне. Благодаря

тому, что он приехал исключительно ради жены, Владыкин не без юмора называл себя: «*Attaché à ma femme*». Он страшно скучал, проживая без всякого дела и в противоположность жене, которая вся отдалась медицине, был постоянным посетителем всевозможных русских собраний, относясь в высшей степени добродушно ко всей молодежи.

Вот этот Владыкин потом и рассказывал, что, когда после собрания по поводу протеста мы группами расходились по домам,—вместо проклятий и брани по адресу правительства, шеренга «Фричей», с Варей Александровой в центре, пела:

«Вперед без страха и сомненья,
На подвиг доблестный, друзья»...

А. потом:

«Не сотвори себе кумира
Ни на земле, ни в небесах,
За все дары и блага мира
Мы не падём перед ним во прах!»

И, наконец, с особым воодушевлением:

«Провозглашать лю б в и учеье
Мы будем нищим, богачам,
И за него *снесем зюенье*,
Простив озлобленным врагам!».

«*Простив озлобленным врагам*»... повторял с умиленьем Владыкин, видевший в этих строках ответ на гонение со стороны правительства.

Варя Александрова (впоследствии Натансон) была миловидная блондинка с льняными, почти белыми волосами. Коротко остриженные и всегда в лирическом беспорядке, эти волосы составляли вокруг ее лица нечто вроде светозарного венчика. Этот венчик еще более бросался в глаза от восторженного выражения, которое было свойственно лицу: было какое-то сияние и в этом лице, и в этом венчике. Владыкин находил, что Варя похожа на ангела, и этот образ беленького ангела прекрасно гармонировал с Плещеевским:

... . . . *снесем зюенье*,
Простив озлобленным врагам!...

Отповедь правительству за преследование студенток была сделана Лавровым; он выпустил воззвание к цюрихским студенткам, в котором отразил цинические нападки на женскую молодежь.

Раззорили студенческую общину, разрушили все начинания, все группировки, и развеяли нас в разные стороны. Студентки старших курсов остались в Цюрихе, правильно рассчитывая, что, если учащаяся масса рассыплется, они, не уезжая, втихомолку, благополучно копчат курс, и правительство не будет метить этим одиночкам, раз Цюрих, как революционное гнездо, будет разорен. Многие, по разным мотивам, вернулись на родину. Растаяла, как-то рассосалась мужская молодежь. Группа студенток отправилась в Париж, но большинство перешло в Бернский университет и, частью, в Женеву. В Париже в то время две русские уже были на медицинском факультете; тем не менее, получив десяток новых прошений о приеме в университет, министр народного просвещения обратился с запросом в русское посольство и, получив соответствующий ответ, отказал в приеме. Лишь, спустя некоторое время, граф Орлов, познакомившись с бывшей цюрихской студенткой Окуньковой, переменил гнев на милость. По его протекции Окунькова была принята; тогда министр не пашел нужным отказывать и другим. Так были приняты Бардина, моя сестра Лидия, В. Александрова, две Тумановы и другие. Я тоже отправилась

было в Париж, по тотчас после отказа, боясь потерять время, перешла в Бернский университет. Так мы распались на отдельные атомы и группы. Общая жизнь прекратилась; студенчества, как целого, более не существовало. Колония в Берне была наиболее многочисленная, но ничего связующего всех слушательниц там не было, даже практической попытки создать какое-нибудь общественное учреждение среди студенчества в этом городе не возникло. «Революция осталась в шкапах», выразилась г-жа Владыкина.

Это можно было понимать и метафорически и буквально. Как маленький революционный очаг, привлекавший взоры русских, Цюрих пал, чтобы никогда уж не подняться на прежнюю высоту. Обе типографии—Бакунинская и Лавровская—перенеслись со своим персоналом в Лондон. Что касается до революции в виде книжного богатства, то старая библиотека Бремершлоссельцев была по нотариальному акту передана Россом эмигранту Эллидину, жившему в Женеве; некоторое время она функционировала там в качестве обыкновенного частного предприятия. Без общественной поддержки, по малочисленности подписчиков она просуществовала недолго и была закрыта, а впоследствии, после смерти Эллидина, книги перешли ко второй жене его, итальянке, совершенно невежественной. Эта особа по мелочам сбывала редкие издания, ценные книги, которые в беспорядке валялись у нее на чердаке. А Росс был осужден по процессу 193-х, попал сначала в Белгородский централ вместе с Мышкиным и Рогачевым, а потом в Сибирь.

Что касается до другой библиотеки, основанной нами, студентками 72-го года, то она осталась в Цюрихе и на ее страже долго оставалась превосходная библиотечница, Софья Переяславцева, естественница, впоследствии заведывавшая биологической станцией в Севастополе. Много пришлось ей претерпеть на посту при библиотеке. После раз'езда женской молодежи, около библиотеки начались дразги. Оказались недовольные, желавшие сместить Переяславцеву. Междуусобие кончилось скандалом: противники Переяславцевой, взломав замки, проникли в библиотеку. Переяславцева подала на них жалобу в суд... Развал был полный—библиотека явно клонилась к упадку. Общественное учреждение оказалось недолговечным и библиотека в Цюрихе растаяла.

Я слышала, что многие книги со штемпелем этой библиотеки еще существуют в настоящее время в русской библиотеке в Мюнхене, но когда и кем они переданы туда, я не знаю.

Приехав в Берн, мы, несколько «Фричей», не последовавших за товарками, поселившимися в Париже, предлагали нашим бернским коллегам по университету, перевести богатую цюрихскую библиотеку в наше новое местожительство. Без дружной поддержки всех учащихся (нас в Берне было человек 40), она, конечно, в Берне не могла бы существовать. Но наши спокойно-либерально-буржуазные консерваторы наотрез отказались от подобного предприятия. Тут-то я были произнесены характерные слова о «революции в шкапах». «Пусть она, эта революция, останется в шкапах, в Цюрихе, из которого мы из-за нее изгнаны». И она осталась не только в Цюрихе, но именно в шкапах, не переходя в головы читателей: ее роль, как будильника социалистической мысли, была сыграна и отошла в прошлое—я не слыхала, чтобы в дальнейшем библиотека имела такое воспитательное значение, какое она имела в 72—73 годах.

С разгоном цюрихских студенток уже нигде за границей не возникало центра, подобного цюрихскому. В Берне, куда переехала я, царил уже совсем иной дух. Здесь были молодые женщины и девушки из более обеспеченного класса и их одушевляло исключительно стремление к специальному образованию. Они учились добросовестно, с большим рвением, но только одной учебой и занимались. Из них вышли искусные врачи: Зибер (Шумова), Штофф, Симонович-Шор, Берлинерблау, Яковлева, Путята, Шилькова, Зиболд и др. Большинство, выйдя на арену жизни, занималось городской практикой. Если не ошибаюсь, только Яковлева много лет служила в земстве, да Дмитриева, которую за фигуру и рост мы называли Элефантинной, выказала себя па-

стоящей героиней. В сербскую войну, когда под огнем неприятеля мужчины отказывались идти подбирать раненых, она неустранимо шла вперед и своим примером увлекала более робких. Эта часть студенчества, не примкнувшая к социализму и к активной борьбе за свободу, может быть отнесена к числу тех пионерок русского женского движения, которые боролись за равноправие в области высшего специального образования и с блестящим успехом овладевали им. Вообще же говоря, заграничные студентки, в массе, не были поборницами «женского вопроса» и относились с улыбкой ко всякого рода напоминаниям о нем. Мы приехали, не думая о каком бы то ни было пионерстве, не для того, чтобы способствовать фактическому разрешению женского вопроса, он не казался нам даже и требующим утверждения. Это было дело прошлое: равенство мужчины и женщины, как принцип, был приобретением еще 60-х годов, передавшим последующим поколениям богатое наследие демократических идей. Мы, собственно, стремились даже не к высшему образованию, как таковому, считая, что развить ум и обогатить его знанием можно путем самостоятельности, и притом без какого-либо руководства. В этом отношении в нас было много самостоятельности. «Фричи», да и другие кружки не искали авторитетных лиц для выработки программ чтения и занятий по самообразованию; а сами ставили себе цель и осуществляли усилиями своего маленького коллектива. Ни о каких рефератах со стороны тогда и в мыслях не было; был заметен даже молодой гонор, не позволявший искать у других разрешения вопросов. Этого разрешения искали в книгах и в беседах между собой, среди равных. Сами искали в книгах, в текущей журналистике, в окружающей жизни; искали и должны были находить; в этом отношении и Лавров не имел личного влияния. Отправившись в Цюрих не за высшим образованием, вообще, мы искали специального и большинство шло в медики, чтобы иметь в руках *орудие для общественной деятельности*. Стремление быть полезными обществу—вот наиболее подходящая формула для определения настроения Цюрихской молодежи 72-го года. О социализме, как я уже упоминала, одни до Цюриха равно ничего не знали; другие, немногие, имели, быть может, самое отдаленное представление, но общественный инстинкт пронизывал всех и был той подготовленной почвой, на которой выросло участие известной части этой молодежи в русском социально-революционном движении 70-х годов.

Вера Фингер.

Письма русских масонов.

1. Н. И. Новиков—А. Т. Болотову.

Предполагая обнаружить в книжках „Голоса Минувшего“ серию текстов и документов, характеризующих старое русское масонство в его наиболее ярких духовных и общественных проявлениях, мы начинаем с двух доселе неизвестных писем Николая Ивановича Новикова (1744—1818), главы русских масонов XVIII-го века и обер-директора ордена розенкрейцеров. Письма эти сохранились в старинной копии среди бумаг архива Арсеньевых, приобретенных товариществом „Задруга“. Фамилия адресата из копии не видна, но ясно, что „Андрей Тимофеевич“, названный в обращении — Болотов, известнейший русский мемуарист XVIII века (1738—1833; о нем см. „Рус. Биогр. Слов.“). Знакомство А. Т. Болотова с Новиковым произошло 2 сентября 1779 года, через четыре месяца после переселения последнего из Петрограда в Москву. „День сей сделался наидостопамятнейшим почти в моей жизни“—писал Болотов в 1809 году в своих Записках (III, 858—859); „в немногия минуты не только познакомились мы с ним, как бы век жили вместе, но слепилась между нами и самая дружба, продолжающаяся даже и поныне“. Между ними сразу установились тесные литературно-издательские, а впоследствии и книгопродавецкие отношения. Наряду с другим видным и столь же плодовитым „экономическим“ писателем XVIII века, Василием Алексеевичем Левшиным, Болотов сделался одним из главных сотрудников новиковского издательства; не считая отдельных книг и переводов, он единолично составлял периодическое издание под заглавием „Экономический Магазин“, коего за время десятилетней аренды Новиковым Университетской Типографии (1780—1789) вышло 40 томов. В Записках Болотова отражается как в зеркале вся обаятельность личности Николая Ивановича; тем не менее, в масонство Болотов не вступил, желая сохранять полную независимость, и на неоднократные зазывания своего друга отвечал решительным отказом (Записки, III 932—935 и 1134).

Интересы сельского хозяина и помещика заставили Болотова большую часть своей жизни провести в деревне; естественно, что нечастые приезды его в Москву не могли заменить письменных сношений с городскими друзьями. В частности, о его переписке с Новиковым есть неоднократные упоминания в Записках; сохранились в них несколько фрагментов писем Новикова: конца 1780 (III, 917), августа 1783 (III, 1113), ноября 1785 (IV, 65), октября 1787 (IV, 195) и фрагменты одного письма Болотова к Новикову, в январе 1789 года (IV, 498 и 524). Но подлинники этой переписки не стали известными и вряд ли сохранились, так что печатаемые по копиям два письма являются единственным цельным ее отрывком. Оба письма писаны из села Тихвинского, имения Новикова, где он провел последние 22 года своей жизни.

1.

Милостивый Государь Андрей Тимофеевич!

Любезное и дружеское письмо ваше от 2-го Генваря и присланная книга я получилъ, за которыя, равно какъ и за поздравленіе съ Новымъ Годомъ и благія ваши желанія, отъ искреннаго сердца покорнѣйше благодарю; что касается до присланныхъ книгъ, то они оказались по реэстру вашему въ кожаномъ переплетѣ не всѣ, а какихъ недостаетъ, тѣмъ прилагаю здѣсь реэстръ: мнѣ кажется, что забытъ цѣлой тюкъ.

Радуюсь сердечно о изливаемой на васъ милости и благословеніи Господня (sic) въ разсужденіи состоянія здоровья вашей; да благоволятъ онъ и въ сей наступившій новый годъ и на многія послѣдующія за нимъ годы изливать на васъ новыя милосердія своего щедроты, до наз-

наченнаго имъ пункта времени: ибо и волосъ съ головы нашей безъ воли его не спадаетъ.

Что касается до меня, то благая и пресвятая воля Его опредѣлила странствію моему въ семъ мірѣ другой путь, ему, возлюбленному Господу Богу и отцу нашему, благоугодно было опредѣлить очищать 71-лѣтнюю жизнь мою почти безпрестанными крестами: но притомъ и благоизволяетъ онъ ниспосылать отличныя утѣшенія. Ежели бы всѣ ихъ описывать, такъ бы составила немалая книга.—Къ статѣ: скажу вамъ, какъ любопытному человѣку, въ минувшую войну случившееся (sic) со мною два удивительныя происшествія. Первое: послѣ поражений многократныхъ въ Россіи Наполеона, или бича Божія на родъ человѣческой, когда гнали его съ безчестіемъ изъ Россіи, я вилѣль сонъ, будто я иду на сѣверо-западъ, задумавшись о сихъ военныхъ произшествіяхъ, повѣся голову и размышляя о томъ, что впередъ быть можетъ; поднялъ свою голову и ужаснулся, увидѣвъ человѣческую фигуру столь великую, что голова его была къ самому небу, а ноги стояли на землѣ, въ одной рукѣ держалъ онъ мечъ обнаженный и пламенный, а въ другой пламенную же розгу; вся фигура сія состояла изъ крайнѣ сгустившагося свѣта, тысячекратно свѣтлѣйшаго полуденнаго солнца. Онъ произнесъ громко, какъ величайшая труба, но сладостной и неизъяснимо утѣшительной голосъ, сказавъ: Не бойся! обратись на сѣверъ и посмотри и скажи мнѣ, что ты увидишь. Я обратился и увидѣлъ препространную долину, какъ только взоръ окинуть можетъ, покрытую всю мертвыми тѣлами во французскихъ мундирахъ; я съ трепетомъ отвратился и молчалъ. Фигура сія произнесла ко мнѣ: что же ты молчишь, что ты видѣлъ тамъ? Я отвѣчалъ: я видѣлъ пространную долину, покрытую всю мертвыми человѣческими тѣлами во французскихъ мундирахъ. Фигура сказала: это враги ваши поверженные лежатъ. Но не ваше мужество ихъ побѣдило, не ваша храбрость ихъ поразила: моя всемогущая десница побѣдила ихъ, мой мечъ поразилъ ихъ! Но вы опомнились ли? Я наказалъ васъ сею розгою, яко отецъ, и помиловалъ; но смотрите—розга еще въ рукѣ моей, опомнитесь! Я такъ испугался во снѣ отъ сего видѣнія, что и проснулся.

Второе: 7-е число, въ день Лейпцигскаго сраженія и взятія Лейпцига, я проснулся въ пятомъ часу по полуночи, и лишь только открылъ глаза, какъ впалъ въ мысль мою текстъ: Поражу враги твоя и постигну я и не возвращуся, дондежъ скончаются и погибнуть и не возстанутъ (сего послѣдняго слова въ текстѣ и нѣтъ). Сей стихъ безпрестанно въ мысляхъ моихъ обращался цѣлой тотъ день, такъ что я за столомъ сказалъ всѣмъ своимъ собесѣдникамъ, что въ сей день непременно должно быть наижесточайшее сраженіе, и велѣлъ меньшей дочери своей записать это число. Потомъ въ свое время услышали о Лейпцигскомъ сраженіи и взяли Лейпцига и что послѣдній день сраженія по нашему исчисленію былъ дѣйствительно 7-го числа.

Сколько силы мои позволяютъ, то буду со всею охотою пользоваться вашимъ адресомъ, и въ замѣну онаго прилагаю свой: На мое имя, Московской Губерніи въ городъ Бронницы, для доставленія въ село Тихвенское.

Впрочемъ поруча себя дружескому и благосклонному вашему благорасположенію ко мнѣ, пребуду всегда съ искреннимъ почтеніемъ и любовью,

Милостивый Государь!
вашимъ покорнѣйшимъ слугою
Н. Новиковъ.

Генваря 11-го дня 815-го С. Тихвенское.

В начале письма помета: Получено 16-го Января 1815-го года.

О каком туже книг говорится в начале письма, решить трудно. Еще в XVIII веке Болотов оказывал содействие Новикову в продаже и распространении его изданий в Тульской губернии и был как бы его комиссионером; Новиков высылал ему свои издания большими партиями (Записки Болотова III 935—936, 952, 954, 1029, 1034, 1047 и 1112). Возможно, что и в настоящем письме речь идет о каком-то запоздалом возврате сданных на комиссию книг.

„Два удивительныя происшествія“ были за год с лишним перед тем описаны Новиковым в (неизданном еще) письме к Ф. П. Ключареву от 6 ноября 1813 г.; в этом письме первое происшествие начинается словами: „Съ мѣсяць назадъ видѣль я во снѣ“, а второе: „Октября 7 я проснулся по утру въ 4 часа“. Сами событія описаны в обоих письмах вполне согласно и в очень сходныхъ выраженіяхъ. Битва при Лейпцигѣ, которой касаются оба виденія и с которой началось мораченіе Наполеона, происходила с 16 (4) по 19 (7) октября 1813 года.

2.

Милостивый Государь Андрей Тимофѣевичъ !

Любезное, дружеское письмо ваше отъ 31-го Января я получилъ и, покорнѣйше благодаря за оное, прошу не гнѣваться на слугу вашего, отправившаго ко мнѣ книги; бѣда не велика, поправить можно легко, отправивъ ихъ со вручителемъ сего письма, котораго мнѣ нужно послать въ Серпуховъ, а потому я приказалъ ему и къ вамъ проѣхать.

Случившееся съ вами въ нашествіе враговъ нашихъ и открывшагося вамъ 90-го псалма весьма замѣчательно. Я какъ почтенному и любезному другу вамъ скажу, что мнѣ въ жизни моей отъ сего псалма великія чудеса, такъ что ежели бы все описывать, то надобно бы много бумаги исписать; я привыкъ читать оный всякой день и при всякихъ случаяхъ, подобныхъ вашему; какъ другъ совѣтую вамъ читать его всякой день при молитвѣ вашей. Ахъ! ежели бы только мы умѣли слушать тотъ голосъ, который насъ внутри предостерегаетъ, и ежели бы разумѣли тотъ языкъ, которымъ предохраняютъ снаружи во снѣ, то отъ многихъ бѣдъ и грѣховъ мы избавлялись; но та наша бѣда, что мы даже и въ текстъ священнаго писанія при чтеніи онаго насильно влагаемъ нашу мысль, а не изъ онаго извлекаемъ духа въ себя, забывая слова Христа, Спасителя нашего: *Что письма или буква убивает, а духъ животворит.* А потому и думаемъ, что мы уразумѣли смыслъ текста, но ошибаемся и любуемся своею вложенною мыслию. Многое о семъ можно бы говорить было, но писать трудно, неудобно и пространно—а потому на сей разъ и оставляю.

Покорнѣйше благодарю за всѣ ваши добрыя желанія и равномѣрно пожелавъ вамъ милости Божіей и всѣхъ благъ истинныхъ, временныхъ и вѣчныхъ, останусь навсегда съ искреннею любовію и почтеніемъ,

Милостивый Государь,

вашимъ покорнѣйшимъ слугою

Н. Новиковъ.

Марта 2 дня 815-го года. С. Тихвенское.

Печатается по той же копии, что и № 1.

В начале письма помета: Получено 6-го Марта 1815-го года.

Псаломъ 90: Живыи в помощи Вышняго, в крове Бога небесного водворится.

2. М. И. Невзоров—князю А. Н. Голицыну.

Сіятельныйшій Князь!

Милостивый Государь!

Политическіе пожары, во Франціи, Англіи, Испаніи и въ другихъ мѣстахъ въ Европѣ и въ прочихъ частяхъ свѣта давно начавшіеся, и теперь, по извѣщенію публичныхъ вѣдомостей, время отъ времени начинающіе быть страшными, кажется, довольно оправдываютъ мои предсказанія о наступающей, или лучше сказать о наступившей уже, всеобщей в мірѣ революціи.—Теперь духъ Божій нудитъ меня сказать вашему сіятельству нечто о будущемъ состояніи Россіи.—Со стороны Польши и Турціи Россія, кажется, должна войти въ тѣ предѣлы, в которыхъ она была до 1769 года.—Со стороны Швеціи Систербекъ долженъ быть ея границею! — Нынѣшній король шведскій едва ли не сдѣластъ съ Петербургомъ того же, что произошло съ Москвою въ 1812 годѣ. — Петербургъ едва ли не долженъ будетъ остаться однимъ торговымъ городомъ, такъ какъ Архангельскъ, а не столицею! — Какимъ образомъ произойдетъ все сіе, извѣстно Богу, которому, не такъ какъ человѣкамъ, все возможно. — Извѣстно изъ исторіи, что Петръ Великій для того только и началъ войну съ Карломъ XII королемъ шведскимъ, что ему понравилось мѣсто, на которомъ Петербургъ основанъ, и вель ее дватцать лѣтъ. Шведы за ихъ ожесточеніе наказаны, и Петербургъ по желанію Петра Великаго выстроенъ: но нынѣ Богъ дѣлаетъ разчетъ со всею вселенною вообще и съ каждымъ человѣкомъ въ особенности, и беззаконія прошедшихъ столѣтій, и въ особенности всего осмнатцатаго, обнажаетъ, и дѣлаетъ имъ возмездіе!

Горестные вопли, извѣстные по слухамъ, противъ военныхъ поселеній, мятежи въ земляхъ донскихъ козаковъ и повсемѣстный ропотъ во всемъ государствѣ суть искра начинающагося и въ Россіи пожара: а несносныя со всѣхъ сторонъ притѣсненія, правосудія, дани, городскія и земскія повинности и разпространяющаяся повсемѣстно не только между частными людьми, но и въ большой части правительственныхъ учрежденій и совершенно противная благосостоянію подданныхъ роскошь, что я могу болѣе нежели математически доказать, обратятъ начинающійся огонь сей въ сильное пожирающее пламя.—Ночью съ 11-го марта на 12-е 1801 года и богопротивными поступками и учрежденіями послѣ посѣщенія Божескаго въ 1812 годѣ мы совершенно прекратили себѣ путь къ отвращенію гнѣва и правосуднаго и нелицепріятнаго суда Божія.—Мятежи и Революція непременно послѣдуютъ въ Россіи, и сіе произойти можетъ двоякимъ образомъ: Если Государь Императоръ не захочетъ уменьшить даней и повинностей городскихъ и земскихъ, противустать всеобщимъ притѣсненіямъ и неправосудіямъ и прекратить роскошь, особливо въ правительственныхъ учрежденіяхъ: тогда бѣдный народъ и всякаго состоянія притѣсненные люди взбунтуются, и правосудный Богъ, не терпящій безконечнаго озлобленія людей своихъ, будетъ на ихъ сторонѣ. Но ежели Государь Императоръ рѣшится всему вышеписанному противустать, тогда большая часть дворянства, духовенства, ученыхъ, богатаго купечества и во всѣхъ состояніяхъ міроѣдовъ будутъ бунтовать и производить мятежи!—И то и другое гор(ь)ко! Но одно другаго лучше! —Лучше предаться въ руки Божіи и творить волю Его, нежели идти на путь нечестивыхъ!

Сіятельныйшій Князь! Милостивый Государь! Вотъ вамъ истина, произносимая отъ самаго чистѣйшаго источника,—истина вышихъ небесъ!

А въ неложность сей истины можетъ быть у всякаго судіею непомрачен-ная страстями совѣсть!

Яма, вырытая крестьянскою 14-тилѣтнею дѣвицею Александрою въ селѣ Бусинѣ, отстоящемъ отъ Москвы въ 12 верстахъ, о которой, какъ я увѣренъ, ваше сіятельство давно извѣстно и по донесеніямъ московскаго начальства, есть начало купины, подобной Моисею видѣнной и возвѣщающей скорое явленіе Новаго Моисея или сына Божія, описываемаго Ездру 3-й книги въ 13-й главѣ, о чемъ и я очень много имѣлъ честь вашему сіятельству представить письменно.—По извѣщенію частныхъ нѣкоторыхъ особъ, отъ воды и другихъ веществъ изъ ямы сей производятъ и до сихъ поръ многія цѣленія отъ разныхъ болѣзней! —!

Предаю васъ и себя волѣ того, котораго имя есть Сый, съ должнымъ высокопочитаніемъ и совершенною приверженностію имѣю честь быть навсегда,

Сіятельнѣйшій Князь! Милостивый Государь!
Вашего Сіятельства покорнѣйшій слуга

М. Н.

Юля 1-го дня 1820 году. Москва.

Имя Максима Ивановича Невзорова (1762/3—1827) не является знакомымъ для читателей „Голоса Минувшего“: в 1913 году (№ 12 стр. 270—276) А. Гробов уже опубликовал одно письмо Невзорова к Голицыну, от 13 сентября 1820 года. — Первоначальные сведения о жизни Невзорова можно почерпнуть в статьях П. Безсонова („Русская Беседа“ 1856 кн. III стр. 85—128), Ив. К. (РБС стр. 176—178) и Н. Кульмана („Масонство в его прошлом и настоящем“, II 203—225). Более близкое знакомство, основанное на многочисленных неизданных документах, позволяет нам утверждать, что по складу своей души и характера М. И. Невзоров был одним из самых крупных и цельных русских людей. Личность и деятельность его запечатлены столь совершенным бескорытием и самоотвержением, что среди масонов только старик Гамалея может стать с ним на равной высоте. Но в противоположность квиетистическому времяпрепровождению Гамалеи, Невзоров жил повышенной деятельностью. Он замечателен, как педагог, как воплощение филантропических устремлений масонства, как последовательный и неутомимый борец за правду, бесстрашный заступник и защитник угнетенных и обездоленных. Сердце его горело любовью и состраданіемъ к ближним и желаніемъ активно служить им. — В последние годы жизни, особенно после своей службы начальником московской Университетской Типографии (1806—1815), Невзоров написал разным лицам значительное количество, — не писем, но посланий. Послания эти, обычно весьма объемистые, боевого, обличительного и сатирическаго тона и апокалиптически-пророческаго настроенія, им самим заботливо переписывались и рассылались в копиях избраннымъ представителямъ московскаго общества. Не довольствуясь однако письменнымъ изложеніемъ, Невзоровъ пространялъ идеи свои, родственныя идеямъ христіанскаго социализма, также и устнымъ путемъ, что причиняло ему немало неприятностей. „Онъ даже на бульваре проповедуетъ и кричитъ о приближающемся концѣ мира“, отписывалъ попечитель московскаго университета П. И. Кутузовъ министру народнаго просвѣщенія Разумовскому, от 3 сентября 1814 (Васильчиковъ II 430). Далѣе, 21 сентября, Кутузовъ сообщалъ, „что Невзорова сумасшествіе умножается, что онъ кричитъ и проповедуетъ в церквахъ и на бульварахъ, что соблазняетъ всехъ своею злобою, что типографію приводитъ в расстройство и служителей в неповиновеніе“ (Васильчиковъ II 432). И, наконецъ, 1 октября: „Такъ какъ онъ прорицаетъ, проповедуетъ конецъ мира и разныя политическія происшествія, а притомъ ругаетъ и поноситъ встречнаго и поперечнаго и ежедневно размножаются сцены соблазнительныя и для многихъ обидныя, а притомъ и насчетъ в(аше)го с(іятельства) произноситъ бусловія и хулы, ... то я принужденъ буду, по приездѣ главнокомандующаго, предать его, Невзорова, местному начальству и с нимъ все его бумага, ясно его безуміе доказывающія“ (Васильчиковъ II 433). — Сумасшедшимъ Максимъ Ивановичъ не былъ, но на многіе резкіе и возбуждавшіе негодованіе окружающихъ поступки увлекала его истинно рыцарская и до конца дон-кихотская натура. И с полиціей ему пришлось-таки имѣть дело.

К сожаленію, полное собраніе посланій М. И. Невзорова доселе не могло быть осуществлено, и из 60 известныхъ намъ эпистолъ напечатано в разныхъ ме-

стах, большею частью неисправно, всего 11. Что касается, в частности, писем к князю Александру Николаевичу Голицыну, министру духовных дел и народного просвещения в 1817—1824 годах, то таковых сохранилось 14, в печати же появились только два и незначительные цитаты из двух других. Издаваемое нами (по собственноручной копии Невзорова в рукописи Румянцовского Музея *Лон* № 9/6) письмо является характерным образцом его как бы ясновидческих и в то же время полных хаоса прозрений и представляет особый интерес в связи с судьбами новой революционной России. Границы России, которые провидел Невзоров: с юго-запада—„в пределах 1769 года“ (то есть без Польши и Крыма), с северо-запада—„до Систербека“ (то есть без Финляндии), — имеют несомненное сходство с теми границами, в которые вошло Российское государство ровно сто лет спустя после невзоровского письма.

Н. П. Киселев,

Письма М. Е. Салтыкова В. П. Безобразову.

(1858—1859 гг.)

6 марта 1858 года Салтыков был назначен в Рязань на должность вице-губернатора, в каковой и оставался до 1860 года, когда, по указу 3 апреля, был перемещен на ту же должность в Тверь. Публикуемые письма характерно дополняют картину рязанского периода в жизни Салтыкова, представленную в двух известных статьях: В. ГАЙДУКОВА, „М. Е. Салтыков, как администратор“ („Русская Мысль“ 1914 г., кн. VI) и Н. Н. ДРИЗЕНА, М. Е. Салтыков в Рязани (1858—1860; 1867—68) („Исторический Вестник“ 1900, февраль).

Адресат—В. П. БЕЗОБРАЗОВ (1828—1889) в годы, к которым относятся письма Салтыкова, служил в министерстве государственных имуществ. Очерк его жизни и перечень трудов см. в Критико-биографическом словаре С. А. Венгерова, т. II.

Н. Бродский.

№ 1.

Рязань, 29 Июня (1858).

Благодарю Вас от всей души, многоуважаемый Владимир Павлович, за присылку журнала М. Г. И. ¹⁾ (которого 1-ю книжку я получил с неделю назад), я прошу Вас не сетовать на меня „за мое молчание. С самого приезда моего сюда, я постоянно нахожусь в совершенной каторжной работе, и не только не могу ничем заняться, но, положительно, ничего даже прочесть не могу. Одним словом, я если не раскаиваюсь, то во всяком случае крайне негодую на себя за то, что взял место в Рязани. Подобного скопища всякого рода противозаконий и бессмыслия вряд ли можно найти и Вятское плутовство есть не более, как добродушие с плутовством Рязанским ²⁾. Но дело ни в том (потому что ко всему этому я уж привык, живши в провинции), а в том, что я каждый день до 12 часов занят, потому что здесь нет не только дельных, но даже сколько-нибудь грамотных чиновников. Не знаю и не предвижу конца своему мучению; знаю только, что едва ли буду в состоянии долго выдержать. Эманципация, которую здесь называют „мадам эманципация“, производит на всех какое-то тусклое впечатление. 25-го числа были здесь выборы в члены Комитета ³⁾, но так как выборы были по уездам, то результаты не все еще известны. В числе известных, немного утешительного: выбирают большею частью горланов. На одном дворянском собрании, один отставной военный долго крепился и молчал, но под конец не выдержал и выразился так: „Отлично, господа. Все это хорошо. Только я вам вот скажу: хоть вы пятьсот рублей штрафа положите, а уж я по мордасам их колотить все-таки буду“ (historique). Рвения к освобождению крестьян не заметно никакого, а, напротив, слышен повсюду плач и скрежет зубовой.

Кошелев назначен здесь членом от провительства; он уже три раза был у меня и все три раза проездом. Третьего дня проехал в Москву издать 5 № С. Б. и хотел проехать в Петербург ³⁾. Крестьяне здесь почти везде не хотят навозить свою землю, на том основании, что неизвестно, где чья земля будет. Из этого следует, что едва ли на будущий год будет много хлеба. Гуманист Павлов, которого здесь подозревают в сообщении в 10 № Колокола статьи о возмущении крестьян села Мурмина, оказывается человеком весьма сомнительным. Когда крестьяне эти (принадлежащие его жене) бунтовали, то он был при их усмирении и всех больше настаивал, чтоб строже секли и заставил высечь 75-тилетнего старика. Вот и гуманность ⁴⁾.

Прошу вас передать мое почтение и от жены моей Елизавете Дмитриевне, а маленьких детей Ваших и Есаковых поцелуйте от меня. Поклонитесь всем, кто еще не забыл преданного Вам М. Салтыкова.

Правда ли, что Мельников будет с 1859 года издавать ежедневную газету ⁵⁾, и не собираетесь ли Вы предпринять что-нибудь подобное?

№ 2.

Рязань, 1 октября (1858).

Я много перед Вами виноват, многоуважаемый Владимир Павлович: не поблагодарил вас до сих пор ни за память обо мне, ни за присылку вашей книги ⁶⁾. К стыду моему я должен сознаться, что я до такой степени погрузился в бюрократию, что не имею ни минуты свободной, чтобы уделить на беседу с людьми мною любимыми. С завтрашнего дня решаюсь сказать больным, потому что иначе нет средств выдти из омута чернильных дрызгов, в который я попал. Вы пишете, что готовы содействовать переходу моему в Петербург. Н. А. Милютин, перед отъездом моим в Рязань, обещал мне дать в своем Д-те Вице-директорское место; Вы очень меня обязали бы, если б, при случае напомнили ему обо мне ⁶⁾. А здесь я решительно бедствую, потому что окружен людьми безграмотными и бессмысленными и должен один работать за всех, и исправлять то, что нагадила столетняя кляуза. Хотя у меня достаточно энергии, и довольно верный деловой взгляд, но при окружающем меня всеобщем служебном неряшестве, я положительно падаю духом. С каждым днем все более и более убеждаюсь, что бюрократия бессильна, но вместе с тем, что и за земство наше! Я до сих пор не написал ни единой строчки литературной, что весьма прискорбно, в особенности для меня, который страдает от этого материально более, нежели можно предполагать. В июле я обращался к Каткову с просьбой прислать мне вперед 400 р., но получил ответ, что у него нет денег, что он и так уж много роздал вперед. Поступок этот крайне меня огорчил, потому что за мной никогда не стояло дело, и притом он доказывает какую-то странную осторожность со стороны г. Каткова. Вообще, мне кажется, что он в отношении к сотрудникам Р. В. следует ищейской системе и вознаграждает более за скромное поведение, нежели за действительную услугу Р. В. Здесь есть один господин, который работает для Р. В. беллетристику, господин весьма плохой и получающий по 100 р. в месяц. Вероятно, он у М. Н. целует ручку ⁷⁾. Обращался я и к Кошелеву за капиталами, но он отвечал, что у него не продан овес! Какое странное стечение обстоятельств! Кошелев теперь здесь, и ужасно буйнит в Комитете ⁸⁾. На днях я получил уведомление от Павлова (не Н. Ф., автора статьи о

Дюма, адвоката просвещения и вместе с тем одного из действующих лиц в Мурманском походе (см. № 10 Колокола), умолявшего бывшего Ряз. Губ. Новосильцова, да не оставит без обласкания спину 75-летнего старика, а нашего лицейского Павлова, который извещает меня, что с будущего года издает в Москве еженедельную газету „Московский Вестник“⁹⁾.

Вот и еще новый журнал, который по успеху будет сближаться с Беседой¹⁰⁾. Пишет, что у него будет участвовать Ив. Тургенев¹¹⁾. А главным сотрудником будет, кажется, знаменитый Якушкин, тот самый, который в прошлом году являлся к Вам за песнями, и с которым П. В. Анненков боялся возвращаться ночью домой, опасаясь быть убитым¹²⁾. Боюсь, чтобы через месяц не пришлось ему переменить название и переименоваться „Московским Кабаком“, в котором я, однакож, буду одним из усерднейших целовальников¹³⁾. Что Утин—жид, в этом я всегда был уверен и неоднократно Вам объяснял, но Вы все доказывали, что он не жид, а человек¹⁴⁾. Вы послали бы ему прочесть статью Громеки „Польские евреи“¹⁵⁾. Скажите, возвратился ли Анненков из-за границы, а также очнулся ли Писемский от пьянства?

Кстати: не в службу, а в дружбу, позвольте просить Вас об одном одолжении. В марте я отдал в Смирдинский альманах повесть под названием „Яшенька“¹⁶⁾. Повесть очень плохая и мне крайне хотелось бы выручить ее. Так как она до сих пор не напечатана, и следовательно я имею полное право не позволять более ждать, то не будете ли Вы так добры вытребовать ее от Смирдина, и выслать ее ко мне обратно. Для этого стоит Вам только зайти в магазин его. Я прошу Вас засвидетельствовать мое почтение и от жены Мил. Государыне Елизавете Дмитриевне.

Весь Ваш М. Салтыков.

Не видите ли когда-нибудь Н. Мордвинова?

№ 3.

С величайшим удовольствием узнал я, многоуважаемый Владимир Павлович, об открытии Вами типографии и словолитни. По этому случаю, у меня к Вам следующая всепокорнейшая просьба. Здешняя губернская типография имеет нужду в шрифте, и потому было бы весьма желательно если бы вы согласились исполнить заказ типографии и выслать полный шрифт, с тем, что бы типография выслала Вам сумму по третям. т-ю треть тотчас же, вторую в Мае, третью в Сентябре. Если это дело для Вас возможное, то благоволите прислать ко мне образцы шрифтов, в чем заключается полный шрифт, т-е. обыкновенный с подлежащим количеством петита, цигеро, латинских букв и т. д., какая цена шрифту, а также № и другим украшениям.

Поздравляю Вас с Новым Годом и, разумеется, желаю всего лучшего. Здесь пронеслись, было, слухи, что меня переводят в Тверь, и разумеется это было бы отлично, но, кажется, все это не более как слухи. Здешний Комитет ничего доброго не делает: говорят напыщенные фразы, нелепости и друг с другом ругаются. Последним актом Комитета было Положение, что помещик имеет право, если у него два имения, переселить крестьян из одного в другое, не спрашивая их согласия. Как Вам покажется это предположение о пере-

селении народов? Здесь была общая радость по случаю писем Бай-бороды. По-моему, письма эти глупы и неприличны ¹⁷⁾. Намеки на откупы и торги составляют такой же странный поступок, как и поступок Иллюстрации с Чацкиным ¹⁸⁾.

Я тут говорил Кошелеву: хотя Славянофилы и не народ, а все-таки вроде евреев, а потому не худо бы обратиться к суду публики. Но, к сожалению, Кошелев знает, чье мясо кошка съела, и протестовать не решается, а публицист Катков пользуется этим, что не совсем хорошо, особенно со стороны журнала, в котором ораторствует царь откупщиков, Кокорев ¹⁹⁾.

Скажите, пожалуйста, можно ли так спутать порядочную и дельную мысль, как это сделал Катков в статье о Русской Общине. И какие площадные ругательства! ²⁰⁾

Получил два №№ „Паруса“... н-ну! ²¹⁾

На-днях послал рассказ в „Современник“.

Кажется, не дурен ²²⁾. Прошу Вас передать мое почтение Елизавете Дмитриевне. Весь Ваш М Салтыков.

№ 4.

Рязань, 17 января. (1859).

Спешу уведомить Вас, многоуважаемый Владимир Павлович, на любезное Ваше письмо, что самое лучшее время для Вашего приезда в Рязань было бы теперь, т.-е. от настоящего числа до 1-го августа, потому что теперь жена моя в отсутствии и, следовательно, нам будет свободнее, и сверх того, в первых числах августа я выеду дня на три в Москву на встречу жене. Для Вас будет особая комната, и Вы будете совершенно, как дома. Вас, кроме меня, ждет еще кн. Черкасская, которая не зовет Вас иначе, как *notre champion écopomiste*. Это баба самая гнусная во всей Рязанской губернии, а здесь довольно-таки гнусных баб. Она на нас беспрестанно ябедничает, что возмущаем крестьян.

Жду Вас с великим нетерпением. ¹⁾

Прошу Вас засвидетельствовать мое почтение Елизавете Дмитриевне.

Рязань 7 июля (1859).

Весь Ваш М. Салтыков.

№ 5.

Рязань, 29 Декабря (1859).

По письму Вашему, многоуважаемый Владимир Павлович, в котором Вы уведомляете меня, что кем-то поручено графине Барановой уговорить Тверского В. Губернатора ²⁾ Иванова на переход в другую губернию, я писал в Тверь и получил ответ, что никем никакого подобного поручения даваемо не было. Я очень жалею, что обращался к Милютину. Это человек очень любезный в частном знакомстве, но никогда шагу ни для кого не сделает. Тем не менее, так как я обращался к нему официально, то мог бы он хотя доложить письмо мое к Министру. Я имел с Муравьевым ²³⁾ столь неприятные встречи, что лично ему объявил, что служить с ним не буду; хотя бы мне пришлось выйти в отставку. Поэтому я просил бы Вас, о утопающий в шумных удовольствиях столицы Владимир Павлович, вновь попросить Ник. Ал. ²⁴⁾ доложить Министру о моем неприменном желании оставить Рязань.

¹⁾ Был ли В. П. Безобразов у Салтыкова в этом году, мне неизвестно. Впечатления от Рязани Безобразов описал в 1860 году в газете Н. Ф. Павлова „Наше Время“: „Письма с дороги“. Рязань, 3 июня (№ 30, 7 августа). Примеч. Н. Б.

²⁾ Вице-губернатора. Примеч. Н. Б.

Если в Тверь нельзя, то я согласен в иной город, лишь бы не слишком далеко от Москвы, т.е. не далее 400 верст. Сделайте одолжение, воззрите на меня и примите участие в этом деле. Теперь Муравьев сам в Петербурге. Перед отъездом он спрашивал меня, не желаю ли, что б он ходатайствовал мне какой-нибудь награды; на это я отвечал, что величайшею для меня наградой будет, если меня разведут с ним, и просил, чтоб он заявил об этом Министру. Вот до какой крайности дошли наши отношения; можете сами судить, могу ли я после этого оставаться с ним. В Петербурге я не могу быть лично, по той естественной причине, что не имею денег. Сделайте одолжение, ответьте мне, хотя на это письмо.

Весь Ваш М. Салтыков.

Передайте Н. А. Милютину, что в Твери, кажется, открывается вакансия Председателя Каз. Пал., и Иванов намерен хлопотать об этом месте для себя через Ип. Суворова (своего свояка), который теперь в Петербурге. Сам Иванов поехал для этого в Петербург.

Примечания.

1) Журнал Министерства Государственных Имуществ с 1858 г. выходил под редакцией В. П. Безобразова.

2) С 1848 по 1856 год Салтыков служил в Вятке. Об этом периоде его жизни см. Вл. Емельянов. „Ссылка Салтыкова в Вятку и его освобождение“ (1848—1856), „Рус. Старина“, 1909, № 10. „Вятское плутовство“ зачерчено было в „Губернских очерках“.

3) А. И. Кошелев редактировал „Сельское Благоустройство“ (1858—1859), еженесячное приложение к журналу „Русская Беседа“.

4) Н. Ф. Павлов — беллетрист 30-х годов, автор нескольких ценных критических статей (о Гоголе, В. Сологубе), сотрудник „Русского Вестника“ в 50-х годах, редактор еженедельной газеты „Наше Время“ (1860—1863). Женат был на Каролине Павловой.

В „Колоколе“ № 10 подробно была изложена история „бунта“ в селе Мурмине Рязанской губ., в статье „Прокламация губернатора П. Новосильцева и возрозг“.

5) В 1859 году под редакцией П. Мельникова выходил „Русский Дневник“

6) Этой книгой могли быть „Материалы для физиологии общества в Германии“. 1858. М.

7) Н. А. Милютин в 1858 году был директором хозяйственного департамента Министерства Внутренних Дел.

8) В „Русском Вестнике“ М. Н. Каткова в 1856—58 годах из рязанцев часто помещал свои произведения И. Селиванов, автор „Провинциальных воспоминаний чудака“, рассказов „Полесовщики“, „Непомнящий родства“ и др.

9) Рязанский Дворянский Комитет по устройству быта помещичьих крестьян.

10) И. В. Павлов принимал участие в „Московском Вестнике“ 1859 года, но официальным редактором этого органа был Н. Воронцов-Вельяминов

Для характеристики общественных воззрений Салтыкова в 50-х годах важное значение имеют его письма к И. В. Павлову в „Рус. Старине“ 1897, т. 92, стр. 234, 236.

11) Славянофильский журнал „Русская Беседа“.

12) И. С. Тургенев в № 1 поместил отрывок из неизданного романа „Собственная господская контора“.

13) См. Биографический очерк П. Якушкина, составленный С. В. Максимовым в „Сочинениях“ даровитого этнографа (М. 1884) — П. В. Анненков — критик; автор статьи „Русская беллетристика и г. Щедри“ в „С.-Петербургских Вед.“ 1863, № 85.

14) В „Московском Вестнике“ в 1859 г. Салтыков под обычным псевдонимом Н. Щедрин поместил: Из книги об умирающих: 1) Генерал Зубатов (№ 3). 2) Гегемониев (№ 15), Погребенные заживо. Драматическая сцена (№ 46).

14) Очевидно, Б. И. Утин, автор статьи в „Русском Вестнике“ (т. XVII, ноябрь, кн. I, 1858) „Граф Сиверс“ (письмо из Германии); в 1861 году оставивший Петербургский университет вместе с Пыпиным, Стасюлевицем и Кавелиным.

15) Статья С. С. Громеки под этим заглавием в „Современнике“ 1858, № 7 июнь, стр. 183—200.

16) Повесть „Яшенька“ была напечатана в „Сборнике литературных статей, посвященных русскими литераторами памяти А. Ф. Смирдина“. (1858).

17) Байборода—псевдоним М. Н. Каткова. „Изобличительные письма“ Байбороды в „Русском Вестнике“ 1858, т. XVIII, ноябрь, кн. 2; декабрь, кн. 1 (в отделе „Современная летопись“).

18) Между „Русским Инвалидом“ и „Иллюстрацией“ возник спор из-за еврейского вопроса. „Иллюстрация“, называя евреев не иначе как „жидами“, доказывала, что евреям не следует давать гражданских прав. В „Русском Вестнике“ некто Чацкий напечатал статейку „Иллюстрация и вопрос о расширении гражданских прав Евреев“, вызвавшую в № 35 „Иллюстрации“ оскорбительную заметку о его личности, как агента, подкупленном каким-то „Н“, нечестным путем разбогатевшим западно-русским жидом“. Эта анонимная статья в журнале Е. Зотова вооружила против него многих представителей рус. литературы и науки. В ноябрьской книге „Русского Вестника“ 1858 г. появился „протест“ против поступка „Иллюстрации“, подписанный Аксаковым, Чернышевским, Тургеневым, Буслаевым, В. Безобразовым, М. Катковым, I. Огризко, Спасовичем и мн. др. В следующей второй ноябрьской книжке появился новый обширный список лиц, присоединившихся к этому протесту — здесь встречаем Шевченко, Костомарова, Шевырева, А. Кошелева, В. Кокорева, Я. Ростовцева, А. Майкова и т. д.

Подробности этого эпизода см. в „Русском Вестнике“, 1858, ноябрь, кн. I: „Вопрос о евреях и Иллюстрация“ Н. Ф. Павлова; письмо г. Чацкого к редактору „Русского Вестника“, с приложением его письма к редактору „Иллюстрации“; Поступок „Иллюстрации“ и протест; список лиц, протестующих против поступка „Иллюстрации“.

19) В. Кокоревым была написана в первой ноябрьской книжке „Русского Вестника“ 1858, большая статья „Об откупах на продажу вина“.

20) В первой сентябрьской книге „Русского Вестника“ 1858 (т. XVII) была анонимная статья под названием „Русская сельская община“. Но, вероятнее, Салтыков имел в виду вторую статью Байбороды в декабрьской книге „Русского Вестника“, полную полемических выходов против статей Кошелева о русской общине в „Сельском Благоустройстве“.

21) „Парус“ (редактор И. А. Аксаков) закрыт был на втором №.

22) В „Современнике“, 1859, № 2, рассказ „Развеселое житье“.

23) Н. Н. Муравьев 30 сентября 1859 года был назначен рязанским губернатором.

24) Н. А. Милютин.

Письма Л. В. Дубельта к Н. И. Гречу ¹⁾.

1.

1 июля 1839 г.

Граф А. Х. Бенкендорф поручил мне доложить Вам, почтеннейший Николай Иванович, что никто не может быть лучшим описателем и толкователем радостных дней царских, семейных праздников, как Вы, и потому просит Вас покорнейше принять на себя этот труд быть свидетелем оных и передать чрез посредство Вашего прекрасного пера, нашу общую радость во всеобщее сведение.

Дружески от всей души обнимаю Вас *Л. Дубельт* ²⁾.

2.

[В 1843 г. в Париже и Брюсселе вышла известная книга маркиза Кюстина „La Russie en 1839“, переведенная на немецкий, английский и датский языки. На русском языке книга эта до сих пор еще не появлялась в цельном виде. Выдержки из нее были переведены с примечаниями Н. К. Шильдера в „Русской Старине“ 1891 г., т. 69, и 1892 г. т. 73, а также В. Нечаевым в книге „Николаевская эпоха по воспоминаниям французского путешественника маркиза де-Кюстина“, М. 1910.

В 1844 г. Н. И. Гречем было напечатано под заглавием: „Examen de l'ouvrage de M. le marquis de Custine intitulé „La Russie en 1839“ (Traduit de russe par Alexandre Koutznetzoff) — опровержение этого сочинения. В предисловии Греч опровергает известие, что его книга была напечатана по поручению русского правительства на основании официальных документов. Как видно из помещаемых ниже писем Дубельта, книга Греча была издана с ведома государя и под редакцией и с примечаниями III Отделения Собственной Его Величества Канцелярии.]

3.

С. Петербург, 17 августа 1843 г.

Письмо Ваше от 31 июля из Гейдельберга я получил, мой почтенный Николай Иванович, и не докладывал, а прочел оное, от первой до последней строчки, моему отцу и командиру, графу Александру Христофоровичу. Грамату Вашу он представил *выше*,—и там ее читали, и мне приказано сообщить вам, что предположение ваше опровергнуть сочинение маркиза Кюстина совершенно одобряется, и что все, что вы по *му* это предмету напишете, будет здесь хорошо

¹⁾ Из бумаг проф. И. В. Помяловского, хранящихся в Петр. Публичн. Библ. Печатается с копий, снятых В. И. Семевским.

²⁾ Все письмо рукою Дубельта.

принято. Насчет князя Д. тот же ответ, и мне остается только просить вас, мой почтенный Николай Иванович, прислать ко мне и то, и другое для предварительного представления Графу Александру Христофоровичу.

При этом случае Его Сиятельство поручил мне усердно благодарить вас за вашу благонамеренность и непрерывное желание и действие на пользу общую и сказать вам, что он совершенно уверен, что при соединении ума вашего с известною вашею любовью к Государю и отечеству, предпринимаемый вами труд, без всякого сомнения, увенчается самым блистательным успехом.

Примите искреннюю мою признательность за данное мне поручение и радуюсь от всей души, что даю вам ответ столь удовлетворительный. Примите также и уверение в чувствах моего отличного к вам уважения и душевной преданности.

Л. Дубельт¹⁾.

С. Петербург, 22 сентября 1873 г.

Я читал Графу Александру Христофоровичу статью вашу: „La Russie en 1839, par le marquis de Custine“, составленную вами, мой почтенный Николай Иванович, в справедливом негодовании на клеветника России. Его Сиятельство, найдя оную вполне достойной и соответствующую своей цели, сделал в ней следующие замечания:

На странице 3, строка 14 против слова „фельдъегерь“ (ц. 1): „Не фельдъегерь, а почталцион провожал его, которых дают у нас из вежливости, не только иностранцам, но даже дамам, и мы невиноваты, если г. маркиз, в своем неведении, принял почталциона за фельдъегеря, которых командируют не иначе, как с некоторыми министрами или генерал-адъютантами и то с Высочайшего разрешения“²⁾.

На стр. 4, строка 26 против слов: „виновата Россия“ (ц. 2): „по словам самого автора, пассажиры так обрадовались возвращению в Россию и к родным своим, что по прибытии в Кронштадт даже забыли г. маркиза“.

На стр. 4, строка 25 слово манеж (ц. 1—1 (2) уничтожено, на стр. 5, строке 1-й к словам: „своему отечеству“ (ц. 3) „князь К. был даже не нашего вероисповедания, он был католик“³⁾.

На стр. 5, строка 9 слова: „был человек простой“ (ц. 4) вычеркнуто.

На стр. 5, стр. с 28 до конца страницы перечер. крас. чернил, уничтожены.

На стр. 6, строки с 1-й до 1/2 19-ой пер. крас. черн. уничтожены.

На стр. 14, стр. 20 (ц. 4—1 (2) слово: „подлец“ вычеркнуто.

На стр. 18, стр. 9 вместо: „и ныне получил“ (ц. 5) „и ныне, по увольнении обер-штальмейстера князя Долгорукова, исправляет его должность“⁴⁾.

На стр. 18, стр. 41 после слова „барон Клот“ прибавлено (ц. 6): „живописец Моллер“⁵⁾.

¹⁾ Все письмо рукою Дубельта.

²⁾ Это возражение было внесено Гречем в его ответ Кюстину; однако, в Нижнем Новгороде провожающий Кюстина настойчиво утверждал, что он имеет чин, и не захотел сесть на козлы во время прогулки по городу. (Custine 2, ed. IV. p. 127—130).

³⁾ Ibid, p. 14.

⁴⁾ Ibid, p. 52.

⁵⁾ Ibid, p. 54.

На стр. 21, строка 16 слово: „слухам“ (ц. 6—1 (2) вычеркнуто.

На стр. 26, строка 22 вместо слов: все жены (ц. 4): „некоторые из жен.“

Стр. 27, стр. 1 против слов: „чего именно просила кн. Трубецкая“ (ц. 7—1 (2)). Жена государственного преступника Сергея Трубецкого никогда не просила о помещении дочерей ее в казенные учебные заведения, а в 1842 г., когда Государь, по случаю бракосочетания Наследника Цесаревича, повелел всех детей государственных преступников поместить в учебные заведения, то Сергей Трубецкой письмом отозвался, что он не может принять этой милости, ибо разлука на век дочерей его с их матерью была бы для нее смертельным ударом. И эта милость предложена была преступнику, который во всех иных государствах был бы повешен, и который на коленях вымолил себе помилование у Государя¹⁾.

На стр. 27, стр. 29 слово: „фельдъегерь“ (ц. 8) „не фельдъегерь, а почталион, как выше сказано“.

На стр. 31, стр. 23 вместо слов: „ложь, ложь и ложь!“ (ц. 9) „Неправда! эта куча памятников состоит из двух только памятников. Первый муж ее был русский, второй француз“²⁾.

На стр. 32, стр. 6 к словам: „лягьтса на торжество“ (ц. 10) прибавить: „и были угощаемы ежедневно столом на счет Государя“.

На стр. 33, стр. 21 слово: „отъявленный трус“ (ц. 11)—уничтожить.

На стр. 33, стр. 23 сведение о г-не Перне (ц. 11—1 (2)³⁾.

В августе 1839 г. вице-канцлер сообщил для зависящего распоряжения донесение нашего поверенного в делах в Париже Графа Медема о неблагонадежности находящегося в России французского подданного Луи Перне, человека вредного по образу его мыслей и правилам.

Перне обратил между тем уже на себя подозрение разными неосновательными показаниями: он называл себя то гражданским инженером, то путешествующим для своего удовольствия капиталистом, и, наконец, даже купцом, приехавшим в Россию по делам торговым. Вследствие чего был он подвергнут полицейскому надзору, рассмотрены все находившиеся у него бумаги, и как в них не обнаружено

¹⁾ Ibid, 79—80. Третье Отделение скрыло от Греча и читателей, что хотя декабристам, сосланным в Сибирь, было действительно предложено поместить своих детей в одно из казенных заведений для дворян с тем, чтобы при выпуске им были возвращены утраченные их отцами права, но вместе с тем, чтобы они были лишены их фамильного имени их отцов и именовались бы по отчеству. Трубецкой отвечал, что Государь не допустит наложить на чело матерей незаслуженное ими пятно и лишением детей фамильного имени отцов причислить их к незаконнорожденным. Действительно, упомянул он и о том, что жена его не перенесла бы разлуки с дочерьми. См. статью В. И. Семева о декабристе кн. С. П. Трубецком в энцикл. слов. Брокгауза и Ефрона.

²⁾ Ср. р. 93.

³⁾ Арестованный француз Перне был заключен в одну из московских частей и провел первые 4 дня (в том числе два дня без пищи) в одиночной камере, по соседству с которой на внутреннем дворе производились экзекуции над крепостными людьми по требованию хозяев, приславших их на расправу в полицию. Причина ареста не была объявлена Перне. Как он догадывался, ему пришлось пострадать за откровенный отзыв о деспотизме русского правительства перед прибытием в Россию на пароходе в присутствии нескольких неизвестных ему лиц. По заявлению Кюстина об этом аресте французскому послу Баранту и настоянию последнего Перне был освобожден, после трехнедельного заключения. Custin: „La Russie en 1839“ IV, 261—272, 277—284.

ничего предосудительного, то и было предоставлено ему выехать из России с тем, чтоб он не возвращался в государство...¹⁾

Стр. 36, стр. 4, 5, 6, 7, 8 и 9, уничтожены.

С этими замечаниями переписанный экземпляр статьи вашей представлен графом Александром Христофоровичем Его Императорскому Величеству.

Граф поручил мне передать вам, мой почтенный Николай Иванович, за составление этой статьи искреннюю его признательность и вместе с тем покорнейше просить: перевести возвращаемую при сем рукопись на немецкий язык для напечатания в одной из газет по усмотрению вашему и при напечатании не оставить:

Изменить по отметкам Его Сиятельства.

Все сказанное о бароне Унгерн-Штернберге²⁾ уничтожить.

На 25-ой странице, строке 35 слова: „какой-нибудь подлец“ — уничтожить, и сверх помещение статьи сей в газете отпечатать особыми брошюрами на немецком и французском языках для распространения оных за границей, сколь возможно в большем числе экземпляров.

Исполнив приказание графа, мне остается возобновить уверение в чувствах моего отличного к вам уважения и душевной преданности Л. Дубельт³⁾.

С. Петербург, 17 декабря 1849 г.

Его Превосходительству Н. И. Гречу.

Милостивый Государь Николай Иванович!

Письмо Вашего Превосходительства от 4 декабря я имел честь докладывать г. генерал-адъютанту графу Орлову, и его Сиятельство изволил отозваться, что как Кардонн⁴⁾ в последних письмах своих сообщал только сведения, заключающиеся в газетах, то граф Алексей Федорович не считает себя вправе ходатайствовать о просимом Вами вспомоществовании для него; но ежели Кардонн будет доставлять известия более важные и полезные, то он может быть уверен, что его услуги не останутся без вознаграждения.

Уведомляя об этом вас, милостивый государь, имею честь удостоверить в истинном моем почтении и преданности. Л. Дубельт⁵⁾.

¹⁾ Ibid, p. 100.

²⁾ Кюстин (IY, 173—180) приводит рассказ кн. К. о бароне Унгерн-Штернберге, владельце острова Даго, который устроил фальшивый маяк, грабил гибнущие суда, убивал их экипаж. По словам кн. К. он был наконец сослан имп. Павлом в каторжную работу в Сибирь, где и умер.

³⁾ Все письмо рукою Дубельта.

⁴⁾ В 1883 г. в Париже было издано сочинение: С. de Cordonne. „L'Empereur Alexandre II. Тот же ли это Кордонн?“

⁵⁾ Только подпись рукою Дубельта.

Мелочи прошлого.

ЭПИГРАММЫ.

I.

Для внутренних французских дел
Летит по воздуху Гамбетта,
Для внутренних российских дел
Была б полезна штука эта,
Когда б Тимашев улетел.

Спб. 1870.

II.

Любовью к родине горя,
Москва на жертвы все готова
И только просит у царя
Свободы совести и слова.

Таков всегда мучник-богач:
Он за царя готов драть глотку
И лишь пожертвует калач,
Тотчас же просит рубль на водку.

Спб. Ноябрь 1871.

III.

Пруссак—француз, француз пруссак...
Вопрос: кто лучше или хуже,
Мне надоел признаться дюже,
Но разрешу его я так:
Француз нам гадил иногда,
И с ним мы честно расквитались,
Но с немцем мы зато связались,
Увы! до страшного суда...
Для нас как тот, так и другой
Народный недуг настоящий.
Француз-то—флюс наш преходящий,
Но немец—вечный геморрой:

Москва. 1871 янв.

Помещаемые эпиграммы найдены в одном рукописном сборнике среди эпиграмм Соболевского, первая из них даже подписана этой фамилией, две других подписей не имеют, и по датам С. Соболевскому принадлежать не могут, так как он умер 6 октября

1870 г. Эта же дата опровергает принадлежность Соболевскому и первой эпиграммы. Здесь мы находим отклик на известный эпизод франко-прусской войны: правительство национальной обороны разделилось на две части: большинство продолжало заседать в Париже, делегация же из 3 членов, подкрепленная Гимбеттой, прилетевшая из осажденного Парижа на воздушном шаре 6 октября, управляла остальной Францией. Ее резиденцией был сначала Тур, потом Бордо.

Александр Егорович Тимашев (1818—93) был с 1868 г. по 1877 г. Министром Внутренних Дел.

Вторая эпиграмма связана, вероятно, со Всеподданнейшим адресом Московской Городской Думы, которая, по инициативе городского головы кн. В. А. Черкасского (1824—1878), возбудила в 1870 г. ходатайство о даровании народу „простора мнению и печатному слову“ и „свободы верующей совести, этого драгоценнейшего из сокровищ души человеческой“. Адрес начинается с выражения преданности и благодарности. „Никто не стяжал таких прав на благодарность народа, как вы, государь, и никому не платит народ такой горячей привязанностью“. Министр Внутренних Дел Тимашев не нашел возможным представить государю этот адрес, как „неуместный“ и „неприличный“.

Третья эпиграмма является, как и первая, откликом на тот повышенный интерес к Франции и Германии, который возбужден был франко-прусской войной. Последние две строчки имеют неудобный для печати вариант: слова: „флюс наш“ в предпоследнем стихе заменены другим словом, а из последнего стиха сохранено только начало: „Но немец“.

Сообщил И. Н. Розанов.

Отклики прошлого.

Чем дальше от нас отходит прошлое, тем отклики его приобретают большую ценность. Но ценность эта еще более возрастает, если в этих откликах мы чувствуем нечто близкое к тому, что приходится нам переживать сейчас.

Мальчиком лет, вероятно, 13—14 в бумагах моего отца я увидел написанное неизвестным мне почерком стихотворение, поразившее меня и своим содержанием, и гем подъемом гражданского чувства, который я не мог не ощутить. Вот это стихотворение, сохранившееся в моей памяти, к сожалению, с некоторыми пробелами:

«Меня поставил Бог над русскою землею»,—
Сказал нам русский царь.
«Во имя Божие склонитесь предо мною;
Мой трон—Его алтарь.
России не нужны заботы гражданина;
Я думаю за вас.
Усните! Сторожит глаз царский—властелина
Россию всякий час.
Советы не нужны помазаннику Бога;
Мне Бог дает совет.
Я вас веду таинственной дорогой;
Один я вижу свет.
Гордитесь, русские, быть царскими рабами,—
Закон вам—мысль моя.
Отечество вам—флаг над царскими дворцами;
Россия—это я.
Мы долго верили в ярмо восточной лени
И мелкой суеты.
Покорно целовал ряд русских поколений
Прах царственной пяты.
Бездействие ума над нами тяготело
И раболопный страх.
За перенескою мы забывали дело
В присутственных местах.

Стал конюх цензором, шут царский—адмиралом,
 Клейнмихель графом стал,
 Россия отдана на жертву обиралам...
 Что ж русский? Русский спал.
 Кряхтя нес мужичок, как прежде, господину
 Прадедовский оброк.
 Кряхтя помещик нес, как прежде, половину
 Именья в залог.
 И дань обычную, как прежде, мы платили
 Подъячим и властям
 И меж собой шумели, говорили,
 Что это стыд и срам,
 Что тратят миллионы,
 России кровь и пот,
 Что правды нет в судах, что попрапы законы
 Что плохо все идет...
 Затем за ералаш сажались по полтине,
 Косясь по сторонам...
 Рашели хлопали, бранили Фрецолини,
 Лорнировали дам...
 И низко кланялись придворному вельможе,
 И грызлись за чины:
 «Искали», жизнь свою заботой не тревожа,
 Отечества сыны.

.
 И если иногда кто среди нас являлся,
 Мечтою увлечен,
 И словом истины нас пробудить старался
 То как он был смешон!
 Как едко над его мечтами издевался
 Салонный фарисей!
 Как быстро от него, бледнея, отрекался
 Вчерашний круг друзей!..
 И под анафемой общественного мненья,
 Среди смрада рудников,
 Он узнавал, что грех прервать оцепененье—
 Тяжелый сон рабов.
 И он был позабыт. Порой лишь о безумце
 Шептали здесь и там:
 «Быть может, он и прав. Да, жалко вольнодумца.
 Но что за дело нам?..»
 Гордились мы одним могуществом России
 В соборных королей.
 Что,—думали мы,—нам их укорины злые?
 Мы все-таки сильнее.
 И вот ударил час: британские витии
 Пустили в оборот
 Народов ненависть давнишнюю к России,
 И наступил расчет.
 И бросил Францию в кровавый пир сраженный
 Вепчаный интригант,
 И стала Австрия готовиться к измене
 Встал враг от всяких стран.

А мы! Смеялись мы началу непогоды,
 Мы гордо шли на бой.
 Пусть, говорили мы, безумствуют народы,
 Силен наш край родной.
 Могуц наш русский царь! Предвидел он движенье.
 Все приготовил он.
 И роковой вопрос ждал тяжкого решенья,
 Спокоен и силен.
 И что ж, застал врасплох нас взрыв вражды народной:
 В тот самый страшный час
 Объял посланников сон глупости природной,
 Наш канцлер продал нас.
 Куда девались солдатом миллионы?
 Где был готов отпор?
 Мы все не верили и слышали уж стоны
 Из-за кавказских гор.
 Пределы русские война уж разоряла,
 Уже страдал народ,
 С креста Исакия Россия различала
 Британский гордый флот.
 И было мало нас везде, где враг являлся.
 Солдат наш грудью брал.
 Глупее прежнего за то распорядился
 Парадный генерал.
 Один курьер вперед итти вез приказанье,
 Другой—итти назад...
 И двигались войска без цели, без сознания...
 То был уж не парад.

Придворный болмотист, шут старый и надменный,
 Злой гений для острот,
 Он защищает Крым. Высочествам с почтеньем
 Он раздаёт кресты...
 А русских кровь течет, враг ближе к укреплениям...
 Россия! Где же ты?
 Очнись, мой край родной, изъеденный врагами,
 Шпионством, ханжеством...

Очнись и посмотри, везде кипит движенье,
 Черед уж за тобой.
 Ты слушаешь ли, царь!? Глас Божий—глас народа
 Зовешь ли ты на свой совет
 Тех,—крепких доблестью, не знатностью рода,
 Не дряхлостью лет?
 Нет, увлекаемый невежеством и страстью,
 Ты просвещение гнал.
 В опасную игру играл своей ты властью.
 Ты Бога забывал...
 Слепой каприз судьбы тебя вознес над нами.
 Твой трон не Божий трон.
 Ты сам нас осудил твоими быть рабами.
 Нет, рабство не закон.

Очнись, летят часы, пробьет миг покаянья.
 История не ждет...
 И вот, уж над тобой волнуется в молчаньи
 Проснувшийся народ.

Стихотворение написано неровно. Рядом с яркими и сильными строфами настоящего поэта попадаются строфы бледные не поэта, а стихотворца. Тем не менее, стихотворение это настолько значительно, что было бы чрезвычайно интересно восстановить его целиком и узнать имя автора. Может-быть, среди читателей найдется кто-нибудь, кому это стихотворение окажется знакомым, и он поделится своими сведениями.

Одни приписывают это стихотворение Огареву, другие думают, что оно написано гр. Ростопчиной, третьи считают, что оно принадлежит Хомякову. Мне лично кажется, что, за исключением некоторых строк, и по содержанию, и по форме оно действительно больше всего напоминает именно Хомякова. Но сказать с полной уверенностью, что оно написано Хомяковым, все же нельзя. Во всяком случае, в нем чувствуется сильное влияние этого поэта.

А. М. Хирьяков.

Письмо Бакунина к Боткину.

31/17 декабря 1861—Лондон.

Старый товарищ Василий Петрович здравствуй.—Вот я, брат, и на свободе ¹⁾ и ничего еще живу себе и чувствую охоту к делу. Спасибо тебе Боткин, лишь только ты услышал о моем возвращении, ты прислал мне денег.—Меня это глубоко тронуло, тем более тронуло, что мы не всегда ладили между собою—ну да это старый вздор, чорт с ним. Когда ж и где мы увидимся с тобою—может быть я приеду снова в Париж, если пустят—и то-то мы наговоримся о седой старине—любишь ли ты попрежнему музыку? Бедный ты мой, ты болен, но надеюсь не на долго—скоро будешь в состоянии угостить меня по старому.—Мое здоровье также не старое дурацкое здоровье.—Крепость таки порядочно поизмяла меня, ну да Сибирь потом немного поправила—так что еще лет на десять деятельной жизни меня хватит и я пожалуй помирюсь и на пять лет.—

Прощай старый друг—когда и где мы увидимся?—А до тех пор, если глаза позволят напиши хоть две строчки.—

Твой неизменный идеалист

М. Бакунин.

¹⁾ В июле 1861 г. Бакунин бежал из Сибири, и через Японию, Америку прибыл 28 декабря в Лондон.

Крепостная школа и ее ученики в конце XVIII века.

Мы располагаем очень скудными сведениями для истории крепостной школы; особенно же мало сведений у нас для того, чтобы судить о ее внутренней жизни, о том, чем и как именно там занимались. В этом отношении, как нам кажется, представляют интерес те данные о крепостной школе кн. Куракина, которые нами удалось найти в бумагах вотчинного архива князей Куракиных, хранящихся в Архиве Исторического Музея в Москве (собрание Барсова). Они дают возможность не только судить о составе учеников этой школы, но—что самое главное,—и о том, чем эти ученики занимались и как именно занимались.

5 декабря 1789 г. учитель Еким Лехницкий представил „Его Сиятельству Двора Ея Императорского Величества Действительному Камер-Геру и разных орденов Ковалеру князю Александру Борисовичу Куракину“ рапорт о том, „сколько при Белокуракинской школе (с. Белокуракино, Харьк. губ.) имеется на лицо учеников, кто именно, какого названия, кто в чем упражняется, какого понятия“; к рапорту были приложены образцы ученических сочинений.

Из рапорта видно, что в Белокуракинской школе было 17 учеников; из графы: „кто в чем упражняется, какого понятия“ видно, что двое из них находились „у Господина лекаря“, один—„у стола в господском доме“ и один—„в домовом отпуске“; так что учились, значит, только 13 учеников; относительно четверых из этих 13 сказано, что они „упражняются в письме“, что один—„твердит письмо“, один—„доканчивает букварь“, про всех же остальных сказано, что они „начали обучать“ или уже „обучают часослов“. Таким образом, очевидно, школьники делились на группы, но чем было вызвано это деление—разницей во времени поступления в школу, разницей их лет, различными способностями или чем-либо еще,—из рапорта учителя Лехницкого не видно. Что касается „понятия“ учеников, то шести ученикам учитель не дал никакой характеристики, о пяти он пишет что они „понятия изрядного“, о двух других—что они просто „поняты“, т.е. понятливы; один, по его словам, „в понятии не худ“, другой—„в понятии не туп“, третий—„туп“ и, наконец, четвертый—„в понятии весьма туп“.

Затем учитель Лехницкий помещает в своем рапорте 5 образцов ученических сочинений, которые дают наглядное представление о том методе писания „сочинений“, который господствовал в Белокуракинской школе; они носят на себе несомненные следы того духа, того настроения, которые были господствующими в нашей литературе во второй половине XVIII века: даже не зная, к какому именно вре-

мени относятся эти сочинения, можно было бы безошибочно сказать что это—произведения века Екатерины II.

Все сочинения написаны одним и тем же почерком,—тем же, что и весь рапорт, очевидно, самим Лехницким; таким образом, орфография их не показательна для деревенских школьников конца XVIII века; возможно, что рука учителя прошла и по стилю ученических работ; но во всяком случае остаются очень характерными и темы их и разработка этих тем.

Первым Лехницкий помещает сочинение Данилы Варавина, о „понятии“ которого в его рапорте не сказано ничего. Вот оно (сохраняем орфографию подлинника, заменив лишь в словах после точки малые буквы большими и поставив кое-где знаки препинания).

Сочинение Варавина.

„Удадитесь отсель жестокіе аквилоны, въ уныніе землю приводящіе; шумъ сраженій вашихъ поражаетъ страхомъ невинность! Оживи пріятный и тихій зефиръ пришествіемъ своимъ унылыя наши поля и возврати имъ тишину и довольствіе. Нѣжные цвѣты съ нетерпѣливостію ожидаютъ твоихъ лобзаній. Заключенный во время хладныя зимы въ отвердѣлыхъ брегахъ своихъ ручей, нынѣ протекаетъ уже свободно, и пріятной рѣзвости твоей соотвѣтствуетъ поспѣшнымъ колебаніемъ серебристыхъ струй своихъ. Пробужденные журчаніемъ его нимфы разстилаютъ на его пути прекрасныя ковры, на коихъ флора изображаетъ великолепное весеннее украшеніе. Не слышно уже вѣтровъ, дующихъ сквозь обнаженныя древесныя вѣтви и между собою сильно борющихся. На лѣсныхъ вершинахъ раскидываются тысящи зеленѣющихъ кущей. Зыблющаяся густота ихъ перемѣняетъ уже минутно видъ свой отъ нѣжнаго трепетанія листьевъ, веселящихся, повидимому новымъ бытіемъ своимъ. Ручей катится съ высокія горы на злачныя доли. Устрашенные снѣги сокрываются въ удолія и стремительно оставляя цвѣтистыя луга, уступаютъ обширное владычество надъ полями пріятнымъ забавамъ. Увѣнчанная цвѣтами весна низходитъ съ лазоревого свода; за нею последуютъ толпою забавы, посреди коихъ является любовь, сѣдящая во образѣ побѣдителя на колеснице, несомой голубями, и потрясая пламенникомъ своимъ“.

Сочинение Дмитрія Мережжина ¹⁾.

„Нѣтъ уже сихъ временъ, въ кои человекъ, будучи ограниченъ въ необходимыхъ нуждахъ, удобно везде находилъ средства къ удовольствованію оныхъ и шествовалъ по землѣ свободно, какъ птица летаетъ по воздуху: истинное счастье съ сими временами исчезло. Собственность разорила естественное равенство ²⁾. Явилась на землѣ гордость, ядовитое дыханіе коея истребило всѣ добродѣтели и беззаконія породило.

Напрасно, злополучныя смертныя! призываете вы щастіе; напрасно простираете руки свои къ сему божеству неумолимому! Можете ли вы быть щастливы, когда не имаете средствъ даже къ существованію своему? Или можете ли быть таковыми, когда жестокость по-

¹⁾ „Въ реестрѣ“ о немъ сказано, что онъ „упражняется въ письмѣ“ и „повлія ізряднаго“.

²⁾ Тутъ несомнѣнно сказывается вліяніе философскихъ идей XVIII вѣка.

добныхъ намъ стремится похитить у насъ сіи средства? Не ищите болѣе счастья, которое вамъ опредѣленно было, ибо для васъ осталось нынѣ одно только, стараться о уменьшеніи бѣдствій, васъ обременяющихъ. Я не стану болѣе основывать счастья своего на васъ, вѣроломніе человѣки! Коликратно обмануть я вами! Я не могу и взирать на васъ безъ трепета. Что надобно дѣлать для снисканія уваженія вашего: дарованія производятъ въ васъ ревность, богатство, зависть, добродѣтель — ненависть; вы гоните того несчастнаго, который не имѣетъ довольно силы или непотребства гнать малыхъ (?) васъ“.

Сочинение Федора Силина 1).

„Могущество, честь, богатство, суетные мечты, обещающія счастье, вы никогда онаго не доставляете; сидящій на престолѣ завоеватель Индій чувствуетъ въ сердцѣ своемъ побужденіе къ снисканію новаго міра, но если бы завоевалъ онъ тысячи таковыхъ, то и тѣ бы не составили его счастья. О ты, ищущій блаженства, если суждено жребіемъ, чтобъ ты родился невольникомъ, то на земли нѣтъ для тебя онаго, ибо сердце твое презрено; разорви оковы свои, ежели можешь или носи оныя безъ горести; кромѣ терпѣнія и смерти, для тебя ничего нѣтъ благаго. Такъ сноси съ терпѣніемъ, благое божество видитъ время новое и уменьитъ оное; въ природѣ труды всегда производятъ удовольствіе, таковъ есть всеобщій законъ сего существа благодѣющаго; такимъ образомъ болѣзни рожденія провождаютъ къ пріятностямъ жизни, усталость къ успокоенію, а несчастіе къ чувствительности; смерть же должна провождать къ сладостямъ благополучнѣйшей: чувствительное и невинное существо во всю“..... (конца въ подлинникѣ нѣтъ).

Сочинение Иакова Солдатова 2).

„Сіе сокровище есть святая оная трезвость, пріятна богу, другъ естеству, дочь разума, сестра добродѣтели, сверстница умѣренныхъ жизни, непостыдна, благородна, изрядна, немногимъ довольна, благоустроена и своими дѣлами знаменита. Отъ нея, какъ отъ корени, происходятъ жизнь здравая, трудолюбіе, къ честнымъ дѣламъ прилежаніе, и всѣ дѣйствія, достойныя кроткаго и благосклоннаго сердца; ей пріятствуютъ законы божіе и человѣческіе; отъ нея аки туманъ отъ солнца, бѣгаютъ преисполненіе, пресыщеніе, похмѣлье, излишныя мокроты, вредныя пары, нераствореніе, лихорадки, горячки, боли, печали и самая смертная напасть. Благороднаго духа людей привлекаетъ она своимъ благолѣпіемъ: безопасностію своею обещаетъ всѣмъ жизнь сохранить пріятельски и долговременно; удобствомъ своимъ приглашаетъ всякаго одержать ея побѣды малѣйшимъ трудомъ. Наконецъ, обѣщается быть милостивымъ стражемъ житію такъ богатаго, какъ и жены старца, равно какъ и юноши. Богатаго учитъ умѣренности, убогаго бережливости, мужа постоянству, жену цѣломудрію, стараго, какъ защищать себя отъ смерти, молодаго да надежду о жизни своей тверже имѣетъ. Трезвость чувства дѣлаетъ чистыя, тѣло неутомимое“.

1) О немъ въ „реестрѣ“ сказано: „твердитъ письмо, въ понятіи не худъ“.

2) Въ „реестрѣ“ о немъ сказано: „упражняется въ письмѣ, понятія изряднаго“.

Сочинение Данила Семидоцкого ¹⁾.

„Разумъ быстрый, движенія свободныя, дѣйствія скорія и легкія. Посредствомъ оныя душа аки бы сложить изъ себя земное оное бремя, ощущаетъ свою свободу большею частію; духъ жизни протѣкаетъ артеріи съ услажденіемъ, кровь въ жилахъ кротко разливается; и естественный жаръ, будучи умѣренъ и кротокъ, производитъ въ насъ умѣренное и кроткое.

Наконецъ, всѣ наши силы въ презрядномъ порядкѣ хранятъ пріятнѣйшее согласіе.

О всесвятая и непорочная трезвость, единое естество прохладеніе, милосердая мать человѣческія жизни, истинное какъ души такъ и тѣла врачеваніе; колико бы тебя смертные превозносить и съ коликимъ бы усердіемъ и скоростію обымать должны, что подаешь имъ способъ, какъ беречь величайшее сея жизни благо, животь, говорю, и здравіе! О когда бы имъ всѣ твои дары извѣстны были, наипаче жегѣмъ, кои, посвятить себя духовному житію, трудятся и въ монастыряхъ, въ богомисліи и молитвѣ. Колико бы и самы они и труды ихъ пріятны были Богу, если бы предводительницею тебя имѣть всѣмъ сѣрдцемъ обратились. Колико бы оны вселенную сію церковь Христову украшали, ибо на земли почитали бы ихъ за святыхъ отцевъ не инако, какъ въ древнія времена почитаемы были пустынножители, законники....“

Сообщилъ Н. Сивковъ.

¹⁾ Упражняется въ письмѣ, „понятія изряднаго“.

Книги о германской революции.

В Германии имеется, повидимому, обширная литература по этому вопросу. Приходится говорить „повидимому“, потому что попадает в Россию далеко не все, а к нам попало не все то, что попадает в Россию, и нет даже возможности судить о том, чего не достает. Нам посчастливилось ознакомиться с довольно обширной мемуарной литературой. Из этих книг остановимся прежде всего на увесистых воспоминаниях (628 стр.) Людендорффа (*Meine Kriegserinnerungen*, Verl. Mittler u. Sohn, Berlin 1921). Воспоминания Людендорффа посвящены войне, а не революции, но так как германская революция теснейшим образом связана с войною, более того — вызвана ею, то книга Людендорффа, твердокаменного реакционера, отвечает непосредственно на вопрос о первоисточнике революции. Напомним в самых кратких словах хронологию немецкой революции. Первое оппозиционное выступление рейхстага (резолюция о мире) произошло в июле 1917 года, когда депутат центра Эрцбергер выступил с яркой речью, доказывавшей, что подводная война не удалась и что Германия обречена на поражение. Дело кончилось чисто словесными уступками со стороны правительства. Война продолжалась, а после Брест-Литовского мира Германия переживала острый приступ милитаристической реакции. Людендорфф (а не Гинденбург, ибо фактически взаимоотношение между этими двумя людьми было обратное их рангам) был, что называется, царь и бог. Были уже и в это время очень зловещие для правительства выступления пролетариата — такова всеобщая стачка берлинских рабочих в марте 1918 года, но все эти выступления либо подавлялись, либо ликвидировались компромиссом при посредстве социал-демократического большинства без вреда для политической системы. В июле 1918 года Людендорфф начал генеральное наступление на французском фронте и потерпел поражение. Непосредственно затем началось успешное наступление противников и 24 сентября 1918 года Людендорфф потребовал от правительства немедленного вступления в переговоры о перемирии. Последствием была отставка Гертлинга и назначение канцлером принца Макса Баденского с привлечением в состав министров представителей партий вплоть до шейдемановцев. Это означало уже падение прежней системы безответственного министерства. Переговоры о перемирии поставили в свою очередь вопрос об отречении императора, так как этого требовал Вильсон. То же поражение на французском фронте толкнуло морское командование на безумно-отважную и в то же время безумно-преступную мысль о генеральном морском бое, когда все шансы благоприятного исхода были упущены. Это повело к восстанию матросов в Киле в первых числах ноября, с которого и начинается открытая революция.

Каковы же были причины и размеры военного поражения? Людендорфф, который знает это лучше всякого другого, отнюдь не может быть лучшим свидетелем. Он—заинтересованное лицо, как подсудимый, и от него, как от подсудимого, можно узнать только ту долю правды, в которой он вынужден признаваться. Первая и самая основная причина поражения немцев—численное и материальное превосходство союзников. При системе последней войны, созданной самим же Людендорффом, воюет все и воюет беспощадно: воюют не только солдаты, воюют целые народы всем своим трудом, всеми капиталами, деньгами, машинами, сырьем, своей прессой, количеством квадратных километров своей территории, своим урожаем, железными дорогами и флотом, недрами своей земли, даже своим климатом. Все бросают в войну, все используется, и преобладание одних над другими в конце-концов выявляется на театре военных действий. Беспощадная подводная война не удалась немцам, потому что производительность англо-американских верфей оказалась выше разрушительной силы немецких мин. На суше же армии союзников численно значительно превосходили немецкие, были более свежи, составлены из лучшего по возрасту материала, лучше питались, были лучше одеты. Гранаты и бомбы союзников лучше разрывались, ибо у немцев к концу войны все было из Ersatz'ов, в том числе и бомбы. На каждый немецкий аэроплан приходилось по целой эскадрилье англо-американско-французских. И, наконец, союзническая техника перегнала немецкую даже в изобретательности: на театре военных действий появились колонны разнообразных танков, которые в последнем наступлении союзников сыграли решающую роль. В моральной стороне первоисточник преобладания лежит в том же преобладании материальных сил. Дух немецкой армии был сломлен переутомлением на фронте и голодом внутри страны. К этому много, конечно, прибавила дикая реакция, но, разумеется, в этом Людендорфф не признается: он валит вину на агитацию союзников и левых социалистов (независимых и спартакистов). Он ex officio защищает положение, что немецкая армия не была разбита, но что ей был „нанесен удар кинжалом в спину“—со стороны революции. Теперь в Германии это—основной тезис реакции вопреки тому, что упомянутые уже факты до полной очевидности этому противоречат, но, ведь, отрицание очевидных фактов—в политике вещь самая обыкновенная.

Книга Людендорффа для истории революции интересна не только военной стороной, но, кроме того, она ценна и для характеристики системы управления непосредственно перед революционным взрывом в Германии и оккупированных ею областях и, наконец, для характеристики самого Людендорффа, по отношению к которому и Вильгельм в последнее время играл только служебную роль.

Для оценки военного положения к моменту революции имеют значение и воспоминания Тирпица (A. von Tirpitz, Erinnerungen, Leipzig. Verl. Koehler, 1920. S. 547). Но книга Тирпица уже чисто полемическая (против Бетмана-Гольвега) и апологетическая. Все сводится к вопросу: кто прав—он или Бетман? Такие вещи интересны только для специалистов по раскопкам исторического мусора. Как Людендорфф, так и Тирпиц твердо держится того положения, что Германия военного поражения не потерпела, а во всем „виноват тыл“. Разница в том, что Людендорфф обвиняет революцию, которая наступила через 1½ месяца после его требования о немедленном перемирии, а Тирпиц разрешает вопрос еще проще: во всем виноват Бетман-Голь-

вег. Конечно, Тирпиц не так глуп, чтобы выставлять такое положение в такой несложности. Бетман-Гольвег — выразитель „системы“, а система его — бессистемность, половинчатость, компромиссы направо и компромиссы налево. Он не умел воодушевить и объединить народ и т. д. Ни малейшего понимания внутреннего положения Германии у Тирпица нет и даже голод народных масс только поверхностно затрагивает его, отнюдь глубоко его не волнует. Для военно-морских специалистов в его воспоминаниях много интересного, для историков революции — почти ничего.

Время для мемуаров о немецкой революции, конечно, еще не пришло, потому что и сама революция еще не совсем прошла. Тем не менее мемуаров появилось в печати уже довольно много. Когда мемуары пишутся так скоро после событий, к которым они относятся, это и хорошо, и худо. Хорошо тем, что только в этом случае есть возможность быть точным во всех фактах и верным в передаче своего настроения: через 2—3 десятка лет средняя человеческая память сохраняет только контуры пережитого, а своего настроения, своего прошлого «я» человек, обыкновенно, не может воспроизвести совсем, если только он не одарен силою художественного воспроизведения, но тогда получается беллетристика, а не история. Слабая же сторона мемуаров по свежей памяти — в том, что в них слишком много субъективизма: редко кто, особенно если речь идет о людях, игравших роль, способен на такую объективность, которая требуется правдой. Даже перед собственной совестью трудно быть беспристрастным, потому что уже и для этого нужна суровая дисциплина, муштровка своего самолюбия; нечего и говорить о том, что перед другими, перед всеми, совершенно правдивая исповедь есть большой нравственный подвиг, которого, конечно, нельзя ни требовать, ни ожидать от любителей писать воспоминания, а еще меньше от тех, кто пишет свои мемуары с политическими или партийными целями. И так как в политике фигура умолчания есть азбука умения говорить и писать, то, думается, политики — самые неподходящие, в отношении беспристрастности, люди для мемуаров, а они-то их больше всего и пишут. С другой стороны, нужно признаться, что они и самые интересные.

Филипп Шейдеманн рассказывает, что, когда было получено известие об австрийском ультиматуме к Сербии, он немедленно купил тетради и решил вести дневник. Он и вел его всю войну и во время революции. Таким образом он написал 26 толстых тетрадей, которые „впоследствии могут быть опубликованы без поправок“. Редкий политик так неукоснительно проводит раз принятое решение. Материал должен быть дьявольски интересен. Но когда он будет опубликован? Пока Шейдеманн выпустил только одну книгу вместо 26 под заглавием *Der Zusammenbruch*, Berlin, Verl. f. Sozialwissenschaft, 1921, S. 211), в которой есть только пробные выдержки из его интересного дневника.

С первого дня войны и до последнего поражения правые социал-демократы, во главе с Шейдеманном, всячески старались поддерживать правительство по соображениям обороны страны от внешнего врага. Правительство также с первого дня вполне оценило поддержку этой самой большой партии в стране. На приеме 3 августа во дворце канцлера, рассказывает Шейдеманн, Бетман-Гольвег особенно крепко и долго пожимал ему руку, как-будто хотел сказать: „надеюсь, мы больше не будем задавать друг другу потасовку“. Между тем и другим установились дружественные отношения, так что термин *Regie-*

rungssozialisten, которым потом в насмешку называли Шейдеманна и его партию слева, вполне точно обозначал реальные отношения. Вот, напр., картинка, рассказанная Шейдеманном. Правые социалисты интерpellируют 6/XII 1915 года правительство о мире. 3 декабря канцлер по телефону вызывает к себе Шейдеманна, Шейдеманн идет и, разумеется, застаёт канцлера в любезном настроении.

— Жаль, что вы вносите запрос! Ну, ничего не поделаешь, главное, чтобы не испортить дела.

Он говорит, что как-раз он обрабатывает свою вторую речь, т. е. ту, которую он должен держать в ответ на мою интерpellацию. Я засмеялся и сказал ему, что не считаю правильным то, что он начинает с конца, ведь он же не знает, что я скажу.

Он: „Ну, приблизительно, я думаю, что особенно большого вреда вы нам не нанесете“.

Я: „Позвольте, эксцелленц, никакого вреда! Я надеюсь принести большую пользу.“

Он взял большую тетрадь в лист форматом, перегнутую по середине, и стал читать написанную карандашом речь: „Если г. депутат Шейдеманн думает, что требование наших противников—просто блефф, то он ошибается; точно также он пошел слишком далеко, утверждая, что иностранная буржуазная пресса не выражает действительного настроения народных масс“... Я перебил: „Если Вы хотите, чтобы я дал повод это сказать, то я готов, потому что это с моей стороны не будет уступкой“...

„Разговор продолжался полтора часа, обе речи и Шейдеманна, и канцлера были обсуждены. Бетман—дружески провожает Шейдеманна до дверей и жалуется ему, что экспромтом говорить не умеет, а заучивать речь наизусть трудно, заглядывать же в тетрадь ему неудобно, потому что у его места нет высокой конторки, как на ораторской трибуне. Шейдеманн советует не стесняться и держать тетрадь в руке.“

— „Нет, это не годится; если я буду слишком много считать, то это уже не будет речь“.

По-немецки все это называется abgekartetes Spiel—термин совершенно точный, но и столь же обидный. Теперь нельзя не улыбнуться, когда вспомнишь, как горячо протестовали в свое время шейдеманновцы против такой квалификации.

К Бетман-Гольвегу Шейдеманн относился с уважением, как к человеку честному, убежденному и добросовестному, хотя не был слишком высокого о нем мнения: „За нерешительным Бетман-Гольвегом, который был, конечно, честным человеком, но состоял, к сожалению, сплошь из одних сомнений и оглядок на других, последовал «современник» Михаэлис ¹⁾, который в мирное время был бы небольшим веселым интермеццо. В 1917 году его назначение было преступлением. Михаэлиса в конце-концов сменил совершенно дряхлый Гертлинг. Мне пришлось быть свидетелем, как однажды в важном собрании, в котором участвовали члены правительства и лидеры партий, Гертлинг в 9 часов вечера встал и ушел, чтобы лечь спать, не сказав никому ни слова, что он уходит. Он просто исчез в середине собрания“.

¹⁾ Михаэлис при первом знакомстве с Шейдеманном сказал, что он не специалист в политике и не имеет своего мнения в текущих политических вопросах „я—только современник“.

Банкротство системы стало очевидно с момента исторического выступления Эрцбергера и принятия мирной резолюции рейхстагом в июле 1917 года. Прежние кумиры пали: сам Вильгельм и все члены правительства, Гинденбург и Людендорфф, все предстали в ином свете. И в воспоминаниях Шейдемманна чувствуется, что с этого времени и у него самого, и у всех изменилось отношение к ним. „К мне стали приходять“,—пишет Шейдемманн,—„всякие советники из кругов чиновничества, офицерства и даже весьма высоких кругов и побуждать меня к смелому предпринятию“. Шейдемманн не называет имени, но дает понять, что один из принцев предлагал ему произвести переворот.

Сознательно готовили революцию только спартакисты и независимые. Правые социалисты стояли твердо на точке зрения эволюции, хотели преобразований конституционным путем и боялись революции, боялись ее, как анархии и как военного поражения. Но судьбы истории неисповедимы. Революцию завязало восстание матросов в Киле, которое было подготовлено левыми социалистами, но во главе которого стали правые социалисты. Они не только стали во главе революции, но и удержались: это было бы невозможно, если бы их связи с массами были слабее, чем у оппозиции слева.

Но еще и до восстания матросов в Киле, Шейдемманн и его партия, может быть, сами того не желая, вели Германию к революции, когда они после признания Людендорффом военного поражения, повели кампанию за отречение Вильгельма. Это—самые интересные страницы книги Шейдемманна. Шейдемманн вступил в министерство принца Баденского против своего убеждения, подчиняясь решению большинства своей фракции. Когда было опубликовано в швейцарских газетах письмо, компрометирующее искренность мирных предложений нового канцлера, Шейдемманн хотел выйти в отставку, но вновь был принужден своей фракцией оставаться в составе министерства. Шейдемманн был настроен левее своей фракции, но подчинился ей и оставался в министерстве. В это время в прессе уже раздавались голоса, требующие отречения Вильгельма. При обсуждении этого вопроса в совете министров никто не высказался против, но и никто за то, чтобы настаивать на немедленном отречении. 28 октября Шейдемманн обратился к Максусу Баденскому с письмом, в котором требовал решения этого вопроса и в разговоре с ним поставил ультиматум: 24 часа. Вопрос, однако, затянулся. Собственная фракция не поддержала его достаточно. Только 7 ноября оба социал-демократических президиума, парламентской фракции и партии, решили ультимативно требовать отречения Вильгельма в 24 часа. В Киле в это время уже правил совет солдатских депутатов во главе с Носке, которого послал туда Шейдемманн с поручением стать во главе движения и держать его в своих руках. В Берлине независимые и спартаковцы уже образовали совет депутатов и готовили открытое восстание. Шейдемманн настаивал в своей партии на такой тактике: стать во главе движения, чтобы не очутиться за бортом. Это было принято партией. 9 ноября Шейдемманн подает в отставку и в тот же день утром правые социалисты призывают рабочих ко всеобщей стачке. Одновременно такой же призыв исходит от независимых. Эберт и Шейдемманн составляют депутацию, которая должна идти к правительству для переговоров. Таким образом Шейдемманн, утром еще министр, в полдень является к правительству в качестве вождя вышедшей на улицу массы. Принц Макс тут же передает

должность канцлера Эберту, а Шейдеманн отправляется в рейхстаг и из окна его первый провозглашает республику. Потом составляется новое правительство из 3 правых социалистов и 3 независимых, под названием народных комиссаров.

«Происхождение и состав этой правительственной верхушки, со взятым напрокат русским названием, оставляло мало надежд на что-нибудь отрадное. Обими партиями были делегированы как раз те люди, которые в течение 2 лет, как лидеры, были заняты взаимной борьбой; а то, что они раньше были вместе лидерами одной и той же партии, скорее ухудшало, чем улучшало положение. К этому нужно еще добавить, что независимые, в качестве реверанса перед революционными вожаками, включили в состав своей части комиссаром Эмиля Барта, который, выражаясь мягко, ни по своим умственным дарованиям, ни по прошлому, не годился на этот пост... „Империя, а особенно Берлин, в эти первые дни катастрофы, были просто сумасшедшим домом. Народ вырвался из каторжного режима военного времени и в первой суматохе не знал, что делать со своей свободой. Власти не знали своей компетенции. Существование на ряду с правительственными учреждениями советов вносило необозримую путаницу. Способ, каким совершалась революция, именно то обстоятельство, что она вышла не из центрального пункта, но из многих мест периферии, носила часто местный характер и захватывала ограниченный район, определил собою и характер новых властей. Всюду провинциальное и приходское своеволие, изолированное правление в маленьком кругу, без связи с целым. Этим и объясняется, что так много городов и округов провозгласили себя самостоятельными советскими республиками, вели свою собственную продовольственную политику, творили неслыханное самоуправство в деле транспорта и даже диллетантствовали на свой страх в области внешней политики. Буржуазия приумолкла совершенно, и это обстоятельство создало во многих рабочих и солдатских советах иллюзию о всемогуществе социалистов, что не только тогда было ошибкой мышления, которая горько отплатила за себя. Что многие из новоявленных блюстителей социализма впервые услышали это слово 9 ноября, не улучшало дела. Наоборот, эти новички во многих местах перекричали старых, сведущих товарищей и увлекали за собою своих сверстников в социалистическом мировоззрении 2—3 спартакистскими фразами. В эти недели единственно только старая политическая и профессиональная организация рабочего класса, да еще верное своему долгу чиновничество, поддерживали некоторым образом порядок“...

Из этого хаоса спартаковцы хотели идти прямой дорогой в советское эльдорадо, независимые хотели туда же, но думали, что более гладкий путь будет идти не по прямой, а по параболе, которая, как известно, есть геометрическое место равно удаленных точек от прямой и точки, а прочие социалисты хотели остановиться на демократической республике. Достаточно представить себе всю эту перегруженность страны легко воспламеняющимся материалом и силами, тянущими врозь, чтобы понять, что без огня тут дела не обойдется. Тут уж никакое политическое искусство само по себе дела не решает, тут — вопрос силы, и решение зависит не от тех людей, кто лучше выдумывает порох, а от тех, кто лучше его употребляет. На авансцену выступает Носке.

3 ноября Носке в Брауншвейге держал речь о демократизации

Германии и высказался решительно против насильственного переворота, а 4 ноября его вызвал по телефону Шейдеманн к себе и отправил вместе с либералом Гауссманом в Киль, где разразилось восстание матросов, с инструкцией: постараться овладеть движением.

В своей книге (*Von Kiel bis Kapp*, 1920, Verl. f. Politik und Wissenschaft) Носке рассказывает: „На вокзале в Киле всегда была толкотня матросов. Когда я прошел барьер платформы, я в изумлении остановился при виде многих вооруженных солдат. В это мгновение кто-то выкрикнул мое имя. Громовое ура потрясло вокзал и тысячи рук протянулись ко мне навстречу. Толпа вооруженных солдат оттеснила моих спутников и придвинула меня к входу. Люди эти слышали о моем приезде. По имени я был многим знаком из моей парламентской деятельности. Не спрашивая, что я думаю о их образе действий, они реквизируют меня себе в ораторы“... Тут же ему дали программу ближайших выступлений. В доме профессиональных союзов ему выдали удостоверение личности от имени „солдатского совета“, снабженное неразборчивой подписью и печатью одного местного, не кильского, отделения союза металлистов. То, что нашел Носке в Киле, он описывает под заглавием: „Потерявшая голову путаница“. Все—митингует, вечером устраиваются демонстрации, а по ночам стреляют—„большую часть для того, чтобы разогнать собственный страх“.

На следующий день Носке искал, где заседает солдатский совет. Везде масса народу, все—спрашивают, и никто не отвечает. На вокзале он застал 50—60 человек уполномоченных солдат и матросов. „После того, как некоторое время говорили взад и вперед, я предложил избрать 7 или 9-членный совет, который должен состоять под моим председательством. С этим согласились. Выборы представляли некоторые трудности, потому что друг друга они не знали. В конце-концов я не мог сделать ничего другого, как присмотревшись к лицам, выбрать тех, которые производили впечатление, что с ними можно что-нибудь начать делать. Должен признаться, что моя проницательность не вполне оправдалась. Одного или двух из них я вообще больше ни разу не видел, третий оказался никуда негодным“... Так Носке сделался председателем совета солдатских депутатов, а через несколько дней был назначен этим же самым советом губернатором Шлезвиг-Гольштейнии и командующим всеми войсками, расположенными в этой провинции.

Как это называется? По-русски существуют два выражения. Смотря по желанию, говорят или: „был взнесен революционной стихией“, или—„кто палку взял, тот и капрал“.

Гауссман, спутник Носке, талантливый публицист, вернулся в Берлин, увидав, что ему тут делать нечего, а Гаазе опоздал на несколько дней, чтобы захватить власть в свои руки, и также вернулся в Берлин.

Кильская эпопея была первой победой Носке. Крупная, историческая его роль началась в Берлине, когда, после бунта морской дивизии, независимые вышли из состава правительства, а Носке вступил в него. Это было в конце декабря, а в начале января восстание спартаковцев создало у правительства потребность в твердой руке. Правительство сидело в имперской канцелярии, охраняемое снаружи только невооруженными, но, правда, многочисленными толпами рабочих, сторонников Шейдеманна-Эберта, и решало вопрос о том, кому поручить подавление восстания. Кандидатура одного генерала была

отвергнута по политическим соображениям. Носке рассказывает; „В большом возбуждении, потому что нужно было не терять времени и наши сторонники на улице кричали, требуя оружия, стояли все в комнате Эберта. Я потребовал, чтобы решение было принято. Мне кто-то ответил: „Так ты сам и возьми за это дело“, на что, быстро решившись, я возразил: „Ладно! кто-нибудь должен стать кровавой собакой, я ответственности не боюсь“...

„В сопровождении одного молодого капитана в штатском я должен был отправиться к зданию генерального штаба, чтобы обсудить там вместе с некоторыми офицерами необходимые мероприятия. На улице меня шумно приветствовали. Меня подняли вверх, и я кратко сообщил, что я назначен главнокомандующим. Что нужно делать, я еще не знал, но с уверенностью объявил: „Положитесь на меня, я вам приведу Берлин в порядок“.

В несколько дней организовав добровольцев и собрав надежные войска, Носке двинулся в Берлин и быстро подавил восстание. Затем шел целый ряд подавлений—в Берлине, Брауншвейге, Мюнхене. Носке рассказывает о них в стиле военных реляций. Ко всем им, как и ко всей книге Носке, очень подходил бы эпиграф из Ю. Цезаря: *veni, vidi, vici*. Разумеется, об исторической проверке фактов и объективности тут речи быть не может. Интерес книги—в личности самого Носке. Приведенные выдержки, думается, достаточно освещают его колоритную фигуру. Объективная оценка его—дело будущего, а оценка современная—дело вкуса и политических симпатий.

* * *

Эдуард Бернштейн первый начал писать историю германской революции. Пока нам известен I том, охватывающий первые три месяца революции. (Ed. Bernstein. Die deutsche Revolution, I. Band, die Geschichte der Gutstehung und ersten Arbeitsperiode der deutschen Republik, Berlin 1921, Verl. Gesellschaft und Erziehung). Как видно из этого 12-дюймового названия, старик Бернштейн задумал огромную работу.

Он пишет историю первым. Как и сам он говорит, имеется большой материал, состоящий в воспоминаниях, отдельных описаниях, официальные и неофициальные отчеты, различного рода акты, заявления, партийно-полемические сочинения, материалы разных исследований, судебные отчеты и т. п. Но целого еще ничего нет, и Бернштейн поставил своей задачей дать цельную историю. Это, конечно,—работа многолетняя, даже очень многолетняя и для первого историка очень трудная и мало благодарная. При современном (для заграницы) многопечатании пересмотреть весь материал одному человеку едва ли возможно, здесь нужен коллективный труд предварительной обработки, чтобы привести материал в удобообозримый вид, подвергнуть его критике хотя бы только в отношении точности фактов. Затем, напр., вот что отмечает сам Бернштейн: материал, собранный комиссией прусского ландтага о январском восстании в Берлине, еще не приведен в систему. И это, конечно, не единственный пример. Несомненно, что много исторического материала еще не открыто, много другого нуждается в особо-специальной обработке, напр., вопросы экономического положения Германии в конце войны и во время революции. И т. д., и т. д. Нужно иметь много отваги, чтобы взять все это одним штурмом.

Вероятно и даже несомненно, что в работе Бернштейна будет найдена масса недостатков. Даже русскому читателю, напр., бросается

в глаза очень слабая экономическая сторона, хотя сам Э. Бернштейн в этой области более специалист, чем в истории. Каково было экономическое положение рабочих во время революции, крестьянства и всех других слоев, на это в книге нет ни одного цифрового ответа. Сам Бернштейн говорит, что при оценке отдельных лиц надо принимать во внимание их партийность, обуславливающую принципиально различную оценку и понимание действительности. А партийность, в свою очередь, так тесно связана с экономикой, со всем бытом. Какие, напр., были рабочие в партии правых социалистов и спартаковцев? Во время войны городская рабочая масса в Германии сильно переменялась: как и у нас в Петрограде, основное ядро квалифицированных рабочих было в несколько раз разбавлено массой неквалифицированных новых сил, привлеченных к заводскому станку военной промышленностью. В гораздо большей степени, чем у нас, в Германии во время войны развилась труд женщин и подростков. Насколько старые профессиональные и политические организации впитали в себя эти новые слои и выражали их мнения и настроения? Чтобы ответить на этот и другие вопросы, нужен социальный анализ действующих сил, но его нет у Бернштейна даже по отношению к городу. Что же касается деревни, то она почти забыта в книге Бернштейна. Правда, Германия — страна совершенно иной структуры, чем Россия, сельское население ее составляет меньшинство нации, но меньшинство все же значительное: если оно не играет почти никакой роли в момент переворота, совершающегося в центрах и разносимого по артериям железных дорог, если по сравнению с рабочими и мобилизованной армией — его ударная, так сказать, сила очень слаба, то она скажется потом иными путями, когда, напр., на выборах в учредительное собрание католический центр соберет столько же или даже еще больше голосов, чем он собирал до революции. Армия, офицерство, оно опять-таки не то, каким мы его знали раньше, и тем более не то, каким мы его себе представляли. Несомненно, что социальный анализ всех слоев населения показал бы, что произошли к началу революции большие изменения везде, что тут уже была совсем иная химия социального вещества, с иными формулами, иными взаимоотношениями друг с другом. А что же и говорить о психологии после всех впечатлений войны и последнего все-таки внезапного поражения?

Конечно, нельзя требовать от одного человека всего. Мы просто хотели отметить, что после чтения книги Бернштейна в голове — гораздо больше вопросов без ответа, чем было раньше. И даже, пожалуй, вопросов, касающихся только установления фактов, самих событий.

Затем для характеристики книги приведем следующие слова из предисловия Бернштейна: „Эта книга не беспартийна. Она трактует о событиях, имевших слишком большое значение для судьбы своего народа, как и народов вообще, чтобы автор считал совместимым со своей политической совестью скрывать свое суждение о лицах, которые брали на себя ответственность за эти события: „Я старался быть справедливым, но я вовсе не придавал значения тому, чтобы всем воздать должное“... Но как трудно справедливо судить современников и особенно противников, показывает тот факт, что для суждения о Либкнехте Бернштейну приходится вплетать в историческое изложение целый морально-философский трактат о том, насколько человек вообще ответствен за свои действия и насколько и почему он заслуживает осуждения за ошибки.

Как социалист, член партии с самого ее основания, переживший с ней всю историю, сыгравший в ней крупную роль и относившийся со всею страстью политического борца к ее внутренним делам и до войны, и во время войны (Бернштейн ушел из старой партии к независимым и потом снова вступил в нее), как человек, отдавший своей партии всю долгую жизнь, столетия политической работы, Бернштейн, конечно, не может говорить о политике, не говоря о партии. Поэтому даже в чисто фактическом изложении он не может соблюдать правильной пропорции. Так, европеец, пишущий всемирную историю, при самом большом старании всегда ответит истории древнего Китая меньше места, чем истории древней Греции, исходя из аксиомы (для него, а не для китайца), что последнее «важнее», чем первая, тогда как, напр., для действительно объективного ботаника банан и клюква совершенно одинаково важны, и в цветке розы и чертополоха одинаковы процессы оплодотворения.

Есть вопросы, которые партийную совесть слишком сильно задевают, такие вопросы, из-за которых люди, может быть, недели и месяцы волновались, ссорились с ближайшими друзьями, меняли свое отношение к самым близким предметам, и, если наскочить на такой вопрос, то его нравственно невозможно обойти. Напр.: можно ли брать на партийные цели деньги у иностранной партии одинакового направления? И Бернштейн, наскочив на такой вопрос, стараясь быть объективным и сохранить спокойствие, должен пуститься опять в обсуждение вопросов партийной морали и тактики, чтобы высказать свое отрицательное суждение. Это, разумеется, не может не портить исторического изложения, и читатель, который хочет научиться истории, очень досадует на такие отступления. Правда, с этим ничего не поделаешь: в историю входит решительно все, в том числе и история человеческой глупости.

Книга Бернштейна обнимает период национального собрания — первые три месяца революции. В это время на сцене были только социалисты: буржуазные партии исчезли совершенно до момента выборов. Поэтому, история первых трех месяцев революции есть в то же время история социалистических партий. Бернштейну она известна более, чем всякому другому во всех своих видимых и невидимых пружинах. Его книга, поэтому, является не просто исторической работой, но и важным историческим материалом.

Вл. Розанов.

Памяти ушедших.

Н. В. Давыдов.

Широта разнообразных культурных интересов, свежесть ума, редкая доброта сердца и природный дар объединять людей вокруг своей обаятельной личности—доставили Николаю Васильевичу Давыдову заслуженную популярность в различных кругах Московского общества. Люди, работавшие в бывших судебных учреждениях, ученый мир Москвы, деятели искусства— в одинаковой мере оплакивают утрату, понесенную ими в лице этого отзывчивого, чуткого, интересного человека, всюду вносившего с собой непринужденное оживление, придававшего своим присутствием всякой среде, в которую он входил, привлекательную прелесть той душевной бодрости, умного, но произвольного веселья и благородного взаимного доверия, которые так облегчают людям тяжесть жизненной ноши и к которым, тем не менее, люди большею частью так мало способны без помощи вот таких прирожденных носителей высших свойств нравственной человеческой природы, каким был Николай Васильевич Давыдов.

Николай Васильевич родился в 1848 г. Детство и юность его протекали в Тамбовской губернии, в имении его отца, и эта жизнь, на лоне природы, заложила в нем навсегда страстную любовь к охоте и развила в нем живое эстетическое чувство, которое затем так ярко сказывалось и в его литературных опытах, и в его увлечении искусством, и более всего— театром. Там, в деревне, пережил он и падение крепостного права и вызванное этой великой реформой оживление всей русской жизни. Впечатления от той знаменательной в истории нашего общественного развития поры глубоко запали в его душу и на всю дальнейшую свою жизнь он остался неуклонным последователем тех освободительных начал, которыми были обвеяны тогда его первые шаги на поприще общественной деятельности. В 1865 г. он поступил на юридический факультет Московского университета и, окончив университетский курс, с 1870 г. вернулся в деревню на должность мирового посредника. С 1871 г. началась его служба в судебном ведомстве, продолжавшаяся затем вплоть до 1908 г. Он последовательно прошел при этом всю служебную лестницу магистратуры от должности помощника секретаря окружного суда до поста председателя окружного суда, побывав также в свое время и судебным следователем и товарищем прокурора и прокурором. Молодым человеком он еще застал последние отмиравшие остатки дореформенного судебного строя, затем на его глазах и при деятельном его участии разворачивалось преобразование русской юстиции под действием новых судебных уставов, а заканчивать свою многолетнюю судейскую деятельность ему пришлось уже в эпоху полного торжества реакции, в пору неослабного натиска на основные начала судебных уставов. Постепенно усилившегося в течение всей второй половины XIX ст. и до-

шедшего до апогея при министерстве Щегловитова. Продолжать свою службу при таких условиях Николай Васильевич не считал возможным и в 1908 г. вышел в отставку, всецело отдавшись другим родам деятельности, к которым также всегда тяготела его богатоодаренная натура. Судебная деятельность Николая Васильевича доставила ему известность высокоавторитетного знатока всех сторон судебного дела и стойкого носителя заветов первых деятелей судебной реформы, заветов, от которых он не отступал ни на шаг, независимо от сменявшихся веяний и направлений в судебном ведомстве. Эта же деятельность связала его тесной дружбой с Анатолием Федоровичем Кони и в то же время не помешала ему близко сойтись с принципиальным отрицателем суда—Львом Николаевичем Толстым, которому он поклонялся не только как гениальному художнику, но и как мыслителю-моралисту, хотя далеко не все взгляды Толстого сходились с основами его собственного мировоззрения. Это обстоятельство важно отметить, ибо оно хорошо характеризует широту ума и нравственного чувства Николая Васильевича, чуждую всякой узости, нетерпимости и односторонности.

Скажи мне, с кем ты знаком и я скажу, кто ты таков. И вот, важно отметить, что Николая Васильевича связывала искренняя дружба с наиболее выдающимися представителями русской культуры. Я уже назвал Толстого и Кони. Следует назвать еще Ключевского, Владимира Соловьева, Лопатина, Муромцева, Сергея Трубецкого, следовало бы назвать еще и ряд других имен, если бы мы писали биографию Николая Васильевича, а не беглый некрологический очерк.

Еще в то время, когда Николай Васильевич занимал пост председателя московского окружного суда, тесные отношения связывали его с московским университетом, московской журналистикой, московскими театрами. Везде он был желанным другом, высокоценным советником, надежным сотрудником. В „Русских Ведомостях“ появлялись его статьи по судебным вопросам, в „Русской Мысли“ он помещал, под псевдонимом „Василич“, беллетристические очерки, в которых в художественной форме изображал эпизоды и типы, извлеченные из богатого запаса своего житейского опыта: тонкое понимание драматического искусства и любовь к театру сблизили его с выдающимися представителями труппы московского Малого театра—Федотовой, Ленским, Южиным и др.; на ученых собраниях университетских обществ его участие в докладах и прениях ценилось как живое слово ученого юриста, сочетавшего научные знания с широкой практической опытностью в вопросах правовой жизни.

И когда в 1908 г., разойдясь с петербургскими „веяниями“, он оставил судебскую службу, и получил возможность целиком отдаться университетской, журнальной и художественной деятельности, он принят был во всех этих кругах поистине с распростертыми объятиями. В 1900 г., уже на 52 году возраста, Николай Васильевич сдал при университете магистерский экзамен по кафедре уголовного права и вступил в состав преподавателей университета. Вместе с тем, он стал близко к художественной работе московского Малого театра и впоследствии занял пост председателя московского театрально-литературного комитета. Когда в 1908 г. в Москве возник городской народный университет имени Шанявского, руководителем этого учреждения, быстро стяжавшего себе громкую известность по всей России, избран был Николай Васильевич. Здесь-то и на мою долю выпало счастье сойтись с ним на общей работе. Я был свидетелем того, как легко и непринужденно умел Николай Васильевич сплачивать людей, объединявшихся под общим обаянием его привлекательной личности, и как непосредственное влияние его морального авторитета в связи с его общительным, жизне-радостным, бодрым характером и заразительным и всегда изящным юмором

сглаживало всякие трения, устраняло многие столкновения, вредные для дела, рассеивало преждевременное уныние и упадок духа от всевозможных напастей, сыпавшихся сверху на молодое учреждение, и придавало всей работе дружную спаянность и бодрящую одушевленность.

Таким был Николай Васильевич всегда и во всем. Присутствие таких людей надежнее всяких юридических формул и принудительных предписаний сплачивает „человеческую пыль“ в стройно организованные союзы, скрепленные надежнейшим цементом взаимного доверия, уважения и любви. И потому нельзя не любить и не ценить людей такого склада, нельзя не чувствовать благодарности к ним за ту животворящую нравственную силу, которая от них исходит на благо окружающей их среды. Не даром так охотно спешили люди на огонек гостеприимного домика Николая Васильевича, на те его вечера, на которых сходились представители науки, литературы, искусства, чтобы освежиться душой в непринужденной беседе, перемежавшейся часто чтением различных еще неизданных литературных произведений. Здесь-то и сам Николай Васильевич читал многие отрывки из своих воспоминаний, из которых сложилась его известная книга „Из прошлого“.

За последние два года его жизни тяжелая болезнь приковала Николая Васильевича к постели. Но физические страдания несколько не согнули его душевных сил. До самого последнего времени он непрерывно работал и над продолжением своих воспоминаний и над изучением неизданных рукописей Толстого. Даже обычный юмор не покидал его до конца. Он отдавал себе отчет в своем положении и ожидал кончины с тем ясным спокойствием духа, которое дается только сознанием благородно и плодотворно проведенной жизни. За немного дней до кончины он набросал несколько строк, в которых выразил удовлетворение пройденным жизненным путем, заметив, что он всегда чувствовал вокруг себя атмосферу доброжелательства, всегда сам был чужд злобы к людям и на себе не испытывал этого мертвящего чувства. С полным правом он мог бы добавить, что этим своим счастьем он всецело был обязан собственному золотому сердцу. Вот подлинный текст этой его заметки, которую он набросал в альбоме В. Ф. Булгакова.

«1920 г. Мая 6-го, Москва.

Дорогой друг Валентин Федорович! Вот что могу вам сказать про свою жизнь, заглянув в прошлое. Быть может, та черта, на которую я укажу, представится вам заслуживающей внимания или даже, по вашей природе, близкой вам.

Мне 72-й год, я смотрю на пройденную жизнь, как на нечто оконченное, к чему уже прибавлять нечего. И в результате этих слишком 70 лет жизни моей я могу и скажу совершенно искренно, что она, эта жизнь моя, была счастливая, и я с отрядным чувством вспоминаю ее и заглядываю в прошлое. Конечно, и у меня были тяжелые переживания и приходилось иной раз страдать, но это были исключения. Зависело благополучие моей жизни, как я думаю, от свойств моей духовной природы: от случайности (самое течение и обстановка жизни), но и от того, что я всегда смотрел на людей, с которыми сталкивался, дружелюбно, часто уступал при каких-либо столкновениях, охотно помогал в том немногом, что было мне доступно, и избег совершенно чувства вражды, желания мстить и т. п., в худших случаях просто «уходил». Благодаря этому я,—так мне казалось,—с своей стороны встречал лишь доброе ко мне отношение, помощь и дружбу...

Сейчас я тяжело болен, условия жизни тяжелы мне, как и другим, но все-таки думаю, что эту тяжесть мне легче перенести, чем многим другим, именно благодаря той атмосфере дружелюбия, терпимости и добродушия, про которую я говорил. В этом меня в полной мере поддерживал и Лев Николаевич.

Сердечно преданный и уважающий вас Н. Давыдов».

А. Кизеветтер.

В. И. Герье.

Летом 1920 года скончался, достигнув восьмидесятитрехлетнего возраста, профессор Московского Университета по кафедре всеобщей истории, Владимир Иванович Герье, имя которого должно занять видное место в летописях нашей науки и просвещения. Выступив с первым значительным печатным трудом („Борьба за польский престол в 1733 году“) почти за шестьдесят лет до своей смерти (1862), он, не покладая рук, работал в течение целого полувека, написав ряд книг и статей по разным отделам всеобщей истории, начиная Римской империей и кончая Французской революцией. За время своего преподавания он составил несколько курсов, отличавшихся систематичностью, содержательностью и широтой взгляда, и положил начало историческим семинариям в Московском университете, из которых вышло не мало деятелей исторической науки в России, в том числе и профессоров как в самой Москве, так и в других университетских городах. Ему обязаны своим возникновением Высшие Женские Курсы в Москве, во главе которых он стоял в течение целых десятилетий, так что это высшее учебное заведение иначе и не называлось, как по его имени. В семидесятых годах прошлого века он выступал в печати, как стойкий защитник университетской автономии в духе устава 1863 года. Кроме того, он был гласным Московской городской думы и губернского земского собрания, много поработав в разных комиссиях первой. Уже почти семьдесят лет, наконец, В. И. Герье выступил в роли политического деятеля в партии октябристов и в должности члена Государственного Совета по назначению, но это относится уже к тому времени, когда его обычная энергия стала ослабевать.

Таков в общих чертах *curriculum vitae* покойного. Владимир Иванович скончался в такое время, когда невозможно почтить его память сборником статей, в котором более подробно была бы рассказана его жизнь, произведена была бы оценка его научной деятельности и знавшие его могли бы поделиться своими о нем воспоминаниями. Такой сборник был задуман уже давно в среде его учеников по поводу одного из его юбилеев, но разные обстоятельства помешали его своевременному осуществлению. Нужно надеяться, что когда-нибудь все-таки такой сборник выйдет в свет.

В настоящей краткой заметке я не беру на себя задачу хоть сколько-нибудь заменить то, что должно быть сделано для почтения памяти покойного. Просто известие о смерти Владимира Ивановича, пришедшее ко мне в деревне, где у меня не было под руками ни одной из его книг, побудило меня взять в руки перо, чтобы в самой непритязательной форме вспомнить своего университетского учителя, которому я многим был вообще обязан.

С Владимиром Ивановичем я познакомился ровно пятьдесят лет тому назад, в 1870 году. Я только-что перешел на второй курс историко-филологического факультета Московского Университета, Владимир Иванович только-что вернулся из продолжительной заграничной командировки, в которой находился после защиты докторской диссертации „Лейбниц и его время“. Тогда я еще не предполагал специализироваться в области истории, думая посвятить себя лингвистике, фольклору и филологии, но это не мешало мне интересоваться и историей. В 1870—1872 годах я слушал большой курс В. И. по истории средних веков с большим введением, касавшимся Римской империи (литографированные записки и теперь у меня целы). Предмет меня очень заинтересовал, и по особенно интересовавшим меня вопросам мне хотелось побольше и почитать. Вот на этой-то почве и произошло мое личное знакомство с профессором. Помню, на одной из первых же лекций он сказал, что в такой-то день по вечерам он будет

дома для бесед со студентами, желающими иметь от него какие-либо советы и указания. В первый же объявленный срок я и отправился к Вл. Ив. и просидел у него целый вечер. Кроме меня, никого не было. Покойный, как хорошо известно, отличался сдержанным и даже холодным обращением, но это не воспрепятствовало мне просидеть у него, быть может, больше, чем следовало бы. Он подробно меня расспросил о том, чем я занимался, что читал, чем интересуюсь, потом рассказывал о Риме и показывал привезенные им оттуда фотографии, и в заключение заговорил со мною о франко-германской войне, тогда происходившей. Я был на стороне Франции и не мало был удивлен отношением Вл. Ив. к этой войне, потому что тогда у нас все были на стороне французов. Вл. Ив. даже прочитал мне целую историческую лекцию о франко-германской войне и о стремлении немецкой нации к политическому объединению. Так, уже на первых порах у нас оказались разные политические ориентации, что продолжалось, впрочем, и впоследствии в отношении к вопросам внутренней политики как на Западе, так и у нас. В диспуты, впрочем, я с Вл. Ив. не пускался, но все-таки это нас друг от друга отдалило, а после защиты мною магистерской диссертации („Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции в последней четверти XVIII века“) мы даже перестали видаться. И только четыре года спустя, когда я в Московский же университет обратился со своей докторской диссертацией („Основные вопросы философии истории“), между нами восстановились прежние отношения.

Я мог бы, конечно, не упоминать об этой размолвке со своим учителем, каковым признаю покойного, если бы, во-первых, не имел в виду отметить, что ни несходство политических взглядов, ни личная размолвка не уменьшали во мне тяготения к Вл. Ив., как к ученому, а во-вторых, не хотел вместе с тем упомянуть, что даже в этот острый момент Вл. Ив. усердно рекомендовал меня на кафедру всеобщей истории в Варшаве, а потом выразил мне самую искреннюю радость, когда я запросил его письмом, принял ли бы он к рассмотрению докторскую диссертацию на историко-филологическую тему.

Возвращаясь к студенческим годам. В эти годы (начало семидесятых) впервые начиналось разделение дотоле единого историко-филологического факультета на классическое, историческое и славяно-русское отделения. Хотя я собирался, с самого же начала, идти на последнее, но слушал лекции Вл. Ив., участвовал в его семинарии (прежде всего, это было чтение и разбор варварских правд) и много читал исторических книг по указанию Вл. Ив. Никто из профессоров того времени не читал такого строго выдержанного курса и так настойчиво не притягивал студентов к самостоятельной работе, как Герье. Главными профессорами славяно-русского отделения были Ф. И. Буслаев и Н. С. Тихонравов, под руководством которых я и начал заниматься в отделении по переходе на третий курс, но меня все-таки влекло к себе аудитория Вл. Ив., а в конце третьего курса, во время переходного экзамена, я решил с осени перейти на историческое отделение, хотя бы это потребовало лишнего года пребывания в Университете. Когда я сообщил это Вл. Ив., он сказал, что со своей стороны не потребует такой жертвы. Теперь я думаю, что это и не было бы жертвой, но в те годы так хотелось поскорее окончить чисто школьное учение, чтобы заниматься, чем хочешь.

Своим университетским курсам Герье умел придать широкую гуманитарную и универсальную („всемирно-историческую“) постановку. Кроме двух курсов по средним векам, я в университете прослушал еще один его курс по новой истории (в 1872—1873 году), да и потом приобретал некоторые его курсы в литографированном виде, как, напр., курс по истории

Французской революции. Эту эпоху я начал заниматься под его руководством в его семинарии, происходившем у профессора на дому, в столь памятном мне Гагаринском переулке. Здесь же наметилась специальная тема моих занятий в связи с знаменитым „Путешествием по Франции“ Артура Юнга, которое Вл. Ив. дал мне для семинарского реферата. Он же указал мне если не самую тему, выбранную мною самим для кандидатской работы, то необходимые для нее пособия: это был напечатанный мною много позднее общий очерк истории французских крестьян. По указаниям же Вл. Ив. я тогда (на четвертом курсе) познакомился и с „Размышлениями о Французской революции“ Берка и с возражением на них Мэкинтоша. Он же навел меня на чтение Паскаля.

Напоминаю, что все это относится к началу семидесятых годов, когда еще не было на свете знаменитого труда Тэна, сыгравшего также роль в истории взглядов Герье на Французскую революцию. Мне, в отношении его к этой эпохе, в то время правился его объективизм и научный критицизм. Издатели его курса (кажется, 1873—1874 года) совершенно не предвидели, в каком духе он будет читаться, когда на первом же листе своей литографии поместили изображения „триумфиров“: Робеспьера, Дантона и Марата. Вл. Ив. был превосходно знаком с историографией революции, и в этом отношении я был ему особенно много обязан, хотя бы наши взгляды и не сходились.

Другим предметом моих занятий в конце университетского курса была „философия истории“, к области которой относится моя докторская диссертация. И здесь к числу книг, возбуждавших во мне особый интерес к историко-философским проблемам, был известный „Очерк развития исторической науки“, изданный Герье в 1866 году и сделавшийся мне известным еще в самом начале моего знакомства с его автором. Я увлекался тогда V и VI томами „Курса положительной философии“ Конта, но уже общий дух преподавания Вл. Ив. дал мне возможность написать о них критический этюд, который был мною прочитан на одном из вечеров у Герье.

Вот почему я считаю себя учеником Вл. Ив. более, чем кого бы то ни было из профессоров Московского университета, хотя бы и философские и политические взгляды не сходились. Когда я кончал курс, еще окончательно мною не было решено, готовиться ли к магистерству по всеобщей истории или по философии. Вопрос был решен в пользу истории под прямым влиянием Вл. Ив., который предложил мне остаться при университете по кафедре всеобщей истории, разрешил мне самому составить программу занятий с культурно-историческим уклоном, т.-е. с выдвинутым вперед эпох, важных в истории духовной культуры (Религии древних. Жестокая борьба язычества и христианства, гуманизм, „просвещение“ XVII века и т. п.). Это было то самое, что и сам Вл. Ив. особенно подчеркивал в своем преподавании.

По выходе из университета, я внимательно следил за всем, что писал мой старый учитель, кроме его литографированных курсов, которые тоже доставал. Большую часть его работ составляли две серии. Одна из них была посвящена истории средневекового миросозерцания в таких его представителях, как бл. Августин или Франциск Ассизский. Другая серия касается Французской революции в ее идейной стороне и в ее оценке, куда относятся его работы о Мабли (между прочим, на франц. языке), о Руссо, о политическом содержании наказов 1789 года, о „Происхождении современной Франции“ Тэна и т. п.; я всегда очень ценил знания Вл. Ив. и его умение как схватывать существо вопроса, так и сжато и точно излагать его научное решение. Вот почему я очень дорожил сотрудничеством Вл. Ив. в

„Энциклопедическом словаре“ Брокгауза-Ефрона, в котором редактировал исторический отдел. К моему большому удовлетворению, Вл. Ив. охотно брал на себя составление хотя и немногих, но особенно ответственных статей, каковы статьи о Гуссе, о Мабли, о Монтескье, о Наказах 1789 года, о Руссо. Последняя статья представляет собою целую маленькую монографию. Вообще все они и другие мелкие работы Вл. Ив. должны быть приведены в известность, нашедши свое место в полном списке его трудов¹⁾.

Н. Кареев.

¹⁾ Пока, сколько я знаю, список трудов В. И. Герье имется только до 1892 года („Истор. Обзор.“ 1892 г., т. IV, стр. 298).

ОГЛАВЛЕНИЕ.

	<i>Стр.</i>
1. Вл. Г. Короленко. О Толстом	3
2. Вл. Г. Короленко. Пугачевская легенда на Урале	15
3. Кузьма Прутков. Военные афоризмы	27
4. Из воспоминаний М. И. Венюкова (Предисловие Л. Э. Бухгейма)	40
5. Из переписки московских славянофилов. А. И. Кошелев и И. С. Аксаков (Предисловие А. А. Кизеветтера)	59
6. В. Быстренин. „Уходящее“	91
7. М. А. Цявловский. Пушкин и графиня Д. Ф. Финкельмон	108
8. Вл. Короленко. Земли, земли! (Окончание)	124
9. К 70-летию В. Н. Фигнер:	
От редакции	147
Портрет Веры Николаевны Фигнер	149
Б. Федоров. Голоса врагов и друзей	151
М. Новорусский. Женщины в Шлиссельбурге	157
В. Фигнер. Студенческие годы	165
10. Н. П. Киселев. Письма русских масонов	182
11. Н. А. Бродский. Письма М. Е. Салтыкова В. П. Безобразову	188
12. Письма Л. В. Дубельта к Н. И. Гречу	194
13. Мелочи прошлого:	
И. Н. Розанов. Эпиграммы	198
А. М. Хиряков. Отклики прошлого	199
Письмо Бакунина к Боткину	202
14. Н. В. Сивьяков. Крепостная школа и ее ученики в конце XVIII века	203
15. В. Н. Розанов. Книги о германской революции	207
16. Памяти ушедших:	
А. Кизеветтер. Н. В. Давыдов	217
Н. Кареев. В. И. Герье	220

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

содержания журнала

„ГОЛОС МИНУВШЕГО“

ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ

(1913 — 1922 г.г.)

Составлен под руководством М. А. Цявловского.

В нижепомещаемый указатель включено все напечатанное в журнале, кроме рецензий на книги, не анонимные—последние легко находимы в именном указателе или по фамилии автора книги или по фамилии рецензента. Рецензии же на периодические издания и анонимные книги (сборники и т. п.) включены в настоящий указатель.

Именной указатель ж. „Голос Минувшего“ за 1917—1922 гг., будет приложен ко 11-ой книге „Голоса Минувшего“ за 1923 г. Именные указатели за предшествующие годы были даны раньше.

Материал в отделах: „История России“ и „Всеобщая история“ расположен в хронологическом порядке трактуемого.

Первая (арабская) цифра после названия статьи означает год книжки, вторая (римская) — номер книжки, третья (арабская) — страницу книжки.

Номера страниц рецензий не указаны.

Систематический указатель статей журнал „Голос Минувшего“ за 1913—22 г.г.

ИСТОРИЯ РОССИИ.

Статьи общего характера.

Кизветтер, А. А. Новый труд Г. В. Плеханова по русской истории. «История общественной мысли», т. I]. 16, I, 324—334.

Вишницер, М. История евреев в России. [По поводу книги Ю. Гессена. История евреев в России]. 14, II.

Кизветтер, А. А. Статьи немецких авторов по русской истории в немецком журнале Теодора Шимана. 13, I, 248—255.

Лаппо-Данилевский, А. С. Идея государства и главнейшие моменты ее развития в России со времен смуты до эпохи преобразований. 14, XII, 5—38.

Покровский, М. Н. Новый труд по экономической истории России (Проф. М. В. Довнар-Запольский. «История русск. народного хозяйства», т. I. Киев. 1911 г.). 13, VI.

Довнар-Запольский, М. В. Ответ М. Н. Покровскому. (Письмо в редакцию). 13, X.

Покровский, М. Н. Письмо в редакцию по поводу «ответа» М. В. Довнар-Запольского. 13, XII, 305.

Петлюра, С. В. Былое в украинских журналах. [XIX ст.]. 14, III, 268—279.

Семевский, В. И. Замечательный труд английского ученого по истории России. 15, IX.

Цявловский, М. А. Рассказы о Романовых в записи П. И. Бартечева. 18, VII—IX, 223—236.

«Эмпирический закон» в истории царствовавшего дома. 18, I—III, 184.

История России до XVIII века.

Грушевский, М. С. Древняя Русь в новых курсах. 15, IX.

Вали, С. Н. Из истории англо-русских отношений в XVI в. 14, X, 266—276.

Нордт, В. Описание второго посольства в Россию датского посланника Ганса Ольдедада 1659 г. Составленное посольским секретарем А. Роде. 16, VII—VIII, 355—398.

Гневушев, А. М. Некоторые черты нравов и быта XVII в. 13, X.

Пичета, В. И. Смута и ее отражение в трудах историков. 13, II, 5—39.

Кизветтер, А. А. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. 13, III, 231—236.

Алексеев, В. П. Первые Романовы у власти. 18, VII—IX, 185—221.

Соколов, В. Пьянство на Руси в эпоху первых Романовых и меры борьбы с ним. (По документам Разрядного приказа). 15, IX, 105—118.

XVIII век.

Срезневский, В. И. и **Петров, А. В.** Письма царевича Алексея Петровича к кн. А. Д. Меншикову. 14, VI, 217—223.

Клейнер, С. (Перев.). Эпизод из посещения Берлина Петром Великим. (Рассказан. маркиграфией Вильгельминой Байретской в ее мемуарах). 13, IX, 169—172.

Щепкин, Е. Н. До ворот и у ворот Берлина. [Семилетняя война 1756—1763 г.]. 15, IV, 5—34.

Черты для характеристики русского общества XVIII в. 15, XI, 241—242.

Обольянинов, Н. Поэт и типограф-любитель, Николай Еремеевич Струйский. [1770 годы]. 13, V, 271—273.

Сивнов, К. В. Русский учитель в доме помещика конца XVIII века. 15, III, 228—230.

Сивнов, К. В. Полгода из жизни провинциального помещика конца XVIII в. 15, IX, 271—277.

Сивнов, К. В. Крепостная школа и ее ученики в конце XVIII в. 22, II, 203—206.

Клевенский, М. М. Городские расходы в конце XVIII в. 15, III, 296—297.

Ноновалов, Д. Г. Из истории раннего скопчества. 16, II, 315—320.

Массон. Мемуары о России. Перев. П. Е. Степановой. 16, IV, 157—171; V—VI, 157—180; VII—VIII, 341—354; X, 23—44; XII, 44—73.

Массон. Русское общество в конце XVIII в. Пер. П. Е. Степановой. 17, I, 94—115.

Массон. Черты из быта русского общества XVIII в. I. Вши и дамы. II. Гнусная спекуляция. III. Г-жа Дивова. Пер. П. Е. Степановой. 17, IX—X, 350—354.

Батурич, П. С. Записки 1780—1798 г.г. Предисловие и ред. Б. Л. Медазалева. 18, I—III, 47—78; IV—VI, 173—210; VII—IX, 99—133.

Сивнов, К. В. (сооб.). Москва в 1792 г. 16, XI, 208—210.

Сиповский, В. В. Из истории русской мысли XVIII—XIX в. (Русское вольтерьянство). 14, I, 105—131.

Мельгунов, С. П. Один из русских розенкрейцеров (П. И. Сафонов). 17, I, 73—83.

Дюмон Этьен. Дневник о пребывании его в России в 1803 г. С предисловием С. М. Горянова. 13, II, 143—164; III, 80—108; IV, 124—144.

Павел I. 18, I—III, 250.

- Павел I.** 18, IV—VI, 172.
Норф, С. А. Павел I и дворянство. 13, VII, 5—18.
Сторожев, В. Н. Новейший опыт обзора правительственной деятельности Павла I. 17, I.
Шумигорский, Е. К. Истории царствования Павла I. 14, I, 283—291.
Сивков, Н. В. Песня о Павле I. 17, I, 278.

XIX век.

- Малиновский, В. Ф.** Из его дневника «Петербург в 1803 г.». 15, X, 265—266.
Пичета, В. И. Вел. кн. Константин Павлович и княжна Елена Любомирская. 13, VII, 237—238.
Давыдов, Д. В. Воспоминания о цесаревне Константины Павловны. 17, V—VI, 36—46.
Асиенаси Шимон. Импер. Елизавета Алексеевна и кн. Адам Чарторыйский. 16, XI, 211—221.
Дживелегов, А. Н. Черты провинциальной жизни на рубеже XIX века. 13, VII, 86—189.
Дживелегов, А. Н. К портрету Софьи Кудрявцевой. [Нач. XIX в.]. 13, XII, 309.
Броневский, Н. Б. Из воспоминаний. (Нач. XIX в.). 14, III, 226—238.
Павловский, И. Ф. Кременчугская фабрика сукноделния для евреев в начале XIX века. (По архивным данным). 13, X, 175—180.
Дживелегов, А. Н. Новое о Палолееве. Наполеон и вел. кн. Екатерина Павловна. 13, V, 248—249.
Мозловский, Л. С. Русский двор начала XIX в. по воспоминаниям доктора Франка. 13, X.
М. С. Сатиры нач. XIX века на реформы Сперанского. 17, II, 275—277.
Васильев, А. В. Прогрессивный подоходный налог 1812 г. и падение Сперанского. 16, VII—VIII, 332—340.
Херасков, И. М. Из воспоминаний французских пленников о России 1812—1814 г.г. 14, VI, 161—178; VIII, 168—186.
Сивков, Н. В. Русские солдаты во Франции 1813—14 г.г. (Из записок А. М. Барановича). 16, V—VI, 153—156.
Покровский, М. Н. Значение эпохи Отечественной войны. (По поводу статьи г. Корнилова). 13, I, 257—264.
Корнилов, А. А. По личному вопросу. (По поводу заметки М. Н. Покровского в № 1) 13, III, 248—249.
Редакция. Разъяснение по поводу поправок А. А. Корнилова к заметке М. Н. Покровского. 13, III, 249—250.
Сивков, Н. В. Провинциальная администрация в 1812 г. 14, V, 224—234.
Мельгунов, С. П. Александр I в роли цензора в 1812 г. (Сборник истор. матер., извлеченн. из архива С. Е. П. В. Канцелярии). 13, VI.
Мельгунов, С. П. Русские под Данцигом. (Из дневников кн. Д. М. Волконского). [1813 г.]. 16, V—VI, 286—300.
Покровский, М. В. Из полемической литературы 1813 г. (Московск. обыватели и гр. Ф. В. Ростопчин). 14, VIII, 196—202.
Рябинин, И. С. Письмо Л. Г. фон-Тиле по поводу проекта «Уставной грамоты» Новосильцова. 13, VI, 233—234.
Мельгунов, С. П. Родственники о Ростопчине. 15, VII—VIII, 244—250.
Мельгунов, С. П. I. Еще о Ростопчине. II. Из крепостного быта. 13, VII, 239—242.
Вишницер, М. Л. Иностранцы дипломаты о России при Александре I. (По поводу нового издания в. к. Николая Михайловича «Донесения австрийского посланника при русском дворе Лебелльтерна за 1816—1826 год». Спб. 1913). 14, VIII, 240—246.
Мельгунов, С. П. Выговор Аракчеева геп-манору Воронову. 15, I, 221—223.
Редакция. О смерти А. Я. Охотникова. 16, I, 197—201.
Началов, Н. А. Записки 1818—1882 г.г. 16, V—VI, 5—24; VII—VIII, 218—246; XI, 62—98; 17, II, 112—137.
Гершензон, М. О. Грпбодовская Москва. 13, XI, 11—44; XII, 5—41.
Соколовская, Т. О. Сокровенность масонских списков. [1810-ые — 1820-ые годы]. 14, III, 239—246.
Мельгунов, С. П. Запрещенная книга. [Н. И. Тургенев «Россия и русские»]. 15, VI, 304—306.
Мельгунов, С. П. «Настоящая Россия». («Воспоминания лицезста» Маркова; письма Оденталю к Булгакову; статья А. А. Кпэветтера о Ростопчине). 13, II, 268—274.
Мельгунов, С. П. I. Из истории русского самосознания. II. Защита Мережковским Александра I. III. Новое о декабристах. 13, IV, 264—270.
Мельгунов, С. П. Был ли Александр I католиком. 14, X.
Мельгунов, С. П. Роман Мережковского «Александр I». 14, XII, 39—80.
Мельгунов, С. П. Новая работа об Александре I. (По поводу исследования вел. кн. Николая Михайловича). 13, I, 232—247.
Французский критик об «Александре I» Д. С. Мережковского. 13, X, 328—329.
Дживелегов, А. Н. Королева Луиза и Александр I. 13, I, 76—116.
Собственноручная записка Николая I. 16, XI, 242.
Федоров, Б. Д. Николай I в проповедениях А. И. Герцена. 17, V—VI, 47—59.
Низеветтер, А. А. Новая книга по истории царствования импер. Николая I. [Theodor Schiemann. Geschichte Russlands unter Kaiser Nikolaus I, Band III. Berlin. 1913]. 13, IX, 295—299.
Атмосферическое видение. (Донесение связкаского городничего казанскому губернатору 28 ноября 1828 г.). 15, XI, 242—243.
Арнольд, М. К. Воспоминания 1819—1830 г.г. 17, II, 194—224.
Науменко, В. П. Из истории возникновения «Московского Наблюдателя». С предисловием В. И. Семева. (Материалы для истории рус. общественности и журналистики). [1834 г.]. 17, I, 273—274.
М. С. Из архиерейских записок. [1820-ые — 1830-ые годы]. 13, VII.

- Клевенский, М. М.** Ген. Сеславип и его крестьяне. 14, II, 284.
- Опочинин, Е. Н.** Рыдающие души (поэты-помещики 1840 г.г.). 16, XII, 218—226.
- Мельгунов, С. П.** Бюрократы Николаевского времени. (Воспоминания А. И. Дельвига, т. II). 13, VIII.
- Дубельт, Л. В.** Письма к Н. И. Гречу. [1840-ые г.г.] 22, II, 194—197.
- Семевский, В. И.** (сообщ.) Материалы по истории цензуры в России. [40-е годы]. 13, III, 217—229; IV, 207—228.
- Эпиграмма** на П. И. Давыдова. (Из бумаг О. М. Бодянского). [1840-ые годы]. 19, I—IV, 38.
- Ушаков, Л. А.** Корпусное воспитание при императоре Николае I. 15, VI, 90—133.
- Мельгунов, С. П.** Из истории воссоединения уншатов в России. (К 10-летию акта 17-го октября 1905 г.). 15, X, 5—37.
- Арнольди, Н.** (Из воспоминаний). Наказание контрабандистов при Николае I. 17, IX—X, 357—359.
- Пеликан, А. А.** Дед мой В. В. Пеликан, [р. 1790 г., ум. 1874 г.]. 14, IX, 132—158.
- Францев, В. А.** Приглашение русских на славянский съезд в Праге в 1848 г. 14, V, 238—240.
- Малиновский, И. П.** (сообщ.). История Петуха. [1848 г.]. 18, IV—VI, 309—310.
- Клевенский, М. М.** (сообщ.). В 1848 году. (Сатирическое стихотворение Николаевской эпохи). 17, IX—X, 354—357.
- Сивнов, К. В.** Стологодание в 1853 г. 17, I, 279—283.
- Ермолов, А. П.** Письма к А. С. Норову. (1854—1855 г.г.). 15, IX, 250—254.
- Тарле, Е. В.** «Чего немцы должны требовать от русских?» [1854 г.]. 15, II, 263—269.
- Берг, Л.** Внешняя политика Николая I перед восточной войной 1853—56 г.г. (По секретным донесениям прусских посланников). 15, I, 273—288.
- Шатилов, Н. И.** (сообщ.). Письма М. Н. Муравьева к А. А. Зеленому. Предисловие В. И. Семевского. 13, IX, 240—264; X, 181—207; XII, 253—267; 14, XI, 212—234.
- Прокровский, М. Н.** Из истории русско-германских отношений. I. Россия и Пруссия накануне Крымской войны. 16, III, 5—47; 17, V—VI, 107—153.
- Евгеньев, В. Е.** Цензурная практика в годы крымской войны. 17, XI—XII, 241—278.
- Кизеветтер, А. А.** Восточная война 1853—56 г.г. 15, VII—VIII, 251—258.
- Николай I** перед дверями рая. 17, V—VI, 103.
- На смерть** Николая I. (Стихотворение 50 г.г., найденное в бумагах Н. В. Малиновского, приписывалось Некрасову). 17, V—VI, 60—68.
- Дубельт, Л. В.** Заметки. Сообщено Л. Ф. Пантелеевым, с предисловием С. П. Мельгунова. 13, III, 127—171.
- Модзалевский, Б. А.** Из истории петербургского университета 1857—59 г.г. (Из бумаг Л. И. Модзалевского). 17, I, 135—170.
- Игнатович, И. И.** Продовольственный вопрос в помещичьих имениях накануне освобождения. 13, IX, 29—64; X, 73—107.
- Шульц, П. А.** Остзейский комитет в Петербурге в 1856—57 г.г. (Из воспоминаний Павла Ивановича Шульца). 15, I, 124—145; II, 146—170.
- Давыдов, Н. В.** Из помещицкой жизни 40—50 г.г. 16, II, 164—200.
- Шаховской, Д. И.** кн. Из последних дней жизни А. И. Тургенева. [1845 г.]. 14, IV, 224—239.
- Хижняков, В. М.** Из рассказов бабушки. [1840—1850 годы]. 13, VI, 133—160; VII, 62—85.
- Штрайх, С. Я.** Н. И. Пирогов о любви, о призвании женщины-матери и пр. [1850-ые г.г.]. 15, V, 189—206; VI, 91—205.
- Мельников, Н.** По поводу писем Н. И. Пирогова к невесте. 15, XII, 204—207.
- Быстрини, В.** «Уходящее». (Силуэты). [1840-ые—1870-ые г.г.]. 22, I, 31—50; II, 91—107.
- Соколов, Б. М.** Из крестьянских мемуаров. 16, V—VI, 405—408.
- Водозова, Е. Н.** Из давнопрошедшего. 15, X, 148—157.
- Сычугов, С. И.** Нечто в роде автобиографии. 16, I, 109—136; II, 109—134; III, 102—154; V—VI, 54—85; VII—VIII, 143—170.
- Костомаров, Н. И.** Неизданная глава из автобиографии. (К 100-летию дня его рождения). 17, V—VI, 249—266.
- Житецкий, И.** Профессорская деятельность Н. И. Костомарова. 17, V—VI, 234—248.
- Новицкий, А. П.** Из жизни Н. И. Костомарова. 16, II, 257—259.
- Покровская, О. В.** (сообщ.). Из переписки Н. И. Костомарова с В. И. Ломанским. (Материалы для истории русской общественности и журналистики). [1858 и 1867 г.г.]. 17, I, 264—267.
- Политический гороскоп 1854 г.** (Неисполнившиеся предсказания современника). 17, II, 277—278.
- Попельницкий, А. З.** Речь Александра II, сказанная 30 марта 1856 г. московским представителям дворянства. 16, V—VI, 392—397.
- Попельницкий, А. З.** (сообщ.). «Прогресс» — слово запрещенное. [1858 г.]. 16, XI, 207.
- Соседская любезность** в эпоху крепостного права. [1850-ые г.г.]. 17, I, 278—279.
- Ганейзер, Е. В.** Лесевич в письмах и воспоминаниях. [р. 1847 г. ум. 1905 г.]. 14, VIII, 44—96.
- Мельгунов, С. П.** О войне и мире 60 лет назад. (Письмо 1856 г.). 16, I, 257—259.
- Штакеншнейдер, Е. А.** Из дневников 1855—1858 г.г. и 1861—1870 г.г. 15, XI, 161—203; 16, IV, 44—76. См. еще в 80-х годах.
- Попов, И. И.** Воспоминания Г. Н. Потанина. 13, IX, 274—278.
- Попов, И. И.** Из воспоминаний о Г. Н. Потанине. 22, I, 138—148.
- Мендельсон, Н. М.** Из воспоминаний о Г. И. Потанине. 22, I, 148—157.
- Мендельсон, Н. М.** Памяти А. В. Потаниной. (1843—1893 г.г.). 15, IX, 219—223.
- Бонч-Бруевич, В. В.** Новое о секте неговистев. [1850-ые г.г.]. 16, XI, 221—228.
- Артоболовский, А. И.** (свящ.). К биографии

- В. О. Ключевского. (Ключевский до университета). [1850-ые г.г.]. 13, V, 158—173.
- Ключевский, В. О.** Письма, относящиеся к эпохе прохождения университетского курса. 1861—63 г.г. 13, V, 226—233.
- Александровский, В.** Полвека среди духовенства. [Вторая половина XIX в.]. 17, XI—XII, 279—292.
- Пеликан, А. А.** Во второй половине XIX века. 14, II, 104—141; III, 155—199; 15, I, 146—163; II, 130—145; IV, 167—185; III, 143—160.
- Низеветтер, А. А.** К истории крестьянской реформы 1861 г. (Из переписки деятелей реформы). 15, II, 217—233.
- Легенда об освобождении крестьян.** 16, II, 255—256.
- Щепкин, Д. М.** Из истории крестьянской реформы. (Памяти Н. П. Щепкина). 14, II, 42—72.
- Арсеньев, Н. Н.** Из далеких воспоминаний. (1861 г. Арест студентов. Д. И. Славов. Ассоциация писателей. Издание обновленного «Века») 13, I, 161—171.
- Воллан де, гр.** Очерки прошлого (1864—1883 г.). 14, II, 170—190; IV, 122—163; V, 105—123; VI, 131—160; VIII, 148—167; X, 93—109.
- Авалиани, С. Л.** 50-летие начала крестьянской реформы в Закавказье. (1864—1914). 15, VI, 81—89.
- Семевский, В. И.** Адрес М. Н. Муравьеву 6-го ноября 1863 г. и взгляды К. Д. Кавелина на польский вопрос. 14, VII, 88—106.
- Попельницкий, А. З.** (сооб.). Ф. Л. Барыков о членах Гл. Комит. по крестьянскому делу 16, XI, 207—208.
- Пантелеев, Л.** Письмо в редакцию. К статье «Адрес М. Н. Муравьеву 6-го ноября 1863 г. и взгляды К. Д. Кавелина на польский вопрос». 14, VII, 87—88.
- Венюков, М. И.** В Польше (1863—67 г.). 15, XI, 204—235. 16, I, 137—165; III, 121—154.
- Машин, Н. П.** (сооб.). Неизвестная сатира. [1860-е годы]. 13, IV, 237—238.
- Редакция.** По поводу «Неизвестной сатиры», напечатанной в апрельском номере «Голоса Минувшего». 13, V, 238.
- Водовозова, Е. Н.** К свету. (Из жизни людей 60-х годов). 16, IV, 1—43; V—VI, 106—137; VII—VIII, 47—91.
- Арсеньев, Н. Н.** Из воспоминаний. [1860-ые годы] 15, II, 117—129.
- Низеветтер, А. А.** Борьба за земство при его возникновении. [1860-ые г.г.]. 14, IV, 52—84.
- Голицын, В. М.,** кп. Московский университет в 60-х годах. 17, XI—XII, 173—240.
- Шатилов, Н. И.** Из недавнего прошлого. 16, I, 165—196; IV, 205—225; 16, VII—VIII, 171—187; IX, 21—39; X, 45—71; XII, 119—139.
- М. С.** О недопущении евреев к университетскому преподаванию. (1866 г.). 15, XI, 274—275.
- В альбом П. А. Валуеву.** (Из архива Шаховских). [1866 г.]. 18, IV—VI, 79.
- Науменко, В. П.** Киевская сатира 50 лет назад. [1860-ые г.г.]. 16, IV, 140—156.
- Петлюра, С. В.** Драгоманов об украинском вопросе. (Михайло Драгоманов. Чудацькі думки про українську національну справу. Киев. 1913). 13, IX, 299—304.
- Васютинский, А. М.** Русское общество 60-х г.г. XIX в. по воспоминаниям французского инженера. 14, IV, 266—267.
- Степанова, П. Е.** (пер.). Графиня Антонина Блудова. (К характеристике двора 60-х г.г.). 17, V—VI, 73—80.
- Берви, В. В. (Н. Флеровский).** Воспоминания. [1840-ые—1890-ые г.г.]. См. историю револ. движения.
- Берви, Э. И.** Из моих воспоминаний. [1860-ые годы]. См. историю освободительного движения.
- Тямдер, Н. Ф.** Несколько черт из жизни Лео Мекелина. [1860-ые—1900-ые годы]. 16, IV, 235—239.
- Аренберг, Я.** Мемуары. Из новейшей истории Финляндии. Перев. с шведск. под ред. К. Ф. Тямдера. [1866—1905]. I. Ген.-губ. Адлерберг. II. Ген.-губ. Ф. Л. Гейден. III. Ген.-губ. В. К. фон-Ден. IV. Ген.-губ. кн. И. М. Оболенский. 16, V—VI, 340—371; VII—VIII, 289—331; IX, 147—170; X, 155—183.
- Морозов, П. О.** Соляное дело. (По документам и личным воспомин.). (1867 г.). 15, XI, 144—166.
- Нусова, Е. Д.** С. В. Ковалевская и ее время. (1850—1891). 16, II, 215—225.
- Ковалевская, С. В.** Письма 1868 г. I. Перед отъездом. II. В Петербурге. 16, II, 226—240; III, 213—231; IV, 77—94.
- Обольянинов, Н. А.** Одна малоизвестная русская политическая карикатура. 13, X, 235—237.
- Чубинский, М. П.** Из юбилейной литературы к 50-летию Судебных Уставов. 15, VI, 280—292.
- Нонн, А. Ф.** На службе судебным уставам. (Памяти Обинского и Джаншиева). 14, XI, 5—32.
- Ноляновский, А. Л.** Из воспоминаний о профессоре А. Г. Брикшере. 13, IX, 158—168.
- Фроленко, М. Ф.** А. С. Посников и Петровская академия. [1871 г.]. 16, X, 184—187.
- «Политическая неблагонадежность» А. С. Посникова.** 15, XII, 243.
- Розанов, И. Н.** (сооб.). Эпиграммы [Шумахера (см. 23, I) 1870-х г.г.]. 22, II, 198—199.
- Лапицкий, А. Г.** Из истории железнодорожного строительства в России. (Воспоминания бар. Дельвига). [1870-ые г.г.]. 14, VII.
- Голицын, В.** Москва в семидесятых годах. 19, V—XII, 111—162.
- Тарасов, И. Т.** Мои соприкосновения с судом. [1870-ые г.г.]. 14, XII, 130—137.
- Муров, Г.** Воспоминания интенданта. [1870-ые—1880-ые г.г.]. 18, IV—VI, 251—282.
- Старинин, И.** Записки библейского книгоноши. [1870-ые—1890-ые г.г.]. 14, X, 151—185; XI, 167—211; XII, 166—197.
- Мельгунов, С. П.** Ф. Ф. Эрисман о России. 16, II, 241—253.
- Заяц Тимофей.** Записки. Пер. и ред. А. К. Чертовой и Н. Н. Гусева. 13, VIII, 158—176; X, 149—174; XI, 162—193; XII, 168—183.
- Щеголев, П. Е.** (сооб.). М. Н. Катков, П. А. Валуев и А. Е. Тимашев. 14, IV, 240—246.
- Из эпохи русско-турецкой войны (1877—78 г.г.)** (Письмо участника кап. Павлова). 17, IX—X, 359—363.

- Попельницкий, А. З.** Речь в кн. Константина Николаевича 6-го апреля 1881 г. 16, II, 208—216.
- Мони, А. Ф.** Житейские встречи [1870-ые—1880-ые г.г.]. 19, V—XII, 163—170; 22, I, 60—63.
- Пантелеев, Л. Ф.** Мои встречи с гр. М. Т. Лорис-Меликовым. 14, VIII, 97—109.
- С. П. Победоносцев** в Мариенбаде. (Отрывки из воспоминаний проф. Киша). 15, IV, 301—302.
- Хохловкин, М. А.** Перевод письма имп. Александра II к королю Вильгельму Прусскому. 17 V—VI, 81—83.
- К характеристике Александра II.** 18, I—III, 250.
- Поляков, А. С.** Царь-Миротворец. 18, I—III, 219—229.
- Черевин и Александр III.** 17, V—VI, 96—101.
- Савельев, А. А.** Два восшествия на престол русских царей. (Из воспоминаний земского деятеля). [1881 и 1894 г.г.]. 17, IV, 91—104.
- Юдин, П.** Московский предводитель дворянства Ершов. (Страничка из воспоминаний). (1880-ые г.г.). 15, X, 267—268.
- Базилевский.** Письмо в редакцию. [Поправка к предыдущей статье]. 16, IV, 271.
- Боянус, А. Н.** Поправки к воспоминаниям П. Л. Юдина. (Письмо в редакцию). 15, XII, 287—289.
- Ершова, Е. М.** Письмо в редакцию. [О воспоминаниях Юдина]. 16, II, 321—323.
- Юдин, П. Л.** К характеристике Драгомирова и Радецкого. (Отрывки из воспоминаний). 15, X, 158—164.
- Начиони, С. А.** Силуэты прошлого. (Судебно-бытовые очерки). [1880-ые г.г.]. 16, V—VI, 189—233.
- Штакеншнейдер, Е. А.** Дневники 1880—1886 г. 19, I—IV, 175—200. См. еще в 50-х годах.
- Пантелеев, Л. Ф.** Письмо К. П. Победоносцева к Н. С. Абазе. [1881 г.]. 14, VI, 231—232.
- Дрюбю, Ф.** Смерть Скобелева. [1882 г.]. (Письмо в редакцию). 17, V—VI, 102.
- Науфман, А. Е. В. И.** Немирович-Давченко о Скобелеве. 14, IX, 201—207.
- М. С. Дворянский поляк.** [1882 г.]. 16, II, 254.
- Белокопский, И. П.** Отрывки из воспоминаний. 13, IV, 184—206; V, 117—144; 14, III, 135—154; IV, 154—173; VII, 134—163; XII, 137—165; 16, III, 81—96; VII—VIII, 92—106. 17, I, 227—243.
- Ольнем, В. Н.** Из репортерских воспоминаний. 13, VII, 123—159; VIII, 119—151.
- Торгашев, П. И.** Сибирские воспоминания. (1883—1903 г.г.). 14, X, 110—150; XI, 128—166.
- Линникянко, И. А.** Прерванный юбилей. [Киевского университета в 1884 г.]. 18, I—III, 79—92.
- Четверостишие об Е. М. Феокистова.** [1880-ые годы] 19, I—IV, 60.
- Пешехонов, А. В.** Попытка обойти историю. (Сборник «Криницы»). [1880-ые—1900-ые г.г.]. 14, I.
- Унковский, А. М.** Письма к Г. А. Джаншиеву, [1887—193 г.г.] с прим. В. И. Семейского. 14, XI, 235—250.
- Нареев, Н. И.** Польская медаль в память Апухтина. 16, IV, 172—173.
- Мони, А. Ф.** Граф М. Т. Лорис-Меликов. (Отрывочные воспоминания). [1880-ые г.г.]. 14, I, 181—202.
- Науфман, А. Е.** За кулисами университета-юбиляра. (Из воспоминаний и бесед). [1880-ые—1900-ые г.г.]. 15, X, 165—178.
- Афанасьев, Г. Е.** Письмо в редакцию по поводу статьи А. Е. Науфмана «За кулисами университета-юбиляра». 15, XII, 285—287.
- Науфман, А. Е.** Еще об университете-юбиляре. (Письмо в редакцию). 16, III, 290—294.
- Водовозова, Е. Н.** Из недавнего прошлого. [1880-ые—1890-ые г.г.]. См. историю освободительского движения.
- Савин, А. Н.** Воспоминания Бисмарка и переписка Шувалова с Гирсом [1890 г.]. 22, I, 170—175.
- Науфман, А. Е.** За кулисами печати. [1880-ые—1890-ые г.г.]. 14, VI, 179—193.
- Рапорт, С. И.** Гр. К. Градовский, как корреспондент английской печати. [1890-ые годы]. 16, III, 96—101.
- Ам. И.** Патриархальный министр. 16, VII—VIII, 265—288.
- Мардарьев, Н. Г.** Нечто из прошлого. (Из воспоминаний бывшего цензора). [1886—1904 г.г.] 16, V—VI, 372—391.
- Розанов, И. Н.** По поводу «Всероссийского Эха». [Дополнение к предыдущей статье]. 17, II, 278.
- Цензурные курьезы.** [1891 г.]. 18, IV—VI, 229.
- Милютин, Д. А.** Письма к Г. А. Джаншиеву. [1893—94 г.г.]. 14, V, 220—223.
- Диллон.** Александр III. 17, V—VI, 84—95.
- Эпитафия Александру III.** 18, I—III, 230.
- «Бессмысленные мечтания».** [Стихотворение 1895 г.]. 18, I—III, 184.
- Г. А. А.** (сооб.). «Антон Горемыка». Стихотворение 1890-х годов. 17, I, 286.
- Толстой, Н. А.** Исповедь бывшего священника. [1890-ые г.г.]. 14, IV, 174—212; V, 131—168.
- Эпиграмма на К. П. Победоносцева.** [В. С. Соловьева и кн. С. Н. Трубецкого, конца 1890-х г.г.]. 18, IV—VI, 48.
- Иорданский, Н. М.** Из недавнего прошлого. (Страничка из провинциальной жизни). 13, V, 174—181.
- Роминский, Н.** Наркиз-воин. (Воспоминания из военного быта). 1890-ые гг.—нач. 1900-ых годов. 17, I, 35—72; II, 79—111.
- Губский, Н. П.** Из истории русской общественности и русской литературы. (По поводу юбилейного сборника «Русские Ведомости»). 13, X, 297—302.
- Мельгунов, С. П.** Из истории русской печати. (К 50-летию «Русских Ведомостей»). [1890-ые—1900-ые г.г.]. 13, X, 208—234.
- Мельгунов, С. П.** «Независимые русские писатели». [«Новое Время» и «Исторический Вестник»]. 16, V—VI, 398—402.
- Савинкова, С. А.** Одна из невгод. (Несколько страниц о кн. Святополк-Мирском). [1904 г.]. 15, III, 183—201.
- Николай II и Падеревский.** 18, I—III, 138.
- Путешествие Николая II по Европе.** 17, V—VI, 103—105.

- Наглядный урок конституционализма.** 17, V—VI, 105—106.
- Иллиодор (Сергей Труфанов),** бывш. перомонах. Святой чорт. Записки о Распутине. С пред. С. П. Мельгунова. 17, III,—187
- Мельгунов, С. П.** По поводу издания записок Иллиодора. 17, VII—IX, 379—382.
- Савельев, А. А.** Николай II в Саратовской пустыне. (Из воспоминаний земского деятеля). 18, IV—VI, 211—220.
- Последний самодержец.** (Материалы для характеристики Николая II). 17, IV, 38—90.
- Успенский, К. Н.** Очерк царствования Николая II. 17, IV, 5—37.
- д'Альгейм, Пьер.** Ходынский ужас. (Из воспоминаний). Пер. и предисловие. П. Оленина-Волгаря 17, 4, 105—116.
- Клевенский, М. М.** По поводу одной песни. 15, IV, 302.
- «Дружеские речи».** [1903 г.]. 18, I—III, 288.
- Из афоризмов Плева.** 18, I—III, 287.
- Сивков, Н. В.** (сооб.). Незданные по цензурным соображениям стихотворения из времен Японской войны. 18, IV—VI, 360.
- Пантелеев, Л. Ф.** В депутации у С. Ю. Витте. 15, V, 184—188.
- Кизеветтер, А. А.** Мемуары Витте. 20—21, 168—179.
- Витте, С. Ю.** Николай II и Александра Федоровна. Глава из мемуаров. 20—21, 179—191.
- Богучарский, В.** Новая книга гр. С. Ю. Витте. («По поводу непреложности законов государственной жизни»). 14, VIII, 249—256.
- Записки сановника [П. А. Шванебаха].** (Политика П. А. Столыпина и Вторая Государственная Дума). 18, I—III, 115—138.
- Сидоров, А. А.** В Киеве. (1904—1909 г.г.). (Воспоминания бывшего цензора). 18, IV—VI, 221—229; VII—IX, 133—145.
- Сидоров, А. А.** Из записок московского цензора. (1909—1917 г.г.). 18, I—III, 93—114.
- Ефремов, С. А.** Против течения. (Памяти В. П. Обинского). 16, V—VI, 138—152.
- Туманов, Г. М.** кн. Из записок гр. И. И. Воронцова-Дашкова. 16, IX, 139—146.
- Вульф, Г. В.** Последние месяцы в варшавском университете. [1908 г.]. 15, XII, 190—196.
- Фишер, В. М.** К заметке проф. Г. В. Вульфа: «Последние месяцы в Варшавском университете». 16, IV, 239—241.
- Витович, А. И.** Записки судебного пристава по охранительной описи имущества о. И. Кропштадского. [1908—1910 г.г.]. 15, V, 159—183.
- Савинкова, С. А.** Старое. [1900-ые г.г.]. 15, XI, 112—143; XII, 161—189.
- Сивков, Н. В.** Николай II и его царствование. (Библиографический обзор). 17, IX—X.
- Доходы великого князя [Владимира Александровича].** 18, I—III, 218.
- Жалоба дворян [1911 г.].** 18, I—III, 114.
- Скриба.** Копкурент Николая II. [1913 г.]. 18, IV—VI, 70.
- Гордон, Г. О.** Немецкая пропаганда на русском фронте. (По личным впечатлениям и подлинным документам). 18, IV—VI, 331—359.
- Акирман, П. А.** Дневник последней войны. 1. Месяц в штабе армии. II. В штабе дивизии. 17, IX—X, 307—249; XI—XII, 298—340; 18, IV—VI, 311—329; VII—IX, 237—266.

ИСТОРИЯ ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ.

Выдрин, Р. И. Национальный вопрос в русском общественном движении. 15, I, 100—123; II, 70—87.

Короленко, В. Г. Пугачевская легенда на Урале. 22, II, 15—26.

Фирсов, Н. Н. Новый портрет Пугачева. 15, III, 295—296.

Выдрин, Р. Об участии дворян и духовенства в Пугачевском бунте. 14, II.

Бикерман, И. Цесаревич Константин и 11 марта 1801 г. 15, X, 102—111.

Малиновский, В. Ф. Размышления о преобразовании государственного устройства в России. 1803 г. С предисл. В. И. Семевского. 15, X, 239—264.

Фон-Визин, М. А. Письмо к родителям в 1814 г. 15, II, 242—243.

Фон-Тиле, Л. Г. Письмо по поводу проекта «Уставной грамоты». Новосильцова. С пред. П. С. Рябинина. 13, VI, 234.

Гробов, А. О нестроениях общественных. (Письма Макс. Ив. Невзорова кн. А. К. Голицину в 1820 г. и митр. Серафиму 1824 г.). 13, XII, 270—278.

Тарасов, Е. И. Русские «геттингенцы» первой четверти XIX века и влияние их на развитие либерализма в России. 14, VII, 195—209.

Довнар-Запольский, М. В. Декабрьская революция 1825 г. 17, VII—VIII, 5—70.

Шаховская, Е. А. Дневник и письма 1826—27 г. Предисловие и примечания М. А. Цявловского. 20—21, 98—118.

Поджио, А. В. Записки декабриста. С предисловием А. И. Яковлева. 13, I, 134—160; II, 165—183; III, 109—126.

Сазанович, А. Из записок декабриста М. И. Мурашьева-Апостола. 14, I, 132—141.

Якушкин, Е. Е. Записки декабриста 1823 г. С предисл. В. И. Семевского. 16, X, 133—154.

Из переписки декабристов. 15, III, 210—218; IV, 186—192; VI, 184—190; VII—VIII, 168—191.

Мельгунов, С. П. Из переписки масонов о 14-м декабря 1825 г. 15, XII, 228—230.

Семевский, В. И. (сооб.). «Дело о декабристе камер-юнкере кн. В. М. Голицине». 13, II, 218—229.

Щеголев, П. Е. Из резолюций имп. Николая I о декабристах. 13, XI, 194—199.

Модзалевский, Б. Л. Г. С. Батеньков. 14, I, 280—282.

Штрайх, С. Я. Пасквиль на декабриста. (По поводу книги Гастфрейда «И. И. Пущин»). 14, VI, 310—317.

Оболенская, Н. П. Кн. Подробности смерти декабриста кн. Оболенского. 15, XII, 231—232.

Перцов, В. Н. (сооб.). Генц о декабристах. 18, IV—VI, 248.

Цявловский, М. А. Эпиграфы декабристов. (Дело о распространении «зловредных» сочинений среди студентов харьковского университета. 1827 г.). 17, VII—VIII, 76—104.

- Элисс** (сооб.). Дело Сятникова. (Проект вечаемого правления). (По архивным данным). 17, VII—VIII, 105—123.
- Семевский, В. И.** Кирилло-Мефодиевское Общество. 18, X—XII, 101—158.
- Шилов.** Революция 1848 г. и ожидание ее в России. 18, IV—VI, 231—247.
- Оксман, Ю.** (сооб.). Меры николаевской цензуры против фурьеризма и коммунизма. 17, V—VI, 69—72.
- Семевский, В. И. М. В. Буташевич-Петрашевский.** (Биографический очерк). 13, I, 20—50; II, 119—142; III, 64—79; IV, 94—123; VI, 37—68; VIII, 51—86; XI, 66—94; XII, 78—116.
- Семевский, В. И. М. В. Буташевич-Петрашевский** в Сибири. 15, I, 66—87; III, 18—57; V, 43—84.
- Семевский, В. И.** Петрашевцы: студенты Толстов и Г. П. Данилевский, мещанин П. Г. Шапошников, литератор Катенев и Б. И. Утин. 16, V, 5—28; XII, 97—118.
- Семевский, В. И.** Петрашевцы: С. И. Дуров, А. И. Пальм, Ф. М. Достоевский и А. И. Плещеев. 15, XI, 5—43; XII, 35—76.
- Семевский, В. И.** Петрашевцы. Кругок Н. С. Кашкина. 16, II, 41—61; III, 48—68; IV, 174—192.
- Маллаш, В. В.** Заметки о Гоголе. 1. Гоголь о Петрашевцах. 13, IX, 234—235.
- Маллаш, В. В.** Аполлон Григорьев о Петрашевском. 14, II, 199—201.
- Семевский, В. И.** Пропаганда петрашевцев в учебных заведениях. 17, II, 138—169.
- Семевский, В. И.** Донесения Л. Ф. Дубельта кн. А. И. Чернышеву. (По копиям, хранящимся в бум. Н. К. Шильдера, в рукоп. Отд. Имп. Публ. Библиотеке). 14, IV, 222—223.
- Шляпкин, И. А.** Письмо М. В. Буташевича-Петрашевского Н. С. Кириллову. 14, VIII, 187—188.
- Нашин, Н. П.** Высылка из Москвы в 1848—1853 г.г. 14, VIII, 189—195.
- Попельницкий, А. З.** и **И. М. Соловьев.** Из общественных настроений московского студенчества в 1858 г. 15, IX, 255—270.
- Попельницкий, А. З.** (сооб.). Запрещенный по высоч. повел. багкет в Москве 19 февраля 1858 г. 14, II, 202—212.
- Попельницкий, А. З.** Панхида по убитым крестьянам в с. Бездне, Казанск. губ. Спасского уезда в апреле 1861 г. 17, IX—X, 90—107.
- Алексеев, В.** Студенческий кружок Аргипуло и Зайчневского. 22, I, 102—128.
- Берви, В. В. (Н. Флеровский).** Воспоминания. [1840-ые—1890-ые г.г.]. 15, III, 134—182; IV, 144—166; VII—VIII, 110—126; IX, 167—173; 16, I, 202—221; II, 82—108; V—VI, 251—285.
- Берви, Э. И.** Из моих воспоминаний. [1860-ые годы]. 15, V, 122—142; VI, 169—186; VII—VIII, 127—142; IX, 174—193.
- Шилов, А. А.** Из истории революционного времени 1860 г.г. 18, X—XII, 159—168.
- Богучарский, В. Я.** Общественное движение 60 г.г. под пером казенных исследователей. (Неизданный документ). 15, IV, 193—220.
- Поправка** к статье В. Я. Богучарского. Ф. И. Родичев о И. И. Бочкареве. 15, VI.
- Лебединский, П. В.** Из жизни Московского университета. Варнековская история. С предисл. Л. Ф. Пантелеева. [1860-ые г.г.]. 15, IX, 210—218.
- Мельгунов, С. П.** Из общественных настроений. 1863 г. 16, III, 232—242.
- Ершов, А.** (Сооб.). Казанский заговор 1863 г. (Эпизод из польского восстания 1863 г.). 13, VI, 198—232; VII, 199—228.
- Сватиков, С. Г.** Николай Дмитриевич Ножин. (1841—1866 г.). 14, X, 1—36.
- Никифоров, Л. П.** Мои тюрьмы. 14, V, 168—201.
- Плеханов, Г. В.** Письмо в редакцию. (По поводу рецензии Н. Чайковского. (13, VI) на книгу Богучарского Активное народничество 70-х годов). 13, IX.
- Штакеншнейдер, Е. А. П. Л. Лавров.** 15, VII—VIII, 96—109.
- Штакеншнейдер, Е. А.** Из воспоминаний о П. Л. Лаврове. 15, XII, 121—139.
- Лавров, П. Л.** Письма к Е. А. Штакеншнейдер из Парижа в 1870—73 г.г. 16, VII—VIII, 107—140; IX, 114—138.
- Русанов, Н. С.** Воспоминания г. Вырубова о П. Л. Лаврове. 13, III, 236—241.
- Витязев, П. П. Л. Лавров** в воспоминаниях современников (М. А. Антоновича, Г. А. Лопатина, М. П. Негрескул). 15, IX, 131—146; X, 112—148.
- Колосов, Е. П. Л. Лавров** и Н. К. Михайловский о балканских событиях 1875—76 г. 16, V—VI, 301—339.
- Лопатин, Г. А.** К рассказам о П. Л. Лаврове. 16, IV, 193—204.
- Лавров, П. Л.** Два черновых письма к великому князю Константину Николаевичу. 16, VII—VIII, 219—222.
- Лавров, П. Л.** Рождество Христово. (Стихотворение). 16, VII—VIII, 140—142.
- Лавров, П. Л.** Путник. (Неиздан. стихотвор.). 15, IX, 229—231.
- Хирьяков, А. М.** Отклики прошлого. [Стихотворение П. Л. Лаврова (см. 23, I)]. 22, II, 199—202.
- Степанова, П. Е.** Письмо в редакцию. [О стихотвор. П. Л. Лаврова «К русскому царю», помещенном в ж. «Наша Старина» 1916, № 3]. 16, IV, 272.
- Брешко-Брешковская, Е. К.** Из воспоминаний (С. А. Лешери, Н. А. Армфельд, Т. И. Лебедева, М. К. Крылова, Г. М. Гельфман). 18, X—XII, 169—235.
- Дейч, Л.** Почему я стал революционером. 19, V—XII, 5—39.
- Дейч, Л.** Южные бунтари. 20—21, 44—71.
- Фигнер, В. Н.** Студенческие годы (1872—73). 22, II, 165—181.
- Венюков, М. И.** Из воспоминаний. Пред. Л. Э. Бухгейма. [Эмигранты 1870 г.г.]. 22, II, 40—58.
- Богучарский, В. Я.** (сооб.). Забота о «доверии» общества к суду. [Циркуляр гр. Палена 1876 г.]. 13, III, 230.
- Дейч, Л. Г.** Один из последних семидесятников (Д. А. Клеменц). 14, VI, 86—109.
- С. В.** К делу В. Н. Засулич. (Рапорт с.-Петербург. градоначальника ген.-майора А. А.

- Козлова министру внутр. дел А. Е. Тимашеву 1878 г. 1-го апреля). 17, VII—VIII, 169—170.
- Глаголь, С.** Процесс первой русской террористики. 18, VII—IX, 147—162.
- Рошфор, Анри** Воспоминания о Вере Засулич и народолюбцах. 20—21, 85—93.
- Дейч, Л. В. И.** Засулич. 19, V—XII.
- Покровский, Ф. И.** Понски П. А. Кропотника за границей в 1876 г. (Из бумаг ген. Смелянского). 17, I, 84—93.
- Богучарский, В. Я.** В 1878 году. 17, VII—VIII, 124—168; IX—X, 108—143.
- Щиглев, В. Р.** 4-е августа 1878 г. (Памяти С. М. Кравчинского-Степняка). 18, VII—IX, 146.
- Морозов, Н. А.** Любомырский. (Рассказ из жизни 70-г. г. XIX в.). 17, I, 185—198.
- Попов, М. Р.** К истории рабочего движения в конце семидесятых годов. 20—21, 72—84.
- Сватиков, С. Г.** Просекты народного представительства в России в 1882 г. 13, VII, 242—248.
- Александровский, А. Н.** Периодические издания партии «Народной Воле». 17, VII—VIII, 212—224.
- Прибылева, А.** (Норба). Воспоминания о «Народной Воле». 16, IX, 90—113.
- Португалов, О. В.** Арест В. О. Португалова в г. Вятке. 16, XII, 227—232.
- Анучина, В. Е.** П-правка к ст. «Арест В. О. Португалова». 17, II, 319.
- Торгашев, П. И.** Записки народолюбца. 1878—1883 г. г. 14, II, 142—169.
- Иорданский, Н. М.** Из переписки земских деятелей 70—80 г. г. (Из архива В. Ю. Скалона). 15, XII, 208—227.
- Виташевский, Н. А.** На Каре. [1880-ые г. г.]. 14, VIII, 110—147.
- Иорданский, Н. М.** Одна малоизвестная история. (Исключение земских гласных по высочайшему повелению). 14, VI, 232—245.
- Минцлов, С. Р.** О рязанских «кромольниках». 15, V, 226—238.
- Сватиков, С. Г.** «Конституционная» записка графа П. П. Шувалова. 13, XII, 279—284.
- Федоров, Б. Д.** Гр. Логис-Мельков и Ф. Ф. Павленков. [1880 г.]. 19, I—IV, 169—174. О Логис-Мелькове см. еще в отд. «Русская История».
- Энгельмейер, А. Н.** Казнь Молодецкого. 17, VII—VIII, 184—192.
- Дубнов, С. М.** Записки о антиеврейских беспорядках 1881 г. 16, III, 243—253.
- Попов, М. Р.** Мечты о свободе. (Из шлиссельбургских воспоминаний). 17, VII—VIII, 257—286.
- Фроленко, М. Ф.** Михаил Родионович Попов. 17, VII—VIII, 171—179.
- Мусин-Пушкин, С. А.** А. И. Желябов. 15, XII, 140—142.
- Смелянский, В. Н.** Священая Дружина. (Из дневника ее члена). С предисловием Ф. И. П. кровского. 16, I, 222—256; II, 135—163; III, 155—176; IV, 95—110; V—VI, 86—106.
- Кропоткин, П. А.** Поправка к дневнику В. Смелянского. 16, IV, 111—112.
- Федорова, М. Е.** Московский отдел Священной Дружины. (По данным Архива Секретн. О-д. канцел. Московск. ген.губерн.). 18, I—III, 139—183.
- Фигнер, В. Н.** Григорий Проксфьевич Исаяев. 17, IX—X, 144—153.
- Фигнер, В. Н.** Михаил Николаевич Тригопи. 17, VII—VIII, 198—211.
- Фигнер, В. Н. М. Ф.** Грачевский. 16, XII, 30—43.
- Морозов, Н. А.** За свет и свободу. 15, IV, 108—143; V, 85—121.
- Морозов, Н. А.** Во имя братства. 13, VIII, 87—118; IX, 65—113; X, 108—139; XI, 122—161; XII, 117—167.
- Селиванов, А.** Поправка к воспоминаниям П. А. Морозова. (Письмо в редакцию). 13, X, 139.
- Лопатин, Г. А.** Освобождение Ф. В. Волховского. (По повсду воспоминаний Морозова). 14, IV, 217—221.
- Цявловский, М. А.** Секретные сотрудники московской охраны 1880-ых годов. (Из архива Охран. О-д.). 17, VII—VIII, 180—183.
- Сватиков, С. Г.** Опальная профессура 80 г. г. 17, II, 5—78.
- Водовозова, Е. Н.** Из недавнего прошлого. [1880-ые—1890-ые г. г.]. 15, I, 164—191; II, 170—196.
- Фигнер, В. Н.** Из истории «Народной воле» после 1-го марта 1881 г. 19, V—XII, 40—110.
- Федоров, Б. Д.** Голоса врагов и друзей. (Штрихи характеристики В. Н. Фигнер). 22, II, 151—156.
- Редакция.** Приветствие В. П. Фигнер по поводу 70-летия. 22, II, 149.
- Попов, М. Р.** Волкенштейн, Л. А. 18, IV—VI, 71—79.
- Ашенбреннер, М. Ю.** Из воспоминаний. I. Людмила Александровна Волкенштейн. 14, I, 228—232.
- Новорусский, М.** Женщины в Шлиссельбурге. 22, II, 157—164.
- Новорусский, М.** О Шлиссельбургском архиве. 13, X, 140—148.
- Панкратов, В. С.** Возврат к жизни. [1890-ые годы] 17, VII—VIII, 287—315.
- Поляков, А. С.** Второе 1-е марта. (Покушение на Александра III в 1887 г. по неиздан. источникам). 18, X—XII, 237—296.
- Мельгунов, С. П.** Встречи. I. Г. А. Лопатин. 20—21, 94—97.
- Дейч, Л.** Памяти ушедших. Г. А. Лопатин. 19, V—XII, 210—226.
- О П. Ф. Якубовиче** см. в отд. истории русской литературы.
- Ленцевич, А.** Стихотворение «Сны». С пред. Н. Н. Розанова. 17, VII—VIII, 333—334.
- Нарякин, В. Н.** Московская охранка о А. И. Шингареве. (1891—1915 г.). 18, I—III, 309—313.
- Мельгунов, С. П.** Московский университет в 1894 г. (По поводу воспоминаний проф. Беголепова). 13, V, 182—218.
- Черткова, А.** (сооб.). Материалы к истории гонений духоборцев в Закавказьи. (1895 г.). 13, VII, 229—236.
- Ильинский, А.** Духоборы в Якутской области (1897—1905 г. г.). 17, I, 243—263.
- Ратаев, Л. А.** Письма С. В. Зубатову (1900—1903 г.). Сообщил С. П. Мельгунов. 22, I, 51—69.
- Савельев, А. А.** На заре освободительного движения. (Воспоминания старого земца о двух

съездах, бывших в Москве в 1901 г. с участием земских деят.). 14, I, 159—180.

Лавров, П. Л. Воспоминания о Софье Михайловне Гинсбург. 17, VII—VIII, 225—256.

Сазонов, Егор. Воспоминания, письма, материалы для биографии. С предисловием С. П. Мельгунова. 18, X—XII, 5—100.

Сазонов, Е. И. П. Калаяев. (Из воспоминаний). 17, VII—VIII, 316—332.

Хирьяков, А. М. Зинаида Коноплянникова. 18, X—XII, 297—307.

Из писем лейтенанта П. П. Шмидта. (Письмо к П. Д. Лесевичу). 18, IV—VI, 330.

Осоргин, М. А. Декабрьское восстание 1905 г. в Москве в описании жандарма. 17, VII—VIII, 351—360.

Сторожев, В. Н. Ф. В. Дубасов и Г. А. Мин. на Пресне в 1905 г. (По данным секретного отделения канцелярии московск. ген.-губерн.). 18, IV—VI, 107—141.

Сивков, Н. В. Городская буржуазия 10 лет тому назад. (Из истории общественных движений 1905 г.) 15, XII, 75—106.

Минцлов, С. Р. Дневник 1905—1906 г.г. 17, IX—X, 181—246; XI—XII, 5—79.

Бузескул, В. П. Дни баррикад в Харькове в октябре 1905 г. (Личные воспоминания). 17, VII—VIII, 335—350.

Жорес, Ж. Смерть царизма. 17, IV, 253—255.

Клевенский, М. М. Освободительное движение в освещении «Исторического Вестника». 14, V, 241—250.

Норф, С. А. Из новейшей истории Прибалтийского края. (Die Lettische Revolution, Berlin, 1908 г.) 14, II.

Секретные протоколы Петергофского Сопещения в июле 1905 г. Предисл. редакции. 17, IV, 124—252.

Иорданский, Н. М. Секретные циркуляры. (Из архива земского начальника). 16, V—VI, 181—188.

Жилинский, В. Б. Организация и жизнь охранного отделения. 17, IX—X, 247—306.

Молитва социал-демократа. 18, IV—VI, 142.

Отвергнутое усердие литератора. (Из архива Моск. охран. отделения). 18, VII—IX, 222.

Личкии общественных деятелей при наружном наблюдении филеров моск. охр. отдел. 18, IV—VI, 80.

Цявловский, М. А. Николай II в Москве в 1912 г. (Матер. Московск. охр. отд.) 17, V—VI, 267—311.

Наррик, В. В. Война и революция. (Записки 1914—1917 гг.) 18, IV—VI, 5—47; VII—IX, 27—76.

Неренский в борьбе за Учредительное Собрание в 1915 г. (Доклад директ. департ. полиции от 18-го августа 1915 г.). 18, VII—VIII, 236.

Цявловский, М. А. Московская охранка в 1915 г. (Доклад С. Е. Виссариопова). 18, I—III, 251—287.

Сергеев, А. А. Жандармы-историки. (Библиографич. заметка). 17, IX—X, 364—380.

Сандомирский, Г. Сылка и революция в Сиббири. (Впечатления амнистированного). [1917 г.] 17, VII—VIII, 361—378.

В. И. Генерал Духонин в ставке. (По неопубликованным данным). 18, I—III, 289—308.

Огановский, Н. П. Дневник члена Учредительного Собрания. 18, IV—VI, 143—172.

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ.

Статьи общего характера.

Перцев, В. Н. Новые русские труды по теории исторической науки. 14, IV, 269—282.

Перцев, В. Н. Белох о статистическом методе в истории. 14, II, 239—246.

Сакулин, П. Н. Новый труд по истории ма-сонства. 15, VII—VIII, 234—243.

Архангельский, А. С. К. П. Николов и Фр. Сент-Фуа. [По поводу предыдущей статьи]. 16, III, 294.

Стеклов, Ю. М. Интернационал после Гаагского конгресса. 13, XI, 95—121; XII, 42—77.

Древняя и средняя история.

Баллод, Ф. И. Русская литература по Египту за последние годы. 17, II, 309—314.

Перцев, В. Н. Новое эгиптологическое освещение некоторых сторон греческой культуры. 13, II, 281—285.

Степанова, В. Е. «Золотой Дом» Нерона. 13, IX, 316—320.

Успенский, Н. Н. Юстиниан и крупное землевладение сенатской аристократии. 13, VI, 5—21.

Безобразов, П. В. Новости по византийской истории. 3, X.

Успенский, Н. Н. Новый труд по истории Византии. 14, IV, 283—291.

Нарсавин, Л. П. Церковь и религиозные движения XII—XIII в.в. 13, VII, 39—61.

Клейнер, С. Средневековый странствующий школяр. [О книге «Des Johannes Butsbach Wanderbüchlein»]. 15, IX.

Италия.

Дживелегов, А. Н. Пьетро Аретино и Возрождение. 14, I, 62—104.

Осоргин, М. А. Тосканский мессия. 15, VI, 5—17.

Ноляри, В. Вильгельм Обердан. (Из истории итальянского преридентизма). 16, I, 61—74.

Тарле, Е. Наполеон в Италии. Ответ Гр. Шрейдеру. 17, II, 318—319.

Шрейдер, Г. И. Республиканцы и парламентаризм в Италии. 14, VIII, 5—43; 39—75.

Шрейдер, Г. И. Италия и Польша в 1863 г. 15, IV, 249—263.

Шрейдер, Г. И. Джузеппе Мадзини о национальном вопросе. 13, V, 5—15.

Шрейдер, Г. И. Англия, Франция и Италия. (Из итальянской печати). 16, X, 188—196.

Васютинский, А. М. I. Джузеппе Мадзини на защите римской республики 1849 года. II. Новый вариант М. Фиггсфеля. III. Фауст в балагане. 13, IV, 279—282.

Шрейдер, Г. И. Из истории франко-итальянских отношений. 16, V—VI, 402—405.

Шрейдер, Г. И. Папа, Бисмарк и Вильгельм. 16, IV, 226—234.

Франция.

- Брандес, Георг.** Невинность самого ославленного в истории убийцы садиста. Перев. В. М. Спасской. 14, II, 97—103.
- Войков, П. Л.** Ужасный памятник налогового обложения. (Мощнополя солд во Франция при старом порядке). 15, X, 77—101.
- Войков, П. Л.** Фаворит Людовика XIV. 15, VI, 299—303.
- Клейнер, С.** Немецкая принцесса при дворе Людовика XIV. 15, XII, 258—264.
- Войков, П.** Одна из загадок истории. (E. Laou. Enigmes du grand siècle. Le masque de fer. Jas Stuart de la Cloche. L'abbé Prignani. Roux de Marsilly). [XVIII в.]. 14, III.
- Васютинский, А. М.** Черты из жизни людей XVIII столетия. (Французский дипломат Блондель; письма Монтескье; последние годы Джаком Казановы). 14, VI, 246—254.
- Лучицкий, И. В.** Феодализм при Людовике XVI. 13, IV, 275—279.
- Чалева, Е. П.** (пер.). Воспоминания пажа Людовика XVI. Пред. А. Дж. 13, VI, 106—132; VII, 174—185.
- Корольков, М. Я.** Шпион Робеспьера в Черноморском флоте. 16, X, 72—80.
- Волгин, В. П.** Жан-Мелье и его завещание. 18, I—III, 5—46.
- Войков, П.** Пятьдесят лет жизни маркизы. (Marquise de la Tour. Journal d'une femme de cinquante ans. 1778—1815). 14, VII, 305—314.
- Пичета, В. И.** Польша и Франция в конце XVIII в. 13, II, 276—277.
- Херасков, И. М.** Из жизни французской провинции в 1790—91 г. 13, VIII, 268—275.
- Шометт, А.** Мемуары 1792 г. Перев. и предислов. И. М. Хераскова. 17, XI—XII, 80—141.
- Херасков, И. М.** Социальная политика Робеспьера (1789—1792). 14, I, 299—305.
- Херасков, И. М.** Дантон и процесс короля. Послесловие А. М. Васютинского. 16, XII, 180—189.
- Васютинский, А. М.** «Министр-грабитель». Lettres de cachet. Теизденциозная французская историография. Дантон. 14, VIII, 203—216.
- Тарле, Е.** Наполеон в Италии. (Ответ г. Гр. Шрейдеру). 17, II, 318—319.
- Дживелегов, А. К.** Новое о Наполеоне. Наполеон и вел. кн. Екатерина Павловна. 13, V, 248—249.
- Васютинский, А. М.** Новое о Наполеоне. Наполеон и г-жа Сталь. 13, V, 244—247.
- Херасков, И. М.** Субсидируемые рабочие товарищества второй республики во Франции. 17, II.
- Васютинский, А. М.** Люди первой половины XIX века по мемуарам. 13, X, 275—278.
- Перцев, В. Н.** Проект франко-прусского разоружения в 1870 году. 14, IV, 259—266.
- Потемкин, В. П.** Возвращающаяся Германия в оценке историка Франции. [Франко-прусская война 1870—71 гг.]. 14, XII, 273—280.
- Херасков, И. М.** Франко-прусская война и масонство. 16, VII—VIII, 253—264.
- Степанова, П. Е.** Гарибальдийцы во время франко-прусской войны 1870—71 г.г. (Из записок волоптера проф. Дормца). 14, IX, 159—200.

- Губский, Н. П.** Ренан и Штраус в 1870—71 г.г. 16, II, 306—311.
- Игнатов, И. Н.** Осада Парижа. 14, III 65—79.
- Рошфор, Анри.** Воспоминания, с предисловием А. К. Дживелегова. 13, IX, 115—145.
- Нареев, Н. И.** Мои встречи с Виктором Консидераном. 15, X, 179—183.
- Херасков, И. М.** Преф. Олар о Жоресе. 14, X, 269—270.
- Шрейдер, Г. И.** Германия и Франция в итальянской печати. 15, III, 231—242.
- Шрейдер, Г. И.** Из истории франко-итальянских отношений. 16, V—VI, 402—405.
- Херасков, И. М.** Из иностранных журналов. 16, IX, 211—222.
- Васютинский, А. М.** К вековой тяжбе между Францией и Пруссией. Немцы о немецкой душе. 14, X, 266—269.
- Шрейдер, Г. И.** Англия, Франция и Италия. (Из итальянской печати). 16, X, 188—196.
- Васютинский, А. М.** Тайная полиция во Франции и Австрии в эпоху реставрации. 13, III, 245—247.
- Васютинский, А. М.** Французское общество в начале 2-й империи. Новое о Стендале. 13, II, 277—281.
- Васютинский, А. М.** Из иностранных журналов. (Мария-Антуанетта перед судом истории; Наполеон и восточный вопрос). 13, I, 255—257.
- Васютинский, А. М.** Франция в борьбе с иноземным нашествием в эпоху Великой революции. На заре Франко-русского союза. 14, IX, 240—247.
- Херасков, И. М.** Из иностранных журналов. 1. Бумажный кризис при революции. 2. Арест Людовика XVI в Вареше. 3. Как началась франко-прусская война. 4. Несколько страниц из жизни Жореса. 16, IX, 211—222.

Швейцария.

- Левин, И. О.** Из истории эмансипации евреев в Швейцарии. 15, II, 270—277.

Германия и Австрия.

- Клейнер, С.** Заглохшая княжеская резиденция XVIII века. (Маркграфиня Вильгельмина и ее Байреит). 14, VI, 70—85.
- Вильгельмина, маркграфиня.** Мемуары. Пер. С. Клейнер. 14, VI, 194—216; VII, 163—194.
- Проферансов, Н. И.** Из истории германского национализма. Ф. Л. Ян. 16, X, 1—22.
- Чебышев, А. А.** Арест Грунера (Этюда из истории патриотического движения в Германии 1812 г.). 13, IX, 22—28.
- Васютинский, А. М.** Новое о Вепском Конгрессе. 13, X, 274—275.
- Гард-де-ла, гр.** Картины из времен Вепского конгресса 1814—1815 г.г. Пер. М. П. Барсуковой. С предисловием В. Н. Перцева. 15, V, 143—158; VI, 134—158; IX, 194—209; X, 184—203.
- Чебышев, А. А.** Драма в Мангейме. (К биографии Коцебу). 13, II, 40—81.
- Васютинский, А. М.** Тайная полиция во Франции и Австрии в эпоху реставрации. 13, III, 245—247.

Перцев, В. Н. Допесення неизвестных дипломатов Меттерниху о Лоле Монтец. 14, VIII, 216—222.

Перцев, В. Н. Новые данные о мартовских днях в Берлине в 1848 г. 14, VI, 255—260.

Перцев, В. Н. Из писем бар. Штурмфедер об австрийской революции 1848 г. 14, III, 283—287.

Дживелегов, А. Н. Теодор Моммзен в 1848 г. (К 10-летию со дня смерти). 13, X, 65—72.

Фриче, В. М. Из истории немецко-польских отношений. 16, II, 62—73.

Козловский, Л. С. Германия и Польша. 14, XI, 312—316.

Васютинский, А. М. Турция, Германия и Европа. 14, XI, 251—268.

Покровский, М. Н. Из истории русско-германских отношений. I. Россия и Пруссия накануне Крымской войны. 16, III, 5—47; 17, V—VI, 107—153.

Тарле, Е. В. «Чего немцы должны требовать от русских?» [1854 г.] 15, II, 63—269.

Перцев, В. Н. Политика Гогенцоллернов. 14, XI, 49—74; XII, 81—121. 15, VI, 58—80; VII—VIII, 51—74. 17, V—VI, 145—233.

Перцев, В. Н. Проект франко-прусского разоружения в 1870 г. 14, IV, 259—266.

Губский, Н. П. Репан и Штраус в 1870—71 гг. 16, II, 306—311.

Васютинский, А. М. К вековой тяжбе между Францией и Пруссией. Немцы о «немецкой душе». 14, X, 266—269.

Потемкин, В. П. Возмущающаяся Германия в оценке историка Франции. [Франко-прусская война 1870—71 г.г.]. 14, XII, 273—280.

Херасков, И. М. Франко-прусская война и масонство. 16, VII—VIII, 253—264.

Херасков, И. М. Из иностранных журналов. Как началась франко-прусская война. 16, IX, 215—219.

Стеланова, П. Е. Гарибальдийцы во время франко-прусской войны 1870—71 г.г. Из записок волопитера проф. Дормуа. 14, IX, 159—200.

Левитин, С. А. Из встреч с Бебелем. 13, IX, 146—157.

Савин, А. Воспоминания Бисмарка и переписка Шувалова с Гирсом. 22, I, 158—175.

Перцев, В. Н. Перед войной. Бисмарк и балканские государства. Из переписки Гогенцоллернов. 14, IX, 228—240.

Шрейдер, Гр. И. Германия и Франция в итальянской печати. 15, III, 231—242.

Шрейдер, Г. И. Папа, Бисмарк и Вильгельм. 16, IV, 226—234.

Майский, В. Англия и Германия. (Их экономические взаимоотношения на протяжении последнего полувека). 16, I, 75—108.

Волгин, В. П. Французская книга о Вильгельме II. 14, IX.

К. Л. Вильгельм II в изображении польского художника. 14, XII, 265—272.

Из дневника адъютанта Вильгельма II (гр. фон-Доша-Шлобитена, фон-Хиллууса). 18, VII—IX, 267—237.

Хохловкин, М. Из венских воспоминаний 1913—1914 г.г. 15, XII, 197—203.

Бутенко, В. А. Князь Бюлов о современной германской политике. 15, II, 254—262.

Розанов, В. Н. Книги о германской революции. 22, II, 207—216.

Англия и Ирландия.

Майский, В. Англия и Германия. (Их экономические и политические взаимоотношения на протяжении последнего полувека). 16, I, 75—108.

Керженцев, В. Парнелл и его время. 16, VII—VIII, 5—46; IX, 54—89.

Керженцев, В. Мемуары японского дипломата. 15, XII, 255—258.

Керженцев, В. Революционная Ирландия. 14, VII, 5—53.

Шрейдер, Г. И. Англия, Франция и Италия. (Из итальянской печати). 16, X, 188—196.

Бельгия.

Левин, И. О. Национальная борьба в Бельгии до войны. 6, III, 69—80.

Славянство (кроме Польши).

Викторов-Топоров, В. Светозар Маркович. (Страница из истории общественного движения в Сербии). 13, III, 30—51.

Шрейдер, Г. И. К Балканскому вопросу. 16, II, 311—315.

Ефремов, С. А. Галичина в начале конституционной эры. 17, IX—X, 164—180.

Ефремов, С. А. Из истории возрождения Галичины. 15, II, 5—33; IV, 75—107; IX, 66—104; 16, VII—VIII, 188—217.

Вернадский, Г. В. Угорская Русь и ее возрождение в середине XIX века. 15, III, 5—17.

Киш Генрих. В Пражском университете в 60-х г.г. Пер. П. Е. Степановой. 15, III, 202—209.

де-Воллан, Г. А. Поездка в Боснию и Герцеговину в 1878 г. 14, IX, 110—131.

Рябинин, И. С. Из истории германизация славян. По поводу книги Dr. Aleksander-Majkowski. Zdroji. Raduni]. 14, X, 292—297.

Польша.

Рябинин, И. С. Тадеуш Косцюшко. 15, IV, 35—74; VI, 18—57.

Кизеветтер, А. А. Станислав Понятовский и его мемуары. 14, XI, 289—299.

Пичета, В. И. Польша и Франция в конце XVIII в. 13, II, 276—277.

Рябинин, И. С. К вопросу о воссоединении Польши. (Историческая справка). 14, X, 80—92.

Рябинин, И. С. Ягеллонская идея. 14, IX, 92—97.

Р. Вадериан Лукасинский. 13, V, 16—60.

Кареев, Н. И. Польская революция 1848 г. в Великом Герцогстве Познанском. 15, IX, 119—130.

Фриче, В. М. Из истории немецко-польских отношений. 16, II, 62—73.

Козловский, Л. С. Германия и Польша. 14, XI, 312—316.

Клейнман, И. А. Эволюция польско-еврейских отношений (1850-ые г.г.—1906 г.). 15, III, 90—111.

Козловский, Л. С. Из прошлого польско-еврейских отношений. 13, IX, 271—273.

Шрейдер, Г. И. Италия и Польша в 1863 г. 15, IV, 249—263.

Скандинавские государства.

Тмандер, Н. Ф. Главные моменты развития скандинавизма. 15, VII—VIII, 5—23.

Мировая война 1914—1918 г.г.

Григорьев, Р. Винавата ли Бельгия в своей судьбе. 15, IX.

Мельгунов, С. П. Во имя национальной культуры. 14, IX, 98—109.

Херасков, И. М. Карл Каутский о войне. 15, III, 243—253.

Цыперович, Г. Война и общественность. «Из зарубежной жизни». С предисловием ред. 17, V—VI, 312—348.

Бузескул, В. П. Немецкий историк Эд. Мейер об Англии и нынешней войне. 16, IX, 199—210.

ИСТРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

(Статьи, мемуары, письма, дневники, заметки и т. п.).

Статьи общего характера.

Венгеров, С. А. Письмо в редакцию. (По поводу издания критико-биографического словаря русск. писателей и ученых). 13, V, 290—291.

Губский, Н. П. Из истории русской общественности и русской литературы. (По поводу юбилейного сборника «Русск. Вед.»). 13, X, 297—302.

Барт де-Ла, Ф. гр. Субъективизм и дилетанство в историко-литературной критике. 13, XI.

Мечников, Е. На заре русского романа. 14, VI, 5—40.

Стеклов, Ю. М. Интернационал после Гаагского конгресса. 13, XI, 95—121; XII, 42—77.

Сакулин, П. Н. В поисках научной методологии. I. Ф. И. Булгаев. II. Н. С. Тихонравов. 19, I—III, 5—37.

Бошняк, Е. Шекспир в России. 13, XII.

Русские писатели XVIII—XIX.

(Материал расположен в порядке годов рождения писателей).

Сидоров, Н. П. Ломоносов, Новиков, Радищев. 13, VI, 235—241.

Обольянинов, Н. Поэт и типограф-любитель, Ник. Еремеев. Струйский. 13, V, 271—273.

Ниселев, Н. П. (сообщ.). Письма русских масонов. Н. И. Новиков А. П. Болотову. 22, II, 182—184.

Радищев, А. Н. Вновь открытая его записка о законодательстве. С предисловием А. З. Понельницкого. 16, XII, 74—96.

Ммаковский, В. В. Годы учения А. Н. Радищева. 14, III, 5—42; V, 83—104.

Архангельский, А. С. К. П. Николев и Фр. Сент-Фуа. 16, III, 294.

Ниселев, Н. П. Письма русских масонов М. И. Невзоровки. М. И. Голицыну. 22, II, 185—187.

Цявловский, М. А. (сообщ.). Незданные письма Карамзина. 19, I—IV, 39—44.

Линниченко, И. А. Политические воззрения Н.-М. Карамзина. (К 100-летию выхода в свет «Истории Государства Российского»). 17, I, 116—134.

Из записной книжки П. И. Бартечева. I. Зейлиц о В. А. Жуковском и А. Ф. Воейковсе. 19, I—IV, 162.

Цявловский, М. А. (Сообщ.) Незданные письма В. А. Жуковскому. 19, I—IV, 39—44.

Памяти В. А. Жуковского. 13, II, 310.

Розанов, И. Н. Сатира кн. П. А. Вяземского на Каткова. 17, I, 283—286.

Вяземский, П. А. кн. Эпиграмма на И. С. Тургенева и на А. Н. Пышина. Из записной книжки П. И. Бартечева. 19, I—IV, 168.

Из записной книжки П. И. Бартечева. II. П. Я. Чаадаев. 19, I—IV, 162.

Лернер, Н. О. (сообщ.). Письма А. А. Бестужева — Марлинского. (Материалы для истории русск. общественности и журналистики). 17, I, 268—273.

Лернер, Н. О. (сообщ.). Письмо А. А. Дельвига к В. И. Григоровичу. (Материалы для истории русск. общественности и журналистики). 17, I, 267—268.

Цявловский, М. А. (Сообщ.). Незданные письма А. С. Пушкина. 20—21, 119—122.

Бродский, Н. Л. Новое о Пушкине. 13, IV, 270—275.

Маллаш, В. В. Заметка о Пушкине. 14, VII, 210—211.

Лернер, Н. О. К истории «Баллады о Рыцаре, влюбленном в Деву». (По поводу заметки В. В. Каллаша). 14, XI.

Лернер, Н. О. Пушкин, Фотий и гр. Орлова. 13, IV, 82—84.

Н. Новые сведения о Пушкине. (По поводу V-го т. Остаф. архива). 13, XI.

Цявловский, М. А. Дневник Вульфа. Дуэль Пушкина. (Из новых книг о Пушкине). 17, II, 279—294.

Цявловский, М. А. Тоска по чужбине Пушкина. 16, I, 35—60.

Цявловский, М. А. Пушкин и графиня Д. Ф. Фикельмон. 22, II, 108—123.

Язвицкий, В. Кто был Кпрджали, герой повести Пушкина. 19, I—IV, 45—59.

Николай I и Пушкин. («Речь»). 13, VI, 298—299.

Маллаш, В. В. Заметки о Гоголе. II. Гоголь и Пушкин. 13, IX, 235—239.

Гессен, Ю. Писал ли В. Даль о кровавом навете. (В. И. Даль. Записка о ритуальных убийствах. Спб. 1913 г.). 14, I.

Моноплова, М. С. Мария Семеновна Жукова. 13, VII, 19—38.

Шпицер, С. Д. В. В. Венивитинов. (Материалы для биографии. Неизд. отрывки и заметки). 14, I, 265—279.

Редакционная поправка к статье Шпицера о Венивитинове. 14, V, 312—313.

- Эпиграмма на Шевырева.** (Из бумаг О. М. Бодянского). 19, I—IV, 206.
- О Шевыреве.** См. еще Киреевские, Граповский.
- Соколов, Ю. М.** Из тридцатых годов (письма Киреевских к Шевыреву). 14, VII, 212—224.
- Гоголь, Н. В.** Из неизданной переписки. (Письма Н. В. к М. П. Балабиной и П. И. Раевской. С предисловием В. В. Каллаш и П. Н. Сакулина). 13, III, 206—211.
- Каллаш, В. В.** Заметки о Гоголе. 1) Гоголь о Пет. ашевцах; 2) Гоголь и Пушкин. 13, IX, 234—239.
- Сидоров, Н. П.** О смерти Н. В. Гоголя. (Неиздан. письмо Г. П. Данилевского к О. М. Бодянскому). 19, I—IV, 81—84.
- О В. П. Боткине.** См. Бакунин, Ап. Григорьев.
- Сакулин, П. Н.** Психология Белинского. 14, IV, 85—121.
- [Герцен, А. И.]** Петербург, Москва, провинция. (Сатирическая характеристика России и русского общества 50-х г.г.). Сообщ. М. А. Цявловский. 16, VII—VIII, 247—252.
- Ветринский, Ч.** Статья Герцена «Сигизмунд Сераковский». 13, XI, 210—211.
- [Семевский], В.** [Заметка о Сигизмунде Сераковском] 13, XI, 212—214.
- Бродский, Н. Л.** О Герцене. 13, XII, 284—288.
- Козловский, Л. С.** Полное собрание сочинений А. И. Герцена. 18, IV—VI, 361—368.
- Козловский, Л. С.** Герцен и проф. Ив. Иванов. (По поводу книги проф. Ив. Иванова «И. С. Тургенев»). 13, XI.
- Гершензон, М. О.** (сооб.). Письма А. И. Герцена к Н. П. Огареву, жене и Н. М. Сатину. 13, VII, 190—198.
- Гершензон, М. О.** Новые материалы о М. А. Бакуине и А. И. Герцене. (М. А. Бакуини; Иностранцы о Герцене; Из неизданного письма Карла Ф. гта к Герцену.) 13, I, 184—189.
- Гершензон, М.** (сооб.). О способах распространения «Колокола». 13, V, 234—236.
- Левин, Н. Н.** Два эпизода из жизни А. И. Герцена. (По неизданным материалам). 13, IV, 85—93.
- Ильинский, Л.** Герцен и III Отделение. 18, VII—IX, 79—98.
- Федоров, Б. Д.** А. И. Герцен в оценке цензора Кассовича. 17, I, 287—292.
- Федоров, Б. Д.** Николай I в произведениях А. И. Герцена. 17, V—VI, 47—59.
- Клевенский, М.** К биографии Герцена и Огарева. (По архивным материалам). 19, I—IV, 61—80.
- Гр. В. Н. Панин** о Герцене. 13, V, 236—237.
- Ветринский, Ч.** (сооб.). Щепкин и Герцен. 13, VIII, 211—216.
- Пантелеев, Л. Ф.** К материалам об издании сочинений А. И. Герцена. 17, XI—XII, 293—297.
- Герцен Николай и Герцен Наталия.** Письмо в редакцию. (По поводу издания полного собр. соч. Герцена). 13, V, 291—292.
- О Герцене** см. еще Бакунин.
- Мендельсон, Н. М.** Памяти Н. П. Огарева (К 100-летию дня рождения). 13, XI, 5—10.
- Гершензон, М. О.** (сооб.). Н. П. Огарев. (Материалы) 13, II, 230—234.
- Гершензон, М. О.** (сооб.). Неизданные материалы о Н. П. Огареве. 13, XI, 205—209. Об Огареве см. еще Герцен.
- Бакунин, М. А.** Письмо к Боткину. 22, II, 202.
- Богучарский, В. Я.** Новые материалы о Бакуине и Герцене. (К биографии М. А. Бакунина). 13, I, 182—184.
- Ильинский, Л.** Новые материалы о Бакуине. С предисловием редакции. 20—21, 128—149.
- Колосов, Ев. М. А.** Бакунин и Н. К. Михайловский в старом народничестве. 13, V, 61—89; VI, 69—105.
- Нафиеро, О. Е.** Друг Бакунина Карло Кафиеро. (Из воспоминаний жены). 14, V, 124—130.
- Францев, В. А.** Выдача Бакунина австрийцами. 14, V, 235—237.
- Росс, А.** Бакунин и его вилла «Бароната». 14, V, 202—212.
- Стеклов, Ю. М.** Последние годы жизни М. А. Бакунина. (К столетию со дня рождения). 14, V, 33—82.
- Стеклов, Ю. М.** Бакунин и франко-прусская война 1870—71 г.г. 15, V, 5—42.
- Столетие рождения Т. Н. Грановского.** 13, IV, 283—286.
- Новаленский, М. Н.** (сооб.). Неизданные университетские курсы Грановского. 13, IX, 201—233.
- Щепкин, Д. М.** (сооб.). Материалы к биографии Т. Н. Грановского. 13, IV, 229—236.
- Соколов, Ю. М.** Грановский о Шевыреве. 13, III, 212—216.
- Дживелегов, А. Н.** Памяти Т. Н. Грановского. 13, II, 5—6.
- Норш, Ф. Е.** Из воспоминаний о Т. Н. Грановском. 13, VIII, 160—173.
- Сидоров, Н. П.** Н. В. Станкевич. (К столетию со дня рождения). 13, IX, 1—6.
- Веселовский, А. Н.** К портрету М. Ю. Лермонтова. 14, X, 5—8.
- Фишер, В. М.** Итоги и отголоски лермонтовского юбилея. 15, XI.
- Фишер, В. М.** Из юбилейной литературе о Лермонтове. 14, X.
- Лемке, М. Н.** Неизданное произведение Н. М. Сатина «Умирающий художник». 13, XI, 200—204.
- О Сатине.** см. еще Герцен.
- Ефремов, С. А.** Судьба одной книги. (К столетней годовщине рождения Т. Г. Шевченко). 14, II, 28—41.
- К юбилею Т. Шевченко.** («Укр. Жизнь»). 13, VIII, 303.
- Письма И. А. Гончарова** к Елизавете Васильевне Толстой. (Примчанья П. Сакулина). 13, XI, 215—236; XII, 222—252.
- Письма Гончарова** к Н. П. Боткину и А. И. Кукурановой. Сообщил Н. Поздняков. 19, I—IV, 236—239.
- Сакулин, П. Н.** Новая глава из биографии Гончарова. 13, XI, 45—66.
- Евгеньев, В. Е.** И. А. Гончаров, как член совета главного управления по делам печати. (По неизд. рукописям его). 16, XI, 117—156; XII, 140—179.

- Тургенев, И. С.** Стéно. Драматическая поэма, 1834 г. С послесловием М. О. Гершензона. 13, VIII, 217—254.
- Георгиевский, Г. П. И. С.** Тургенев в переписке с графиней Е. Е. Ламберт. 14, X, 186—231.
- Клевенский, М. М.** Тургеневский сборник. 16, VI, 293—298.
- Клевенский, М.** Незданные письма Тургенева. 19, I—IV, 201—205.
- Клестов, Н. С.** Из переписки Тургенева и Некрасова с Толстым. 15, V, 207—212.
- Переселенков, С.** Из переписки Тургенева с В. Я. Карташевой. 19, I—IV, 207—220.
- Попельницкий, А. С.** Письмо И. С. Тургенева Александру П. 13, VIII, 268—269.
- Клевенский, М. М. И. С.** Тургенев и семидесятники. 14, I, 5—41.
- Клевенский, М. М. И. С.** Тургенев в карриатурах и пародиях. (С рисунками). 18, I—III, 185—218.
- Вяземский, П. А.** кн. Эпиграммы на И. С. Тургенева и на А. Н. Пыпина. Из записной книжки П. И. Баргенева. 19, I—IV, 168.
- Толстой, С. Л.** Тургенев в Ясной Поляне. 19, I—IV, 221—235.
- Розанов, И. Н. Я. П.** Полонский в Вадеи-Вадеи в 1857 г. (Неизд. письма поэта и воспоминания). 19, I—IV, 119—130.
- Цявловский, М. А.** Из дневника Я. П. Полонского. 19, I—IV, 101—119.
- Цявловский, М. А.** Рассказы А. О. Смирновой в записи Я. П. Полонского. 17, XI—XII, 142—172.
- Евгеньев, В. Н. А.** Некрасов и его отец. 13, X, 22—45.
- Евгеньев, В. Е.** Черты редакторской деятельности Н. А. Некрасова в связи с историей его журналов. 15, IX, 38—65; X, 38—76; XI, 75—98.
- Евгеньев, В.** Редакция «Современника» в 1860 году. (По воспоминаниям Г. З. и Е. И. Елисеевых). 15, I, 5—36.
- Антонович, М. А.** Редакция «Современника» в 1866 г. (По поводу статьи г. Евгеньева). 15, II, 197—207.
- Бродский, Н. Л.** О Некрасове. 13, X, 268—274.
- Евгеньев, В. Е.** Некрасов и Елисеев в деле воссоздания «Отечественных Записок» Краевского. (По неизданным воспоминаниям Гр. Зах. и Екат. Павловна Елисеевых). 16, II, 5—40.
- Евгеньев, В. Е. Н.** Некрасов и люди 40-х г.г. 16, IV, 113—139; V—VI, 24—53; IX, 171—191; X, 81—108.
- Евгеньев-Максимов, В. Е.** В руках у палачей слова. (К 40-летию смерти Н. А. Некрасова). 18, IV—VI, 81—106.
- Мизинев, П. И.** Гимназические годы Н. А. Некрасова. 14, VII, 54—86.
- Бродский, Н. Л.** Из истории русской литературы. (О Некрасове, Чернышевском, Толстом). 13, III, 242—244.
- Юрьев, С. А.** Письмо к П. А. Преображенскому. 15, XI, 238—239. О Юрьеве см. еще Лесков.
- О Г. З. Елисееве** см. Некрасов.
- Шатилов, Н. И.** (сооб.). М. Н. Катков — один из памфлетов 70-х г.г. 16, XI, 206.
- Розанов, И. Н.** Сатира кн. П. А. Вяземского на Каткова. 17, I, 283—286.
- Цявловский, М. А.** (сооб.). Незданные письма Ф. М. Достоевского. 20—21, 123—127.
- Штаденшнейдер, Е. А.** Из воспоминаний о М. Ф. Достоевском. 16, II, 74—81.
- Козловский, Л. С.** Мечты о Царьграде. (Достоевский и К. Леонтьев). 15, II, 88—116; XI, 44—74.
- Юнкер, Г.** Детские годы Д. В. Григоровича по архиву Ивашевых. 19, I—IV, 85—99. О Григоровиче см. еще Лесков.
- Мельгунов, С. П.** Ап. Григорьев и «Современник». (Письма к В. П. Боткину). (Материалы для истории журналистики). 22, I, 129—137.
- Наллаш, В. В.** Аполлон Григорьев о Петрашевском. 14, II, 199—201.
- Ашевский, С.** Аполлон Александрович Григорьев. (К пятидесятилетию со дня смерти 25-го сентября 1864 г.). 14, IX, 5—38.
- Прутков, Нузьма.** Военные афоризмы. Предисловие Н. Бродского. 22, II, 27—39.
- Гильфердинг, А. Ф.** Письма к И. С. Аксакову. I. Аксаков—моноволит славянского дела. II. Об истинном принципе народности. 16, II, 201—214.
- Из переписки московских славянофилов.** А. И. Кошелев и И. С. Аксаков. С предисловием А. А. Кизеветтера. 18, I—III, 231—249; VII—IX, 163—184; 22; II, 59—90.*
- Нулаковский, П. А. и Черняев, М. Г.** Письма их к П. С. Аксакову о Сербии в 1880—1882 г. С предисл. В. И. Пичеты. 15, IX, 232—249.
- Дюбюк, Ф. А.** (сооб.). Наказ редактора-славянофила (И. С. Аксакова при сдаче им Н. А. Попову редакции управления «Москвы» на летние месяцы 1868 г.). 16, XI, 205—206.
- Морозов, Ю. П.** Новое о «Грозе» Островского. (Из писем М. С. Щепкина и В. П. Боткина). 14, IX, 208—210.
- О Лаврове** см. в отделе «История освободительного движения в России».
- Шуточное послание Н. В. Шелгунова к М. А. Протопопову.** [1880-ые годы?]. 18, IV—VI, 230.
- Шелгунов, Н. В.** «Из воспоминаний». Сообщ. Л. Ф. Паштелев. Пред. В. Мияковского. 18, IV—VI, 49—71.
- Н—и, М. Л.** В. Н. Шелгунов в Калуге. (По неизданным документам). 15, XI, 240—273.
- П., В. Н.** (сооб.). Дело Н. В. Шелгунова. 15, VI, 229—237.
- Бродский, Н. Л.** Из истории русской литературы. Письмо Плещеева к Добролюбову. 13, II, 275—276. О Плещееве см. еще Лесков.
- Мияковский, В. В.** Михайлов, М. Л. (К пятидесятилетию его смерти). 15, IX, 5—37.
- Михайлов, П. Л.** Смерть М. Л. Михайлова. (Письмо его брата Людмиле Петровне Шелгуновой. Найдено в бумагах Николая Васильевича Шелгунова). 15, IX, 224—227.
- Михайлов, М. Л.** Портрет (неизданное стихотворение). 15, IX, 228.
- Щедрин, Н.** Господа Ташкентцы. Из воспоминаний одного просветителя. 14, V, 21—26.

- Щедрин, Н.** Ташкентцы пригостительного класса. 14, V, 27—32.
- Кранихфельд, В. П.** Среди «Ташкентцев». 14, V, 5—20.
- От редакции.** По поводу статьи Кранихфельда «Среди Ташкентцев». 14, VI, 318—319.
- Ветринский, Ч. М. Е.** Салтыков и Г. И. Успенский. 14, 213—219.
- Розенберг, В. А. М. Е.** Салтыков в Ницце. (Из неизданной переписки с Н. А. Белоголовым). 13, I, 174—181.
- Бродский, Н.** (сооб.). Письма М. Е. Салтыкова В. П. Безобразову (1858—59 г.). 22, II, 188—193.
- Ляцкий, Е. А.** Чернышевский, П. Г. и его диссертация об искусстве. (Из биографических очерков по неизданным материалам). 16, I, 5—34.
- Пантелеев, Л. Ф.** Памяти Н. Г. Чернышевского. (Посвящается М. А. С—вой). 15, I, 192—202.
- Виноградов, К. Н. Г.** Чернышевский в Астрахани. (Матер. к биографии из архива Астрахан. Губ. жанд. Управл.). 17, VII—VIII, 193—197.
- Запрещение Н. Г. Чернышевскому** выезда за границу. 18, I—III, 288.
- Сватиков, С. Г.** Г-н М. В. Клочков и его апология роли Сената в деле Чернышевского. 14, II, 231—238. О Чернышевском см. еще Некрасов.
- Бирюков, П. И.** Л. Н. Толстой о Наполеоне. (Письма Л. Н. Толстого к А. П. Эртелю). 13, I, 171—173.
- Толстой, Л. Н.** Письмо к Н. Д. Валуеву. 15, XI, 236—237.
- Письмо Л. Н. Толстого** к Николаю II. 17, IV, 117—123.
- Короленко, В. Г.** О Толстом. 22, II, 3—14.
- Черткова, А. Л.** Н. Толстой и его знакомство с духовно-православной литературой. (По его личным письмам и личным воспоминаниям о нем). 13, V, 219—225.
- Грузинский, А. Е.** Источники рассказа Л. Н. Толстого «Где любовь, там и Бог». 13, III, 52—64.
- Огарев, Ю. М.** Воспоминания [о родителях Льва Толстого]. 14, XI, 109—127.
- Бакунина, Ел.** Эпизод из жизни Л. Н. Толстого. 16, XI, 202—203.
- Лазурский, В. Ф.** Яснополянские посетители 1894 г. 14, III, 119—134.
- Сухотина-Толстая, Т. Л.** «Старушка Шмидт. Друзья и гости Ясной Поляны. 19, V—XII, 171—198.
- Гинцбург, Илья.** Художники в гостях у Л. Н. Толстого. 16, XI, 191—197.
- Тищенко, Ф. Ф.** Л. Н. Толстой. (Воспоминания и характеристика). 16, XI, 157—190.
- Фирсов, Н. Н.** Л. Н. Толстой в казанском университете. 15, XII, 5—34.
- Чертков, В.** Отношение Л. Н. Толстого к земледельческим колониям. 13, X, 46—64.
- Нарянин, В. Н.** Московская охранка о Л. Н. Толстом и толстовцах. 16, IV—VI, 283—309.
- Ветринский, Ч. Л.** Н. Толстой в письмах к жене. (Письма Л. Н. Толстого к жене 1862—1910 г.г. Под ред. А. Е. Грузинского). 14, II, 14, VIII.
- Ветринский, Ч.** Новое о Льве Толстом. 14, VIII.
- Дерман, И. А.** Дневник Л. Н. Толстого. 16, IX, 192—199.
- Никифоров, Л. П.** Сютаев и Толстой. 14, I, 142—158.
- Новицкий, А. П.** «Сорок лет» Н. И. Костомарова и Л. Н. Толстой. 16, XI, 198—201.
- Нузьминский, Н. С.** Писатель и художники. («Война и мир» и иллюстрации). 13, XI, 296—310.
- Бирюков, П. И.** Из переписки М. С. Башилова с Л. Н. Толстым. (По поводу иллюстраций «Войны и мира»). 13, IX, 265—270.
- Н. И. Стороженко** о Толстом. 18, IV—VI, 230.
- Толстой, С. Л.** Тургенев в Ясной Поляне. 19, I—IV, 221—235.
- Клестов, Н. С.** Из переписки Тургенева и Некрасова с Толстым. 15, V, 207—212.
- Современные стихотворения.** По поводу отлучения Л. Н. Толстого от церкви: «Живые цветы», «Лев и ослы», «Голуби победители». 18, I—III, 314—316. О Толстом см. еще Некрасов. (Статья Бродского).
- Козловский, Л. С.** Мечты о Царьграде. (Достоевский и К. Леонтьев). 15, II, 88—116; XI, 44—74.
- Клестов, Н. С.** (сооб.). Материалы для истории русской журналистики. Письма П. С. Лескова, Григоровича, Плещеева, Нефедова, Астырева, П. Успенского, Юрьева. (Из архива В. А. Гольцева). 16, VII—VIII, 399—413; 17, II, 253—274.
- Сакулин, П. Н.** Исповедь разночинца. (К 50-летию со дня смерти Н. Г. Помяловского, умер 5 октября 1863 г.). 13, X, 11—21.
- Добролюбов, Н. А.** Разврат Николай Павловича и его приближенных любимцев. (Сообщил М. А. Цявловский). 22, I, 64—68. О Добролюбове см. еще Плещеев.
- О Ник. Успенском** см. Песков.
- Водовозова, Е. Н.** В. А. Слепцов (1836—1878). 15, XII, 107—120.
- Бродский, Н. Л.** Воспоминания Боборыкина. 13, II, 275—276.
- Боборыкин, П. Д.** За полвека. (Издательство и редакторство «Библиотеки для чтения». 1863—1865 г.г.). 13, II, 184—217; III, 172—205.
- Ветринский, Ч.** Глеб Успенский в его переписке. (Неизданные материалы, письма и заметки к ним). 15, I, 203—220; II, 234—241; III, 219—227; IV, 221—248; V, 213—225; VI, 206—228; VII—VIII, 192—218; X, 204—238.
- Шелгунов, Н.** (сын). Письма Глеба Успенского. К ст. Ч. Ветринского «Глеб Успенский в его переписке». 15, I, 204—220.
- Снегирев, Л. Ф.** Первое издание деревенских очерков Г. П. Успенского. 14, IV, 213—216.
- Парадеев, В.** Когда родился Гл. П. Успенский? (Архивная справка). 13, XII, 268—269.
- Ветринский, Ч. М. Е.** Салтыков и Г. И. Успенский. 14, V, 213—219.
- К—ов, Н.** Материалы для истории русской журналистики. Архив Гольцева: письма Г. П. Успенского, Н. К. Михайловского, В. Г. Короленко, Н. В. Шелгунова, П. Д. Якубовича. 13, XI, 236—253.

Попов, П. С. Послание А. Н. Апухтина П. И. Чайковскому [1885 г.] 19, I—IV, 100.

Мицлов, С. Р. и Семевский, В. И. Старый шестидесятник [В. Р. Шиглев]. (С портр. и прил. избр. стихотвор.). 16, IX, 40—53.

Евгеньев-Максимов, В. Е. Д. И. Писареви охранители. 19, I—IV, 131—161.

Федоров, Б. Д. (сооб.). После похорон Д. И. Писарева. 19, I—IV, 163—167.

Колосов, Евг. М. А. Бакушин и Н. К. Михайловский в старом народничестве. 13, V, 61—89; VI, 69—105.

Колосов, Е. А. К характеристике общественного мирозерцания Н. К. Михайловского. 14, II, 213—230; III, 247—267.

Мягков, А. Высылка Н. К. Михайловского из Петербурга в 1891 г. 14, II, 191—198.

Русанов, Н. С. Н. К. Михайловский и общественная жизнь России. 14, II, 5—27. О Михайловском см. еще Глеб Успенский.

Степаненко, Н. Н. Из воспоминаний о П. В. Засодимском 13, V, 150—157.

Засодимский, П. В. Автобиографическая заметка. (Составлена в январе 1912 г. за три месяца до кончины П. В. Засодимского). Сооб. Ч. Ветринский. 13, V, 145—149.

Сакулин, П. Н. Народничество П. П. Златовратского. 13, I, 117—133.

О Нефедове см. Лесков.

Короленко, В. Г. История моего современника. Якутская область. 20—21, 5—43; 22, I, 69—101.

Короленко, В. Г. Символ. 22, I, 5—7.

Короленко, В. Г. Земли, Земли! (Наблюдения, размышления, заметки). 22, I, 8—30. II, 124—147.

Владимир Галактионович Короленко. (К шестидесятилетию со дня рождения). 13, VII, 277.

Розенберг, Вл. Путь «писателя Короленко». 16, IX, 5—20.

Розенберг, В. А. Перед свежей могилой. (Памяти В. Г. Короленко). 20—21, 150—153.

Коломенкина, М. Пятидесятилетний юбилей В. Г. Короленко в Полтаве. 14, VII, 107—137. О Короленко см. еще Глеб Успенский.

Давыдов, Н. В. Из воспоминаний о В. С. Соловьеве. 16, XII, 192—202; 17, I, 5—34; II, 242—253.

Пыпина-Ляцкая, В. В. С. Соловьев. Страницка из воспоминаний. 14, XII, 122—129.

Бродский, Н. Л. Новое о Гаршине. (К двадцатипятилетию со дня смерти). 13, V, 239—244.

Пантелеев, Л. Ф. Дополнение к статье «Новое о Гаршине». (Письмо в редакцию). 13, VII, 248.

Дурылин, С. О погибших произведениях Гаршина. (Письмо в редакцию). 14, III, 287—289.

Бирюков, П. И. Л. Толстой о Наполеоне. (Письма Л. Н. Толстого к А. И. Эртелю). 13, I, 171—173.

Бродский, Н. Л. (сооб.). Страница из дневника А. И. Эртеля. 13, II, 235—236.

Ефремов, С. А. Иван Франко. 17, I, 171—184.

Оберучев, К. Год жизни П. Ф. Якубовича. 14, VII, 225—248.

Российский, Д. М. (сооб.). Неизданный вариант стихотвор. Надсона 16, XI, 204—205.

ИСТОРИЯ ВСЕОБЩЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

Античная литература.

Зелинский, Ф. Ф. Трагедия власти. 14, III, 79—118.

Покровский, М. М. Греческие, римские и новые гуманисты о женщине и ее образовании. 13, III, 7—29.

Италия.

Веселовский, А.—др Н. Винченцо Монти, аббат, гражданин и кавалер. (Неизданная статья). 16, XII, 5—29.

Фриче, В. М. Гольдони. К. (Общественное значение его комедий). 13, IV, 5—43.

Фриче, В. М. Поэзия национально-освободительного движения Италии. (1797—1870 г.). 15, VII—VIII, 75—95.

Германия.

Фишер, В. М. Гете и воинственная Пруссия. 15, I, 88—99.

Перцев, В. Н. Гете в 1813 г. 14, II, 239—246.

Фриче, В. М. Немецкие писатели и франко-прусская война. 15, II, 55—69.

Фриче, В. М. Исторические романы о германском стремлении к мировому господству. 14, IX, 76—91.

Фриче, В. М. Идеология германского империализма. 14, XI, 33—48.

Тиандер, Н. Первенство в мировой литературе. [По поводу книги Richard M. Meyer, Die Weltliteratur im zwanzigsten Jahrhundert. 1913]. 14, IX, 295—299.

Франция.

Веселовский, А. Н. (акад.). Пьер Бейль. (Речь на акте 8-го февраля 1872 г. в Спб. Университете). 14, IV, 5—28.

Письмо Вольтера к английскому королю Георгу I. (Найдено среди бумаг английск. посланца в Париже). 13, II, 310—311.

Брандес, Г. Франсуа де-Вольтер. Пер. с рукописи В. Спасекой. 18, VII—IX, 7—26.

Васютинский, А. М. Вольтер-придворный и Вольтер-помещик. 14, III, 279—283.

Ковалевский, М. М. Руссо-гражданин Женева. 13, I, 7—19.

Барт де Ла, Ф. Г. гр. Три русских книги о романтизме. (С. В. Соловьев «Очерки из истории новой французской и провансальской литературы, М. Жерлиция, «Больридж и английский романтизм.» Жирмунский, «Романтизм и современная мистика») 15, V, 293—302.

Барт де Ла, Ф. гр. Романтизм, как патологическое явление. 14, XI, 300—312.

Хин, Р. М. Французские писатели в франко-прусскую войну. 14, XI, 75—94.

Англия.

- Шекспир, Бэкон** и т. д. 13, VIII, 300—302.
Фриче, В. М. «Вильям Шекспир» псевдоним гр. Р. Рутлэнда. 17, II, 170—193.
Тандер, Н. Ф. Шекспир-актер и Шекспир-поэт. 1564—1616 г.г. 16, V—VI, 234—250.
Гэфф, Ф. Живописец нравов XVIII в. Кармонтель (1717—1806). Пер. Н. М. Хераскова. 14, IV, 29—51.
Фишер, В. М. Загадочная страница биографии Байрона. 14, II, 73—96.

Бельгия.

- Веселовская, Мария.** Старшие и одинокие бельгийской литературы (Ван-Гассель, Де-Костер, Пирме). 13, IX, 7—21.
Веселовская, М. В. Историческое прошлое в бельгийских романах. 14, X, 37—64.
Веселовская, М. В. Современная фламандская литература. 15, XI, 99—111.

Польша.

- Фишер, В. М.** Поэма Мицкевича «Конрад Валленрод» и ее новый перевод. 15, XII, 249—255.
Фишер, В. М. Словацкий и его борьба с Мицкевичем. (Эпизод из истории польской литературы). 15, VII—VIII, 24—50.
Козловский, Л. С. Польские романтики «украинской школы». I. Северин Гоцинский. II. Богдан Залеский. 13, II, 82—100; VIII, 32—50.
Швабе, А. Отклики национальной борьбы в латышском мифотворчестве. 15, XII, 233—240.

ИСТОРИЯ РУССКОГО ИСКУССТВА.

(Театр, живопись, музыка).

- Щепкин, В. Н.** Христос благословляет апостолов. (Миниатюра Сийского Евангелия 1339 г.). 13, III, 294—296.
Пашков, Я. М. По поводу помещаемых заставок. 15, II, 381.
Филиппов, В. А. Факты и легенды в биографии Ф. Г. Волкова. (К столетиям со дня смерти) 13, VI, 22—36.
Филиппов, В. А. Театральная публика XVIII в. по сатирическим журналам. 14, XI, 95—108.
М. С. Москвич о петербургских театрах в 1829 г. (Из писем брата к сестре). 15, X, 266—267.
Игнатов, И. Н. Театр и зрители. 13, I, 51—75; II, 101—118; IV, 44—81. 14, III, 43—78; 15, I, 37—66; III, 58—90; 16, X, 109—132; XI, 99—116; XII, 203—217.
Филиппов, В. Театральные нравы прошлого века. [1840-ые—1850-ые г.г.]. 14, III.
Кузьминский, Н. С. Художник-баталист А. И. Зауэрвейд. 13, II, 301—302.
Михайловский, В. А. Великий русский актер (К 50-летию со дня кончины М. С. Щепкина 11 августа 1863 г.). 13, VIII, 5—31.
Морозов, Ю. П. Новое о «Грозе» Островского.

- (Из писем М. С. Щепкина и В. П. Боткина). 14, IX, 208—210.
Ветринский, Ч. (сооб.). Щепкин и Герцен. 13, VIII, 211—216.
Филиппов, В. А. Письма М. С. Щепкина к А. И. Шуберт. 14, VI, 223—230.
Арсеньев, Н. Н. Из театральных воспоминаний. [1850-ые годы]. 17, II, 235—241.
Максимов, В. М. Автобиографические записки. [1844—1860 г.г.]. С пред. И. Е. Репина 13, IV, 147—183; V, 90—116; VI, 161—198; VII, 86—122.
Алтаев, А. Художник-народник. (В. М. Максимов). 14, VI, 41—69.
Репин, И. Е. Из времен возникновения моей картины «Бурлаки на Волге». [1869—1870 г.г.]. 14, I, 203—227; III, 200—225; VI, 110—130.
Сторожев, В. Н. Братья Рубинштейн. (Историческая справка к пятидесятилетию консерватории). 16, IX, 247—251.
Ванченко, К. И. Воспоминания украинского эстета. [1870-ые—1880-ые годы]. 15, VII—VIII, 143—167; IX, 146—176.
Туманов, Г. мп. Театральные кооперативы на Кавказе. [1870-ые—нач. 1880-х годов]. 18, VII—IX, 77.
Репин, И. Е. О К. Е. Маковском. (Письмо в редакцию). 16, VII—VIII, 414—416
Кузьминский, Н. С. Писатель и художник («Война и мир» в иллюстрациях). 13, XI, 296—310.
Карпов, Е. П. Мария Гавриловна Савина. 16, XI, 29—61.

ИСТОРИЯ ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСКОГО ИСКУССТВА.

- Гэфф, Ф.** Живописец нравов XVIII в. Кармонтель (1717—1806 г.). Пер. Н. М. Хераскова. 14, IV, 29—51.
Романов, Н. И. Искусство Бельгии. Сокровища живописи. 15, II, 34—54; III, 112—133.
Романов, Н. И. Акварель Е. Лампи в Румянцевском музее. 13, I, 290—294.
Романов, Н. И. Автография Э. Манэ. «La Baricade». (Гравюра. кабинет Румянцевского музея). 13, III, 297.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА.

- Браун, Лили.** «Письма Маркизы». (Из второй половины XVIII в.). Перев. Э. К. Именовой. Пред. редакции. 13, I, 3—16; II, 17—32; III, 33—64; IV, 65—96; V, 97—128; VI, 129—160; VII, 161—192; VIII, 193—228.
Виньи-де, А. «Ванда». Поэма в стихах. Пер. Е. Волчанецкой с пред. редакции и С. С. Розанова. 13, XII, 215—221; 18, I—III, 230.
Ностер де, Ш. «Легенда о подвигах Улепшигеля». Пер. В. Н. Карякина, с предисловием В. М. Фриче. «Национальная библия бельгийцев». 15, I, 224—263; II, 303—380; III, 298—370; IV, 303—377; V, 303—359; VI, 307—367; VII—VIII, 285—392.
Мицкевич, Адам. Петербург. (Поэтич. отрывок). Предислов. редакции. Перев. В. М. Фишер. 17, V—VI, 3—35.

Реймонт, Владислав. «1794» год. Историческая повесть. Пер. Е. М. Загорского и В. В. Волк-Карачевского. 13, VIII, 177—210; IX, 173—200; X, 238—267; XII, 184—214; 14, I, 233—264; II, 301—327; XVI 299—334; V, 251—263; VI, 261—287; VI, 249—281; VIII, 265—320; IX, 248—266; X, 244—265; XII, 198—257.

Словацкий, Юлий. Серебряный сон Саломеи. Драматический роман. Перев. в стихах В. М. Фишера. 16, I, 260—301; II, 260—281; III, 177—212.

ЮБИЛЕЙНЫЕ И ДРУГИЕ ПАМЯТКИ.

Юбилей Д. Н. Анучина. (70-летие дня рождения). 13, X, 324—327.

Полнер, Т. И. К. К. Арсеньев. 17, II, 225—234.

Чествование памяти академика Я. К. Грота. 13, II, 306—307.

Бондаренко, И. Е. М. Ф. Казаков. (К столетию со дня смерти). 13, I, 288—290.

Дживелегов, А. Н. И. И. Кареев. (К 40-летней научной деятельности). 13, XII, 324—327.

Полянский, Н. Н. А. Ф. Кони. (К 50-летней его службе и литературной деятельности). 15, X, 269—285.

Козловский, Л. С. Тадеуш Корзон. (К пятидесятилетнюю научной деятельности). 13, I, 286—287.

М. А. П. А. Кропоткин, как историк французской революции. (К семидесятилетнюю рождения). 13, I, 284—286.

Тарле, Е. В. П. В. Лучицкий. (К пятидесятилетнюю научной деятельности). 14, I, 42—61.

Петлюра, С. В. Последний украинский шестидесятник (К. П. Михальчук). (К подугодовщине его смерти). 14, X, 236—243.

Сакулин, П. Н. К юбилею поч. акад. проф. Д. Н. Овсянко-Куликовского. 13, III, 301—302.

Розенберг, В. А. А. С. Посинков-профессор. (К 70-летию дня его рождения). 15, X, 244—248.

Попов, И. И. К 80-летию Г. Н. Потанина. (Потанин и областничество). 15, I, 289—302.

Полнер, Т. И. В. В. Самойлов. (К столетию со дня рождения). 13, III, 278—286.

Зайцев, П. И. Памяти И. И. Срезневского. 17, I.

Тукалевский, В. Н. Выставка имени академика И. И. Срезневского. 13, II, 297—301.

Дж. А. Тимирязев. К. А. (К семидесятилетнюю дня рождения). 13, VI, 293.

Иван Франко. (К сорокалетнему юбилею литературной деятельности). 13, VII, 288.

Юбилейное издание. (Общий истор. очерк Румянцевск. музея, выпущен. Румянц. музеем ко дню своего пятидесятилетия). 13, V, 289.

Соловьев, И. М. Три педагогических юбилея. (Ж.ж. «Педагогический Сборник», «Вестник Воспитания» и «Русская Школа»). 15, III, 254—258.

Попельницкий, А. З. К пятидесятилетнюю Импер. Исторического Общества. 1866—1916 г.г. 16, X.

Редакция. К пятидесятилетнюю импер. Исторического Общества. 16, X.

Попов, И. И. Прошлое и настоящее сибирского университета. 14, I, 291—299.

50 лет «Русских Ведомостей». 13, X, 5—10.

НЕКРОЛОГИ.

(Материал расположен в алфавитном порядке фамилий умерших).

В. Г. Авсеенко. 13, IX, 315—316.

Фриче, В. М. Гр. Ф. Г. де-Ла-Барта. 15, X, 321—324.

Наллаш, В. В. Памяти И. И. Бартењева. 13, I, 276—278.

Дживелегов, А. Н. Август Бебель. 13, IX, 309—311.

Левицкий, А. П. Памяти С. М. Блеклова. 13, VIII, 294—297.

Нускова, Е. Д. Памяти живой души. (В. Я. Богучарский). 15, VII—VIII, 223—231.

В. К. биографии В. Я. Яковлева (Богучарского). 15, VII—VIII, 232—233.

Щепкин, Е. Н. Гуго Винклер. 13, X, 316—318.

Водовозов, В. В. С. Ю. Витте. 15, V, 250—265.

Чайковский, Н. В. Ф. В. Волховской. 14, X, 232—235.

Мкс. А. Л. Н. Гартман. 13, V, 276—277.

Дживелегов, А. Н. Памяти Артура Гёргея. 13, I, 282—283.

Кареев, Н. Памяти ушедших. В. И. Герье. 22, II, 220—223.

Гр. А. А. Голенищев-Кутузов. 13, II, 306.

Попов, И. И. П. М. Головачев. 13, X, 321—322.

К. Ф. Головин (Орловский). 13, X, 324.

Соколовский, Л. Профессор Ф. Гомперц. 13, I, 300.

Попов, И. И. В. Е. Гориневич. 13, X, 319—321.

Несвицкий, А. К. «Булюбащевскому делу». (Письмо в редакцию). [О некрологе Гориневича]. 13, XII, 305—36.

Дж. А. Анджеело де Губернатис. 13, II, 298—299.

Кизеветтер, А. А. Памяти ушедших. П. В. Давыдов. 22, II, 217—219.

Джабадаря, И. С. 13, VI, 290—291.

Васютинский, А. М. Жан Жорес. (Жорес-историк). 14, IX, 222—227.

Губский, Н. П. Жан Жорес. (Жорес-политик). 14, IX, 211—222.

Дейч, Л. Памяти ушедших. Вера Ивановна Засулич. 19, V—XII, 199—210.

Попов, И. И. Д. А. Клеменц. 14, II, 290—300.

Памяти В. Г. Короленко. 20—21, 3—4.

Гордлевский, В. А. Ф. Е. Корш. 15, V, 239—249.

Козловский, Л. С. Коцюбинский, М. М. (Михайло Коцюбинский). 13, V, 274—275.

Станислав Кржемицкий. 13, I, 300.

- Линниченко, И. А.** Патриарх русского славяноведения (В. И. Ламанский). 15, II, 244—253.
- Кизеветтер, А. А.** Памяти ушедших. А. С. Лаппо-Данилевский. 20—21, 164—167.
- Веселовский, Ю. А.** Камилла Лемонье. 13, IX, 311—313.
- Рябинин, И. С.** Вл. Лозинский. 13, X, 318—319.
- Попов, П. С.** Памяти ушедших. Л. М. Лопатин. 20—21, 159—164.
- Ляцкий, Е. А.** Памяти А. А. Лугового. 14, XII, 258—264.
- Кареев, Н.** Памяти ушедших. П. В. Лучицкий. 20—21, 154—158.
- Ставзно, Б.** Антон Малецкий. 13, XII, 323—324.
- Батюшков, Ф. Д.** Памяти Д. И. Мамна-Сибиряка. 13, I, 265—270.
- Станислав Мендельсон. 13, IX, 314—315.
- Рябинин, И. С.** Сигизмунд Милковский. 15, IV, 264—268.
- Крымский, А. Е.** проф. В. Ф. Миллер. 13, XII, 310—323.
- Ефремов, С. А.** Михаил Павлык. (1853—1915 г.г.). 15, VI, 238—252.
- Редакция.** Смерть Г. В. Плеханова. 18, IV—VI, 369—371.
- Полоцкий, Л. А. (1833—1913). 13, VI, 290.
- Рябинин, И. С.** Валерий Пржибовский. 13, IV, 286—287.
- Попельницкий, А. З.** П. П. Семенов-Тянь-Шанский. 14, IV, 247—258.
- Редакция.** И. Г. Симонов. 16, IX, 245.
- Максимов, А. Н.** В. М. Соболевский. (1846—1913 г.). 13, VI, 283—286.
- Белокопский, И. П.** В. М. Соболевский. 13, VI, 286—289.
- Розанов, М.** Проф. С. В. Соловьев (1862—1913 г.). 13, VII, 278—281.
- Леся Украинка. 13, IX, 315.
- Дж. А. Лестер** Уорд. 13, VI, 291—292.
- Полянский, Н. Н.** Фойницкий, П. ЗИ. 13, XI, 312—314.
- Пав, И. Г.** М. Фриденсон. 13, VII, 282—284.
- Богучарский, В. Я.** Христофоров, А. X. 14, III, 326—331.
- Сергеев, М. С.** П. В. Цветаев. 13, X, 322—324.
- Рябинин, И. С.** Виктор Чермак. 13, V, 275—276.
- М. С. Шубинский,** С. Н. 13, VII, 381—382.
- Орешников, А. В.** Памяти П. Н. Щукина. 13, I, 279—281.
- Дьяконов, М. А.** И. Е. Энгельман. 13, II, 291—296.
- Сыромятников, Б. И.** Адемар Эмен. 13, VIII, 297—300.
- Ставзно, Б.** Александр Яблоновский. 13, IX, 313—314.
- Семевский, В. И.** Памяти В. Е. Якушкина. 13, I, 271—276.
- Памяти В. И. Семевского.**
- Мельгунов, С. П.** Историк-гражданин. I. Великое сердце. II. «Ученые мытарства». 16, X, 7—34.
- Веселовский, А. Н.** Из ранних воспоминаний. 16, X, 35—37.
- Линниченко, И. А.** Из воспоминаний. 16, X, 38—53.
- Сватиков, С. Г.** Учитель молодежи. 16, X, 54—58.
- Тарасов, Е. И.** Мое знакомство с В. И. Семевским. 16, X, 59—63.
- Корнилов, А. А.** Страницка воспоминаний. 16, X, 63—66.
- Флоровский, А. В.** Научные труды В. И. Семевского. 16, X, 66—73.
- Кареев, Н. И.** Одна черта научной деятельности В. И. Семевского. 16, X, 73—78.
- Фирсов, Н. Н.** Труды В. И. Семевского по крестьянскому вопросу. 16, X, 78—85.
- Пиксанов, Н. К.** Заслуги В. И. Семевского в изучении русской литературы. 16, X, 86—91.
- Попельницкий, А. З.** Моя страничка о Василии Ивановиче Семевском. 16, X, 91—94.
- Козловский, Л. С.** В. И. Семевский и польский вопрос. 16, X, 94—99.
- Попов, И. И.** В. И. Семевский и Сибирь. 16, X, 99—112.
- Морозов, Н. А., Фигнер, В. Н., Лопатин, Г. А.** п др. Памяти усопшего друга бывших шлезельбургских узников. 16, X, 112—113.
- Печать о В. И. Семевском.** 16, X, 113—138.
- Похороны В. И. Семевского.** 16, X, 139—149.
- Труды В. И. Семевского.** Отдельные издания. 16, X, 149—154.
- Семевская, Е. Н.** Письмо в редакцию. 16, X, 209.
- Мельгунов, С. П.** Письмо в редакцию. 16, X, 209.
- Сватиков, С. Г.** Увольнение В. И. Семевского и петербургское студенчество. 16, XII, 233—235.
- Потанин, Г. И.** Памяти В. И. Семевского. 17, I, 223—226.
- Кизеветтер, А. А.** В. И. Семевский в его ученых трудах. 17, I, 199—222.
- Коллективное письмо в редакцию.** «О фонде имени В. И. Семевского». 17, I, 324.
- Мельгунов, С. П.** Дорогой памяти Василия Ивановича Семевского. 17, IX—X, 5—6.
- Семевская, Е. Н.** Василий Иванович Семевский. 17, IX—X, 50—77.
- Пантелеев, Л. Ф.** Памяти В. И. Семевского. 17, IX—X, 78—86.
- Туманов, Г. кн. В. И.** Семевский и Тифлиские женские курсы. (Материалы для биографии В. И. Семевского). 17, IX—X, 86—88.
- Оберучев, К.** Запозданный листок. (Материалы для биографии В. И. Семевского). 17, IX—X, 88—89.
- Семевский, В. И.** Автобиографические наброски. 17, IX—X, 7—49.

ХРОНИКА.

(Диспуты. Ученые общества. Выставки. Музеи. Библиотеки. Архивы и т. п.).

Диспут Бутенко. («Русск. Вед.»). 13, X, 328.
Диспут Ю. В. Готье. 13, VI, 293—297.
Перцев, В. Н. Диспут Кагарова. 13, X, 327—328.

Диспут Л. П. Нарсавина. («Русск. Молва»). 13, VI, 297—298.

Семевский, В. И. Диспут М. А. Островской. 14, IV, 292—297.

Бродский, Н. Л. Диспут П. П. Сакулина. 13, XI, 314—318.

Гальберштадт, Л. И. К юбилею Румянцевского музея. (Перенесение музея в Москву в 1861 г.). 13, III, 287—290.

100-летие Императорской Публичной библиотеки. 13, IV, 292.

Сидоров, Н. Академия Наук. 13, II, 307—309.

Адарюков, В. Я. Первый в России частный институт истории искусств. 13, II, 312.

От украинского научного общества. 13, VI, 299.

Общество истории литературы в Москве. 13, I, 302—303; II, 311; III, 304; V, 282—283.

Славянская комиссия Московского Археологического общества. 13, I, 302.

Общество истории и древностей российских. 13, I, 301—302.

К. Б. Новое историческое общество в Москве. 13, I, 300—301.

Императорское общество любителей древней письменности. 13, IV, 290; V, 283.

Императорское русское историческое общество. 13, IV, 289—290.

Историческое общество. 13, IV, 290.

Общество ревнителей истории. 13, IV, 290.

Общество охраны памятников искусства и старины. 13, IV, 290.

Тукалевский, Вл. В Обществе защиты и сохранения в России памятников старины. 13, IV, 287—289.

Географическое Общество. 13, V, 288—289.

В обществе нулизиатии в Петербурге. 13, V, 288.

В ученых обществах Петербурга. I. Общество любителей древн. письмен. II. Классическое отд. императ. русск. археологич. общества. III. Неофилологическое общество. IV. Этнографическое отд. импер. географического общества. 13, III, 302—303.

Юридическое общество. 13, IV, 290—291.

Общество друзей русской литературы. 13, IV, 293.

Общество имени А. И. Чупрова. 13, V, 280—281.

Общество любителей российской словесности. 13, I, 302; II, 311; V, 283.

С. К. Историческая комиссия учебного отдела О. Р. Т. 3. 13, II, 311—312; III, 303—304; V, 281—282.

Общество архитекторов. 13, V, 286—287.

Петлюра, С. В. К истории научного общества имени Шевченко во Львове. 15, I, 264—272.

Одесское общество истории и древностей. 13, IV, 291.

В ученых обществах Казани. 13, V, 283—284.

Ветринский, Ч. Архивные комиссии. (По поводу юбилея нижегородской архивной комиссии). 13, II, 287—291.

Чешихин, В. Е. (Ч. Ветринский). Письмо в редакцию. (По поводу своей заметки «Архивные комиссии», помещенной в февральской кн. «Голоса Минувшего»). 13, V, 289—290.

Херасков, И. М. Конгресс общества экономической истории революции. 13, II, 303—305.

Х. И. Конгресс общества истории Парижа. (От нашего парижского корреспондента). 13, II, 298.

В. В. Международный конгресс историков в Лондоне. 13, V, 277—280.

Алмазова, Н. Архив Тургеневых. 13, XII, 327—334.

Гибнущий архив. (Архив упраздненного окружного суда в г. Киренске). 13, V, 287.

Продажа архива. 13, IV, 293.

Архив Потемякина: архив Милюткина; новый журнал; русский язык на научных конгрессах; манускрипты Леонардо-да-Винчи; археологическая находка; письмо Вольтера. 13, II, 309—310.

Памятники старины и отрубные хозяйства. 13, V, 288.

Литовские надгробные кресты. 13, V, 288.

«Писанцы» на берегах Байкала. (По поводу обнаружения вырезан в дашине времена изображений животных). 13, V, 288.

Г. М. История одного памятника. (Доклад в заседании киевского украинского научного о-ва о сооружении памятника Богдану Хмельницкому). 13, VII, 284—285.

Тукалевский, Вл. (сооб.). Троицкий собор. (К пожару собора в ночь на 7 февраля в Петербурге). 13, III, 299—301.

Тукалевский, В. «Старый домик». (Музей Ю. Э. Озаровского). 13, II, 305—306.

Степанова, В. Е. Музей Александра III в Москве. 13, I, 294—298.

Х. И. Выставка исторической библиотеки города Парижа. (От нашего парижского корреспондента). 13, VI, 292—293.

Тукалевский, Вл. Выставка произведений печати, вышедших в 1912 г. в России. 13, VII, 286—288.

Норш, Е. Ф. Выставка 1812 года. 13, I, 298—299.

Р. И. Выставка 1863 г. 13, VIII, 302—303.

Сергеев, М. С. Выставка древнего искусства. 13, III, 291—293.

Псковская археологическая выставка. 13, IV, 293.

Иркутская археологическая выставка. 13, IV, 292.

Обследование музеев в Сибири. 13, IV, 292—293.

Нустарный съезд и старина. 13, V, 287—288.

Тукалевский, Вл. Старый Петербург. (В музее «Старого Петербурга»). 13, V, 284—286.

Памяти М. Ю. Лермонтова. 13, IV, 291.

Дом имени В. Г. Белинского. 13, IV, 291.

Премии имени А. С. Пушкина. 13, IV, 291.

Публичная библиотека имени Н. П. Огарева. 13, XI, 311—312

Стеллецкий, Игн. Замечательное евангелие. (Древнейшая реликвия христианства в Ладони-кии). 13, XI, 318—319.

Новое издание. [Масонство в его прошлом и настоящем]. 13, I, 303.

Новый библиографический журнал. [Библиографические Известия]. 13, VI, 299.

Известия Импер. Акад. Наук. VI сер. № 4. 1 марта 1913 г. 13, III, 303.

(K u r s e r Z i t e w s k i). Библиотека Врублевских. 13, IV, 292.

Л. И. Пронхождение Колумба. 13, IV, 293—294.

Садоводство в XVIII в. 13, V, 287.

Миякова, Ф. Русская литература в Японии. 13, VIII, 303—304.

РЕЦЕНЗИИ НА АНОНИМНЫЕ КНИГИ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ.

(Материал расположен в алфавитном порядке названий книг и периодических изданий).

Сторожев, В. Н. Акты и документы, относящиеся к истории Сиб. городского управления в эпоху Отечественной войны. 15, VI.

Козловский, Л. С. Архив В. А. Гольцова. 14, VIII.

С. В. Архив Раевских. Т. IV. Ред. и прим. Б. Л. Модзалевского. 13, III.

Пиксанов, Н. К. Архив села Барабинск. Прим. Н. Ашукина. 16, V—VI.

Ашукин, Н. Письмо в редакцию. [По поводу рецензии Н. К. Пиксанова]. 16, X, 209—210.

Ветринский, Ч. Архив Стасюлевича, т. т. I—V. 13, I, II, IX.

Мельгунов, С. П. Беседы и частная переписка императора Александра I с кн. Адамом Чарторжским. 13, II.

Мияковский, В. Беседы общества истор. лит. в Москве. 16, IV.

Налишевский, А. И. Библиографическая летопись. Импер. Общество любителей древней письменности. 14, IX.

Мельгунов, С. П. Биографический очерк кн. Н. М. Волконского. 14, IX.

Федоров, Б. Д. «Былое» и «Будущее». 17, IX—X.

Сакулин, П. Н. Война и Мир. Сборник под ред. В. П. Обинского и Т. И. Познера. «Задруга». 1912 г. 13, V.

Р. Н. Венок Вранцелю от общества защиты и сохранения в России памятников искусства и старины. 17, I.

Батюшков, Ф. Д. Венок М. Ю. Лермонтову. Юбилейный сборник. 15, II.

Мельгунов, С. П. Вестник общества ревнителей истории. Вып. I. Под редакц. М. К. Соколовского. 15, I.

Гизетти, А. А. Вопросы теории и психологии творчества. Ред. Б. А. Лезина, т. V. 14, XII.

Гизетти, А. А. Вопросы теории и психологии творчества. Т. VI. 16, XII.

Тарле, Е. В. Воспоминания и переписка Ольга Новиковой. Сост. W. T. Stead Перев. Е. С. Мосоловой. 15, X.

Пиксанов, Н. К. Временник Пушкинского дома на 1913 г. 15, IX.

Пиксанов, Н. К. Временник Пушкинского дома на 1914 г. 14, VII.

Зайцев, П. Галичина, Буковина, Угорская Русь. Сост. сотрудниками «Украинская Жизнь». 15, III.

Мельгунов, С. П. Государя из дома Романовых 1613—1913. Жизнеописание царствовавших государей и очерки их царствований. 13, IV.

В. С. Государственный архив. Разряд II. Дела собственно до императорской фамилии относящиеся. 14, I.

М. С. Действия Нижегородской архивной комиссии, т. т. XII—XIII. 13, II.

Действия Нижегородской учебной архивной комиссии, т. XIV. 1913 г. 13, VI.

Тарле, Е. В. Deutschland und die große Politik. Anno 1913 г. Von Th. Schiemann. Berlin. 1914 г. 14, XII.

Вишницер, М. Дневник П. И. Тургенева. [за 1811—1816 г.г.]. Изд. Сиб. 1913]. 13, VII.

М. С. Еврейская старина. Вып. I и II. 1913 г. 13, IX.

Новицкий, А. П. Елагин дворец. Изд. Сиб. О-ва архитекторов. 16, V—VI.

Попельницкий, А. З. Журналы секретного и главного комитета по крестьянскому делу, т. I—II—III. 16, II.

Лаурусский, В. Ф. Записки неофилологического общества. Вып. VII. Под ред. проф. Д. К. Петрова и прив.-доц. К. Ф. Тиандера. 15, I.

Пичета, В. И. Записки О-ва истории, филологии и права при Импер. Варшавск. ун-верситете. Вып. VI. 13, IV.

Ставэн, Б. Из воспоминаний Т. Корзона. (T. Korzon. Moje pamietnik piredhistorycznu Kragow 1912). 13, VI.

Розанов, И. Н. Избранные стихи русских поэтов. 14, XII.

Ел-ч, А. Известия Академии Наук 1913 г. № 6. 13, VI.

Авалиани, С. А. Известия Одесского библиографического общества при Импер. Новороссийском ун-верситете, т. I. 13, VI.

Пичета, В. И. Известия отд. р. я. и сл. Импер. Академии Наук. 1912 г., т. XVII, кн. III. 13, IV.

Елч., А. Известия отд. р. я. и слов. 1912 г., т. XVII, кн. 4. 13, VI.

Гневушев, А. М. Известия Таврической ученой архивной комиссии. № 48—49. 13, IX.

Сватинов, С. Императорская публичная библиотека за 100 лет 1814—1914 г.г. 14, III.

Сватинов, С. Г. Импер. Санктпетербургская Академия Художеств 1764—1914 г. Юбилейный справочник Импер. Акад. Худ. Составил С. Н. Кондаков. 15, IX.

Мельгунов, С. П. «Исторические Известия». (Новый исторический журнал в Москве). 16, XI.

Готье, Ю. В. и **Пичета, В. И.** Письмо в редакцию. (По поводу критич. ст. С. П. Мельгунова в «Гол. Мин.» 16 г. XI кн.). 17, II, 315—317.

Мельгунов, С. П. Письмо в редакцию. (По поводу ответа Ю. В. Готье и В. И. Пичеты). 17, II, 317—318.

- Сыроечковский, В. Е.** Историческое обозрение. Сборн. историч. общ. при импер. Петрогр. универ. Под ред. Н. И. Кареева. 16, II.
- Тарле, Е.** «Историческое Обозрение», т. XVII. 13, 1.
- Фриче, В. М.** История западной литературы. Под редакц. проф. Ф. Д. Батюшкова. (1800—1910 г.г.). 13, X.
- Покровский, М. Н.** История московского купеческого общества. (1863—1913 г.). 14, V. (Р.)
- Сивков, Н. В.** История московского купеческого общества, т. IV. 16, XI.
- Губский, Н. П.** История нашего времени. (Современ. культура и ее проблемы). Под ред. М. М. Ковалевского и К. А. Тимирязева. 15, XI.
- Левин, И. О.** История нашего времени. Современная культура и ее проблемы. Под ред. проф. М. М. Ковалевского и К. А. Тимирязева. 13, XI.
- Сакулин, П. Н.** История русского театра. Под ред. В. В. Каллаша и Н. Е. Эфроса. 15, X.
- Водовозов, В. В.** К 10-летию 1-й Госуд. Думы. Сборник статей первоудмцев Н. А. Бородин и др. 16, VII—VIII.
- Водовозов, В. В.** К еврейскому вопросу в Польше. Сборн. под редакцией Н. П. Полянского. 15, XII.
- Коваленский, М. Н.** Книга для чтения по истории нового времени. Под ред. М. В. Бердамова, А. М. Васютинского и др. т. IV. 51, VI.
- Покровский, М. М.** Le livre de comptes de la sagavane russe à Pékin en 1727—1728 г.г. 13, IV.
- Пичета, В. И.** Materiali do sprawy polskiej Krolewstwo Polskie. Dokumenty historyczne dotyczace prawnopolitycznego stosunku Krolewstwar Polskiego do Cesarstwa Rosyjskiego' wydali Maciej ks. Radziwiille dr. Bohdan Winiarki. 16, IV.
- Выдрин, Р. И.** «Народы и области» [журнал]. 14, IX, 299—302.
- Мельгунов, С. П.** Научный исторический журнал, издаваемый под ред. Н. И. Кареева. № 1. 14, I.
- Мвьгунов, С. П.** Певский Альманах. Жертвам войны—писатели и художники. 15, XII.
- Лотоцкий, А.** Новгородская церковная старина. Труды Новгор. церковно-археологич. о-ва, т. I. 16, XII.
- Фишер, В. М.** Об Окассепе и Николете. Старофранцузск. сказка-песнь. Пер. М. Ливеровской. 15, IV.
- Налишевский, А. И.** Обзорение трудов по славяноведению. Вып. III. Украиноведение. 15, X.
- С. В.** Отчет императорской Публичной библиотеки за 1908—1910 г.г. 16, V—VI.
- Отчет Московского Публичного и Румянцевского музеев за 1912 г.** 13, VIII.
- Лазурский, В. Ф.** «Памяти великого грузинского поэта кн. Ак. Р. Церетели». 15, X.
- Адарюков, В. Я.** Памятники искусства Тульской губ. 13, I.
- Власов, П. И.** Памятники первых лет русского старообрядчества. 14, XI.
- С. В.** Письма и бумаги Императора Петра Великого. Т. VI (июль—декабрь 1707 г.). 13, III.
- Сидоров, Н. П.** Письма к библиографу С. И. Попомареву. 15, V.
- Федоров, Б. Д.** I. Положение 19 февраля 1861 г. о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости. Изд. историко-филоф. фак. Моск. В. Ж. К. II. Положение о губерн. и уездн. земск. учрежд. 1-го января 1864 г. Изд. В. Ж. К. Подтарацкой. 16, XI.
- Розенберг, В. А.** Публицист-гражданин. Сборник памяти Г. К. Градовского. 16, X.
- Сивков, Н. В.** Путешествие аббата Жоржеля в царствование импер. Павла I. Пер. Н. Соболевского. Предисловие А. А. Кизветтера. 14, XI.
- Ел—ч, А.** Пушкин и его современники. Вып. XVI. 13, VI.
- Розанов, И. Н.** Пушкинист. Историко-литературный сборник под ред. проф. С. А. Венгерова. 15, VI.
- Розанов, И. Н.** Пушкинист. Историко-литературный сборник под ред. проф. С. А. Венгерова. Вып. II. 18, I—III.
- Сивков, Н. В.** 50-летний юбилей «Русских Ведомостей». Русск. Вед. (1863—1913 г.). 15, VI.
- Мельгунов, С. П.** «Россия и ее союзники в борьбе за цивилизацию». Изд. Маковского. 17, I.
- Корш, Е. Ф.** Русская вкона. Вып. I. 14, VIII.
- Нашин, Н. П.** Русская литература XX века (1890—1910 г.г.). Под ред. проф. С. А. Венгерова. 14, XI.
- Мельгунов, С. П.** Русские проилеп. Т. I. Собрал и приготовил к печати М. О. Гершензон. 15, VII—VIII.
- Клевенский, М. М.** Русские проилеп. Т. III. Собр. и пригот. к печати М. О. Гершензон. 16, IV.
- «Русский Архив».** 13, I, 303.
- Сивков, Н. В.** Русск.-бюогр. словарь. (3 тома). 16, III.
- Сыроечковский, В. Е.** Русский быт по воспоминаниям современников. XVIII век. Ч. I.—От Петра до Екатерины II (1698—1761 г.г.). Состав. П. Е. Мельгуновой, К. В. Сивковым и Н. П. Сидоровым. 15, V.
- Дживелегов, А. К.** Салическая Правда. Русский перевод Lex Salica Н. П. Грацианского и А. Г. Муравьева, с введеннем Н. П. Грацианского. 13, V.
- Успенский, Н. Н.** Сборник в честь В. П. Бузескула. 16, II.
- Флоровский, А.** Сборник статей в честь Д. А. Корсакова. 14, II.
- Мельгунов, С. П.** Село Виноградovo, Московского уезда во владении Пушкиных, кн. В. В. Долгорукова, кн. Вяземских, А. И. Глебова и Бенкендорф. 13, II.
- Зайцев, П. И.** Сербский эпос. Перев. П. М. Гальковского. Памятники мировой литературы. 16, X.
- Нашин, Н. П.** Слово. Сборник второй. К десятилетию смерти А. П. Чехова. 14, VII.

Сыроечковский, Б. Е. Смутное время в московском государстве. Под редакцией «Исторической комиссии уч. отд.». 13, VIII.

Сватинов, С. Г. Современный Рим. Сборник статей Ивана Бономи, Г. Галаеси и др. М. 1914 г. 15, VII—VIII.

Корш, Е. Ф. «София». Журнал искусства и литературы. 14, III.

Успенский, Н. Н. Средневековье в его памятниках. Сборник переводов под ред. Д. П. Егорова. 14, XII.

М. С. Старина и Новизна. Книга XVI сборника общества ревнителей русск. истор. просвещения. 13, V.

Мельгунов, С. П. «Старина и Новизна», кн. 17 и 18. Исторический сборник. 15, II.

Берлин, П. А. 150 лет Никольско-Бахметьевского хрустального завода кн. А. Оболенского. Историч. очерк. 15, VII—VIII.

Сыроечковский, В. Е. Студенческий историко-этнографический кружок при университете св. Владимира. Под рук. проф. М. В. Довнар-Запольского. Сборник статей. 15, VI.

Сватинов, С. Г. Судебная реформа. Под ред. Давыдова и Полянского. 16, I.

Шрейдер, Г. И. 1892—1914 г. La tripliee alleanza. Riordi, note, appunti di un Vecchio Parlamentare. 15, IV.

Труды Владимирской ученой архивной комиссии, кн. XIII. 13, VI.

Нудрявцев, В. М. Труды Полтавской ученой архивной комиссии. Вып. X. 13, XII.

М. С. Труды Саратовской ученой архивной комиссии. Вып. XXIX. 13, I.

Труды Саратовской ученой архивной комиссии. Вып. XXX. 13, XI.

Сыроечковский, В. Е. Из текущих работ ученых архивных комиссий за 1914 г. [О «Трудах разных архивных комиссий»]. 15, IV.

Сыроечковский, В. Е. Из текущих работ архивн. комиссий. [О «Трудах» Владимирской, Полтавской и Тульской архивных комиссий]. 16, III.

Корнилов, А. А. «1864—1914 г.». Юбилейный сборник под редакцией Веселовского и Френеля. 14, VII.

Мельгунов, С. П. У Троицы в Академии. 14, XI.

Лебединский, И. В. Украина. Науковий трьох місячник українознавства, вид. Українське Наукове Товариство в Києві. 14, VI.

Чубинский, М. П. Украинский вопрос. Сборник. 16, I.

Гордлевский, В. А. Царьград. Ред. Лазаревского. 16, II.

Мельгунов, С. П. Чтения в императорском обществе истории и древностей российских. 1912 г., кн. IV; 1913 г., кн. I. Изд. под завед. М. К. Любавского. 13, VII.

Нейман, Б. В. Чтения О-ва Нестора Летописца, кн. XXIV. Под ред. Ю. А. Кулаковского и А. М. Лободы. 14, IX.

Полянский, Н. Н. Щит. Литературный сборник. Под ред. Л. Андреева, М. Горького и Ф. Сологуба. 16, I.

Пичета, В. И. Энциклопедический словарь Т-ва Гранат и К°. Т. XIII, XIV и XV. 13, II,

Нашин, Н. П. Языковский архив вып. I. Письма Н. М. Языкова к родным за Дерптский период его жизни (1822—1829 г.г.). Под ред. и с объяснительными прим. Е. В. Петухова. 14, VI.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ.

Высоцкий, Ник. (По поводу заметки о кн. Н. А. Котляревского «Канун освобождения». Гол. Мин. 16, XI, 262—263). 17, I, 323.

Мони, А. Ф. и **Турау, Е. Ф.** [О I-м томе Книж «На жизненном пути»]. 13, IV, 294—296.

Сыроечковский, Б. Е. (По поводу отдельного издания «Записок декабриста» И. П. Горбачевского, 16, X, 210—211).

ПОРТРЕТЫ.

Авсёенко, В. Г. 13, IX, 315.

Анучин, Д. Н. 13, X, 325.

Пьетро Арентино. (Его портрет раб. Тициана). 14, I, 96.

Аристов, Е. Ф. 15, XII, 12.

Арифельдт, Н. А. 18, X—XII, 197.

Арсеньев, Н. К. 17, II, 227.

Ахшарумов, Д. Д. 16, III, 61.

Бакунин, М. А. 14, V, 48.

Барт, Гр. де-Ла Ф. Г. 15, X, 332.

Бартенев, П. И. 13, I, 277.

Батеньков, Г. С. 14, I, 280.

Бибель, Авг. 13, IX, 309.

Берви, В. В. (Флеровский). (Один из последних портретов). 15, III, 176.

Берви, В. В. 16, I, 208.

Блеклов, С. М. 13, VIII, 294.

Брешко-Брешковская, Е. К. (1904 г.). 18, X—XII, 171.

Бриннер, А. Г. 13, IX, 159.

Бутаевич-Петрашевский, М. В. (Единств. портрет; с фотографии, принадлежащей В. П. Семевскому). 15, I, 72.

Бутаевич-Петрашевский, М. В. (Новый портрет, сообщен. племянником Петрашевского В. П. Демором). 15, XII, 64.

Маркграфиня Вильгельмина в детстве. 14, VII, 80/81.

Волховский, Ф. В. (Портрет. принад. Ф. Н. Лянда). 14, X, 232.

Гарибальди, Джузеппе. (Портрет, наход. в Нац. библиотеке Парижа). 14, IX, 176.

Гартман, Л. Н. 13, V, 276.

Герцен, А. И. (Цензурный портрет). 17, I, 16.

Гинсбург, С. М. (С фотогр. карточки, сделанной незадолго до ареста). 17, VII—VIII, 325.

Головачев, П. М. 13, X, 321.

Гольдони, Карло. (С портрета Пьяцетты). 13, IV, 114.

Гориневич, В. Е. 13, X, 319.

Гошинский-Северин. 13, VIII, 32.

Дебу, И. М. 16, III, 51.

Джабадари, И. С. 13, VI, 291.

Джаншиев, Г. А. 14, XI, 32.

Джузеппе Мадзини. 14, IX, 32.

Дубельт, Л. В. (Акварель 30 г.). 13, III, 132.

- Этьен Дюмон.** 13, II, 144.
Елисеев, Г. З. 16, II, 19.
Жорес, Ж. 14, IX, 224.
Жукова, М. С. 13, VII, 32.
Загоскин, М. В. 14, XII, 160.
Залесский, Богдан. 13, VII, 48.
Засодимский, П. В. 13, V, 145.
Зяц, Тимофей. 13, VIII, 152.
Казаков, М. Ф. 13, I, 288.
Кареев, Н. И. 13, XII, 324.
Кеннан, Ж. 14, XII, 160.
Клеменц, Д. А. 14, II, 291.
Клеменц, Д. А. 14, XII, 160.
Копольникова, З. В. 18, X—XII, 301.
Корзон Тадеуш. 13, I, 287.
Короленко, Э. О. 14, III, 151.
Короленко В. Г. 20—21.
Короленко, В. Г. 13, VII, 276.
Корш, Ф. Е. 13, VII, 160.
Косач, Л. 13, IX, 315.
Косцюшко Тадеуш. (С миниатюры 1817 г. Рашперьевильский музей). 15, IV, 64.
Косцюшко Тадеуш. 15, VI, 20.
Кропоткин, П. А. (1861, 1863, 1871 г.г.). 13, I, 284.
Кржемицкий, С. 13, I, 300.
Кудрявцева, С. А. с мужем. 13, XII, 308.
Лавров, П. Л. 15, X, 112.
Лавров, П. Л. (С фотограф. перед арестом. подаренной Е. А. Штакеншнейдер). 16, VII—VIII, 109.
Ламанский, В. И. 15, II, 248.
Ламберт, Е. Е.-тр. (К ее переписке с И. С. Тургеневым, напеч. в «Голосе Минувшего» 1914 г. № 10. Фотография снята в 1850—60 г.г. Получ. от Е. А. Дяцкого). 15, IV, 192.
Лебедева, Т. И. 18, X—XII, 209.
Лермонтов, М. Ю. 14, X, VIII.
Лесевич, В. В. 14, VIII, 80.
Лесевич, В. В. 14, VIII, 53.
Лешерн, С. А. 18, X—XII, 177.
Лозинский, В. 13, X, 318.
Лопатин, М. Н. 17, II, 243.
Луговой, А. А. 14, XII, 264.
Лукасинский, Вал. (Один из немногих достоверных портретов, предоставлен редак. «Tygodnik Ilustracyjny»). 13, V, 16.
Луцицкий, И. В. 14, I, 48.
Максимов, В. М. 14, VI, 48.
Максимов, В. М. 13, VI, 161.
Максимов, В. М. 13, V, 90.
Максимов, В. М. 13, IV, 152.
Малиновский, И. В. 15, VII—VIII, 176.
Малоцкий, Антон. 13, XII, 324.
Мамин-Сибиряк, Д. Н. 13, I, 265.
Мартынов, С. В. 14, XII, 160.
Мартьянов, Н. М. 14, XII, 160.
Милковский, Сигизмунд. 15, IV, 264.
Миллер, В. Ф. 13, XII, 310.
Михайлов, М. Л. 15, IX, 16.
Михайловский, Н. Н. 14, II, 224.
Михальчук, Н. П. 14, X, 236.
Муравьев, М. Н. 13, IX, 240.
Муравьев-Апостол. 14, I, 136.
Мусина-Пушкина, Е. В. 13, XII, 222.
Некрасов, Н. А. 16, V—VI, 47.
Нестеров, А. П. 14, XII, 160.
Обнинский, В. П. 16, V—VI, 141.
Обнинский, П. Н. 14, XI, 16.
Оболенский, А. П. кн. 16, II, 165.
Огарев, Н. П. 13, XI, 8.
Пирогов, Н. И. (1852 г.). (С рисунка сетшей, поднесенного Пирогову его учениками. Оригинал в музее Пирогова в Петербурге). 15, V, 192.
Плеханов, Г. В. 18, VII—IX, 5.
Поджио, А. В. 13, I, 136.
Полонский, Я. П. 19, I—IV, 113.
Попов, П. З. 14, XII, 160.
Потанин, Г. Н. 15, I, 288.
Пугачев, Емельян. 15, III, 296.
Пушкин, И. И. (Из собрания И. П. Малшиновского). 15, V, 188.
Рошфор Анри. 13, IX, 114.
Сазонов, Е. С. 13, X—XII, 25.
Салтыков, М. Е. (Щедрин). 14, V, 16.
Самойлов, В. В. 13, III, 278.
Семевский, В. И. В. П. Семевский в кабинете 1914 г. 16, X, 32.
Семевский В. И. в гробу. 16, X, 112.
Семевский, В. И. 16, IX.
Семенов-Тянь-Шанский, П. П. 14, IV, 256.
Скалон, В. Ю. 13, X, 208.
Скворцов, Н. С. 13, X, 6.
Словацкий, Юлий. 15, VII—VIII, 32.
Соболевский, В. М. 13, VI, 282.
Соловьев, В. С. (Портрет из собр. М. П. Чернышевского). 14, XII, 128.
Соловьев, В. С. и кн. С. Н. Трубецкой. 17, I, 11.
Соловьев, С. В. 13, VII, 278.
Спешнев, Н. А. 15, I, 80.
Скешнев, Н. А. 13, IV, 114—115.
Станкевич, Н. В. 13, IX, 1.
Сютаев, Н. Н. 14, I, 144.
Трачевский, М. Ф. 16, XII, 33.
Трубецкой, С. Н. и кн. В. С. Соловьев. 17, I, 11.
Тургенев, Ал. И. 13, XII, 333.
Тургенев, Андрей Ив. 13, XII, 329.
Тургенев, И. С. 13, VIII, 257.
Тургенев, И. П. 13, XII, 328.
Тургенев, Н. И. 13, XII, 331.
Тургенев, П. Н. 13, XII, 327.
Тургенев, С. И. 13, XII, 330.
Ушаков, Л. А. 15, VI, 91.
Фигнер, В. Н. (1873 г.) 22, II, 150.
Франко, Иван. 17, I, 172.
Франко, И. Я. 13, VII, 288.
Фриденсон, Г. М. 13, VII, 282.
Фрост, Ж. 14, XII, 160.
Цветаев, И. В. 13, X, 323.
Чермак, Виктор. 13, V, 275.
Черносвитов (пестрашвец). 13, VIII, 72.
Шапошников, П. Г. 16, XI, 21.
Шекспир, Вильям. 17, II, 173.
Де-Шартр. Герц. Покровительница Кармонталя. 14, IV, 32.
Шевченко, Т. Г. 14, II, 32.
Шекспир, Вильям. 17, II, 171.
Шекспир, Вильям. 17, II, 171.
Штакеншнейдер, Е. А. 15, XI, 176.
Шубинский, С. Н. 13, VII, 281.
Щепкин, М. С. 13, VIII, 7.
Щепкин, Н. П. 14, II, 64.
Щиглев, В. Р. 16, IX, 41.
Щукин, П. И. 13, I, 279.
Эрисман, Ф. Ф. 16, II, 243.
Южаков, С. Н. 14, III, 140.

- Яблоновский, А.** 13, IX, 314.
Яковлев, В. Я. (Богучарский). 17, VII—VIII, 224.
Якубович, П. Ф. 14, VII, 240.
Якушкин, В. Е. 1) Портрет, снятый по выходе из тюрьмы по Выборгскому процессу (1908 г.) 2) В. Е. Якушкин с отцом и женой. (Снято в 1899 г. во время пребывания В. Е. в Ярославле после высылки из Москвы за речь, произнесенную на Пушкинских торжествах). 13, I, 272.
Группа издателей «Русских Ведом». 13, X, 8.
Игнатов, И. Н., Мануилов, А. А., Розенберг, В. А. (Группа руководителей «Русских Ведом». 1913 г.). 13, X, 211.
Герценштейн, М. Я. и Г. Б. Иоллос гимназистами. 13, X, 234.
Редакционная группа «Сибирской Газеты». 14, I, 297.
Распутин и его поклонницы. 17, III, 123.
Группа: Распутин, епископ Гермоген и Илландор. 17, II, 124.
- РЕПРОДУЦИИ КАРТИН, РИСУНКОВ и т. п.**
- Апсит.** Наташа в гостях у дядюшки. (Иллюстрация к «Воине и миру») 13, XI, 307.
Апсит. Наташа, приглашающая раненых в дом Ростовых. (Иллюстрация к «Воине и миру»). 13, XI, 299.
Башилов, М. С. Дипломат Билибин. 13, IX, 264.
Башилов, М. С. «Гя. Лиза Болконская». 13, IX, 16.
Башилов, М. С. «Гя. А. М. Друбецкая просит за сына кн. Василия Куракина». 13, IX, 48.
Башилов, М. С. «Пьер, развалившийся на диване». 13, IX, 128.
Башилов, М. С. «Гр. П. А. Ростов и Марья Дм. Ахросимова» танцуют «Данилу Кушера». 13, IX, 208.
Богданов, А. «Пьер изгоняет свою жену». 13, XI, 303. (Иллюстрация к «Воине и миру»).
Боклевский, П. «Пьер Безухий». (Иллюстрация к «Воине и миру»). 13, XI, 296.
Заурвейд. «Башкиры в походе». 13, II, 302.
Заурвейд. «Казачи на бивуаке». 13, II, 300.
Заурвейд. «Священник и казак». 13, II, 304.
Наразин. Смерть Пети Ростова. (Иллюстрация к «Воине и миру»). 13, XI, 296.
Нармонтель. Рис. «Бал». 14, IV, 48.
Нармонтель. Рис. «Соседи». 14, IV, 48.
Ковалевский, П. О. Сцены из «Воины и мира». (Иллюстрация к «Воине и миру»). 13, XI, 305.
Акварель Lami, E. (Румянц. музей). «Русский отдел на выставке в Лондоне 1851 г.». 13, I, 292.
Максимов, В. М. «Опять буянит». (Картина приобретена Растеряевым). 13, V, 104.
Максимов, В. М. «Поп Порфирий». (Сепия 1894 г. Из собр. Цветкова, в Москве). 13, V, 112.
Максимов, В. М. «У своей полосы». (Картина находится в Третьяков. галерее). 13, V, 96.
Ман, Э. «La Barrière». (Грав. каб. Румянц. музея). 13, III, 296.
Пастернак. Наташа на первом балу. 13, XI, 304. (Иллюстрация к «Воине и миру»).
Репин, И. Е. Арест. 13, IV, 184.
Самокиш-Судковская. Наташа поет. (Иллюстрация к «Воине и миру»). 13, XI, 301.
Федоров, М. П. Карикатуры (Мяндлов, Плевако, Боборыкин). 15, V, 226—230.
Циглев. Сожжение Л. Н. Толстого. (Карикатура). 18, IV—VI, 249.
Каррикутуры на ром. П. С. Тургенева «Отцы и дети». К ст. М. М. Клешиенского «И. С. Тургенев в каррикутурах и пародиях». 18, I—III, 191—192.
Сатира на театр. (Поморские лубки из коллекции А. А. Бахрушина). 13, I, 56—65.
Сатира на театр. (Поморские лубки из музея А. А. Бахрушина). 13, I, 56; 64.
Троицкий собор. До пожара и после пожара. (К пожару 7 фев.). 13, III, 290. С фот. Буллы.
Внутренность Троицкого собора. (Фотогр. Буллы). [К пожару 7-го фев.]. 13, III, 296.
Первая церковь св. Троицы. (С рукописи XVIII в.). [К пожару 7 фев.]. 13, III, 299.
Первая церковь св. Троицы с приделом. (К пожару 7 февраля). 13, III, 301.
Двухкл. училище, в котором находится библиотека имени Н. П. Огарева. 13, XI, 311.
Памятник на могиле М. А. Бакунина на городском кладбище в Берне. 14, V, 80.
Томский университет. 14, I, 292.
Памятник де-Костеру. 15, I, 227.
В Анатуйской тюрьме. 18, X—XII, 13.
Разгромленная Пресня. (Фабрика Шмидта). 18, IV—VI, 125—126.
Разгромленная Пресня. 18, IV—VI, 131.
Могила В. И. Семева. 16, X, 134.
Охранное отделение после разгрома. (Илл. к ст. В. Б. Жилинского. «Орханвизация и жизнь московск. охр. отд.»). 17, IX—X, 248—249.
Дом и могила Буташевич-Петрашевского, М. В. 15, V, 83.
Христос благословляет апостолов. (Миниатюра Сийского евангелия 1339 г.). 13, III, 294.
Учение кадетов в 40-х г.г. (Из собрания В. П. Вернадского). 15, VI, 112.
Струйский, Н. Е. Фронтоспис к I части поэзии «Блафон». 13, V, 122.
Бал в малом парне. (Из издания «Les plaisirs à Versailles. Paris. 1673 г.»). 13, VI, 12)
Праздник любви и Вакха. [ibid.] 13, VI, 120.
Празднество в Версале. [ibid.] 13, VI, 112.
Праздник четырех времен года. [ibid.] 13, VII, 184.
Концерт в саду Трианона. [ibid.] 13, VII, 176.
Каррикутура, помещенная в жур. «Заноза» 1864 г. «Разнохарактерные тащцы». 13, X, 236.
Сибирский этап. (Рис. 70-х г.г. из собр. И. П. Белокопского). 14, III, 144.
Арестанская партия в пути. (Рис. 70-х г.г. из собр. И. П. Белокопского). 14, III, 136.
Иллюстрации к статье Н. И. Романова «Бельгийское искусство». 15, II, 40, 42, 47, 48, 49; III, 119, 120, 122, 125, 127, 128, 130.
Факсимиле рукописи Тимофея Зайца. 13, VIII, 154.
Автограф Распутина. 17, III, 125.
Факсимиле заглавного листа драмы Тургенева «Стено». 13, VIII, 216.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

	Стр.
I. История России	
1. Статьи общего характера	227
2. История России до XVIII в.	—
3. XVIII в.	—
4. XIX в.	228
5. История освободительного движения в России	232
II. Всеобщая История.	
1. Статьи общего характера	235
2. Древняя и средняя история	—
3. Италия	—
4. Франция	236
5. Швейцария	—
6. Германия и Австрия	—
7. Англия и Ирландия	237
8. Бельгия	—
9. Славянство	—
10. Польша	—
11. Скандинавские государства	238
12. Мировая война	—
III. История русской литературы.	
1. Статьи общего характера	—
2. Русские писатели XVIII и XIX в.	—
IV. История всеобщей литературы.	
1. Английская литература	242
2. Италия	—
3. Германия	—
4. Франция	—
5. Англия	243
6. Бельгия	—
7. Польша	—
V. История русского искусства	—
VI. Ист. Зап. Евр. искусства	—
VII. Художественная литература	—
VIII. Юбилейные и др. памятки	244
IX. Некрологи	—
X. Памяти В. И. Семевского	245
XI. Хроника	246
XII. Рецензии на анонимн. книги и периодич. издания	247
XIII. Письма в редакцию	249
XIV. Портреты	—
XV. Репродукция картин, рисунков и т. п.	251

Издатель: Коопер. Т-во по изданию журнала Редактор: М. А. Цявловский.
 „Голос Минувшего“.

Главлит 5221. 39 Тип. М. С. Н. Х. „Мосполиграф“, Путинковский, 3. Тир. 2,000.

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗДАНИЯ

„ГОЛОСА МИНУВШЕГО“

1. Альманах „Из истории революционного движения в России“. Вып. I (статьи Довнар-Запольского, Цявловского, Богучарского, Фигнер, П. Лаврова, Бузескула, Осоргина, Мельгунова, Панкратова, Фроленко и др.).
2. Альманах „Из истории революционного движения в России“. Вып. II.
3. **Егор Сазонов**. Письма и материалы для библиографии. С предисловием С. П. Мельгунова.
4. **Е. К. Брешко-Брешковская**.—Воспоминания.
5. **В. И. Семевский**. Кирилло-Мефодиевское общество.
6. **А. С. Поляков**. Второе первое марта (1 марта 1887—покушение А. И. Ульянова на Александра III).
7. **Фон-Хилиус**. Из дневника адъютанта Вильгельма II. 1906—1912.

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ:

„ГОЛОС МИНУВШЕГО“ ЗА 1922 Г.

Книга первая.

СОДЕРЖАНИЕ: Вл. Короленко—Символ. Вл. Короленко—Земли, земли! (наблюдения, размышления, заметки). В. Быстренин—„Уходящее“. Л. Ратаев—Письма С. В. Зубатову (1900—1903 г.). Сообщил С. П. Мельгунов. А. Кони—Житейские встречи. Н. Добролюбов—Разврат Николая Павловича и его приближенных любимцев. Сообщил М. А. Цявловский. Вл. Короленко—История моего современника. Якутская область. В. Алексеев—Студенческий кружок Аргиропуло и Зайчневского. С. Мельгунов—Ап. Григорьев и „Современник“. (Письма к В. П. Боткину). И. И. Попов и Н. М. Мендельсон—Из воспоминаний о Г. И. Потанине. А. Савин—Воспоминания Бисмарка и переписка Шувалова с Гирсом. Цена на 1-е ноября—500 р.

„ГОЛОС МИНУВШЕГО“ 1920-21 Г.

(В одной книге).

СОДЕРЖАНИЕ: Вл. Короленко—История моего современника. Лев Дейч—Южные бунтари. Р. Попов—Из истории рабочего движения 70 гг. Анри Рошфор—Вера Засулич и народовольцы. С. П. Мельгунов—Г. Ал. Лопатин. Е. А. Шаховская—Дневник 1826 г. М. А. Цявловский—Письма Пушкина и Достоевского. А. А. Кизеветтер—Мемуары Витте. Н. И. Кареев—Письма И. В. Лучицкого. Вл. Розенберг—Перед свежей могилой (памяти В. Г. Короленко). А. А. Кизеветтер—Памяти А. С. Лаппо-Данилевского. П. С. Попов—Л. М. Лопатин. Цена на 1-ое ноября—350 руб.

„ГОЛОС МИНУВШЕГО“ 1919 Г.

Книга вторая.

СОДЕРЖАНИЕ: Лев Дейч—Почему я стал революционером. Вера Фигнер—Из истории „Народной Воли“ после 1 марта 1881 г. В. М. Голицын—Москва в пятидесятых годах. А. Ф. Кони—Житейские встречи. Т. Л. Сухотина-Толстая—„Старушка Шмидт“. Лев Дейч—В. Засулич и Г. А. Лопатин. Цена 150 руб. (на 1-ое ноября).

Из прежних лет имеются в продаже комплекты „ГОЛОСА МИНУВШЕГО“ за 1914 г. и 1918 г. и отдельные №№ разных годов.

Имеется два полных комплекта журнала 1913—1921 гг.

Книжный маг. Т-ва „ЗАДРУГА“. Москва, Моховая 20.